1 р. 90 к. Индекс 73293

«ОКТЯБРЬ» — 1992

Владимир МАКСИМОВ. **Как в саду при долине.** Маленькая повесть.

Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. **Иисус Неизвестный.** Роман-эссе.

Владимир ОРЕШКИН. **Референт.** Повесть.

Скромный референт случайно становится обладателем чужих документов и входит в роль их владельца — преуспевающего дельца парапсихологического бизнеса...

Ирина ОДОЕВЦЕВА. **Оставь надежду навсегда.**

Впервые на родину возвращаются романы известной поэтессы, жизнь которой сама похожа на роман.

Борис ЯМПОЛЬСКИЙ. **Знакомый город.** Повесть.

Пронзительное ощущение времени, точнее сталинского безвременья, сочувствие обычному человеку, его усилиям превозмочь страх, сохранить душу и совесть...

Широко будет представлен на страницах журнала современный рассказ. В портфеле «Октября» новеллы как признанных мастеров этого жанра, так и талантливые работы молодых.

В ПОЭТИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕ журнала — самый широкий спектр направлений, стилей, манер. Принцип отбора один — качество, степень таланта автора.

Под рубрикой **«ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ СЛОВО»** — неофициальная поэзия прошлого двадцатилетия.

ФИЛОСОФИЯ, ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА

А. АВТОРХАНОВ. **Мемуары.**

Рассказ автора о своей жизни скорее напоминает остросюжетный приключенческий роман.

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. **Лев Троцкий.** Политический портрет. Книга вторая.

Михаил ВОСЛЕНСКИЙ. **Смертные боги.**

Новая работа известного политолога посвящена самой верхушке советской номенклатуры.

Александр МЕНЬ (протоиерей). **Как читать Библию.**

«СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕНТАРИЙ» — серия оперативных статей по самым острым проблемам текущего момента ведущих публицистов — Л. БАТКИНА, Ю. БУРТИНА, И. КЛЯМКИНА, Л. ПИЯШЕВОЙ, Л. САРАСКИНОЙ, А. СТРЕЛЯНОГО.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА станут темой года. В ее обсуждении примут участие известные отечественные и зарубежные политологи, философы, правозащитники.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА представляет современный литературный процесс с разных точек зрения в статьях А. АГЕЕВА, Л. АННИНСКОГО, А. БОЧАРОВА, И. ВИНОГРАДОВА, Н. ИВАНОВОЙ, Вл. НОВИКОВА, Ст. РАССАДИНА, И. ШАЙТАНОВА.

Будет продолжен сериал **«РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В МЕМУАРАХ И ДОКУМЕНТАХ»**, подготовленный специально для «Октября» по материалам зарубежных архивов.

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1991. № 8. 1—208.

1991 8 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

8

1991



ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

8

1991

АВГУСТ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (зав. отд. поэзии), **И. А. БРЯНСКАЯ** (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы), **В. М. ЛИТВИНОВ** (зав. отд. критики), **Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН** (заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).
Коммерческий директор **Ю. В. ГРИНЬКО.**

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 02.07.91. Подписано к печати 18.07.91. Формат 70×108 1/16.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 242 000 экз. Заказ № 682. Цена 1 р. 90 к.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Борис ЯМПОЛЬСКИЙ

Два рассказа

Отец

Ночной поезд осаждала толпа в бараньих папахах, и непонятно было — они хотят ехать или грабить, поспешно звонил станционный колокол, истерически вскрикивал маленький паровоз, и за белым вокзалом, одиноко торчащим под розовой луной Муганской степи, беспорядочно стреляли из винтовок — и юный Лев Шуст — разъездной корреспондент республиканской газеты — чувствовал себя солдатом, революцией мобилизованным.

Он приехал из этой тревожной командировки в город спокойный, солнечный; несмотря на то, что был конец ноября, все ходили еще в костюмах, падали желтые листья, с Каспия дула теплая моряна.

В редакции секретарь партячейки со сморщенным личиком груши из компота хмуро встретил Шуста и между прочим сообщил, что его все дни активно искал какой-то человек, очень похожий на него, не отец ли, и искоса взглянул сухими пронзительными глазами рабочего выдвиженца.

— Отец? — переспросил Шуст.

— Очень похож на тебя, хотя старый и в очках,— сказал секретарь партячейки и, казалось, подмигнул.

Зачем он подмигнул, думал юный Лев Шуст, значит он что-то знает.

Отец его — старый Шуст был провизором в маленьком городке. Квартира ютилась позади аптеки, и из коридора можно было прямо пройти в нее, и если ночью звонил электрический звонок, отец вставал и отпускал валерьяновые капли или английскую соль.

Маленького Льва никогда не будили эти звонки и он просыпался солнечным утром, не ведая о ночных переполохах и что в городе у кого-то был приступ грудной жабы, заворот кишок или разрыв сердца. Все это происходило в мире, далеком от его зеленого трехколесного велосипеда и желтого обруча, который он желтой палочкой гонял по кирпичным тротуарам.

После революции аптека еще несколько лет принадлежала отцу, который имел патент первого разряда, а потом он стал работать в этой аптеке заведующим, затем заместителем и просто фармацевтом, и в конце концов его вычистили по какой-то там категории, как чуждый и нежелательный элемент.

Отец был из того дальнего, растаявшего, младенческого мира, в последнее время начисто закрытого бесконечностью выжженных степей, миражами, пулеметной стрельбой, женским ревом, восточными молитвами и криками священной войны: «Алла! Алла!»

Лев Шуст был теперь весь в хаки, с портупеей, и в защитной фуражке с звездочкой, прокаленный солончаковым солнцем, пропахший командировочным вагонным духом, и в нем бушевали ораторские интонации классовой борьбы, в лицо дул открытый ветер всех четырех сторон света, и казалось, он выдержит и самум, он сам — румяный Лев Шуст, призывал самум, чтобы насытить свою жажду, свое чувство виноватости, чувство бессмертия.

И тут как раз ему шепнули, что на собрании о нем был нешуточный разговор, и дело его рассматривает комиссия.

И он очень испугался и, в тот день уже не поехал в свою комнатенку на окраине, где его мог ожидать отец.

Страх подхватил его и загнал в извилистые каменные переулки, в перегретые солнцем тупики, где слышен был стук играющих в нарды стариков, сидящих в тени чинар в своих высоких папахах.

И только к вечеру он поселился в гостинице, чтобы как-то пережить это время, а потом уже посмотреть, что будет.

Это была третьеразрядная гостиница, одна из тех тусклых заброшенных частных меблирашек, которые хотя и ютятся в центре, но не выпирают своими крупными окнами с фикусами на главную улицу, а, не претендуя, жмутся в боковых переулках. Но даже и в этом отеле не было свободных номеров, и он поселился в полуподвальном этаже, в комнатке, где сонно моргала электрическая лампочка и пахло нафталином, политурой, старым, изъеденным плюшем. В позеленевшем зеркале отразился худой подросток в полувоенном осоавиахимовском костюме, с большими ушами. И когда он лег на жесткий пружинный матрац, то почувствовал тоску всех живших тут до него постояльцев.

Он лежал и смотрел в потолок.

...Горели малиновые шары аптеки, жужжал газовый рожок, сияли в стеклянных шкафах белые фарфоровые чаши с черными зловещими латинскими шрифтами, колебались тонкие аптекарские весы с микроскопическими гирьками на розовых тарелочках, будто слышалось, как отец говорит: «Унция...»

Каждый раз, когда он оставался наедине с анкетой, один вопрос был как дуло нагана: социальное происхождение.

И он, стыдясь, писал это странное, глупейшее, мещанское — провизор. И каждый раз начиналось: «А что это? Профессор? Фабрикант?»

И он витиевато, заикаясь, интеллигентно разъяснял, что это, видите ли,— аптека.

Как аптека? Частная аптека? Не заливай! А сколько батраков?

Господи, почему-то все вокруг были потомственные, у всех предки — грузчики, литейщики, все до единого — бедняки, батраки, и даже подпольщики, политкаторжане, агенты «Искры», в крайнем случае — анархосиндикалисты. Только у него одного — провизор.

Ах, как это ужасно, тошно, несправедливо, как это горько быть ветвью провизора, и на каждом собрании обмирать.

Что за наваждение, что за сила эти собрания; то же слово, сказанное в фойе или на улице, услышано и забыто, а произнесенное с трибуны, будто усиленное целым рядом мощных станций, расшибает в прах.

...Вдруг он услышал, как кто-то продвигался по коридору шаркающей походкой, кто-то останавливался и отдыхал, словно его душила астма.

Шаркание затихло у его дверей и тот, кто там стоял, помедлил и осторожно постучал. Он сказал: — Да! — Никто не откликнулся.

— Войдите! — крикнул он. Но и на это ничего не последовало. Оба молчали, и тот, кто стоял у дверей. Наконец так тихо и кротко постучали, что у него сжалось сердце.

Открылась дверь. Тускло, голо, угольно мерцала электрическая лампочка коридора.

На пороге стоял его отец в застиранном люстриновом пиджачке с тонким галстучком «киской» и улыбнулся ему молящей и любящей улыбкой.

— Это я, Левушка.

Но будто между Левушкой и отцом кто-то выкачал воздух и наполнил страхом, и он не мог сразу преодолеть это безвоздушное пространство.

Отец был весь еще там, в старом, заросшем одуванчиком, незащищенном от времени саду, а его юное сердце, уже сухое, эгоистически ожесточилось в страхе, и Левушка все думал одно: видел кто-нибудь, как отец шел сюда? Отец стоял тихий, кроткий, с перекошенным галстуком «киской», со знакомой щетинкой пожелтевших табачных усов, и ничего не понимал, и не желал понимать, и в старых истоптанных башмаках Чарли Чаплина переступил порог.

— Я разбудил тебя?

— Нет, папа, заходи, садись. Как ты узнал, что я здесь? — Левушка суетился.

— Я только на минутку.— Отец поставил палку у дверей, робко снял соломенную шляпу и сделал несколько шагов к Левушке, и тогда тот встречным током преодолел это поле отчуждения, и отец и сын обнялись. Левушка почувствовал давний запах валерьянки, цветочного мыла, холодное прикосновение усов, сухой поцелуй и мокрые щеки.

— Это я так, это просто так...— отец тихо дрожал, словно был под дождем, а Левушка сказал:

— Приземляйся, папа.

— Я на минутку, я только на одну минутку,— повторял отец торопливо.— Я не буду тебе мешать, ни в коем случае, не думай.

— Да ты не мешаешь мне.

— Нет, мешаю,— сказал отец с знакомой Левушке упрямой ворчливой интонацией.— Но ты мой сын — неужели я не имею права увидеть сына. Нет я не буду поддерживать с тобой связь.

— Ну что ты, папа.

— Нет, не что ты, папа. Так оно есть. Они правы. И ты прав. Весь свет прав. Один я не прав! — выкрикнул отец голосом, каким некогда кричал, читая неряшливый рецепт: «Тут курица разгуливала — это что, латынь или китайские иероглифы?»

— Я никогда, слышишь меня, никогда больше не приду и не постараюсь с тобой встретиться. Объясни только — за что? И я растаю.— Отец сделал жест растворения в воздухе.

Левушка молчал.

— Объясни мне, пожалуйста, что я сделал такого, чтобы родной сын от меня отказался.

— Я не отказывался.

— Да, ты не отбил в газетах.

— Но почему ты мне об этом говоришь? — Левушка кривил душой.

— Потому что ты меня боишься.

Отец сделал тайное лицо.

— Но не беспокойся, я даже портье ничего не сказал. И ты видишь, я выбрал сумерки. Я шел сюда переулками. Я соблюдал конспирацию! — произнес он гордо тоном подпольщика.

Левушка улыбнулся. Но отец не улыбался.

— Ты разрешишь у тебя напиться?

— Что за вопрос, папа,— Левушка взял графин.

— Я сам.— Графин дрожал в его руках и ударился о звякнувший стакан, несколько капель пролились на протертый ковер. Он налил воды, аккуратно поставил графин на место и забыл напиться, а как-то задумался, положив руки на колени.

А Левушка увидел себя маленьким мальчиком, бегущим через бурьян, высоко подымая костлявые ноги; кругом пели и гоготали гуси, и ярко светило солнце, и на улице играл духовой оркестр революции. И все были юны, и у всех была надежда, и все было впереди.

— Ты даже не спросил о маме,— заметил отец.

— Да, как она?

— Как она,— повторил он даже не едким, а равнодушно насмешливым голосом, которым иногда разговаривал с непонятливыми, глупыми клиентами, которые требовали от него невозможных лекарств.

— Она здорова?

— Что тебе сказать,— загадочно проговорил отец.— Написал бы ей когда-нибудь письмецо. Ведь она не имела патента от фининспектора. Она ни при чем.

— Ну зачем ты так говоришь! — Левушка обиделся.

— А как мне говорить? — спросил отец. В глазах его были слезы. И вдруг он подошел, крохотный, тщедушный, желчный и, обняв Левушкину голову обеими руками, разрыдался каким-то неестественным высоким фальцетом, каким-то детским младенческим плачем. А у Левушки от этого плача сразу высохли слезы и стало ему страшно. Он сидел на кровати с каменным сердцем, а отец всхлипывал по-детски, вытирая рукавом слезы.

Где-то совсем рядом зазвонили колокола армянской церкви, и удары эти, глухие, глубокие, вечерние, стояли в каменном переулке, не растворяясь, не затихая, напоминая о чем-то вечном, незыблемом, о котором никогда не следует забывать.

Отец, еще всхлипывая, достал знакомый Левушке серебряный портсигар с монограммой. Даже на вид тяжелый. В нем жалко лежали удивительно тонкие серенькие папиросы «Норд» с темным, почти черным табаком. Им было свободно тут. Они как-то не подходили к этому пышному серебряному жилищу. Отец взял одну, покрутил в пальцах, зажег спичку, и пальцы его дрожали.

— Ты еще не куришь? — спросил он.

Левушка покачал головой.

— А питаешься в столовке?

— Как придется.
— Дома было вкуснее? — сказал отец.
И снова наступило молчание.
Отец поспешно и жадно курил. Лицо его заострилось и стало в профиль птичьим, лицо отставшей от стаи больной перелетной птицы, у которой нет сил дальше лететь.

Докурив папироску до половины, он ее тщательно потушил и аккуратно уложил в портсигар, потом вынул из жилетного кармана старые часы белого серебра и привычно внимательно нажал на репетитор, и они заиграли, запели как-то надтреснуто-жалко, забыто, из той жизни, где цвели настурции, летали турманы, лаяли деревенские собаки.

— Дети, в школу собирайтесь, петушок давно пропел,— отец неожиданно улыбнулся, и лицо его стало светлым, милым, бесконечно знакомым, каким было в далеком детстве на пасху, за праздничным столом.

Потом отец прошел мимо окна в мятой, криво посаженной шляпе, остановился у края тротуара и оглянулся. Надвигались ломовики, они шли караваном, толстые, раскормленные, с окровавленными глазами кони-битюги, по одному на каждую платформу, а на платформе — огромные винные бочки, перевязанные проволокой. И мостовая гудела, и все вокруг ходило ходуном. Он пропустил их и хотел только перейти улицу, как зазвенел, затрезвонил трамвай и, не переставая звенеть, пролетел мимо с румяными веселыми пассажирами, которые все будто ехали на свадьбу.

Отец был такой маленький, сухонький, что со спины, казалось: это мальчик, случайно нацепивший люстриновый пиджачок, широкие коленкоровые брюки и помятую жалкую шляпу циркового лилипута, удаляется через трамвайные пути, осторожно ступая по булыжной мостовой и оглядываясь по сторонам. Но когда он перешел улицу и на той стороне остановился и повернулся и стал смотреть на отель, то даже отсюда было видно его удлиненное недоумевающее лицо. Он долго так стоял и смотрел на гостиницу, словно запоминая ее навеки, и затем тихо пошел дальше.

Тогда Лев Шуст не знал, что видел отца в последний раз, что придя в ту глухую без окон комнатку, куда смутный свет проникал из стеклянной галереи, выходившей в азиатский каменный двор, придя в эту комнату...

Где-то в большом, веселом, шумном городе, в Глухом переулке, в комнате без окон, тихо скончался старик, который только накануне приехал откудато издалека, кажется, с Украины. Говорили, что у него тут сын, но где живет сын, где работает, как его зовут, и вообще есть ли сын, или старик просто бредил? Со стариками такое бывает. И соседние старушки обмыли старика, положили его в сиротский гроб и отвезли на старое чембиркендское кладбище.

Сын это узнал через годы и случайно. А тогда ему казалось, что отец уехал назад, в городок на Роси. Через несколько месяцев он написал ему, но ответа не было. Потом он снова написал и опять никто не откликнулся. Тогда он написал соседям, и те кратко ответили, что отец ведь уехал к нему, неужели он этого не знает? А мама умерла еще раньше, неужели он и этого не знает?

И тогда он нашел этот Глухой переулок и эту комнатку без окон, и соседских старушек, которые хоронили отца. На кладбище было несколько безымянных холмиков, но никто не мог сказать, какой именно — могила отца.

Теперь он хорошо помнит, как шел с кладбища один по раскаленной зноем Азиатской улице, а потом вниз по Большой Морской, и ничего не видел, не воспринимал. Все было, как в немой, смутной, не сфокусированной кинокартине, туманно и ненужно.

В ту ночь в гостинице, после того, как ушел отец, он долго не мог уснуть.
Город медленно остывал от жары, накопленной асфальтом, камнем домов, духота, как в трубу, входила в маленькое окошко над тротуаром и наполняла комнату словно густым варевом.

Он лежал на кровати и смотрел в потолок, и ни о чем не мог думать.
Жизнь постепенно замирала. Сыграв «Ойра», затих оркестр в ресторане. Потом зашипело и примолкло радио. Больше никто не хлопал дверьми. Сосед наверху перестал вышагивать. Наступила как бы смерть гостиницы. Лишь изредка с того света звонил телефон.
А он все лежал, смотрел в потолок и ни о чем не мог думать.

Ночь пала на него огромная, душная, с пыльной бурей. Где-то шакалом плакала кеманча и ветер зурной завывал в переулках и каждая песчинка звенела и пела, и ныла, и билась в окно, и просилась пустить ее, гонимую безжалостным ветром. И все в нем тихо выло и содрогалось вместе с этим полуночным нордом. Там, где он родился и вырос, в доме с голубым ночником никогда не было такого ветра, а были тихие летние ночи, с ясными звездами и нежными во тьме нарциссами.

По улице проехал трамвай. Тень его прошла по потолку. Вспышка вольтовой дуги осветила комнату мгновенным неестественным светом до самой ее глубины и проникла в душу.

Вдруг он вспомнил две высокие сильные груши по грудь в белом цветущем жасмине и под ними крашенную белилами скамейку, на которой он любил лежать, и читать Жюль Верна и Густава Эмара, и смотреть на проплывающие облака.

Как далеко, как страшно, невыносимо далеко все ушло. Минуло всего два или три года. А он ведь совсем другой человек. И в эту минуту ему нипочем тот дом, и сад, и радость семьи, сейчас ему важнее всего и над всей его жизнью тяготит — что сказали о нем на собрании и что готовят ему сейчас в той закрытой комнате за обшитой кожей двойной дверью.

И его охватил страх, и этот страх забивал, затмевал, растворял все воспоминания — и раскаяние, и гордость, и самостоятельность. Нет ничего страшнее в юные годы общественного страха, общественного осуждения. Это уже после, когда ты заматерел, когда ты все увидишь и испытаешь, и узнаешь изнанку, и кое-что поймешь о тех, кто закоперщик всего этого, это уже после, когда ты достаточно заматерел, тебе все равно, пусть будет, как будет.

Но тогда, в ту ночь, в старом тысячелетнем городе страх съел все: и полночную бурю, и грохот запоздавшего трамвая, торопящегося в парк, где его ждал краткий сон в железном закутке, и пьяные голоса проходящих мимо ночных людей, мяуканье бродячей кошки, скрип старой мебели и пиликанье где-то угнездившегося и живущего в свое удовольствие, на полную катушку, гостиничного сверчка.

Не с кем было поделиться, некому было пожаловаться, что страшно. Он был один, и старый азиатский город со своей духотой, тьмой, равнодушием, свирепым песчаным нордом навалился на него и придавил. Если бы его научили в детстве молиться, он бы мог обратиться к тому, кто все видит, все создал и может все разрушить.

Внезапно все стихло, небо было желтым, словно весь песок поднялся вверх. Кривая красная молния сверкнула над соседними крышами, в каменных улицах загрохотал гром, он грохотал долго, безнадежно, не в силах разбить, расколоть эту замурованную духоту, и, казалось, кто-то упрямо бессмысленно катит по городу пустые железные бочки. Несколько крупных тяжелых капель упало на тротуар и тут же испарилось, и сквозь рыжее пыльное небо снова проглянула замученная луна и нечем было дышать.

В окне стояло желтое отражение уличного фонаря, слабый свет, лежащий на тротуаре, проникал в комнату и умирающим пятном таял на полу. И он слушал, как в обоях бегали, шуршали мыши. Вдруг они начинали все сразу пищать, что-то сообщая друг другу или жалуясь на свою бессмысленную за обоями жизнь.

Он лежал, и ему хотелось плакать, плакать от жалости к отцу, от жалости к себе и ко всему свету и оттого, что все так нескладно получается и иначе быть не может и не будет никогда. Может быть, ему стало бы легче, если бы он выплакался. Но плакать он не мог. За эти годы он разучился плакать, многому он разучился в те годы, а в последующие он разучился еще большему.

Девочка Пикассо

(Рассказ отпускника)

В Одессе я сел на старенький пароход, настоящую галошу, и ночью была качка, в глухой железной каюте с подвешенными койками пахло мазутным жаром машинной утробы, беспредельным путешествием, отрешенностью от всей прошлой жизни и началом новой, неизвестной, а утром была

спокойная, солнечная стоянка на севастопольском рейде, белый, райский город, возможность вечного бездумного счастья, а потом весь день в отдалении, как во сне, пустынные долгие лиловые холмы Южного берега и, наконец, в сумерках — желанное жемчужное зарево Ялты.

Был конец октября, и в душной тьме моросил парной, мелкий дождик, летели желтые листья платанов, одиноко-печально звенели цикады, словно и они понимали безысходность и неотвратимость конца, и город полон был заброшенности, и я не знал, зачем я сюда приехал, что же мне тут делать, и от внезапной тоски стало трудно дышать, как всегда.

Я поплелся в гостиницу, в вестибюле на барьере стояла знакомая табличка с золотыми буквами «Мест нет». Но я все-таки спросил:

— Есть номер?

Длиннолицая администраторша подняла на меня скучные глаза.

— Интересно, вы ведь производите впечатление культурного человека.

— Но мне ночевать негде.

— А мне что — разорваться? — И она занялась своей ведомостью, выставляя в ней какие-то загадочные единицы и нолики. Очевидно, я был ноликом.

За углом у квартирного бюро стояли на посту курортные старухи и жадно спрашивали:

— Койку?

В бюро было пусто, накурено и мусорно еще с сезонного лета. Дежурная красила ногти и, не прерывая своего щепетильного занятия, снисходительно выслушала мою просьбу.

В это время в бюро быстрым шагом вошла девица с фарфоровым коварным личиком.

— Клавка, приветик! Что нового в микромире?

От играющего, глубокого звука ее голоса все вокруг сразу изменилось, исчез учрежденческий затхлый воздух, его убитость и сверкнуло что-то лотерейное, мотыльковое, от роду и навечно легкое и счастливое. Тоска соскочила с меня, как окалина.

— Вот, гражданину нужна обитель,— усмехаясь, сказала дежурная Клава.

— Грандиозно! — откликнулась девица.

— У гражданки хорошая, спокойная комната с видом на море.

— Нахожусь на нуле,— весело объяснила гражданка.

Она мельком взглянула на меня, у нее были двухцветные зрачки, зеленые со светло-карей сердцевиной и оранжево-дымчатым окаемом, злым, как у голубя.

— Ну, Клавка, салют! Ариведерчи! — Она небрежно кивнула, непонятно кому, мне или железному сейфику в углу или, может, пыльной электрической лампочке, повернулась и пошла вон, и я, мгновенно намагниченный, за ней, за ее вибрирующей фигуркой в тесно облегающем, словно прикипевшем к телу платье, так, что она казалась и вовсе без платья, и каждое движение, каждый изгиб ее тела был виден, и слышен, и принимаем мною, как чувствительным нервным приемником. И мы шли, настроенные на одну волну, так мне, по крайней мере, казалось в минутном сумасшествии.

Дождя уже не было, и шелестели платаны, и снова душно веяло суховейным крымским ветром. Она свернула с празднично освещенной шумной улицы, где в раскрытых окнах ресторана оркестр наяривал «Летку-енку», в смутный переулок, и мы шли под настойчивый и грустный звон цикад в кустах тамариска, в измученных трещинах дикого камня, в изъеденных термитами старых телеграфных столбах.

Она была рядом и все фосфоресцировало вокруг, и я тоже чувствовал себя светлячком, я был втянут в турбулентный вихрь.

Мы прошли через пустой базар с закрытыми рундуками, шафранно пахло яблоками, дынями, между рундуками рыскали черные толстые кошки, которые казались оборотнями, мы шли молча, и я слышал сухой пластмассовый стук ее каблучков, и сердце мое странно и смешно билось в унисон.

— Далеко? — спросил я.

Она ничего не ответила.

— Далеко нам? — переспросил я.

— А какое это имеет значение? — сказала она.

Странный ответ, подумал я, но смолчал.

Неожиданно она пошла вверх, по извилистой татарской улочке с глухими молчаливыми дувалами, с домами без окон; в каменной канаве, забытый всем миром, журчал ручей. Тротуар был так узок, что трудно было идти рядом, и теперь она шла впереди, и я видел близко ее колыхающиеся бедра, высокие стройные, нарисованные самим богом ноги, яркая блестящая головка на тонкой шее подрагивала, как у кобры, грозно и завораживающе.

И вдруг ясное ощущение западни коснулось меня. Куда и зачем мы идем этим внезапным вечером, нелепой немой улочкой, и вообще, кто она, зачем она? Где-то далеко внизу шумело и жило море, и его вольное дыхание, его жаркий климат стоял в воздухе и говорил о вечном, неизменяемом.

— Отель «Под тремя чинарами»,—вдруг сказала она, остановившись у старого каменного здания с большими, почерневшими деревянными балконами, густо засыпанными листьями облетающих чинар.

Мы вошли в открытый подъезд, с отсыревшими, в тифозных розовых пятнах стенами и поднялись по лестнице с устойчивым помойным запахом, как в каких-то Погорелых Городищах, и не верилось, что тут рядом Черное море.

На втором этаже одна из этих коммунальных задрипанных дверей неожиданно раскрылась и вынырнула женщина с тазом, полным мыльной воды, она остановилась, вдовьи глядя на нее и на меня, казалось, она хочет на нас выплеснуть таз, потом пропустила и смотрела вслед, пока мы поднимались на третий этаж.

— Чего это она так?

— Спросите ее,— наплевательски сказала моя спутница, а потом добавила: — Люди, зачехляйтесь!

Мы стояли у старой с разодранными клочьями войлока двери, она быстро щелкнула ключиком, дверь открылась, и я задохнулся от ветра, который дул в широкие окна, там стеной стояло море и над ним вдали горбилась Медвежья гора, богатырски припавшая к воде Гурзуфа.

Комната была почти пустая, только в углу низкая самодельная тахта — матрац на кирпичах со сваленной постелью, и на ней открытая книга, ветер вяло и скучно перелистывал ее страницы, словно ему уже надоело ее читать и перечитывать.

На всем лежала печать запустения. Не было духа человека, его утренних вставаний, одеваний, эха его голоса, и нежилая комната как бы слилась с морем, с ветром, с облаками и вошла в круговорот природы, солнце всходило и заходило в одиноком зеркале, и день и ночь равнодушно сменялись в вакууме тишины.

На полу шелестели занесенные ветром листья, высохшие тельца сумеречных бабочек, и в углу в какой-то щели пищала цикада, жалким комнатным блеянием. Пыль была такая, что оставались следы от шагов.

— Вы что, совсем тут не живете? — спросил я.

— Навести лоск, да? — Она принесла из кухоньки веник и несколькими взмахами подмела листья, а пыль повсюду так и осталась.

Что-то приключилось в этой комнате с большими на море голубыми окнами, и все осталось точно так, как в момент взрыва, околдованно спящим: и засохшие гранатовые корки на столе, и шлепанцы у тахты, и развороченная постель с раскрытой недочитанной книгой. Старинные стенные часы с римским циферблатом показывали двенадцать, и неизвестно было — ночи или дня. Морской ветер унес порох взрыва. Осталась пустота, пыль и готовность к новой жизни, новому наполнению.

Что ж все-таки тут произошло? Он ушел и бросил ее, или, может, он умер, и она не в силах жить в этой комнате, а может, еще что. Она казалась безродной, бездомной. Она казалась дерзкой и жалкой, красивой стрекозой, случайно залетевшей в комнату с синего моря.

Чужая драма неожиданно коснулась меня, и мне стало не по себе, и я уже пожалел, что пришел сюда. Я был достаточно исчерпан своей собственной жизнью.

Море шумело у самого окна, берега не было видно, и, когда ветер задувал сильнее и в комнате свистело и выло, как в снастях корабля, казалось, дом раскачивается и уплывает, и это зыбкое, неуверенное, прелестное чувство как-то постепенно оторвало меня от мира суши и скуки и обычных

представлений, и девушка казалась необыкновенной, удивительной. При электрическом свете стали видны тихие тонкие морщинки под глазами, и почему-то они больно пронзили меня жалостью и нежностью к ней. И я спросил:

— Вы замужем? Кто ваш муж — моряк? Он уехал или вы разошлись?

Она молчала.

— Да или нет?

Она только помотала головой, но не произнесла ни одного слова. Губы ее были точно склеены.

— Кто-то умер?

Она посмотрела на меня и снова помотала головой.

— Вы влюблены?

Она усмехнулась.

— Я так буду перебирать все варианты. Он ушел с другой?

Она отвернулась.

— Я угадал, да?

Она была совсем худенькая, и бледное, порочное личико привлекало заманчивым обещанием доступности. Но как только я приближался, она словно каменела. И я остывал.

— Вы тут одна?

— Это не имеет значения.

— А что имеет значение?

— Ничто,— бесшабашно ответила она,— ничто уже не имеет значения.

Она засмеялась жестким смехом.

И у меня это когда-то было, такой же разор и удушье, окончательная смерть всего на свете, и я все-таки постепенно забил это в себе, загнал куда-то в подполье, на периферию, и оно как-то утолилось, умолкло, на время или совсем я отделался, и снова еще отчаяннее и вздорнее хотелось жить и тоже куролесить, быть как все, да, как все, не хуже других.

— Все это пройдет,— жалостно сказал я.— Я знаю, что это проходит, в конце концов проходит.

— Вы это о чем плачетесь?

Я растерялся.

— Все проходит,— неопределенно сказал я.

— Вы верующий? — засмеялась она.

Я еще больше растерялся.

— Да как сказать, в кое-что и верю.

— А я ни во что. Плевать с маяка!

И снова засмеялась своим мертвым смехом.

— Вы работаете или учитесь? — спросил я, чтобы хоть что-то сказать.

— Приятель, что это вы, как деревенский детектив?

— Нет, просто так,— смутился я.

— Ну-ка, отвернитесь,— сказала она,— я переоденусь.

Я прошел к окну и стал смотреть на море, из порта выходил освещенный пароход, на нем играла музыка. Я не видел, но чувствовал или скорее слышал, как она через голову стаскивает платье, и словно электрический треск и разряды прошли через меня.

— Не оглядывайтесь! — крикнула она.

Она была в одном купальнике, тонкая, извилистая, маленькие груди с крупными и темными, как медяки, сосками стояли торчком.

Я пошел на нее, она не сдвинулась с места и равнодушно, вяло дала себя обнять, и я, хмелея, с ходу стал целовать ее шею, лицо, оно было холодное, как мел, и в эту минуту мне казалось, что всю жизнь я именно ее ожидал.

— Ну ладно, хватит,— сказала она и резко оттолкнула меня.

— Что такое?

Не отвечая, она пошла в купальнике к шкафу, со скрипом открыла дверцу. Там в ряд на плечиках висели разноцветные воздушные платьица, как гардероб стрекозы. Она выбрала одно, пестренькое с ландышами, и на моих глазах стала натягивать его.

— Вы что, гулять?

— А если гулять, так что?

— Нет, я только спросил.

Странность ситуации, молниеносность превращений ошеломляли меня.

В дверь тихо постучались.

— Открыто! — вскричала она, но там, наверно, не слышали и снова поскреблись.

— Здрасте, тетя! — еще громче крикнула она. Но никто не входил и продолжали мышино скрестись.

— Полоумные! — сказал она и пошла к дверям.

На пороге стояла женщина со второго этажа, она зыркнула в комнату и сказала:

— Извините, пожалуйста, у вас зернышка перца не будет?

— Сколько раз вам говорить, что у меня ничего нет, нет перца, нет корицы, нет кофейной мельницы, нет даже ступки, нет, сколько еще раз вам повторять.

— А вы не кричите, я еще не глухая.

Хозяйка моя с силой захлопнула дверь и так молниеносно, что, казалось, задела у той кончик носа.

— Чтоб в голове твоей так хлопало! — вскричали на лестничной площадке.— Водят тут разнообразных, да еще хлопают.

В ответ она показала двери язык и сказала:

— Бим-бом.

Когда она натянула новое платье, тоже очень узкое, будто прилипшее к телу, она снова казалась обнаженной, и чувствовалась каждая живая извилина, каждый изгиб, и опять острое ощущение порока пронзило меня.

Она пошла к зеркалу, смутно ожидавшему в сумраке, и стала причесываться большим гребнем.

— Вы совсем здесь не живете? — бубнил я одно и то же.

Она покачала головой, во рту ее были шпильки. Она вынимала шпильки по одной и закалывала причесанные волосы.

— А где вы живете?

— Ну, не все ли вам равно?

Я смотрел на нее издали, ее окружало некое защитное невозмутимое поле, которое невозможно было преодолеть. Я просто для нее не существовал, я был знак, иероглиф в пиджаке, штанах и штиблетах, говорливый, любопытный, да еще наверно и прилипчивый.

Собирая свои раскиданные вокруг шмотки, она быстро и нервно проходила мимо меня, как мимо шкафа, вся внутренне молчащая, замершая, и мне хотелось крикнуть: «Где вы?!»

Она достала из сумочки черепаховую пудреницу.

Я снова близко подошел к ней.

— Воображалистый мужчина! — сказала она и засмеялась, и в смехе послышалось приглашение. Я снова осмелел и, пока она пудрилась, я обнял ее, полуобморочно прильнул к ней, почувствовал теплоту ее тела, и от внезапности и доступности острота была до боли, и казалось, ничто уже не разделит нас, и я припал губами к шее, и тут вдруг получил такую оплеуху, что ослеп, а когда прозрел, то в зеркале увидел на щеке бледные отпечатки всех ее пальцев.

— Ох, любезненький,— сказала она,— у меня ведь мозг курицы. Ну, желаете, я вас сама поцелую.

И она влепила прямо в губы пахнущий горькой пудрой поцелуй, от которого я задохнулся и захмелел, и сел на пол, а она засмеялась.

Порыв ветра принес в окно сразу целый ворох листьев, и они разлетелись по комнате, и дыхание и аромат тления осени наполнили душу, а я очумело и с восторгом глядел на нее.

— Играете? — сказал я.

— Нисколечко.

— А зачем вы так делаете?

— А что я делаю?

Я ничего не ответил, я глядел на нее голодными, тоскливыми, беспамятными глазами. Все эти взвизги еще больше взвинтили меня, и она казалась единственной. Ничего мне больше в жизни не надо.

— Подумаешь, Фанфан-Тюльпан.

Она ласково взглянула на меня, и снова, в который раз обманутый ее взглядом, обещавшим все, я подошел поближе.

— Интересное кино,— сказала она.

— Я не могу вас понять,— сказал я.

— А тут и нечего понимать, дорогой товарищ квартирант.
— Вы очень нравитесь мне, вы убили меня с первого взгляда.
— Светопреставление,— сказала она.
— Вы не смейтесь, честное слово, я говорю правду — вы поразили меня.
— Рисуйте, рисуйте,— сказала она.
— За что вы меня ненавидите? Ведь у нас одна судьба.
— Какая еще такая судьба? — оскорбленно сказала она.— Я вас не завлекала.— Подняв руки и открывая с ума сводившие меня темные подмышки, она поправила волосы.

В ней такой запас каприза, спокойствия, своеволия, что меня на нее не хватит, подумал я.

— Вот все мужчины одинаковые от пятнадцати до восьмидесяти восьми.
— А почему именно до восьмидесяти восьми?

Она засмеялась.

— Стоит остаться наедине, и они уже думают бог знает что, кошмар.

Она вынула из сумки патрончик и стала помадить губы перламутровой, с фиолетовым оттенком помадой, и лицо ее сразу изменилось и из веселого, лукавого стало надменным, холодным и чужим.

— Звучит?
— Очень ярко,— сообщил я.
— Япония,— сказала она.
— Может, вместе пойдем?— предложил я.
— Мечтала,— сказала она, стирая мизинцем помаду с краешка губ.— Мерси с персиком.
— У вас что, свидание? — спросил я.
— И все вам надо знать. Какой занимательный.

Она взглянула на меня и рассмеялась.

— Ну, теперь мы будем лилипутиками, скромными и тихими.

Черта с два, решил я, черта с два я буду тебе лилипутиком, черта с два можно быть лилипутиком наедине с тобой в комнате, чуя запах твоего тела, который мешается с запахом осенних листьев и морской волны. Черта с два хочу я быть лилипутиком, черта с два!

— Прощай, Мими, застегни штанишки,— сказала она и внезапно хлопнула дверью.

Долго бродил я пустынной, сырой набережной; брызги прибоя достигали витрин аптеки и кафе, окатывая плиты серой пеной, и все время приходилось быть начеку и убегать от налетавшей волны.

Летнее освещение было выключено, и тускнели одинокие фонари, скорбно освещая медленно падающие крупные желтые листья и странные фигуры мужчин и стареющих женщин, которые маялись под широкошумными платанами; все вокруг было мокро, хмуро, заплакано, дышало отвеселившимся летом, грустным курортным запустением. И только у причальной стенки, куда пришвартовался иллюминированный туристский теплоход, было ярко и уютно.

По трапу в сырую теплую ялтинскую ночь из той, другой феерической жизни спускались веселые молодые пары, и захотелось в свет и тепло и немедленно уехать из этого темного города, окруженного брошенными тоскливыми горами, на которых мерцали и гасли непонятные огоньки.

Закрылись последние съестные лавочки, одинокий алкаш у массандровского киоска глотал портвейн, закусывая из газеты килькой, на какой-то барже с сиротливым топовым огнем печально играли на гармони, а может, это было радио, из-за шума ветра трудно было разобрать.

Иллюминированный теплоход, как светящийся остров, уходил в море, и казалось, с ним отошла душа города. Стало очень грустно.

Я свернул с набережной в боковую улицу, ветер стал тише, теплее, а потом вошел в узенькую извилистую татарскую улочку с фальшфасадами, и было душно от нагретого за день камня, пахучей земли, ботвы огородов, сухих плетей винограда, сухих кипарисов, и жестко пиликали по всей улочке цикады, словно устилая звоном путь. Море дышало где-то далеко внизу, тяжелое, бурное, неумолимое, требующее беспрерывных жертв и напряжения.

Теперь, когда я ночью зашел в комнату, и постепенно привык к темноте, и остался наедине с гудящим белыми бурунами морем, было так, будто на свете осталась только эта комната на берегу бездны, и стало страшно.

Где-то в море завыла сирена, но казалось, это воет мое сердце, и, может, впервые в жизни я прислушался к нему и спросил, чего оно хочет.

Что же это такое в самом деле? Что стоит человеческая жизнь? Где-то в чужом, далеком и ненужном городе, в какой-то потерянный безвестный день случайно встречаешь девушку — и вся прошлая, и нынешняя, и будущая жизнь, весь ее смысл, вся ее тоска, весь ее восторг вдруг сосредоточиваются в ней, только в ней, и нет без нее жизни.

А угнездившаяся где-то в комнате цикада верещала громко, истерически, наводя такую тоску, что хотелось тоже заверещать. Я встал и пошел на этот почти человеческий плач, но только я приблизился к фикусу, верещание вдруг как бритвой срезало, и стало необычайно тихо, только звенело в ушах. Но когда я вернулся и лег, снова заверещало бесконечной мукой.

Лунный свет бил в окно. Волны узорами ходили по голубому потолку.

Я пытался заснуть, ветер раздувал и рвал занавески с такой силой, что они хлопали, как выстрел, море с ревом кидалось на каменную стену у дома, и слышно было, как оно со скрежетом уносит береговую гальку.

Сквозь сон я услышал: кто-то тихо отворил дверь и вошел в комнату, и потом чьи-то осторожные неживые шаги сквозь шум и ветер моря. Но я не проснулся, и сколько я спал, неизвестно, только вдруг я очнулся от странного ощущения, что кто-то неотрывно смотрит на меня.

Она сидела близко на краю тахты, и ее зеленые глаза, как слепые, глядели на меня и не видели.

— Что же тут у вас все-таки стряслось?

Я тихонько погладил ее руку, она не шевельнулась, она глядела мне прямо в душу карими зрачками.

Я робко взял ее за руку, она вся дрожала.

— Лягте,— сказал я,— вам холодно.

Она покорно и равнодушно легла, и я снова, как днем, стал жадно целовать ее мокрое от слез, уже близкое, родное лицо, шею, руки, она лежала холодная и мертвая.

— Вы мне безразличны, неужели вы не понимаете, вы мне до крайности безразличны,— говорила она каким-то не своим, глубоким, сомнамбулическим голосом, и казалось, это она говорит не мне, а какому-то своему воспоминанию, теням неизвестного мне прошлого, и это меня совсем не касается, и я продолжал жадно и быстро ее целовать в шею, в щеки, в глаза, а она не отворачивалась и даже не шевелилась, а как-то слабоумно все бормотала: — Глупости, все это глупости.

И вдруг, словно проснувшись, она со злобной силой оттолкнула меня.

— И без вас виноград,— сказала она, повернулась и внезапно заснула. Она спала с открытыми зелеными глазами и тихо, по-голубиному, дышала и ребячески всхлипывала во сне. И внезапно ясно, жалко произнесла странные слова:

— Она ведь старуха, электричеством гладит кожу и гвоздиками прибивает к затылку, разве ты не видишь?

Я постелил на полу газеты и лег у тахты.

Яркая маленькая луна шаталась в окне вместе со штормовым морем, и в комнате разбрызган был голубой свет, и дом, казалось, ходил на качелях.

Я хотел ей сказать — я тоже одинок, одиночество томит меня.

Мне казалось, я наконец нашел то, что искал или даже не искал, а только всегда предчувствовал. Я притулился к чужой, обиженной судьбе и согрелся, и казалось, обнявшись, мы оба согреемся. И я строил планы. Я думал, как мне неожиданно случайно пофартило, вдруг с бухты-барахты. Здрасте, тетя!

И я крепко и сладко заснул под шум моря.

Утром ветер на море утих. По всей комнате валялись фигурные листья с желтыми краями. Она открыла глаза, в них была пустота неведения, потом она перевела глаза на меня, долго и как-то отрешенно глядела и спросила:

— Кто вы такой, как вы попали сюда?

Она откинула одеяло и в одних трусиках пошла к открытому окну, и море осветило ее лицо, она была похожа на цирковую девочку Пикассо.

Она оглянулась.

— Чего вы так смотрите на меня?
— А как я смотрю?

— Не смейте так смотреть.

Я рассмеялся.

Кто же ты есть, думал я, ты что — притворяешься или валяешь дурака, или меня за дурака принимаешь, или, может быть, и в самом деле такая взбалмошная, дикая? Может, ты такая и есть? И тебя трудно понять. И тот тебя не понял. И я не пойму, и все будет так, как есть.

— Отвернитесь, я буду одеваться.

— Опять двадцать пять,— сказал я.

— Что?

— Ничего, так.

Я отвернулся и слышал, как она умывалась, шуршала платьем, одеваясь, я стоял у окна и смотрел на утреннее море, и казалось, синева моря и неба входит в мою душу, и стало легко и празднично оттого, что все это есть на свете и будет, несмотря ни на что.

— Можно,— сказала она вдруг.

— Что можно?

— Смотреть,— теперь она рассмеялась.

Было раннее утро, и не слышно еще сигналов машин и грохота землечерпалки в порту, только в сизом, немом небе летала одинокая ворона и каркала на всю Ялту.

Я вышел на разрушенную еще с войны каменную стену над морем, и вода у берега была мутная, загаженная, с какими-то плавающими лохмотьями, и над ними летали и горестно кричали чайки. Я разделся и с отвращением нырнул в эту воду, и поплыл под водой, и выплыл на чистое место, и оттуда увидел торжественный, как на сцене, восход солнца, сначала осветились горы, потом верхние террасы улиц, потом набережная и, наконец, корабли на рейде, и стало в небе и на земле весело, и жизнь вступила в свои права, и прошедшая ночь казалась сном.

Потом я пошел в чебуречную. Молодой караим завернул мне в промасленную бумагу горячие чебуреки, и еще я купил гранатов и несколько изящных гроздьев винограда «дамские пальчики».

У дома на скамейке одиноко сидел отставной капитан в роскошной золотой фуражке Министерства морского флота и, шевеля губами, читал «Курортную газету». Он строго взглянул на меня поверх газеты и опустил глаза в рубрику «Их нравы».

Когда я открыл дверь, в комнате летала и билась о стены и потолок чайка, она не могла найти окна, и я боялся, что она разобьется насмерть. Я отошел в сторону и стал медленно наводить ее в открытое окно, и она улетела.

Развороченная постель была неубрана, на столе стоял стакан, белый от молока, и накрошены были крошки, и лежала записка: «Ошиблись. Больше вы меня не увидите».

Я почувствовал знакомое мне, гибельное, опустошающее душу одиночество.

Публикация Ф. С. ЯМПОЛЬСКОЙ

Борис ВАСИЛЬЕВ

Дом, который построил Дед

РОМАН

3

То летнее безумство, которое послужило решительным толчком не только для выяснения отношений между Татьяной Олексиной и Федосом Мининым, но и уходу последнего из тихой гавани сельского учительства в ревущие бездны гражданских столкновений, никак, ни с какой стороны не коснулось Леонида Старшова. Удар Лекарева не только отбросил его к сырой подвальной стене, не просто оглушил — он на какое-то время вышиб поручика из неумолимой последовательности исторических событий. До сего момента история несла молодого окопника на своем горбу, и кулак свадебного шафера и друга по юнкерскому училищу сыграл куда большую роль для Леонида, чем для Лекарева: тот просто стремился усидеть на коне — и усидел, а Старшова на какое-то время спешили, выбили из седла, и когда он, очухавшись, вновь взобрался в него, конь под ним волею судеб скакал уже в другую сторону.

У Леонида было ощущение, что он временами приходил в себя и даже связно отвечал на вопросы, но основательное воспаление легких (они вообще сильно сдали у него за войну), осложненное скверно обработанной раной, долго держало его в зыбком полузабытьи. Его перевозили из лазарета в лазарет, из эшелона в эшелон, из госпиталя в госпиталь, пока однажды поручик Старшов не пришел в себя окончательно. И увидел красивое, упруго-округлое женское лицо, к которому удивительно шла туго накрахмаленная чалма старшей сестры.

— Вы узнаете меня, герой?

— А где я?

— А кто я, вам неинтересно? Так и быть, прощаю вашу забывчивость, учитывая затяжную болезнь. Я Полина Соколова, честь которой вы защищали, не щадя живота своего.

То обстоятельство, что волею великих фронтовых случайностей Леонид попал в госпиталь, где заметно слушались Полину Венедиктовну, если и не спасло от неминуемой гибели, то весьма облегчило госпитальное существование Старшова. Уже не хватало лекарств, уже политикой занимались куда больше и охотнее, чем своими непосредственными обязанностями, уже человек, не имеющий за спиною крепких защитников, считался почти на птичьих правах, но здесь, в этом фронтовом госпитале, у поручика Старшова оказалось привилегированное положение. Его лечили систематически и весьма старательно, его хорошо кормили, за ним ухаживали, и тяжелый процесс, грозивший одно время то отеком, то туберкулезом, был вовремя приостановлен, а затем быстро пошел на попятный. Поручик Леонид Алексеевич Старшов воскрес из мертвых, тогда еще не подозревая, что это воскрешение — первое в длинном ряду.

Окончание. Начало см. «Октябрь» № 7 с. г.

— Не знал, что вы удивительная милосердная сестра, Полина Венедиктовна.

— Я не сестра милосердия, Старшов. Я командир женской дружины, организованной в поддержку Александру Федоровичу Керенскому. Мы следим за порядком, боремся с фантазерами, паникерами, а в особенности — с пораженцами, и опекаем истинных героев. Будущее России — в руках героев, поручик, об этом неустанно напоминает нам Александр Федорович.

Леонид относился к Керенскому с той иронической недоверчивостью, с какой относились к случайному кандидату в российские Наполеоны все окопные офицеры от правых монархистов до левых эсеров: офицеры-большевики при всей их малочисленности придерживались более определенных и резко отрицательных позиций. Поэтому он старался не вступать в беседы с восторженной командиршей и избегал их столь удачно, что до последнего дня пребывания в госпитале не утратил ее особого расположения.

— К вам гости, поручик Старшов.

— Кто? — Он почему-то больше испугался, чем обрадовался.

— Брат с сестрицей. Не родных я бы к вам не допустила.

Она старалась сделать ему приятное, и он изо всех сил заулыбался, изображая радость, но чувствовал скорее досаду и смятение, а точнее — сначала смятение, а потом досаду. «Значит, Павел изволил, — рассеянно думал он, не зная, что ему предстоит: облегченно возрадоваться или разругаться навсегда. — А сестра... Галя или Дунечка? Лучше бы Дунечка. А еще лучше бы было, если бы никто не приезжал...»

Сказать, что Леонид не любил своих родных, было бы и просто и неверно. Он любил их, изредка писал письма — правда, только матери и Дунечке, — но из отчего дома ушел сам, по собственному решению, и с той поры упрямо считал себя отрезанным ломтем. Сам зарабатывал на жизнь, сам выбирал в ней дорогу — даже женился не только без их благословения, но и сознательно не известив никого о предстоящей свадьбе.

А все, наверно, потому, что на долю тихого на службе и дома отца выпала слишком уж большая семья: два сына и две дочери. И каждый кончил гимназию, каждый был прилично воспитан, одет и обут на весьма скромное жалованье мелкого чиновника, не умеющего и не желающего брать взяток даже в виде рождественских подарков. О том, чем кормилась семья и как сводились концы с концами, знали только мать да принадлежавший ей дом на окраине заштатного городка с некогда большим (Леонид еще помнил его большим, вплоть до речного берега) садом, который постепенно все уменьшался и уменьшался, пока не превратился в мещанский палисадничек перед окнами. Это случилось, когда Леонид закончил в гимназии, размечтался об университете, а ему скрипуче предложено было идти в юнкерское по стопам старшего брата. Рушилась мечта, мать плакала, отец скрипел, а прибывший на побывку Павел вместе со старшей сестрой Галиной наседали жестко, ни о чем не желая слушать. И когда он все же позволил настаивать на своем желании учиться, ему объяснили:

— За твою гимназию семья расплатилась яблоневым садом, равного которому не было в губернии, господин эгоист!

Это было правдой, но он тем не менее ушел из дома. Кое-как зарабатывал, кое-как кончил учительские курсы, а тут началась война, и Леонид Старшов волей-неволей стал тем, от чего бежал. И сейчас готовился принять брата и сестру в ранге раненого героя.

А мать тихо плакала. Она всегда все делала тихо в их тихой семье: тихо работала, тихо радовалась, тихо печалилась. Отец тоже был негромким, но — скрипучим, монотонно поучающим, выговаривающим, считающим, сожалеющим. И все — не повышая голоса, угнетающе однообразно и почему-то (так всегда казалось Леониду) оскорбительно, хотя в словах отца ничего оскорбительного никогда не содержалось. В них вообще ничего не содержалось, кроме скрипа.

Громким был старший брат Павел, причем не громким человеком, а громким офицером. Сам став офицером, навидавшись и навоевавшись, Леонид и теперь, как и прежде, неприятно ощущал присутствие громких офицеров, но если раньше он чувствовал их интуитивно, то сейчас знал им цену: в окопах не поорешь, окопы громким не верят и громких не любят. А Павел был на фронте: об этом писала Евдокия — единственный человек в семье, с которым Леонид поддерживал отношения после смерти матери. Ну да не в этом дело: ему ведь стало не по себе по иной причине, едва он узнал о приезде родственничков. Ему стало скверно потому, что Павел тогда сказал при Галине:

— За твою гимназию семья расплатилась яблоневым садом, господин эгоист!

В последний раз он виделся с Галиной на похоронах матери перед самой войной. Павел по какой-то причине приехать не смог, отец был сломлен и растерян, и всем распоряжалась старшая сестра. К тому времени она уже была замужем, родила, но командовала не на правах старшей сестры, а на правах дамы из общества: ее муж оказался весьма значной фигурой в губернии, имел положение, связи, капитал и возраст, и Леониду тогда показалось, что сестра отдает распоряжения, опираясь на заслуги мужа, а отнюдь не на семейные права. Впрочем, он изо всех сил пытался внушить себе, что судит о Галине предвзято, что она всего лишь самая старшая и поэтому.., и так далее, и так далее, но то были беспочвенные попытки. Слишком уж победоносно выглядела преуспевшая в жизни сестра даже подле материнского гроба. И съежившийся, потерянный отец, которому не на кого было больше скрипеть...

Нет, Дунечка никак не могла приехать, никак. Она вела хозяйство, заботилась об отце, и он, вероятно, тихо скрипел теперь по ее поводу. А Дунечка терпеливо все сносила и улыбалась, как сносила все эти ворчливые въедливо тихие скрипы мама. Нет, Дунечка никак не могла бросить отца, и, значит, Павел явился с Галиной. Чего вдруг, интересно?..

Старшов невесело вздохнул и невесело улыбнулся командиру женской дружины Полине Венедиктовне Соколовой.

— Весьма рад. Просите.

4

Первой стремительно вошла Галина. Она вообще оказалась единственной быстроногой в их довольно медлительной семье, но в тот раз буквально влетела в палату, поскольку была наряжена в широченный медицинский халат, и полы его развевались вокруг ее сухонькой фигурки.

— Поздравляю, Ленечка, от души поздравляю, дорогой мой брат. У тебя — наследница. Варенька разрешилась девочкой, мать и дочь в отменном здоровье, чего желают и папеньке. Наречена Руфиной. Имя не кажется мне естественным, а тем более — русско-естественным в эту тяжелую годину страждущего Отечества нашего..

Она долго еще толковала о несчастной родине и несчастном государе, о счастливом Леониде и счастливой Варваре, о тяжких испытаниях народа и Отечества пред гневом Всевышнего, вдруг за что-то разозлившегося на Россию, словно был он не Богом, а захудалым отставником, обойденным чином и орденом. Леонид слушал сестру вполуха, потому что светло и радостно думал о Вареньке, о Мишке, о дружной семье в Княжом и о крохотном прибавлении этой семьи, названном так вовремя и так прекрасно именем очаровательной хозяйки. Но каким бы рассеянным и обрывочным ни было его внимание, Старшов все же уловил, сколь часто ссылалась Галина в своей болтовне на Павла, когда речь заходила о страданиях Руси и ее отрекшегося императора. Это — запомнилось, потому что неприятно поразило его: как всякий окопник поручик весьма сдержанно относился к монарху и ощутил истинное облегчение, когда Николай Второй наконец-то сложил с себя корону. И поэтому, как только Галина, отговорив, умчалась заседать в какой-то дамский комитет, размышляющий о судьбах родины от трех до пяти по вторникам, он сразу же попытался выяснить у Павла то, что насторожило его:

— Ты, кажется, монархист, Павел?

— Монархист, социалист, анархист. — Брат усмехнулся. — Все эти немецкие «исты» отражают внешнюю суть, а не внутреннюю сущность, Леонид. Это скорее ярлыки для полуграмотной толпы, чем действительное отображение того сложнейшего духовного отчаяния, в котором пребывает сейчас наиболее образованная, думающая и страдающая часть нашего общества.

Павел всегда, еще с детства, сколько помнил его Леонид, говорил чрезвычайно авторитетно. Это был не просто авторитет старшего брата, а некое почти физическое ощущение весомости собственных слов, свойственное натурам либо недалеким, либо не интеллигентным, если понимать под интеллигентностью тот особо совестливый строй внутреннего мира, который, к примеру, заставлял отставного генерала Олексина вновь и вновь разбирать ошибки прошлых сражений, а Руфину Эрастовну считать себя обязанной при всех личных неприятностях и при любой погоде появляться на людях веселой, благожелательной и неизменно радостно оживленной. Павел слишком уж ценил собственные слова, чтобы относиться к брату со всей серьезностью, но Леонид слушал его терпеливо. Отчасти потому, что на него до сей поры действовал абсолют семейного старшинства.

— Вопрос не в том, кто будет править страной: этот вопрос для России не существует, ибо давно уже существует ответ на него, — властно рокотал Павел. — И ты его знаешь: иго. Неважно какое: варяжское или феодальное, татаро-монгольское или княжеское, иго московских великих князей вообще или последнего их представителя Иоанна Грозного, в котором суммировалась вся предшествующая тирания московских Рюриковичей в частности. Важно одно: иго, ибо для Руси оно — существительное, а все прочее оказывается прилагательным...

«Господи, до чего же он похож на Володьку, — думал Леонид. — То же словоблудие, те же чужие мысли. Только Володька Олексин болтает, но не верит, а Павел Старшов верит, хотя и болтает. Он властный и упрямый, а вот по части сомнений обделен. А попугайство без сомнений всегда почему-то выглядит глуповато...» Тут он улыбнулся, а обостренно обидчивый старший брат тотчас же замолчал. И спросил с некоторой настороженностью:

— К чему прикажешь отнести твою усмешку?

— К судьбе, — вздохнул Старшов. — Подумалось, что нас неплохо надули силы небесные, сотворив так много Лаэртов и так мало Гамлетов. Какая несправедливость!

— Оставь гаерство! — резко оборвал Павел. — Россия на краю бездны, а те, от кого зависит ее судьба...

— Я окопник. От меня зависят полторы сотни солдат.

— Россию может спасти только союз офицеров, это способна сообразить твоя окопная голова? Боевые офицеры, связанные честью и сплоченные вокруг твердого и властного вождя.

— А где же его взять, этого твердого и властного, Пашенька?

— Он есть. Лавр Георгиевич Корнилов.

— Ах, Корнилов! — насмешливо подхватил Леонид. — Уж не тот ли это Корнилов, который в пятнадцатом под Перемышлем без боя сдался в плен вместе со всей своей дивизией?

— Как ты смеешь в таком тоне говорить о герое армии?

— Хватит, Павел, иначе мы рискуем рассориться, — вздохнул Старшов. — Я не политик, я ротный командир — и вот вся моя позиция. Я не знаю, чего хочет Лекарев, чего хочешь ты и подобные вам, но зато я точно знаю, чего хочет любой солдат моей роты: мира. И я хочу мира вместе с ним, со всей ротой, со всей армией...

— Понимаю, тебе надоело воевать.

— А что я еще умею делать? Нет, не обо мне речь: воевать надоело моим солдатам, и я хочу мира не для себя. Если бы кто-нибудь серьезно задумался, сколько мы пролили крови. Своей и чужой. Хотел бы когда-нибудь понять, во имя чего столько миллионов здоровых молодых мужчин оторвали от их дел и от их жен. Ты счастливый человек, Паша, тебе все всегда ясно, а мне — ничего и никогда. Лаэрт и Гамлет в вечном поединке.

— Послушай, господин Гамлет, ты видел когда-нибудь, как топят людей? — вдруг почти шепотом спросил Павел, подавшись к бледному худому лицу младшего брата. — Живых людей хватали на улице и, раскачав, бросали с моста в Мойку. Она была еще покрыта льдом, несчастные проламывали его своими спинами, барахтались в ледяной каше, цеплялись за мерзлый гранит, и их били прикладами по головам, им топтали пальцы. А как они кричали. Леня, Ленька, не дай тебе Бог услышать, как они кричали! И как цеплялись раздробленными, окровавленными пальцами...

Павел судорожно всхлипнул, заскрипел зубами. Леонид почувствовал, как на его лицо капают теплые слезы, и испугался: он никогда не видел брата плачущим. Ему и в голову не могло прийти, что его старший брат Павел способен когда-нибудь уронить слезу.

— Паша, что ты? Паша, опомнись...

Он тряс брата за плечи, голова Павла болталась, и слезы сыпались на Леонида еще щедрее.

— Кто топил? Когда? Кого? Тебе приснилось.

— Первого марта сего года матросня топила в Мойке офицеров флота. Господи, как они кричали и как хотели жить! А им топтали сапожищами пальцы, их били по головам прикладами, и черные шинели шли на дно, на дно... Меня схватили тоже, начали раскачивать, но кто-то закричал: «Это же пехота, братва!..» И я кричал: «Я пехота, граждане матросы. Я пехота». Думаешь, я когда-нибудь... Когда-нибудь забуду этот день и свой собственный вопль? Даже прожив тысячу лет, я не смогу забыть пушкинской Мойки, в которой топили мичманов и лейтенантов. Даже прожив тысячу лет...

Леонид торопливо налил воды из стоявшего у изголовья графина, протянул брату. Павел выпил ее залпом, поставил стакан, ладонью отер усы.

— Они перетопят нас всех, Леонид. Запомни мои слова: грядет всеобщая Мойка. — Он вдруг странно усмехнулся. — Когда меня наконец перестали раскачивать, а я понял, что спасен, и перестал униженно вопить, что я пехтура, а не офицер флота российского, знаешь, о чем я подумал? Я подумал, что речка названа так пророчески. Она — мойка, понимаешь? Мойка не потому, что в ней когда-то стирали, а потому, что в ней выстирают саму Россию. Выстирают, отобьют вальками, прополощут, отожмут и повесят. Сушиться. — Он резко поднялся, согнулся почти под прямым углом, коснулся его лба сухими губами и выпрямился. — Прощай, Леня. Желаю, от всей души желаю тебе погибнуть от пули.

— Желаю тебе остаться живым, Паша.

Павел пошел было к выходу, но остановился. Усмехнулся невесело, покачал головой:

— Чтобы повесили сушиться? Нет уж, благодарю.

Поклонился, пошел. Леонид привстал, провожая его глазами, и увидел, что у дверей палаты напряженно ждет Полина Венедиктовна Соколова. Когда Павел поравнялся с нею, она властно остановила его, торжественно перекрестила и протянула руку. А когда Старшов-старший склонился к ее руке, поцеловала его в голову, благословляя.

5

«О, государь и царь мой Леонид!

Я честно исполняю обет, данный перед Богом и людьми: ты дважды папочка, папа в квадрате, если вам так больше нравится, господин учитель. Я старалась вовсю, о, повелитель, и отлила твою вторую модель в варианте прекрасной половины нашего счастья. (Я не очень хвастаюсь? Это только от тоски. Зверею-у!.. И загрызу.) Мы назвали это прелестное существо Руфиной, и Руфина Эрастовна счастлива теперь втройне.

Вот написала я, что она счастлива втройне, а мое бабское (ужас, но у тебя жена — баба, представляешь?), так моя бабская интуиция подсказывает мне, что тетушка — дай ей Бог здоровья на долгие годы! — счастлива трижды — три и еще на три, потому что влюбилась в папеньку, проигравшегося в Маньчжурии и отыгравшегося в Княжом. И я так счастлива за них!

Я страшная сплетница, да? Это ужасно, мой государь, но что же еще делать женщинам, когда мужчины воюют? Кстати, вам еще не надоело это занятие? Нам — да.

Вчера мы тихо сумерничали с Татьяшей. Как в детстве, ей-Боженьки. Знаешь, почему? Потому что мы отважились немного помечтать. Но так как Ваше Величество не подозревает, как именно мечтают женщины, а описать это слово в слово означает окончательно запутать всех мужчин на свете, я прибегну к параграфам, можно? Ну как будто мы еще не за-

кончили в гимназии, а ты еще не блестящий офицер, а тихий народный учитель.

Итак, параграф первый:

о вас, любимые и единственные наши повелители. О доблестном окопнике, вожде и герое и о скромном сельском учителе, без которого моя отважная сестрица уже не представляет себе самой возможности существования. Так вот, мы мечтали, что скоро-скоро закончится война и прочие волнения, и вы в полном здравии вернетесь в наши объятия. О, мужайтесь, любимые и единственные: наученные горьким опытом долгих разлук, мы не выпустим вас за околицу наших истосковавшихся ручек (а я неплохо придумала насчет околицы ручек, правда? Чаще всего женщины несут околесицу, а я — околицу и, значит, я не такая, как те, которые «чаще»). Во всяком случае, мы с Татьяшей определили срок в двадцать лет. Они будут учить сельских ребятишек, мы с тобой... кстати, ты хоть разочек подумал, чем бы нам тут заняться, когда кончится эта бесконечная германская? Может быть, ты откроешь в Княжом конный завод? И я стану женой коннозаводчика, ну почти что моя крестная тетя Варвара Ивановна! Какая волнующая перспектива!.. Ну да разве в этом дело? Мы найдем вам занятия по душе, только поскорее возвращайтесь целыми и невредимыми!

Параграф второй:

о наших детях. О мальчике и двух девочках, которые просто обязаны стать самыми счастливыми детьми на всей земле, потому что у них прелестные мамочки и отважные отцы. Я не знаю, кем станет Мишка: мужчина должен сам выбирать свою дорогу. Мы дадим ему с собою полную котомку чести, доброты, отваги и благородства, а дальше — его дело. А вот что касается наших девочек, то мы, мамы и папы, обязаны заранее обдумать все, чтобы на их жизненном пути встречались лишь лодки на тихом городском пруду.

А знаешь, повелитель, я непременно рожу тебе еще одного ребеночка. Не подумай, что я какая-то там крольчиха: просто Руфина Эрастовна объяснила, что обязанность каждой женщины рожать не менее трех детей, чтобы тем самым покрыть долг тех женщин, которые по каким-либо причинам этого не сделали. Боже мой, видел бы ты при этом ее грустно-веселые слезки! Она — святая грешница, и наш с тобою долг исполнить ее тайное желание, которое и назвать... Как скажешь, так и назовем, но нам важно снять тяжесть с души тетушки Руфиночки, правда? И мы ее снимем! Мы с тобой... Только уцелей, любимый. Только уцелей!

И наконец, параграф третий:

о наших старших.

Я не могу, не хочу и не буду ни называть, ни считать их стариками, потому что они влюблены. Это прекрасно, любимый. Боже, как это прекрасно! У любви нет и не может быть возраста, влюбленные всегда молоды и прекрасны, и мы с Татьяшей от всех наших сердец желаем им счастья. Запоздалого осеннего счастья, когда серебрится иней, золотятся последние листья, а дни летят со скоростью курьерских поездов. Господи, пошли им Золотую Осень!

Вот о чем мы мечтаем с сестричкой в сумерках. Кажется, твоя жена немножко повзрослела, родив второго ангела. Но покою не нажила, ибо ты унес его с собою, этот мой покой. Именем детей заклинаю тебя, любимый мой: хватит с тебя орденов, славы, власти, доблести и геройства. Хватит. Пора подумать о доме своем.

Так вчера заявил твой тесть, а мой отец. А он знает, что говорит, потому что един в четырех лицах: он герой, генерал, влюбленный и возлюбленный. Не завидуй, а приезжай, и я тут же вручу тебе все его прекрасные титулы.

И самый главный параграф:

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.

Да хранит Господь мою великую любовь и отца моих детей.

Сиди в своем окопе и не смей высовываться.

Твоя-а-аа-а!..

Варька — Варенька.

Ох, до чего же я истосковалась. Вся. Каждой клеточкой».

Глава третья

1

Через десять дней после родственного свидания Леонида выписали из госпиталя с предоставлением двухнедельного отпуска. В митингующих окопах и тихих госпитальных палатах Старшов не очень-то ощущал степени начала распада гигантского российского монстра: он понял размах этого распада, этого разложения, лишь очутившись в тылу. Железная дорога — кровеносная система государства — оказалась первой, кто не выдержал злого напора фронта и угрюмого равнодушия тыла.

— Второй класс? — Комендант нервно рассмеялся. — Вот уж полгода, как дорога у нас бесклассовая, господин поручик. В этом пункте мы, так сказать, достигли. Я выдаю билеты господам офицерам согласно предписания, но гарантировать им места не возьмется ныне и сам министр путей сообщения господин Юренев.

Комендант преувеличивал, классные вагоны еще кое-как сохраняли свою элитность, но в целом железнодорожное хозяйство России уже трещало по всем швам. Фронт — пока еще тихо, полулегально, но уже угрюмо и решительно двинулся по домам, переполнив все виды поездов и вагонов. Специальные заградительные отряды вылавливали на станциях дезертиров, но хлебнувшие фронтовой науки окопники спрыгивали на подъездах к станциям с эшелонов и садились в них же на ходу за выходным семафором. Они пока еще не решались захватывать классные вагоны, но и в классных вагонах пассажиров оказывалось куда больше, чем мест, ибо проездные документы выдавались всеми инстанциями, а коли их не было, то и это уже не считалось чем-то исключительным. Порядки трещали, голоса хрипли в матерщине, а руки все чаще хватались за привычные револьверы, правда, еще пока не тыча стволами в физиономии соседей по купе.

— В августе семнадцатого я впервые увидел, что Россия стронулась с места, — вспоминал Дед впоследствии. — Кончились заветные тридцать три года, и Илья Муромец, хрипя и матерясь, начал слезать с привычной печи.

Несмотря на кое-какие остатки порядка, втиснуться в вагон II класса Леониду не удалось: он ослабел после ранения и болезни, а орать, ругаться и хвататься за кобуру еще не научился. Впрочем, он не сумел освоить этого и за все время гражданской, действуя как полный дилетант, но почему-то большей частью успешно. Однако в данном случае шло время. На фронте — в окопах в особенности — оно либо бесконечно тянется, либо замирает вообще, но в отпуске летит с такой скоростью, что каждая секунда отмеряется ударом сердца. Шло отпускное время, отходил поезд, а Старшова, как на грех, только что спихнула с подножки чья-то раскормленная задница в новеньких галифе из явно интендантской диагонали. Следующий поезд на Смоленск отходил только через сутки, и торчать бы поручику эти сутки на захарканном перроне или в еще более захарканном зале ожидания. Уж и кондуктор свистнул, и поезд прогудел, и колеса дрогнули. И вагоны поплыли мимо, но каждая вагонная лестница была так увешана людьми, что невозможно было уцепиться. Уже отчаяние охватывало измотанного ранениями и простудами окопника, когда подплыл вагон I класса. На его ступенях не сидели, на его поручнях не висели: в дверях вместо проводника стоял внушительного вида кубанец с маузером, заткнутым за наборный ремень. Старшов с мольбой посмотрел на него, встретил холодный взгляд, отвернулся со стыдом и горечью, и вдруг сквозь паровозное пыхтенье, скрежет, стук и перронную ругань отчетливо услышал удивленный женский голос:

— Старшов? Леонид Старшов, это вы?

Он вздрогнул, но ответить не успел. Тот же мелодичный женский голос неожиданно приобрел металл, властность и барственную уверенность:

— Слышите, вы, как вас... хорунжий! Помогите поручику подняться.

— Слуш...юс!..

Леонид и опомниться не успел, как могучие руки схватили его, ото-

рвали от земли, сунули в тамбур. Поезд уже набирал скорость, уже все звенело и громыхало; в тамбуре никого не оказалось, кроме кубанца, и Старшов нерешительно прошел в коридор спального вагона, шарахаясь от толчков на выходных стрелках. У окон стояли генералы и полковники, с нескрываемым недоброжелательным изумлением поглядывающие на худого, плохо выбритого и совсем уж скверно одетого окопного офицера. Кажется, кто-то вальяжно тыловой уже начал кривить губы, готовясь к убийственно презрительному вопросу, как приоткрылась дверь купе, и дамская ручка в перчатке властно поманила его. Он вошел, дама тотчас же прикрыла дверь и озорно улыбнулась:

— Все превосходно до смешного!

— Сусанна?..

Но ахнуть Леониду случилось несколько позже: в кресле у окна, прикрывшись газетой, сидел мужчина в партикулярном платье. Он опустил газету и лихо подмигнул поручику.

— Барон?!

— Никаких баронов, Старшов,— приглушенно и деловито зашептала Сусанна, плотно прикрыв дверь купе.— Перед вами — управляющий Екатеринодарского коммерческого банка, следующий вместе с супругой и личным охранником...

— Сусанна,— фон-Гроссе недовольно вздохнул,— с твоей болтовней мы очень быстро угодим под военно-полевой суд.

— Сам Бог нам послал Старшова!

— Без эмоций, дорогая, без эмоций. Какой партии ты сочувствуешь, Старшов?

— Окопной,— неприветливо огрызнулся Леонид и сел.— В конце концов что происходит? Сусанна, спасибо ей, втаскивает кубанскими руками меня в поезд, здесь я встречаюсь с тобой и перестаю что-либо понимать. Ты вышел в отставку? Какой банк, какой охранник?..

— Мы были на твоей свадьбе, Старшов,— полуукоризненно-полуумоляюще зашептала вдруг Сусанна.— Неужели ты способен забыть?..

— Я напомнил об этом еще одному свидетелю собственной свадьбы, а в ответ получил такой удар в морду, что очнулся в лазарете,— проворчал поручик.— Хватит воспоминаний, вопросы задаю я. Как вы здесь оказались, бывший офицер фон-Гроссе? Первый класс, охранник, коньяк, ароматная женщина, а дураки вшивеют за вас в грязных окопах? И пусть себе вшивеют, пусть дохнут, пусть...

— На этом перегоне — чуть раньше, чуть позже — меня арестуют и по всей вероятности расстреляют.

— Боишься заградотрядов, дезертир?

— Они ищут не столько меня, сколько партийную кассу,— по-прежнему негромко и очень спокойно говорил барон.— Если тебя и вправду послал нам сам Господь Бог, спаси эти деньги. Я не люблю просить, но сейчас прошу. Не за себя, не за Сусанну, а только ради общего дела. Есть шанс, и ты должен, должен помочь нам, а не им.

— Я не собираюсь спасать никаких партийных касс.

— А если эта касса спасет Сусанну?

— От кого? Я ничего не понимаю,— Леонид еще сопротивлялся, но властный напор барона невольно будил инстинкт офицерского беспрекословного подчинения.— Я не собираюсь играть в ваши партийные игры, Гроссе.

— Можешь наплевать на меня, но спаси Сусанну, и я отвечу тебе со временем на все вопросы. Если, конечно, выпутаюсь с твоей помощью из этой неприятности. Сусанна, отдай Старшову квитанцию.

— Но вам придется выйти, господа,— зарозовев, сказала она.

— Мы отвернемся.

Бывшие сокурсники и друзья повернулись спиной. В окне Леонид видел смутное ускользающее видение: Сусанна, подняв юбки, с остервенением рвала кружевную отделку панталон. Он понимал, что подглядывать некрасиво и нечестно, но не мог отвести глаз долее, чем на мгновение; потом они поднимались словно бы сами собой и вновь с животным любопытством разглядывали ноги молодой женщины, ее кружевные панталончики, чулки, оборки юбок... Он слишком долго торчал в окопах и госпиталях, он до галлюцинаций истосковался по самым простым приметам запретной женственности...

— ...Богоявленский переулок, три...

— Что? Извини, задумался.

— Квитанцию передашь...

Господи, наконец-то Сусанна оторвала оборку и опустила юбки! Леонид вздохнул и обрел способность слушать, что отрывисто шепчет ему фон-Гроссе. А барон взял у жены батистовый лоскут, внутри которого чувствовалась зашитая бумажка, и сунул ему:

— Спрячь как следует, и упаси тебя Бог потерять ее. Упаси тебя Бог, ты понял? Сойдешь в Витебске...

— Какого дьявола! Я еду в Смоленск к Варе и детям...

— Сойдешь в Витебске. Богоявленский, три. Филькевич Давид Моисеевич. Отдашь эту квитанцию ему в собственные руки. Пароля нет, но ты узнаешь Давида сразу: жандармы выбили ему глаз в пятом году, и он похож на штурмана Билли Бонса из «Острова сокровищ».

Почему-то детское напоминание о Стивенсоне, оказавшееся портретным паролем, подействовало на Леонида очень убедительно. Он послушно взял комочек легкой ткани, еще хранившей, как ему казалось, тепло женского тела.

— Что делать потом?

— Ехать к жене и детям.— Фон-Гроссе говорил все отрывистее и суровее, внутренне все время к чему-то прислушиваясь.— А сейчас Сусанна устроит скандал, и тебя с позором вытолкают в другой вагон. Постарайся сыграть возмущение, но главное, постарайся как можно подальше уйти от нашего вагона и нас. Благодарим, прости и прощай.— Барон торопливо обнял Леонида и тут же отстранился.— Сусанна, зови на помощь.

— Хорунжий! — улыбнувшись Старшову, тут же истерически заорала Сусанна.— Поручик, извольте спрятать свои ручищи и немедленно покинуть наше купе! Господа, господа, умоляю, помогите же нам унять этого наглеца! Хорунжий! Хорунжий!..

Раздались топот, возгласы, звон шпор и шашек. Двери купе распахнулись, в проеме показался огромный кубанец с маузером за наборным ремешком. А за ним кто-то уже теснился в коридоре, кто-то о чем-то говорил, слышался далекий встревоженный голос:

— Господа, посторонитесь, Господа! Позвольте же, наконец, господа!..

— Уберите этого наглеца! — со слезами выкрикнула Сусанна.— Я умоляю! Влез без билета в чужое купе и нагло требует...

Она не нашлась, что именно может требовать поручик, замялась, подмигнула, закрылась платочком и зарыдала. Но никаких пояснений и не потребовалось: хорунжий весьма решительно, а главное, быстро поволок поручика к выходу.

— Господа, дозвольте пройтить. Дозвольте пройтить!

Леонид не успел опомниться, как оказался в тамбуре. Услужливый проводник отпер закрытые на замок двери перехода, хорунжий лично перевел Леонида в соседний вагон, сжал плечо и негромко шепнул:

— Уходите через вагон. Я задержу.

И пошел назад, а поручик начал энергично продираться сквозь плотно набитый вагон II класса к противоположному тамбуру.

— Из-за этого чертова барона с его партийной кассой я потерял двое суток из пятнадцати дней отпуска,— Дед раздражался по этому поводу и добрых полвека спустя.— Правда, я не знал тогда, что эти эсеровские деньги «экспроприированы», как они выражались всегда, а попросту говоря, взяты в губернском банке с помощью нахальства, трех гранат и четырех револьверов. И хотя все сошло — я нашел господина Филькевича и передал ему багажную квитанцию,— я долго не мог простить беспардонного барона. И за два потерянных дня, и за то, что он втянул меня в партийные дела, хотя я изо всех сил стремился остаться нейтральным. Я не определил еще позиции, но уж кто-кто, а эсеры-боевики меня никак не устраивали при всей их отваге.

2

— Значит, ты совершил неприятное и даже опасное путешествие из Петербурга... Извини, из Петрограда в Москву только затем, чтобы потребовать у меня денег?

Федор Иванович Олексин, ссутулившись, сидел за кокетливым столиком дамского кабинета, в котором давно уже единовластно вершила миллионные дела его старшая сестра. Перегруженная семейными хлопотами и безденежьем молодость не прошла даром, уродливо отразившись в игривой роскоши под старость. От этой весьма искусной, но и весьма крикливой роскоши ломился особняк с садом, выездом, новомодным авто и новомодным шофером в коже от краг до кепи. А внутри — болезненно утонченное рококо, среди которого и металась сейчас сама вдовая миллионщица Варвара Ивановна Хомякова.

— Просить пятьсот тысяч, как кухарка полтинник на зелень!

— У тебя весьма удобная позиция, — хмуро заметил потрепанный последними событиями куда больше, чем прожитыми годами, сановник. — Ты дама и хозяйка, я мужчина и проситель: согласись, трудно вести деловой разговор на такой основе. Был бы жив твой муж, а мой друг Роман Трифонович, мы, я убежден, давно пришли бы к соглашению, оценив обоюдную выгоду.

— Выгоду? — со странным презрением переспросила Варвара Ивановна, остановившись перед братом. — Ты являешься ко мне без всякого предупреждения и начинаешь родственный разговор с требованием тебе ни много, ни мало — ровнехонько миллион. Затем, опомнившись...

— Извини, сестра.

— Опомнившись, ты соглашаешься на половину, но под какое обеспечение? Под какое обеспечение ты требуешь полмиллиона? Под тройку битых генералов?

— Хватит! — неожиданно резко выкрикнул Федор Иванович, ударив ладонью по тонконогому столику.

Столик выдержал, сестра замолчала, но Олексин не спешил воспользоваться паузой, озадаченный то ли крепостью утонченной мебели, то ли внезапным послушанием сестры. Исподлобья поглядывая на нее, он продолжал машинально поглаживать столик, словно прося у него прощения.

— Россия катится в пропасть, а мы торгуемся как на рынке.

— Россия — не карета, — тихо сказала Хомякова. — Это мы катимся в пропасть, а Россия стоит, как стояла тысячу лет. Именно поэтому я не дам ни копейки ни под какие авантюры.

— Не дашь? Не дашь, так они, — Федор Иванович внушительно потряс пальцем в направлении огромного окна, наглухо зашторенного не в связи с временем суток, а в связи с событиями времени, — они отнимут без спроса. Все отнимут! Вот-вот новая пугачевщина сотрясет отчизну нашу, а мы будем сидеть по щелям своим. Мы же веками приучены лишь говорить слова о безумной любви к святой Руси, но при этом ни под каким видом не вылезать из своей персональной норки! Но дом спалят, Варвара, спалят с пением «Интернационала» или «Марсельезы», и мы сгорим вместе с ним!

— Не кричи, — поморщилась Варвара Ивановна. — У тебя всегда был неприятный тембр, а в старости ты приобрел пронзительный фальцет. Он режет слух.

— Тебе режет слух голос? — вкрадчиво и вроде бы даже пряча ироническую улыбку в седые усы, спросил Федор Иванович. — А правда? Правда тебя не резанет, сестра моя дорогая?

— Оставим пустой разговор, — Варвара Ивановна протянула руку к звонку. — Я распоряжусь, чтобы накрыли в...

— Обожди, — Олексин задержал ее руку. — Ты успеешь распорядиться, и мы перекусим по-родственному, но сначалв несколько вопросов. Не для читающей публики — ей сейчас не до этого! Для твоих сыновей. Им будет очень любопытно узнать, какой смертью и где именно умер их отец, русский миллионер Роман Трифонович Хомяков.

— Ты не оригиналеи. — Губы Варвары Ивановны непроизвольно дрогнули. — В свое время этим усиленно интересовались газеты.

— А ты всем заткнула рты. И поэтому никто и не узнал, что Роман Трифонович закончил дни свои в сумасшедшем доме, признанный недееспособным...

— Увы, это соответствует действительности.

— И умер смертью настолько своевременной, что тебе пришлось выложить солидный куш особо любознательным газетчикам.

— Не следует повторять их наветов, дорогой брат, — почти ласково улыбнулась Варвара Ивановна. — Как твоя печень? Надеюсь, она позволит своему хозяину выпить рюмку доброго старого вина.

— Покойный Роман Трифонович трижды переводил очень крупные суммы в Швейцарию, где их получателями неизменно оказывались русские эмигранты социал-демократического толка, — невозмутимо продолжал Олексин. — Тебе угодно копии сих переводов и банковских счетов? Тебе угодно ознакомиться с доказательствами, что на эти средства издавалась пресловутая большевистская «Искра»? Тебе угодно получить копию письма Максима Горького, в котором известный наш писатель просит Романа Трифоновича срочно перевести в Лозанну полмиллиона, то есть ровнехонько столько, сколько просим у тебя мы, патриоты, не для подрывной деятельности против отечества, а во имя спасения этого отечества? Тебе угодно ознакомиться с донесением филеров? Да, архивы Охранного отделения сгорели как в Петрограде, так и в Москве, но ты рано возрадовалась: военная разведка успела затребовать копии.

— Не твой ли сын оказался столь предусмотрительным?

— По долгу службы, дорогая сестра. — Федор Иванович с достоинством склонил порядком облысевшую голову. — Необходимость борьбы с германскими шпионами заставила военные власти создать специальную комиссию. Это случилось тотчас после скандала с Сухомлиновым, задолго до того, как сгорели архивы в обеих столицах.

— Вот уж никогда не думала, что родной брат станет меня шантажировать, — невесело усмехнулась Варвара Ивановна. — Использовать доброе имя своего благодетеля, не дрогнуть пред трагическим завершением его честного жизненного пути — что же, весьма закономерный поступок для человека, выгнанного за смутьянства из университета и кончившего любимцем двух государей. Двух Александров, и это при том, что Александр Александрович демонстративно предпочитал русские бороды европейским бакенбардам. Поразительно, не правда ли, братец?

И она тоже хлопнула ладонью по кокетливому столику, хотя и не с той экспансивностью. Она всегда была не только разумнее, но и сдержаннее брата, и, хотя Федор Иванович многому научился при дворе, Варвара Хомякова тоже не теряла времени, и сейчас ее природное хладнокровие явно превосходило заученную невозмутимость старого сановника. А хлопнув и как бы поставив этим некую точку в их разговоре, встала и молча вышла из личного, такого изломанно-дамского кабинета. «Что-то она мне припасла», — подумал Олексин, но додумать ничего не успел, так как в кабинет без стука вошел затянутый в кожу весьма плечистый молодец, в котором Федор Иванович без труда узнал личного шофера миллионерши.

3

Кожаный шофер молча уселся на стул возле дверей, скрестил на груди руки в крагах и столь же молчаливо уставился на Олексина странно бесцветными и ровно ничего не выражающими глазами. Федор Иванович непроизвольно улыбнулся, но улыбка поневоле вышла заискивающей. «Вздор, — с неудовольствием подумал он. — Волнуюсь, что ли? Но почему я волнуюсь, почему? Потому что Варвара упомянула о благосклонности государя Александра Третьего? Да, она помянула. Помянула, но это же простое совпадение, и как, как можно что-либо доказать? Как?..»

Он не успел додумать своих сумбурных мыслей, как вернулась сестра. В руках она несла дамский деловой портфель из крокодиловой кожи, и, может быть, поэтому Федор Иванович все время чувствовал кожу, несмотря на то, что бесцветный шофер тотчас же удалился. А Олексина мутило от запаха, хотя разумом он понимал, что виною тому не дорогой портфель, а его возможное содержимое. Но сестра не торопилась: поло-

жила портфель, достала ящичек с тонкими и длинными голландскими сигарами, закурила сама, предложила брату.

— Кто бы мог подумать, что наша Варя начнет курить,— вздохнул он, и опять что-то заискивающее прозвучало в его голосе. «Чего я опасаюсь? — подумал он.— Чего, чего? И зачем она тянет? Это же бесчеловечно так тянуть, это же пытка, садизм какой-то...» И добавил: — А я, представь себе, бросил. Да-да. Врачи уверяют, что это весьма отрицательно сказывается на печени.

— Все исчезает,— вдруг вздохнула Варвара Ивановна, словно не слыша его.— Помнишь, наш отец любил говорить, что смена эпох — это смена знамен? А мне думается, что любая смена есть исчезновение. Исчезли тяжелые золотые империалы, удобные кареты, вышколенная прислуга, хорошие вина, хорошие сигары. Родственные связи заменяются деловыми или партийными, братья начинают шантажировать сестер, и о чувстве благодарности, о верности, любви, преданности долгу, чести и достоинстве наши внуки узнают только из старых романов. Как печально все это, Федор, как печально.

Федор Иванович настороженно молчал, пытаясь сообразить, какую именно мину подводят под прикрытием скорбных вздохов по старым временам. В том что копают яму, он не сомневался, но не решался признаться даже самому себе, что может оказаться этой ямой. «Не надо показывать ей беспокойства,— со страхом думалось ему.— Я безгрешен, безгрешен, ей не в чем меня обвинить, не в чем...» И вздохнул старательно выверенным вздохом:

— Да, сестра, уходит благородство. Сколь часто вспоминаю я в старости нашего батюшку, рыцарственного Володеньку, безрассудного Гавриила, отважного Георгия...

— И на каждого у тебя находятся прилагательные,— усмехнулась Варвара Ивановна.— Любопытно, какое прилагательное ты приготовил для генерала Скобелева?

— Скобелева? — Как ни старался Федор Иванович, а голос чуть дрогнул.— Не понимаю, причем тут?.. Я вспоминаю о родственниках.

— А разве ты не объявлял во всеуслышание, что Михаил Дмитриевич тебе больше, чем родственник? Было, было с тобой такое, Федор, и в Софии было, и в Москве, и в Петербурге. После первого марта и гибели государя Александра Второго ты, конечно, пожалел, что столь часто и столь громогласно объяснялся в любви и преданности Белому Генералу, но ты ведь всегда был глуповат, братец.

— Варвара! — напыщенно начал Олексин, сделав нечто вроде попытки гордо встать со стула.— Ты оскорбляешь брата, не только нарушая законы родства, но и законы гостеприимства.

— Полноте,— Варвара Ивановна пренебрежительно отмахнулась.— Сколько слов и сколько фальши! А ведь в молодые годы ты был искренен. Не умен, но искренен. Шумел, ниспровергал, в народ бегал. А потом прилепился к Скобелеву и...— Она грустно усмехнулась.— Покойный Роман Трифонович не уставал удивляться твоему превращению в дельного, распорядительного и смелого порученца. Но войны кончаются, а тут тебя вдруг представляют государю. И государь Александр Николаевич — уже поизносившийся, уже тронутый умишком — с удовольствием слушает твои россказни. Говорят, не без таланта и не без юмора сочинял, что и позволило тебе стать добровольным шутом при дворе.

— Как... как ты можешь? — На сей раз Федор Иванович, кажется, расстроился и в самом деле.— Я... я участвовал в боях, в штурме Денгильтепе, где был ранен. Ранен и награжден Владимиром с мечами...

— И опять — Скобелев,— вздохнула Варвара Ивановна.— Да, ты вернулся героем, государь вновь приблизил тебя, а ты вновь начал развлекать меркнувший ум его рассказиками. И дорассказывался до полковничьего чина. На тебя сыпались милости, а против государя начинялись бомбы. И первого марта восемьдесят первого года поляк Гриневицкий взорвал не только государя Александра Николаевича, но и твою карьеру. Новый царь Александр Александрович не жаловал шутов своего отца: тебя отлучили от двора, предписав служить в первопрестольной.

— Ну и что? Что с того? Не понимаю.

Федор Иванович переспросил быстро и нервно. Руки его заметно начали дрожать; он схватил сигару и прикурил ее для того, чтобы скрыть это предательское подрагивание старческих пальцев.

— Доктора уверяют, что курение вредит твоей печени.

— Что? — Олексин вздрогнул и отложил сигару.— Да, меня выставили в неверном свете. И я уехал. И... и честно служил, где повелели мне...

— Ну зачем же так скромно? За то, что человек честно служит, его не возвращают ко двору и уж тем паче не жалуют генеральскими погонами.

— Я не понимаю. Не понимаю твоего сарказма. Не понимаю.

Федор Иванович начал вдруг суетиться. Суетливо перебирал пальцами, суетливо потирал руки, суетливо говорил, дергался, даже поглядывал суетливо забегавшими глазками.

— Не понимаю...

Он панически боялся, что сестра заметит его смятение и страх, но скрыть эту боязнь, эту панику уже не мог. И бормотал, и суетился.

— А ведь Скобелев любил тебя, Федор. Он был доверчив, как ребенок.

— Была! — вдруг закричал Олексин, вскочив.— Была клевета, будто Скобелева отравили, была! И меня пытались опорочить, замарать пытались этой гнусностью, ложью этой. Но ведь ложь и есть ложь. Ложь, навет. Навет!

— Сядь,— спокойно сказала Варвара Ивановна.— Я знаю, что это навет: ты не подсыпал яду в бокал Скобелеву двадцать пятого июня тысяча восемьсот восемьдесят второго года, но Михаил Дмитриевич тем не менее умер. Умер, не дожив до сорокалетия, совсем как наша мама. Тебе не снится это странное совпадение?

— Но я же не... Ты же сама сказала.

— Ты — «не», это верно. Но ты — «да», и это тоже верно.

— Что — «да»? Что? Что значит? Это... это доказать надо, доказать!

— Доказать? — Варвара Ивановна провела рукой по крокодиловой коже, и Олексин сразу примолк и словно бы съежился.— Ты не учел, что у Михаила Дмитриевича Скобелева был настоящий друг, которого зовут Алексеем Николаевичем Куропаткиным. Вместе с покойным мужем моим Романом Трифоновичем они собрали показания всех участников той роковой оргии. От адъютантов генерал-губернатора князя Долгорукова и обер-полицмейстера генерал-лейтенанта Козлова до мадам в известном заведении и ее перепуганных девиц.

— Глупость какая-то. Чушь. Нонсенс!

— Кто мог подумать, что у бесстрашного Белого Генерала больное, изношенное боями, попойками и женщинами сердце? Он ведь никому не жаловался, и об этом знали только очень близкие: Млынов, Куропаткин, личный врач и ты. Но в Москве в тот роковой день не было ни Млынова, ни доктора, ни Куропаткина, а был полковник Олексин. Единственный человек, отлично знавший, что Михаилу Дмитриевичу категорически запрещено пить.

— Ты что, Варенька, Скобелева не знала? — неожиданно улыбнулся Федор Иванович.— Он государя не слушал, не то что меня. Государя!

— Какого именно, Феденька? Александра Николаевича или Александра Александровича? Между ними разница не только в том, что один — отец, а другой — сын: один любил Скобелева, а другой ему завидовал и его ненавидел. Особенно после выступления Михаила Дмитриевича в офицерском собрании в том роковом восемьдесят втором. И ты прекрасно был осведомлен об этом.

— О чем, о чем? Что далее?

— А далее просто. В июне Скобелев приезжает в Москву для инспектирования двух армейских корпусов, и ты — ты, лично! — приглашаешь его после утомительного смотра в «Славянский базар». И там тоже лично подливаешь и подливаешь в генеральскую чарку, пока не удостоверяешься, что твой гость...

— Он был гостем офицеров,— перебил Федор Иванович.— Офицеров...

— ...что твой гость, как говорится, уж под шафе весьма изрядно. И в таком состоянии он и вправду никогда и никого не слушал: ты и это учел, не правда ли? И тогда... Кто тогда предложил поехать в номера к девочкам?

Федор Иванович угрюмо молчал. Помолчала и Хомякова, горестно покачав головой.

— У него было очень усталое сердце. И оно не выдержало: вскоре после полуночи из номера, в котором расположился Михаил Дмитриевич, с отчаянным криком выбежала девица в чем мать родила.

— Вот тут ты абсолютно права, — вздохнул Олексин. — До сей поры крик ее слышу: «Генерал умер!» А что касается остального...

— На днях я уезжаю в Париж через Швецию: разрешения, паспорта, визы обошлись мне весьма недешево. — Варвара Ивановна встала. — На память я дарю тебе этот портфель: там находится то, чего ты так боишься. Естественно, это копии показаний офицеров, мадам, девиц и прочих свидетелей. Копии. Но если ты когда-либо смутишь покой моих сыновей, я обнародую оригиналы во всех цивилизованных государствах, и тогда тебя не спасут ни Корнилов, ни Краснов, ни даже сам отрекшийся от нас государь. Надеюсь, ты поймешь это, ознакомившись с содержимым портфеля. А за сим — прощай, братец. По всей вероятности, навсегда.

Варвара Ивановна коротко кивнула и вышла из комнаты, с отцовской горделивостью откинув седую голову.

4

— Если бы человеку дано было знать будущее, рухнула бы всякая цивилизация, — рассуждал Дед, прогуливаясь по госпитальному саду за восемь часов до смерти. — Незнание будущего — самая великая мудрость мира и наивысшая милость природы.

Был теплый майский вечер, рядом шагал любимый сын, и Дед точно знал, что не увидит завтрашнего солнца. Но он не боялся смерти не философски, а физически: его столько раз убивали, что инстинкт в нем уже порядком поизносился. А кроме того, ему просто надоело страдать от мучительной нехватки воздуха, и германские бурые газы все чаще снились по ночам.

— Я стал вспоминать раннюю осень семнадцатого и свой последний офицерский отпуск по ранению. Армия расползалась, как гнилое интендантское сукно, еды не было, мануфактуры не было, все митинговали, и никто не работал. А я и твоя матушка были счастливы во время всеобщего краха. И представить не могли да и не желали представлять, что дни России сочтены и что ей суждено погибнуть в век собственного тысячелетия. Правда, старшие что-то там толковали по этому поводу. Я имею в виду твоего деда и его родственников. А мы с Варенькой были счастливы, как никогда более...

В знакомом доме, до которого поручик Старшов добирался с дурацкой пересадкой в Витебске, его встретил криво улыбающийся Василий Парамонович. По всей вероятности, он порядком устал от причуд жены, полуразобранного дома, жизни в гостях и неразберихи в государстве.

— Сбежали? Или по закону?

— На первое все же бегство поставили? За что же мне такая раскладка?

— А ныне оно на первом, бегство-то. И ныне, и присно.

Измотанный болезнью, ранением и дорогой фронтовик хотел было пустить родственничка по-окопному, но вошла Ольга. Она искренне обрадовалась Леониду, тепло расцеловалась, но тут же заметила:

— Варвара в Княжом, Леонид. К нам и носа не кажет. Что на обед, как распорядиться?

— Извозчика.

— Но как же без...

— Я достану, достану! — торопливо и радостно встрепенулся Кучнов, но Ольга так глянула, что он тут же спохватился. — После обеда, конечно, после обеда. По-родственному, как водится.

Он и впрямь расстарался: добыл извозчика с деревяшкой вместо ноги, но с доброй лошадью, сам оплатил прогон в оба конца («Мы понимаем, тоже патриоты»). Старшов спорить не стал; сухо попрощался, взгромоздился на пролетку.

— С фронту? — спросил извозчик, когда выехали за Молоховские ворота.

— Ты, я вижу, тоже оттуда?

— Оттудова, — вздохнул мужик. — И выходит, ваше благородие, мы с тобой вроде как земляки. Ай нет?

— Вроде.

Некоторое время ехали молча. Лошадь бодро постукивала новенькими подковами по крупному булыжнику, беззвучно покачивало хорошо подогнанную и смазанную коляску. Старшов уже начал подремывать, когда инвалид сказал, не оборачиваясь:

— А земляк земляка больнее бьет. Завсегда больнее и обиднее. Ну чего чужого-то трогать, верно говорю, ваше благородие? Вот землячку по сопатке вдарить — это тебе удовольствие.

— Ты никак меня по сопатке намереваешься?

— Никак нет, — очень просто и мирно отрекся извозчик. — На тебе вона кавалерских знаков да крестов, что в часовне, а чин небольшой. Ротный, поди?

— Ротный.

— Значит, кровушку лил вроде нас. Стало быть, свой и есть. Ай нет?

Разговор топтался на месте, а таких разговоров Старшов наслушался вдоволь и не любил их. Подобной болтовней постоянно занимались солдаты: толкли воду в ступе, бесконечно обсуждая нечто, понятное Леониду с первой фразы. И поэтому он спросил:

— Ногу где потерял?

— А нога моя нас с тобою везет! — неожиданно захохотал мужик. — Ранило-то меня в пятнадцатом, летом, а кость, поверишь ли, не тронуло. Пополз я, стало быть, подальше, а тут стонет кто-то. И вроде как под землей. Ну тогда, прямо скажу, Бога мы еще не позабыли, и стал я копать. Из меня кровища текет, а я, знай, копаю да копаю. И выкопал поручика вроде тебя: он в беспамятстве стонал, землей засыпанный. И доволок его я до санитаров. Человека спас, а ногу потерял: оттяпали мне ее, значит. А вскорости мне крест, значит, георгиевский, лучший госпиталь, почет да уход. Ну и опосля является ко мне натуральный генерал. Спасибо, мол, братец, ты мне единственного сына спас. Ничего, мол, за него не пожалею. Ну, а какой мне резон в деревню возвертаться, какой я есть теперь работник без ноги? Прикинул я и говорю: давай, мол, ваше превосходительство, на лошадке да пролетке сойдемся. И сошлись. Умно поступил ай нет?

— Умно.

— Теперь такое времечко наступает, что тем, которые чего неумно, тем полный будет карачун. Это ты, ваше благородие, прими как мой совет за боевые твои страдания. Из шкуры вас вымать начнем вскорости, из шкуры, да. А это больно, до невозможности. И ты, как есть натуральный окопник, должон теперь всегда умно поступать.

— Веселый у нас с тобой разговор, — усмехнулся Леонид.

— На войне что хорошо? — точно не слыша его, продолжал инвалид. — Хоть годок всего повоевал я, а понял, что уж больно свободно, и все, что душа думает, исполнить можно. Дисциплина, скажешь? Так то слово одно, так, для начальства. Ведь, скажу, до того только во сне видел, будто бабу, какую хошь, мну да за груди хватаю. А на фронте — все бабы твои, только не зевай. Грех на фронте зевать.

— И ты, следовательно, не зевал?

— И зевать не буду, — вновь с плохо скрытой угрозой отозвался мужик. — Привычка, ваше благородие, она дело великое. Я теперь хорошо привык — ни своего, ни чужого страху боле не чую. Вот еще только детишек не убивал. Однако думаю, что и к этому привыкнуть можно.

— Сделай милость, помолчи, — резко сказал поручик. — Я три ночи толком не спал, дай подремать.

— А дреми себе в спокое. Дреми. Я понятие такое имею, что ежели кто уморился, так зачем же ему мешать? Дреми.

Леонид прикрыл глаза, надвинул на лоб фуражку, больше всего боясь и вправду задремать. Он уже отвык от покоя, мечтал обрести его в тылу, но до осуществления мирной сей мечты было пока далековато. Притерпевшись к провокационному хамству на фронте, поручик не был готов к встрече с ним и в тылу, не знал, как вести себя и на всякий случай, ворочаясь на заднем сиденье, привалился к левому бортику и незаметно расстегнул клапан кобуры. «Говорливый,—с неприязнью думал он.—С таким только размечтайся: собственной деревянной ногой пристукнет, свалит под обрыв и даже землей не присыпет»...

А мечтать хотелось. Хотелось спать и мечтать: повозку убаюкивающе раскачивало на мягких рессорах, мирно поскрипывали колеса да всхрапывала лошадь, и если со сном он привык бороться на равных, то с мечтами это не получалось. Они одолевали его, жаркие губы Вареньки ощущались почти физически, и голова поручика каждое мгновение рисковала оторваться от грешной земли...

— Боисси?

Извозчик резко повернулся на козлах и засмеялся. Смех его был мелким, дребезжащим, вымученным: стращал он им исхудалого офицера. Просто так стращал, для удовольствия: Леонид как-то вдруг осознал это и разозлился.

— Я вот сейчас пальну тебе в затылок, свалю под куст—и кто нас видел? Время темное, а лошадка мне пригодится.

— Но-но, барин...

— Ты же мужик сообразительный и знаешь, как с окопником шутки шутить.

— Да ты не серчай, не серчай, я ведь без злобства. Ну не хошь, не буду. Но, проклятущая!..

«Они уже шутят с нами, когда хотят,—невесело размышлял поручик, подскакивая на пружинах.—Пока у нас оружие, шутки кончаются по команде, а что будет, когда у них под армяком наган окажется? Кто тогда будет командовать, а кто—шутить изо всех сил? А оружия у этого отродья—миллионы наганов с винтовками. И когда они отвыкнут нас бояться, тогда... Тогда новая пугачевщина. Павел прав. В крови умоют... Утопят, а не умоют. Утопят, как котят...»

Как Старшов ни крепился, как ни опасался злого мужика с деревянной ногой, усталость, болезнь и ранение сломили все его старания. Он так и не заметил, что задремал, а наоборот, убежден был, что не спит ни в полглаза, и даже гордился, какой он волевой человек. А на самом-то деле ему просто и ясно снилось, что он не спит, что бодрствует и даже ведет настороженную беседу с подозрительным возницей...

— Эй, ваше благородие, кресты свои проспишь!

— Я не сплю,—старательным голосом сказал Леонид, соображая, миновал он грань между дремотой и явью или все ему только снится.—За церковью налево...

— Какой тебе лево-право, когда во двор уже въехали.

Старшов окончательно проснулся, привстал на убаюкавших его пружинах и увидел, как от веранды через цветник к переднему двору стремительно летит что-то, белое, родное, юное в развевающихся легких одеждах.

— Приехал! Он приехал, приехал, приехал!..

5

В те десять дней поручик Старшов понял то, что осталось с ним на всю жизнь: счастье—это когда нет войны. Нет войны и смерти, нет грязи и вшей, нет прокисшего запаха вечно сырой шинели, трупного смрада, нечеловеческой усталости и звериной тоски.

— Варенька, прости. Я разучился быть нежным.

— Разве просят прощения за счастье чувствовать себя женщиной? Глупый.

— Я одичал в окопах.

— А я—без тебя. Боже мой, как хорошо жить!

Утро начиналось с обеда, хотя они почти не спали все эти сумасшедшие ночи. Просто не было сил оторваться друг от друга, и было чувство, что оторвут насильно. Что все это царство любви, нежности и невероятного счастья неминуемо окончится навсегда, как только они разомкнут объятия.

— Боже, ты только что из госпиталя, а я так мучаю тебя. Я бессовестная эгоистка, да?

— Ты любимая эгоистка. И, пожалуйста, оставайся такой всегда.

К обеду выходили из спальни: в эти несколько ночей Варенька не тратила драгоценного времени даже на детей, полностью доверив их Руфине Эрастовне («бабушке»). Появлялись безмерно усталыми и безмерно счастливыми, с одинаково глуповато смущенными улыбками. Варя, розовея, прятала глаза, а Старшов изо всех сил петушился и лихо подкручивал рыжеватые усы. А после обеда они опять спешили уединиться, и поэтому серьезных разговоров просто не могло быть. Генерал сердито покашливал, но в глазах его уже не исчезал озорной блеск.

— Друг мой, если бы вы знали, как вам к лицу чужое счастье! искренне порадовалась за него хозяйка.

— Счастье—не шляпка, сударыня,—с некоторым смущением ответствовал Николай Иванович.

— Счастье — это ваш маршальский жезл, мой генерал.

Отношения между Руфиной Эрастовной и ее управляющим балансировали на лезвии ножа. Оба не просто понимали это: их с такой силой тянуло друг к другу, что лишь извечный генеральский страх оказаться в смешном положении удерживал на грани.

— Ты боишься Руфины Эрастовны?—спросила как-то весьма наблюдательная Татьяна.

— Никого я не боюсь!—буркнул генерал. И, старательно отведя взгляд, с некоторым смущением пояснил:—Влюбиться в очаровательную женщину естественно и понятно, но влюбиться в бабушку...

Татьяна расхохоталась и больше не задавала вопросов. Зато с той поры Николай Иванович чувствовал себя так, будто был нафарширован вопросами до отказа.

«Любопытно, что накануне дней гнева и ярости в Княжом безраздельно господствовали дни нежности и любви,—как-то заметил Дед.—Случайно? Не убежден. Может быть, нашей плоти свойственно животное предчувствие грядущего?. Правда, в эту идиллию как-то уж очень поспешно вторглась суровая действительность».

Окружающая действительность вторглась ранним утром четвертого дня отпуска решительным стуком в дверь. Варенька еще спала, утомленно разметав по подушке пышные черные волосы: Леонид осторожно перебрался через нее, босиком прокрался к двери.

— Кто?

— Выйди,—строго сказал Николай Иванович.—Серьезные новости.

Старшов поспешно оделся, тщетно пытаясь сообразить, какие новости могли встревожить безмятежную жизнь генерала. Ничего не сообразив, сунул тем не менее револьвер в карман халата—время обязывало—и вышел в гостиную. В креслах сидел высокий костлявый старик с длинным лошадиным лицом, а генерал в халате с игривыми кистями озабоченно маршировал вокруг стола.

— Мой брат Иван.—Он ткнул в старика.—Мой зять поручик Старшов.

Леонид поклонился. Он был хорошо наслышан об Иване Ивановиче, которого очень любили Варя и Татьяша, о Высоком, где они провели детство.

— Вот, потревожил.— Иван Иванович встал, виновато развел руками и смущенно улыбнулся.

— Потревожил!—фыркнул генерал.—Время такое, что день без тревог—уж и праздник Христов. Садись. Сам расскажешь или мне доложить?

— Не знаю, в какой мере поручику известно о... о Елене Захаровне.

В Иване Ивановиче бросалась в глаза какая-то обреченная безнадежность. Это стесняло Леонида, поскольку он не имел ни права, ни желания проникать в чужие тайны и чужие горести.

— Не уверен, следует ли мне пользоваться вашей откровенностью.

— Следует!—твердо сказал Николай Иванович.—Теперь семьи должны сжиматься в кулак. Это единственный способ противостоять.

Он не пояснил, чему именно должны противостоять семьи. Да его никто и не слушал, потому что Старшов смотрел на Олексина-старшего, а тот мучительно преодолевал неимоверно разросшуюся застенчивость.

— Во время турецкой войны наш дядя Захар Тимофеевич спас осиротевшую девочку.

— Ты ее спас, а не Захар, — недовольно перебил генерал. — Но тебя весьма своеобразно отблагодарили за спасение чести и жизни.

— Ах, Коля, оставь! — мучительно поморщился Иван Иванович. — Мы с Машей-покойницей просто помогли несчастному ребенку добраться до Смоленска. — Он вновь повернулся к Леониду и продолжал: — Здесь ее удочерила наша тетушка Софья Гавриловна, крестила заново и нарекла Еленой Захаровной в память ее спасителя. Лена получила не только хорошее воспитание, но и любовь, заботу, семью, кучу родственников...

Иван Иванович вдруг замолчал, то ли подыскивая слова, то ли просто вспомнив те уже далекие времена. Робкая улыбка появилась на его исхудалом лице, заросшем кое-как подстриженной бородкой, протравленной сильной проседью.

— И он в нее влюбился, — неожиданно объявил генерал. — По-олексински, как говорила тетушка.

— Это не то все, не то, — торопливо забормотал старший брат. — В конце концов право женщины выбирать достойнейшего. И я никоим образом не имею оснований чего-либо требовать, настаивать на исполнении обещания, которое...

Он вдруг замолчал. Грустно покивал головой и снова грустно улыбнулся какому-то далекому воспоминанию.

— Обманула тебя Елена, Иван, — хмуро сказал Николай Иванович. — Давай называть вещи своими именами, а то мой окопный зять запутается окончательно.

— Не нужно, — Иван Иванович вздохнул. — Напрасно я вас потревожил, извините. Это — от растерянности, да. Как снег на голову.

— Сиди, — строго распорядился младший Олексин. — Елена дала слово выйти за тебя, как только ты образумишься и закончишь в технологическом. А стоило тебе закончить, как тут же сбежала с присяжным поверенным Токмаковым. Нет бы с офицером, так нате вам!..

— Присяжного поверенного больше нет, Коля! Нет совсем, нет на этом свете, а ведь он всю жизнь защищал мужиков, не беря ни копейки принципиально. А его пристрелили солдаты, которые вдруг повалили с фронта. Он попытался защитить свою семью, свое имущество, а его убили и именье сожгли. Правда, Лену с дочерью и внуком отпустили беспрепятственно. Знаете, это очень по-русски: сжечь хороший дом и восторженно глазеть, как в нем горят книги, картины, музыка, саксонский фарфор. Очень, очень по-русски.

Иван Иванович внезапно умолк. Он вообще рассказывал не саму историю, не событие, а скорее пересказывал некие иллюстрации к собственным размышлениям и поэтому начинал и умолкал в зависимости от этих размышлений. И генерал, поняв, не влез с собственными сентенциями, а лишь вздохнул, покачал лохматой головой и вышел.

— Беспрепятственно сожгли и беспрепятственно отпустили, — тихо повторил Иван Иванович. — В детстве на ее глазах убили отца, на склоне лет — мужа: какая страшная судьба!

Вернулся Николай Иванович, неся бутылку водки в одной руке и три вместительных бокала в растопыренных пальцах другой. Со звоном сгрузив добычу, разлил, сунул каждому в руку.

— Елена свалилась ему на голову с остатками семейства, как ты, вероятно, уже догадался. Выпьем за...

— Извини, брат, не буду, — решительно перебил Иван Иванович и отставил бокал подальше.

— Вот, — сказал генерал Старшову. — Первый симптом.

Он в одиночестве выпил свою долю, задумчиво пожевал бороду и отхлебнул из отодвинутого братом бокала. Леонид не понимал, зачем его вытащили из кровати, а теперь вдруг понял. Понял, что тесть растерян не меньше брата, что ему нужен кто-то точно так же, как кто-то — все равно кто! — был нужен и Ивану Ивановичу, который ради этого всю ночь трясся на телеге из Высокого.

— Значит, солдаты начали громить помещичьи владения. — Он не спросил, а отметил, чтобы хоть как-то оказаться сопричастным. И даже отхлебнул водки, хотя пить в такую рань было невкусно. — Это наверняка тыловая команда.

Он совсем не был уверен в том, что говорил: солдаты могли оказаться и окопниками. Но офицерское самолюбие еще прочно сидело в нем, и поэтому грабители обязаны были быть представлены только тыловиками. «Тыловой сволочью», как говаривали окопные офицеры.

— Пугачевщина! — Голос генерала окреп после четырех добрых глотков: на этом слове он его опробовал и продолжал несколько тише. — Иван не понимает или не желает понимать, что происходит в России. Но он химик, и ты химик, а потому вы друг друга поймете.

— Я не химик, — улыбнулся Старшов. — Но объяснить попытаюсь все же не с позиций командира роты... Всякое государство есть, как я понимаю, некая кристаллографическая система, которая жестко связывает аморфные слои населения, составляющие народ. Ныне кристаллическая решетка рухнула и масса потекла во все стороны, уже не сообразуясь с законами. Это, правда, не химическое, а физическое пояснение происходящего, но сегодняшнюю ситуацию я бы не сравнивал с пугачевщиной, хотя совсем недавно думал об аналогии. Но ведь пугачевщина — это все же система, а ныне вся соль в том, что нет никакой системы. Россия, если угодно, перегрелась от внутреннего и внешнего огня, и лава потекла по ее телу. И будет течь, сжигая чуждое ей, пока...

Тут распахнулись двери, и в проеме появилась Руфина Эрастовна в нежно оливковом и весьма молодящем ее пеньюаре.

— До завтрака за водку — это уж слишком по-русски даже для смоленского дворянства, господа!

6

Поручик Старшов в последний раз услышал слова о дворянстве, проникнутые теплой иронией. Отныне ему предстояло слышать о сословии, к которому он принадлежал, с презрением или отчаянием, злобой или кликушеством — всегда с излишней любовью или еще более яростной ненавистью и никогда — равнодушно. Целое сословие, долгое время находившееся у многочисленных рулей неповоротливого и скверно управляемого государства, уходило в небытие. Именно сословие, поскольку дворянство как класс было ликвидировано самим актом освобождения крестьянства, но и сословие в целом оказалось никому не нужным, несмотря на высокую образованность, знания и мощнейший пласт культуры. Терявшая кристаллическую решетку Россия теряла и свою военную и чиновничью касту, и улыбка Руфины Эрастовны была улыбкой над уже вырытой могилой.

Но тогда Леонид не ощутил никакого кладбищенского озноба. Тогда он просто обрадовался, что можно прервать тяготивший его разговор с двумя растерянными стариками, тут же вызвался разбудить жену к завтраку и появился к обеду.

— Браво, поручик, — очень серьезно сказала хозяйка.

Татьяна весело улыбнулась, а Варя смутилась до румянца. Отец, хмуро и немузыкально бубнивший под нос некое подобие романса, отметил с генеральской прямотой:

— Война есть простейшее перераспределение житейских радостей.

И Варя сконфузилась еще больше.

— А где же Иван Иванович? — бодро спросил Старшов, чтобы сбить этот игривый тон.

— Отбыл восвояси, на мужицкой телеге с вожжами в руках, — Николай Николаевич подумал, повздыхал и решил разъяснить: — Он приезжал за моим советом.

— Друг мой, он приезжал за деньгами и уехал с ними, — вскользь пояснила Руфина Эрастовна. — Мишка объелся варенья, и его следует подержать на диете.

Женщины заговорили о детях, диетах, домашних снадобьях и заботах, неуклонно возрастающих день ото дня. Олексин недовольно послушал их, сказал Леониду:

— Иван — человек сломленный, но в нем есть запас живучести. Ты ощутил?

Поручик не ощутил никакого запаса в старике, потрясенном явлением юношеской любви, но поддакнул.

— Ты знаешь, что он кормится от земли, как простой мужик? Вот, представь себе, освоил. Не знаю, смогут ли вчерашние холопы управлять державой, но истинно благородный человек всегда взрастит свой кусок хлеба. А Лена была когда-то сказочно красива. Сказочно.

— Не имела удовольствия быть с нею знакомой, но могу сказать с полной уверенностью, что ваша сказочно красивая родственница — женщина без сердца, — громко провозгласила Руфина Эрастовна, прервав саму себя в рассказе о каких-то симптомах детских недомоганий. — Увлечь романтического юношу, заморочить ему голову обещаниями, а затем сбежать почти с первым встречным — это, знаете ли, весьма и весьма даже для меня. Да, да, мой друг, не стоит выражать сочувствие, похожее на сожаление.

— Да полноте, Руфина Эрастовна.

— Ваш взгляд красноречивее вашего языка. А главное, точнее его.

— И все же, тетушка, вы не правы, — твердо сказала Татьяна. — Вы обидно не правы, хотя мне очень неприятно говорить это. Ведь дядя Ваня спас греческую девочку не просто от гибели, но и от позора, точнее — в момент позора. Мужские руки уже сорвали с нее одежды, уже повалили... — Татьяна запнулась, порозовела, даже похорошела. — Да, они не успели над нею надругаться, но дядя Ваня — юноша в шестнадцать лет! — видел ее в самом страшном, самом унизительном для женщины положении. И двенадцатилетняя девочка знала, что он видел: вы подумайте только, что творилось в ее душе? Мы говорим о ее неблагодарности, но ведь она не могла представить дядю своим мужем, не могла! Любая форма благодарности была для Елены Захаровны приемлемой и необходимой, кроме замужества. Извините, но мне кажется, что вся родня требовала от несчастной девочки того же, чего желали и казачки, только вполне добровольно и, так сказать, в благодарность. Да я бы повесилась скорее!

— Татьяша, ты уж чересчур... — начала было Варя.

— Ничего не чересчур! — громко сказала Руфина Эрастовна и встала, с грохотом отодвинув стул. — Ты прелесть, Татьяна, ты разумная прелесть, и я обязана тебя расцеловать. И признать, что ты мадам Жорж Санд.

С этими словами она обогнула стол и торжественно расцеловалась с Татьяной. А генерал радостно хлопнул в ладони, энергично потер их и признался, что его младшая дочь утерла нос собственному отцу.

— Мы все — скоты, — пояснил он. — Мы столько лет мучили собственным эгоизмом юное существо, не пытаясь заглянуть ему в душу. Это могла бы сделать Маша, но к тому времени она уже совершила свой подвиг. — Он вздохнул. — Но ты унаследовала своей тетке, дочь! Ты унаследовала ее романтический максимализм, и это прекрасно. Прекрасно!

Ни утром, ни за обедом ничего особо существенного не случилось, и впоследствии Леонид не отмечал бы этот день в своей памяти. Женственное буйство Вари, умноженное многодневной тоской и постоянными страхами, да еще возведенное в квадрат двойным материнством, занимало все его время и отнимало все его силы, а те, что где-то еще прятались, он с упоением растрачивал на Мишку и совсем еще маленькую Руфиночку. И забывал о всех и о всем; и, наверное, так бы и уехал, испивши из родника собственной семьи, но тесть, растревоженный внезапным визитом брата, которого любил больше всех во всей многочисленной родне Олексиных, вечером выманил в свой кабинет. В тот самый, переехавший из Смоленска вместе с военными картами, запахом табака и потаенными водочными резервами.

— Если армия мародерствует, следовательно, армии нет. А государство без армии — медуза. По воле волн, то бишь иных царств и народов. Ты думаешь о будущем?

— Каждый день, — сказал Старшов. — Утром — как бы дожить до вечера, вечером — как бы дожить до утра.

— Ты изо всех сил пытаешься удержаться в панцире ротного командира, — изрек генерал. — Тебе стало выгодно не видеть дальше окопа, не знать шире собственного участка и не слышать ничего, кроме прямых команд.

— Разве?

— Ты очень точно определил собственные границы. Но ведь существует отечество, земля оттич и дедич. Надеюсь, ты не отрекся от нее во имя вполне естественного животного желания уцелеть?

— Боюсь, что наше отечество само отречется от нас, — невесело усмехнулся Леонид. — Для мужика ие существует отечества, иашей с вами оттич и дедич: для него вечно существовала земля барская и клочок своей, которую он считал Родиной. Точнее, родйной, местом, где рождались близкие ему люди. Вот размер этой родйны он будет стремиться увеличить за счет наших, то есть барских, вотчин, благо кристаллическая структура государственности распалась. И на сегодняшний момент, как любят выражаться мои ротные Демосфены, возникло парадоксальное положение: родйна восстала против вотчизны.

— И этот парадокс ты узрел из своего ротного блиндажа?

— Я не узрел, я услышал. Солдаты начали говорить после вековечного молчания: Илья Муромец слезает с печи. Он уничтожит нас с вами, выжжет саму память о нас и присвоит себе то, что уничтожению не поддается. Нашу историю, наш дух, литературу, живопись, музыку.

— Пожалуй, это будет справедливо, — сказал Николай Иванович, вздохнув. — Вся цивилизованность привилегированного сословия зиждется на угнетении всех прочих сословий.

— Вы марксист, ваше превосходительство?

— Я считаю экспроприацию справедливой, вот и весь мой марксизм. Пришла пора возвращать награбленное, а то, что мы с тобой оказались именно в этом отрезке закономерного развития, есть наша личная судьба. Личная, Леонид, и мне не хотелось бы, чтобы ты однажды — от обиды, бессилия, раздражения, злости — спутал ее с судьбой России. Не утеряй веру.

— У меня осталась одна вера: в моих солдат. Они верят мне, я верю им, и покуда это существует...

Поручик неожиданно замолчал. Не потому, что усомнился в долговременности своего символа веры, а по той простой причине, что вдруг понял эфемерность покоя этой усадьбы, ее быта, самого существования ее жителей и собственной семьи. Вспомнил одичалость солдат, вооруженных отнюдь не страхом перед законом, а винтовкой со штыком, не уважением к чужой собственности, а уже выработанной привычкой брать, что надобно, и жечь, что не надобно, не стремлением защитить женщину, а звериной жаждой немедленно завалить ее независимо от возраста. «На фронте все бабы — твои, только не зевай», — говорил инвалид-возница. А фронт... фронт там, где солдат, таково время...

— У вас есть оружие?

— Есть, — кивнул генерал, — Руфина Эрастовна. Я знаю, о чем ты сейчас подумал, но заверяю тебя, пока у нас есть Руфина Эрастовна, ты можешь быть абсолютно спокоен. Только не ошибись, кого защищать. Не ошибись, Старшов.

Вот что произошло ровно в середине отпуска, и через три дня поручик Старшов уехал на передовую, так и не успев как следует наиграться с собственными детьми. Щемящей горечью пахла увядающая листва в яблоневом саду, и Леонид необъяснимо точно знал, что никогда более не ощутит этого запаха с такой пронзительной ясностью. Но в нем не было отчаяния, хотя это были ароматы вчерашнего, а завтра ждал его тяжкий смрад войны. И еще — расставание. Долгое и тоскливое, как осенние серые вечера.

Глава четвертая

1

Женские батальоны, которых не знала русская армия за все время своего существования, были созданы весной 1917 года по инициативе новгородской крестьянки Марии Бочкаревой. Эта кликушествующая урапатриотка добровольно ушла на фронт простым солдатом еще в начале

войны, принимала участие в боевых действиях на Юге, где и отличилась во время знаменитого Брусиловского прорыва. Откровенное нежелание фронтовиков продолжать бессмысленную войну подтолкнуло ее предложить знавшему ее лично генералу Брусилову идею создания Женских батальонов смерти. Генерал с энтузиазмом ухватился за эту идею, усмотрев в ней могучее средство «устыжения солдат».

— Позор! — резко отозвался об этом генерал Корнилов. — Господ из тылов на фронт гоните, а не толстозадое бабье!

Однако Временному правительству были куда дороже фанатичные предложения Бочкаревой, чем трезвые соображения кандидата в Наполеоны, да и собрать отряд истеричек было неизмеримо проще, чем выгнать на передовую полтора десятка офицеров из разного рода уютных тыловых учреждений. Керенский и Родзянко горячо поддержали Бочкареву, и в мае первые отряды Женских батальонов смерти уже бодро маршировали по Петрограду, неизменно вызывая соленые шутки балтийских моряков. В июньские дни представительницы Женских батальонов ввязались в столкновение с демонстрантами, и сама Мария Бочкарева была основательно избита питерскими работницами за ура-патриотическую речь о войне до победного конца. Все это происходило на глазах бойцов Женского батальона смерти, которые, однако, и не подумали вступаться за своего идейного вдохновителя, а предпочли быстренько «рассредоточиться», как было доложено Керенскому.

— На фронт! — с наполеоновской энергичностью распорядился Верховный главнокомандующий. — Только боевая слава способна вернуть авторитет этому прекрасному начинанию.

Приказание было исполнено с редкой для того времени четкостью. Уже в первых числах июля Первый Женский батальон смерти прибыл на позиции в районе наиболее настойчивых действий противника у Молодечно. Здесь его быстренько придали 525-му пехотному полку и пешим порядком перебросили под деревню Белое. Марш нескольких сотен молодых женщин вызвал весьма ощутимое оживление среди фронтовиков, однако совсем не того свойства, на которое рассчитывал Брусилов. Взопревшие под полной солдатской выкладкой патриотки вызвали небывалую доселе матерщину, жеребячий гогот и всякого рода предположения.

— Каюк германцу, братцы!

— Бабы, вы, как в атаку пойдете, гимнастерки скиньте, и немец враз в штаны напустит!

— Грудастых вперед! Грудастых!

Но веселье закончилось печально. Женщины были брошены в бой в ночь на девятое июля, кое-как пройдя до этого всего лишь двухмесячную подготовку. 525-й пехотный полк вел атаку нехотя, куда более костеря собственное начальство, чем противника, и в результате первый бой Женского батальона смерти оказался последним: потеряв свыше трети убитыми и ранеными, женщины ударились в бегство.

Остатки этого батальона, а также те его бойцы, которые не участвовали в бою под деревней Белой, были собраны в Петрограде, расквартированы в Левашове и оставлены в личном распоряжении Керенского: он любил выступать на их фоне. Несли охрану Главного штаба и Зимнего дворца, и на фронт более не рвались. Притока добровольцев тоже не ощущалось, а вот дезертирства начались, и Первый батальон так и остался Первым навсегда.

Поэтому можно понять радость Керенского, когда в сентябре ему доложили о прибытии целой женской дружины для пополнения Батальона смерти. Он выкроил четверть часа в донельзя перегруженном дневном расписании и распорядился доставить к нему начальницу прибывшей дружины.

В назначенное время в его кабинет легким, стремительным шагом вошла молодая женщина в воинской форме со знаками вольноопределяющегося. Александр Федорович шагнул навстречу как обычно, когда посетитель проходил две трети расстояния от двери до его стола. Проинструктированный адъютантом посетитель, увидев, что Керенский встал, тотчас же останавливался, и встреча Вождя с очередным подданным происходила во вполне демократическом месте. Но на сей раз этого не случилось: обладательница легкой походки и соблазнительной несмотря на мешковатую форму фигуры не остановилась в пункте, предусмотренном этикетом, а продолжала стремительно приближаться. «Шарлотта Кордэ! — лихорадочно блеснуло в голове Александра Федоровича. — Это судьба всех вождей...»

И он уже потянулся к звонку, хотя звонок был на другом краю огромного стола. Он потянулся, а молодая женщина вдруг со стуком упала на колени, с силой схватила его руку и припала к ней губами.

— Оставьте! — скорее испуганно, чем картинно вскричал Керенский. — Оставьте и извольте встать...

— Я целую руку, которая спасет мою несчастную Отчизну! — торжественно воскликнула посетительница, и Александр Федорович ощутил в себе величественное спокойствие национального героя.

Знал бы он, сколько времени сочиняла и репетировала эту фразу Полина Венедиктовна Соколова...

2

Федор Иванович Олексин остался в Москве. Уж очень суровым, чужим и неприветливым казался ему Петроград, «Питер», как теперь говорили даже во вполне благородных домах (он не выносил этого слова). Кроме того, он не мог вернуться туда без денег, которые столь легкомысленно пообещал бравым, но малознакомым полковникам, приятелям его преуспевающего сына. Вместо денег он унес от Варвары Хомяковой крокодиловый портфель, но уж что-что, а его содержимое не должно было знать никому. И он сжег все бумаги, предварительно со страхом просмотрев их, и сама История дохнула на него пламенем горящих копий. Но по мере того, как они исчезали, листок за листком, шевелясь, точно живые, странное облегчение возникало в душе его, но возникало с оглядкой, точно под надзором сурового судии. В этом не было никакой мистики: судия действительно существовал. Звали его Алексеем Николаевичем Куропаткиным, когда-то решительным и отчаянно смелым начальником штаба генерала Скобелева в Туркестане и в Болгарии, а ныне доживавшим свой век в псковском фамильном имении. Он весьма бесславно закончил свою карьеру, но его бесславие не могло прикрыть сгоревших в огне свидетельств истинной причины трагической, бессмысленной и столь необходимой государю Александру Третьему гибели дерзкого и опасно самостоятельного Белого Генерала.

Да, все было именно так, как рассказывали офицеры драгунского полка, половые «Славянского базара», девицы борделя на Рождественке и сама мадам с немецкой фамилией... Он вдруг забыл фамилию, а имя помнил: Амалия Германовна. Это она заартачилась и не позволила тихо и пристойно вывезти тело генерала в «Славянский базар», где он остановился во время той злосчастной инспекции. «Ферботен! Ферботен! Это запрещено! Я не хочу иметь неприятность!» И бешеные скачки по ночной Москве за разрешением: об этом тоже рассказывали сожженные бумаги...

Господи, как трудно было одевать уже закоченевшее тело героя Плевны и Шипки-Шейново! Но одели и, взяв под руки, поволокли к экипажу, а улицы уже оказались полны народу. И народ этот падал на колени перед пролеткой: попробуй признайся в своей действительной роли, если официальное сообщение гласило, что генерал Скобелев Михаил Дмитриевич умер от сердечного приступа в собственном гостиничном номере. Варвара уверяет, что он предал своего друга и покровителя? Какая бесстыдная ложь: он спас его честь. Посмертную честь, что еще важнее.

Содержимое портфеля из крокодиловой кожи давно развеялось в прах, но Федор Иванович не мог обрести покоя. И вечно спорил со старшей сестрой, хотя более не видел ее ни разу, с огромным облегчением полагая, что так никогда и не увидит. Она уехала подальше от революции, она уже в Париже, и взрослые сыновья ее, отцы семейств и солидные фабриканты, никогда не узнают, что их собственный родитель Роман Трифонович Хомяков был обдуманно упрятан в больницу, обманно признан недееспособным и сразу же умер, едва документ о его недееспособности вступил в силу. Сестрица Варвара Ивановна не могла допустить переводов собственных миллионов в швейцарские банки через посредство

новых друзей ее мужа: Горького, Красина, Баумана. Не могла во имя долга перед семьей, как он не мог во имя долга перед государством.

И снова, снова начинали вертеться в его голове одни и те же воспоминания. Одни и те же. И пустой дамский портфель натуральной крокодиловой кожи не спасал Федора Ивановича от этих мучительных воспоминаний. Зачем, зачем он позволил сыну и его сомнительным приятелям уговорить себя и помчался, как мальчишка, добывать средства на спасение?.. Спасение — чего? России? Россию миллионом не спасешь.

У него не было в Москве пристанища. Отцовский дом был продан за долги еще Софьей Гавриловной, он сам во время московской службы стоял на казенной квартире, а к Варваре после того разговора идти не мог да и не хотел. Он вообще никого не желал видеть из московской родни, но к Надежде у него было особое чувство, как, впрочем, и у всех Олексиных: он не мог забыть о Ходынке. И поэтому позвонил ей, как только снял скромную квартиру с прислугой и телефоном. Но Надежда отвечала совсем уж односложно, только «да» и «нет», ни о чем не спрашивала, и разговора не получилось. Настолько не получилось, что Федор Иванович даже ничего не узнал о Лерочке, своей племяннице и крестнице: он любил ее, потому что упорно находил в Лере Вологодовой если не черты сходства, то тип собственной сестры Марии. Не расспросил о крестнице, отказался приехать на обед, но почему-то объяснил, где остановился.

Федор Иванович очень был недоволен разговором с Надеждой и собой в особенности, но при этом сохранял твердое убеждение, что не напрасно сообщил свой адрес. Он не только жалел сестру, не только любил крестницу, но давно знал и самого тайного советника Викентия Корнелиевича. Слово «дружба» не могло, естественно, определять отношений знакомых первых трех классов, но взаимное расположение их было настолько полным, что Федор Иванович имел все основания считать себя сватом. Именно он настоял на свадьбе потрясенной Наденьки с немолодым бездетным вдовцом, и союз оказался на диво гармоничным, а двое детей — молодой поручик Кирилл и гимназистка Лерочка — скрепляли мир, покой и взаимное тяготение этой семьи. И, учитывая не столько свой вклад в создание этой гармонии, сколько в высшей степени развитое в сдержанном сановнике чувство долга и благодарности, Федор Иванович был бы весьма огорчен и обижен, если бы Вологодовы не пожаловали к нему после первого же телефонного звонка. Но они приехали, все трое, и Федор Иванович с трудом сдержал искреннюю радость, поскольку чин и опыт порядком отучили его от природной открытости.

— Прошу в мой скромный скит, — почему-то сказал он. — Сейчас распоряжусь о чае.

Он расцеловался с Надеждой и крестницей, с чувством пожал весьма еще твердую руку сановника, сказал, чтобы поставили самовар. Он вдруг засуетился, вообразив, что гости начнут удивляться, почему он не остановился у Варвары, он даже стал придумывать какие-то объяснения, но вовремя одумался. Надежда была не от мира сего, Лерочка слишком юна для расспросов, а Викентий Корнелиевич архиделикатен. А вот излишнего оживления угасить все же не смог.

— Прекрасно, прекрасно! Ну что, любезная крестница, как успехи в гимназии? Кто твой герой: босоногий эллинский мудрец или блестящий римский полководец?

— Все герои сейчас в окопах, дядя. И босоногие, и блестящие.

— Какое, однако, серьезное суждение. Дети стали взрослеть с ускорением военного времени.

— С ускорением революции, это мне кажется более точным, — мягко возразил Вологодов. — Война тормозит всякое развитие, а революция начинает высвобождать из народа скрытые силы. Не так ли, Надин?

Он никогда не терял из виду свою молчаливо прекрасную жену. Всегда стремился отвлечь ее от самой себя, втянуть в общий разговор, но как правило из этих благих намерений ничего не получалось.

— Война есть гнев божий, — тихо ответила Надежда Ивановна.

— Победа! — чересчур почему-то громко возвестил Федор Иванович. — Победа есть благословение господне, сестра. И нам следует проявить мужество до конца.

— Но ведь на войне убивают. — Лера сердито («Совсем, как Маша», — умилился Федор Иванович) тряхнула косами. — На войне каждый день убивают, а там — Кирилл и... и его друзья.

Она запнулась на этом «и», начала краснеть. Викентий Корнелиевич отвернулся, пряча веселый взгляд, и даже мать улыбнулась медленной, нежилой улыбкой.

— Господь сохранит твою любовь, дитя мое.

Лерочка еще больше раскраснелась и даже начала сердиться, и Вологодов тактично изменил тему.

— Со мной произошла любопытная метаморфоза, Федор Иванович. Эта бесконечная война стала представляться мне бессмысленной, а победа в ней — чрезвычайно опасной.

— Вы пораженец? Уж не большевистская ли агитация ввергла вас в смущение?

— Я не хожу на митинги, я зачастил в библиотеку. Я часами штудирую умные книги, опаздываю к обеду, и Надин справедливо сердится на меня. — Он улыбнулся жене, но не дождался ее слов и продолжал: — Я пришел к парадоксальной мысли в результате этого увлечения: в годину внутренних неурядиц победы куда опаснее поражений.

— Странно, странно, — сказал Федор Иванович. — Объяснитесь, дорогой друг, дабы я если не принял, то хотя бы понял ваш парадокс.

— Я убежден, что победа в этой войне и в этих условиях нанесет непоправимый ущерб нравственности России, — негромко и очень взвешенно сказал Вологодов. — Победа способна лишь добавить нам территории с разрушенным хозяйством и разбежавшимся населением. И если побежденных всегда объединяют общие потери, то победителей разъединяют далеко не общие и неравные приобретения. Далее. У побежденных все — хлеб, семьи, жилища — становятся еще дороже, еще ценнее, чем прежде, а у победителей, наоборот, все ценности начинают дешеветь, ибо возросли они количественно, внезапно и как бы без всякого труда. И в этом кроется причина, почему народ всегда делит свою жизнь на ДО войны и ПОСЛЕ войны, и ДО, обратите внимание, непременно лучше в народном представлении, чем ПОСЛЕ.

— И я это слышу от сановника последнего государя?

— Когда государь отрекается от престола, сановники становятся бывшими. А любой бывший — всего-навсего человек, и этот человек, Федор Иванович, ясно понял одно: сейчас нашей Родине нужно как можно скорее признать себя побежденной. Немедленно и на любых условиях! Всякие попытки выиграть войну приведут к новому всплеску революции. И тогда можно и впрямь ожидать бури.

— Буря! Скоро грянет буря! — с молодым восторгом воскликнула Лера.

«Нет, она похожа не на Машу, — вдруг подумал Федор Иванович. — Она как две капли воды похожа на мою дочь. На несчастную Оленьку, законную жену неизвестного мне каторжника...» И от этого открытия стало вдруг жарко давно остывшему сердцу старого карьериста.

3

— Мы запутали всех и запутались сами в истоках гражданской войны, — как-то сказал Дед. — Сначала от восторга, потом по негласному приказу, затем просто по невежеству мы поменяли местами причины и следствия, запутав концы и начала исторической пряжи. А теперь порою случается, что мы принимаемся аппетитно лузгать семечки до открытия Америки.

Дед заговорил о гражданской войне применительно к периоду, когда до ее официального начала оставался почти год. Еще не пришла пора Октябрьской революции, еще сухо шелестел листвой солнечный сентябрь, а гражданская война уже началась. Корни нового всегда прорастают в старом перегное, и прорастание это ощущалось не в том, что где-то, скажем, в Псковской губернии, бродячие шайки дезертиров уже жгли помещичьи гнезда; нет, оно шевелилось в душе каждого человека, втянутого в водоворот войны и революции, потому что этому каждому человеку уже тогда приходилось делать выбор — кто я, где я и зачем я. Выбор не на

данный час, не на одно сражение, не на обозримое будущее и даже выбор не на всю жизнь. Нет, выбирать приходилось не в своих, а в государственных координатах времени, исходя не из своих, а из обобщенных интересов, даже если в это обобщение включались только лично близкие люди. Но пока еще каждый человек вел свою собственную гражданскую войну, болезненно анализируя, на какой стороне баррикады окажется он в неминуемом Завтра.

Поручика Старшова тоже терзали те же мысли, хотя он громко и часто объявлял себя всего-навсего ротным командиром, готовым действовать по воле своих солдат. В этом была некоторая доля правды, но, кроме этой, условно говоря, солдатской доли, существовала еще доля отца и мужа, доля члена большой интеллигентной, ласковой, доброй и дружной семьи; существовала, наконец, невысказанная, но постоянно ощущаемая причастность к определенному слою населения России. Эта классовая, как ее теперь именовали, причастность чаще всего срабатывала в нем в плане неприятия солдатской грубости, нахальства, тупости, жадности, злобы, бессмысленного сквернословия и крайнего неуважения к женщине. Прежде он резко пресекал подобное, но теперь все чаще терпел, не решаясь ввязываться в далеко неравносильную ссору. Терпел, проклиная и презирая себя, и в этом горьком терпении, в этом подавлении личного неприятия тоже сказывалась внутренняя гражданская война. Поручик Леонид Старшов, внешне послушно следуя течению, пропускал это течение сквозь собственную душу, мучительно размышляя, честно ли он поступает сегодня и где следует оказаться завтра, чтобы остаться честным.

Странное было время: солдаты валом валили с позиций, но поезда, идущие на фронт, тоже почему-то оказывались до отказа забитыми все теми же солдатами. Они беспрерывно курили, матерились, ели, спали, били вшей и говорили, говорили, говорили. Никто не обращал внимания на офицеров, будто их не существовало не только в вагонах, но и вообще в жизни, но никто и не противился, когда попавшие в общий вагон офицеры инстинктивно забивались в одно купе. И если весь вагон орал, ругался, громко рыгал и громко хохотал, то в офицерском отсеке говорили приглушенно, никогда не смеялись и все время настороженно прислушивались, о чем горланят в солдатских купе.

— Война размывает культурный пласт государства,— говорил немолодой, совершенно невоенного вида полковник, впалую грудь которого прикрывало весомое количество орденов.— А ведь культурный пласт есть запас народной нравственности. Так что, господа, я полагаю, что дело совсем не в отречении государя. Наоборот, отречение государя есть следствие размытия всеобщей нравственности.

— Государя вынудили говоруны!— безапелляционно перебил до черноты загорелый широкоплечий капитан.— Вся эта орава болтунов...

— Вы монархист?

— Я стал монархистом. Да, да, господа, стал, поскольку раньше им не был. Я с четырнадцатого в окопах, в неразберихе и бессмысленной кровище — какой уж тут, к дьяволу, монархизм! Но когда все вдруг поползло, когда все мои старания, кровь и пот моих солдатиков коту под хвост, когда вот это...— Капитан потыкал большим пальцем за плечо, в вагонный гам.— Все по-иному воспринимается, все. И не я один, заметьте: у нас на Юго-Западном большинство офицеров опамятовалось, да, боюсь, поздненько.

— В монархическое стойло вам народ уже не загнать,— с ноткой торжества произнес прапорщик недавнего университетского прошлого.— Весь этот гомон, грохот, вся толкотня эта и неразбериха совсем не от того, что царя скинули, а от того, что матушка Россия наша на иные рельсы переходит. На демократические рельсы мы с вами перебираемся именно в данный момент истории, а на стрелках всегда трясет и качает. Трясет и качает неустойчивые элементы общества, но все образуется, как только Учредительное собрание изберет законную власть.

— Учредительное собрание? Окстись, прапор! Ратовать за него — значит, ратовать за сборище говорунов со всей Руси святой. Хрен редьки не слаще.

— Но позвольте, капитан, Временное правительство в рекордно короткий срок так скомпрометировало себя, что ни один истинно русский патриот...

— Лабазник ваш истинно русский патриот. Лабазник!

— Я думаю, господа, что Россия и в самом деле не созрела до восприятия демократии,— сказал явно призванный из запаса ротмистр.— Ни до введения ее сверху, ни до понимания ее снизу. Восприятия как гражданской необходимости я имею в виду.

— Вспомните, господа, что говорил незабвенный штабс-капитан Лебядкин: «Россия есть игра природы, но не ума»,— вставил свое слово полный добродушнейшего вида военный чиновник.— Как в воду глядел Федор Михайлович. Как в воду!

— Сожалею, что поздненько ввели расстрелы на фронте, да, сожалею!— заглушил всех хриплый басок капитана.— Россия страхом живет и по-заморскому жить не умеет. Ее запугать надо, тогда она вывезет.

— Нонсенс, капитан,— поморщился прапорщик.

— Чего-о? Да вы историю вспомните: кого мы в ней возлюбили? Либерала Александра Первого? Реформатора Александра Второго? Нет-с, Ивана Васильевича Грозного с Петром Первым — вот наш, русский образец идеального монарха. И сейчас нам прежде всего необходим вождь, но поскольку среди Романовых такового что-то пока не видно, временно создадим офицерского императора.

— Корнилова, что ли?— Полковник поморщился.— Россией управлять нужно не только кнутом и даже не только пряником, сколько идеей. И чем фантастичнее идея, тем больше шансов, что за нею пойдут, как шли за Разиным или за Пугачевым. А Корнилов какую идею предложит? Подъем на час позже? Солдафон Лавр Георгиевич, солдафон, а не утопист. А нужен — утопист.

— Утопить Россию в утопии!— засмеялся прапорщик.— Неплохая мысль, полковник, но что воспоследствует?

— Пардон, господа, вынужден отлучиться,— пробормотал капитан.— Жрем чего ни попадя, из сортиров не вылезаем, а туда же — философствуем!

С этими словами он вышел из купе, предварительно долго высматривая кого-то в коридоре, набитом солдатами. Прапорщик снова засмеялся (что-то в нем было неисправимо студенческое):

— Послабление в России всегда воспринимается буквально...

Его слова перекрыли крик, шум, топот сапог. С грохотом откатилась дверь, в купе ввалился красный, смертельно перепуганный капитан. Коекак защелкнул дверь на замок, трясущимися руками вытащил револьвер.

— К оружию, господа!

В дверь ломились. Стучали кулаками, глухо били прикладами, нажимали тяжелыми плечами. Дверь дрожала и прогибалась под напором яростной солдатской толпы.

— Открывай! Стрелять будем! Открывай!

— Не открывайте!— кричал капитан, забившись в самый темный угол.

Грохнуло три выстрела. Стреляли вверх, предупреждая, что шутить не намерены; пули, пробив дверь, ушли в потолок.

— Открывай! Гранатой рванем!

— Откройте,— тихо сказал побледневший чиновник.— Откройте, господин полковник. Может, из уважения к вашему возрасту...

— Не надо!— выкрикнул капитан.

— Дерьмо!— выругался полковник.— Неужто русское офицерство и вправду под Мукденом осталось?..— Он решительно распахнул дверь, выкрикнул в набитый солдатами коридор:— Тихо! Я командир пехотного полка полковник Егоров! Я с первого дня на позициях, восемь орденов и шесть ранений! Тихо! Требую объяснить!..

— Я капитана узнал, капитана!— закричал смуглый маленький солдатик.— Он двоих с нашей роты самолично расстрелял, самолично! Даниленко ему фамилия, Даниленко!

— Вы Даниленко?— спросил ротмистр забившегося за него капитана.

Капитан промолчал, но как офицеры, так и солдаты одинаково поняли его молчание.

— А, гад!

— Братцы, нельзя же без суда! — сбившись с единственно верного сейчас тона, забормотал полковник, ошарашенный не столько, может быть, самим обвинением, сколько молчанием капитана. — Нельзя так, братцы, успокойтесь...

— Ах, братцы?!. — завопило, заорало, заматерилось кругом, угрожающе защелкали ружейные затворы. — Выдай его нам, коли братец, выдай! Бей их всех! Бей! Заодно они, хватит, попили кровушки...

На полковника нажали, вдавили в купе. И все поняли, что еще мгновение — и озверевшая толпа расстреляет их в упор. Все поняли, но что следует сделать, сообразил только Старшов. Он доселе молчал, предаваясь воспоминаниям об отпуске, но именно в этот миг осознал, что только он один в состоянии успокоить толпу.

— Стой! — Он рванул из кобуры револьвер, пальнул в потолок. — Я член Армейского совета выборных и председатель полкового Комитета солдатских депутатов. Вот мои документы.

Он передал мандаты. Их уважительно брали, внимательно и непременно вслух прочитывали, передавали дальше для ознакомления. В вагоне вдруг стало тихо.

— Документ верный, и сам ты, гражданин депутат, тоже вроде человек верный, — сказал увешанный медалями унтер, возвращая бумаги поручику. — Почему же расстрельщика не выдаешь?

— Не могу допустить самосуда, мне такого не простят ни солдаты мои, ни моя совесть. На следующей станции у меня пересадка, и я обещаю препроводить капитана в комендатуру для выяснения всех обстоятельств. Извольте сдать мне оружие, капитан.

Последовала пауза, протяженность которой Леонид отсчитал гулкими ударами собственного сердца. Солдатам нельзя было давать опомниться, а глупый перепуганный капитан, обмерев, тянул, тянул...

— Извольте сдать оружие! — резко выкрикнул поручик. — Или я прикажу взять его у вас...

Протянул руку в угол, почувствовал в ладони тяжелую ребристую рукоятку и с трудом сдержал вздох облегчения...

4

Солдаты, погомонив, ушли. Полковник осторожно прикрыл дверь купе, сказал, избегая взгляда:

— Благодарю, поручик. Овладели обстановкой, спасли пятерку русских офицеров.

Офицеров в купе было шестеро, но полковник Старшова к ним не причислял. Леонид отметил это механически, никак не прореагировав.

— Отдай револьвер, поручик, — с глухой угрозой проворчал капитан Даниленко. — Слышишь?

— Чтобы нас вместе с тобой растерзали солдаты? — тоже на «ты» спросил Старшов.

— Вы же, капитан, в сортир рвались, — с раздражением сказал прапорщик. — Что, медвежья болезнь наоборот?

Капитан зыркнул на него свирепым взглядом, но промолчал. И все молчали, утратив всякий интерес к философским размышлениям о судьбах России.

К станции, на которой Старшову следовало делать пересадку, а до этого сдать капитана в комендатуру согласно обещанию, данному солдатам, поезд подошел в густых сумерках. Поручик взял вещи, сказал капитану Даниленко:

— Собирайтесь.

— А если я не пойду? Оружие применишь?

— Как вам угодно, — безразлично сказал Леонид, выходя в коридор.

— Ступайте, капитан, — резко сказал полковник. — Нас и вправду разорвут без этого солдатского любимчика.

Даниленко, не прощаясь, вышел следом за Старшовым. Уступая дорогу поручику, толпившиеся в коридоре солдаты почти смыкались перед капитаном, и тому приходилось боком продираться сквозь угрюмо молчаливую враждебную массу.

— Погодите, поручик! — не сумев спрятать страха, закричал он.

Леонид не остановился, не оглянулся, но пошел чуть медленнее, и Даниленко нагнал его почти у выхода. Пристроился сзади, едва не наступая на пятки. Так они и вышли в тамбур, где стояли маленький, смуглый солдат, узнавший в капитане «расстрельщика», хмурый унтер с медалями и двое солдат, уже немолодых и бывалых. Четверка явно ждала их, и капитан Даниленко со всхлипом вздохнул:

— Господи...

— Мы сами его доставим, господин поручик, — угрюмо сказал унтер. — А то сбежит еще в темени.

— А если офицеры на станции таким конвоем заинтересуются, тогда что? Стрелять начнете?

— Стрелять, оно последнее дело, — вздохнул один из солдат. — Три года все стреляем, стреляем...

— Он солдат расстреливал! — закричал смуглый. — Сам расстреливал! Сам!..

— Вы, унтер, человек бывалый, соображать умеете, — сказал Старшов, не обратив внимания на крик. — Четверо солдат ведут офицера под конвоем. Куда ведут? Сдать в комендатуру? А где документы?

— А у вас где документы?

— У меня — мандат представителя армии, — нашелся поручик. — Я имею право потребовать расследования.

В тамбур вышел пожилой усталый проводник. Протиснулся к дверям.

— Подъезжаем, — пояснил он. — Сколько стоять будем, никто теперь не знает. Выбилась Россия из расписания.

Лязгая сцепами, состав начал притормаживать. В густеющих сумерках показались первые дома.

— Ладно, ваша взяла, — сказал унтер. — Пошли, ребята.

Солдаты вошли из тамбура в вагон. Поезд, дернувшись, остановился. Проводник, а за ним и офицеры, спрыгнули на насыпь.

— Не приняли, — пояснил проводник. — Теперь редко, когда станция сразу принимает.

— Далеко до нее? — спросил Старшов.

— С версту будет. У входного семафора стоим.

— Идите вперед, капитан.

— Ты что это, поручик, серьезно решил в комендатуру меня конвоировать?

— Идите вперед!

— А вы большевичок! — вдруг зло засмеялся капитан. — Большевичок!.. Да вас на станции господа офицеры по одному моему слову к стенке прислонят. Без суда и следствия. Влопались вы, поручик, как муха в дерьмо.

Все это капитан Даниленко шипел через плечо, идя на шаг впереди Леонида. Старшов слышал каждое слово, но молчал, прекрасно понимая, что он действительно влопался, что один факт разоружения старшего в чине достаточен для ареста и предания суду его, поручика Старшова. За спиной оставались озлобленные солдаты, впереди — станция, на которой наверняка распоряжается военный комендант с командой охраны и где полно офицеров-фронтовиков, ожидающих поездов на юг или север, на фронт или в тыл. Объяснить капитану, что он, поручик Старшов, действовал лишь во спасение капитанской жизни, извиниться, вернуть оружие и разойтись? Но, во-первых, какова гарантия, что сзади не идут солдаты, наблюдающие, как председатель полкового комитета держит свое слово, и, во-вторых, какова гарантия, что получивший оружие капитан не арестует его, солдатского депутата, на станции, не обвинит в незаконном аресте, издевательствах и нарушении офицерской чести? «Между молотом и наковальней, — вдруг подумалось Леониду. — Между молотом и наковальней...» И он ни на что не мог решиться, тупо шагая за капитанской спиной.

До станции было уже близко, уже отчетливо виднелись ее желтые огни, как вдруг шедший впереди капитан пригнулся и с непостижимой быстротой нырнул под вагон.

— Стой! — с огромным облегчением закричал Старшов. — Стой, стреляю!..

И два раза пальнул поверх состава, стараясь ни во что не попасть.

— Каждый выстрел имеет свою отдачу,— Дед усмехнулся в усы, припоминая тот вечер.— И то, что я в канун Октябрьской революции стрелял вдогонку убегающему корниловцу, оказалось предисловием всей дальнейшей моей военной карьеры...

5

В Княжом мужики еще снимали шапки. По всей Смоленской губернии то там, то тут уже самочинно захватывали помещичьи земли, рубили леса, растаскивали зерно и сено, а порою полыхали не только конюшни, хлева да амбары, но и сами усадьбы, и женщины в длинных ночных рубашках бегали вокруг горящих домов, будто в саванах завтрашнего дня.

А в Княжом мужики снимали шапки. Они уже забыли беззлобного барина, могли забыть и добрую вдову его, но посреди села стояла новая школа, а ее лучшие ученики имели шанс учиться в гимназии коштом барыни Руфины Эрастовны. Мораль начинала измеряться материальными вкладами, что с горечью признал даже отец Лонгин. Правда, это пока касалось только мужиков: бабы и дети руководствовались иными мотивами, но хозяйка все же запретила ставить в саду новый забор взамен рухнувшего. Это генералу не понравилось.

— Неуважение к чужой собственности начинается с малого.

Руфина Эрастовна посмотрела странным затяжным взглядом. На руках у нее была младшенькая, названная в ее честь. И бабушка приподняла ее, точно предъявляла неотразимый аргумент:

— Будущее тоже.

Они разговаривали с глазу на глаз. Варя где-то занималась с сыном и племянницей (голос ее слышался из дальних комнат), а Татьяна еще не вернулась из школы. После памятного ухода Федосия Платоновича и еще более памятного прощания она, как могла, заменяла его, обучая грамоте, музыке и рисованию.

— Не старый умирает, а поспелый,— подумав, объявил Николай Иванович.

— Что с вами, друг мой? Почему же о смерти?

— Это не о смерти, это — мудрость,— нахмурился генерал.— Мне эту мысль подсказала старуха Демидовна, и эти слова сутки не вылезают из моей башки.

— Стало быть, вам смерть грозит нескоро,— улыбнулась Руфина Эрастовна.

В ее улыбке было столько материнской ласки, что Николай Иванович не мог бы ее не заметить и не оценить сей же секунд. Но он размышлял и глядел не на прекрасную хозяйку, а в самого себя.

— Про счастливца говорят, что он родился в рубашке, а я бы хотел умереть в рубашке. Вы понимаете мою мысль? Умереть в рубашке — это и есть наивысшее счастье, дарованное человеку.

— Вы имеете в виду ночную рубашку? — уточнила хозяйка.

Следовало полагать, что она намекает. Но Николай Иванович соображал с генеральской прямолинейностью:

— К смерти во сне надобно готовиться с вечера.

— Вы сегодня упорно толкуете только о смерти,— вздохнула она.— Отчего же так упорно?

— Да? — Он прислушался к самому себе с такой старательностью, что у Руфины Эрастовны опять странно заволокло глаза.— Я становлюсь эгоистом. Впрочем, я был им всю жизнь, но несколько инстинктивно. Но я не о себе. В воздухе завитала гибель.

— Там, где дети, нет гибели.— Она улыбнулась, искоса, с невероятным лукавством глянув на собственного управляющего.— Где дети и любовь.

— Витает, витает,— вздохнул генерал: он был поглощен собственными идеями и упорно не замечал взглядов.— Я стал думать об этом после визита брата Ивана, а потом услышал мудрую мысль старухи. И подумал, что Россия поспела. Она в самом соку, и долее держаться на ветке не может.

— Вы рискуете заблудиться в мире мрачных мыслей,— сказала Руфина Эрастовна и встала.— Необходимо перепеленать эту прелесть.

Она вышла, а у генерала почему-то вдруг испортилось настроение. Он сердито протрубил весь Егерский марш и решил пройти в кабинет, дабы поправиться испытанным способом. Но вошла Татьяна.

— Знаешь, чем интересуются мои ученики? Они расспрашивали меня о партии большевиков. Долго и настойчиво.

— Я полагал, что крестьянским вопросом занимаются эти... эсеры.

— А что ты знаешь о большевиках?

— Кажется, заговорщики,— очень неуверенно сказал Николай Иванович.— Русская армия всегда сторонилась политики.

Лицо у дочери было отрешенным, и он замолчал. Походил вокруг, поглядывая на нее, совсем уж собрался что-то сказать, но Татьяна опередила:

— Мальчики говорят, что Федосий Платонович был большевиком.

— Да? Вот уж никогда бы не подумал. Но ты не расстраивайся, везде есть приличные люди.

— Мне кажется, что дети именно это и имели в виду. Для русского человека порядочность...

— Вот! — вдруг воскликнул генерал.— Мы — прилагательное, в этом вся суть. Все остальные — англичанин, француз, итальянец, даже германец — существительные, существующие сами по себе. А мы — прилагательные. Русский — то есть принадлежащий России. Принадлежащий империи. Мы — прилагательные к Российской державе. Это — судьба.

— Я совершенно не о том, совершенно! — Дочь сердилась, становясь все более похожей на отца.— Он мне не признался, что состоит в большевистской партии. Он почему-то не счел это возможным. Он утаил и тем отстранил меня от...

— И правильно сделал,— фыркнул отец.— Политика не для юбок, маде... простите, мадам. Растите детей по возможности порядочными людьми, занимайтесь благотворительностью, музицируйте или пишите стихи. Твою родную тетку бес честолюбия занес в репортеры, а кончилось — Ходынкой. И все вообще может, кстати сказать, окончиться Ходынкой. Черт с ним, с царем, но нельзя же бесконечно митинговать.

— У тебя, конечно же, есть программа?

— Есть! Надо победоносно закончить войну, а уж потом...

— Некому кончать войну, некому. Ты забыл, о чем рассказывал Леонид?

Николай Иванович помолчал несколько обескураженно. Потом вздохнул:

— К сожалению. У меня меняются взгляды. Да. Помнится, в самом начале я вообще был против. И знаешь, почему именно я, генерал, был против, а теперь — за? Потому что поражения учат, а победы отбивают охоту к учению. Но десять миллионов озлобленных вооруженных мужиков надо отвлечь от добычи. Просто отвлечь — вот и вся моя программа.

— Это не программа, ваше превосходительство, это — страх. Он скверный советчик, папа.

— Война подобна выстрелу.— Генерал важно поднял палец.— Народ уподобляется пороху и, взрывая себя, выбрасывает неприятеля за пределы отечества. Но если он повернется к войне спиной, то врагами окажемся мы. Ты, Варенька, ваши дети и... и наша хозяйка. И если это произойдет, мы вылетим за пределы, а не германец.

— Я люблю его,— вдруг отчаянным шепотом объявила дочь.

Николай Иванович опешил. Он излагал теорию, которую продумал, которой гордился и которой боялся. Он был весьма увлечен, а тут, изволите слышать... Кого она имеет в виду?

— Народ?

— Я люблю,— упрямо повторила Татьяна.— Я была бесстыжей не от натуры, а от некрасивости. И из-за этого натворила глупостей... Нет-нет, пусть лучше — безрассудства. Если ни в чем неповинное дитя рождается на свет Божий в результате глупости, это скверно. Но если в результате безрассудства...

— Татьяна, я утерял нить! — строго прикрикнул отец.— Слишком много дам — это слишком много причуд. А мы вступаем в эпоху сокращения излишеств.

— Анечка будет счастливой, и я буду счастливой, потому что мы — любим.

Эти слова Татьяна произнесла, как клятву. И они стали клятвой, которую она повторяла всю свою жизнь. Такую же нескладную, какой была сама Татьяна Николаевна Олексина.

6

Старшов застрял на пересадке. И вовсе не потому, что не было поезда, а потому, что вовремя приметил капитана Даниленко в группе офицеров. Он сразу же постарался убраться подальше, но в первый класс его не пустили два угрюмых уральских казака, а в общем зале оказались одни солдаты, смотревшие на него столь настороженно, что поручик почел за благо поскорее убраться из помещения на тускло освещенный перрон.

Моросил нудный осенний дождь, перрон был пустынен. Леонид встал подле окна, в тени, изредка поглядывая через стекло на опасного капитана. «Вот влип, — с досадой думал он. — Хоть бы убрался этот корниловец что ли...» Но поезд, на котором они оба приехали, уже ушел, а другого не было, и поручик пребывал в полной растерянности.

За вокзальным зданием послышался грохот автомобильных моторов, и на перроне появилась группа офицеров. Они приблизились, поручик, заметив среди них генерала, отдал честь, но генерал и сопровождающие не обратили на него внимания, занятые разговором.

— ...максимум проверенных, максимум! Поручаю это вам, полковник Олексин.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

«Олексин? — отметил про себя Старшов. — Нечастая фамилия...» И окликнул, не сообразив еще, что будет говорить, но поняв, что судьба вроде бы начала улыбаться:

— Полковник Олексин?

От группы отделился подтянутый щеголеватый молодой генштабист. Вгляделся в мокрые сумерки:

— Простите?

— Вы имеете отношение к генералу Олексину Николаю Ивановичу?

— Это мой дядя.

— Я женат на его дочери.

— Позвольте... — Александр Олексин шагнул навстречу, улыбнулся вдруг. — На моей кузине Вареньке? Наслышан. Поручик... э... э...

— Леонид Старшов.

— Очень рад. Александр. — Полковник протянул руку. — Куда и откуда?

— Из отпуска на фронт. Жду поезда.

— Зачем же на перроне? Прошу с нами. Прошу, прошу.

Леонид не отказывался. Они вскоре нагнали генерала со свитой, и полковник Олексин представил поручика по-родственному:

— Неожиданная радость, ваше превосходительство, встретил кузена. Позвольте, господа, отрекомендовать поручика Старшова.

— Значит, нашего полку прибыло. — Генерал вяло пожал руку Леониду. — Следуйте за нами, поручик.

Вслед за генералом они прошли в переполненный офицерами зал ожидания, по которому метался злой капитан Даниленко. Пересекли его в торжественном молчании и скрылись в первом классе, миновав вытянувшихся часовых с оранжевыми лампасами.

В помещении для избранных народу не оказалось, а стол был накрыт, кипел самовар, всем распоряжался казачий есаул, и у каждого окна стояли по три казака. Здесь явно ждали; есаул отрапортовал, генерал пригласил к столу, и Старшов постарался сесть на дальнем конце. Он продрог на октябрьском ветру, с наслаждением пил горячий чай и не вслушивался в негромкий разговор, урывками долетавший и до него.

— ...представление, что эсеры — основная опасность, следует признать ошибочным или, по крайности, не совсем верным. Мы полагаем, что сейчас в авангард выходят большевики.

— Жалкая кучка, ваше превосходительство.

— Сила не в массовости, господа. Это правило касается не только

политических партий. Сплоченная единой идеей организация, вооруженная понятными толпе лозунгами, страшнее армии Ганнибала.

— Но пока заседают, митингуют...

— Вот именно — пока. Следовательно, еще есть время. Мало, но есть.

— Их зараза расползается по армии со скоростью сыпняка.

— Следовательно, необходимо упредить...

К поручику никто не обращался, и он, разомлев от миновавшего напряжения и горячего чая, уже не слушал, о чем говорят за столом. Большевики и странная опасность, связанная с ними, опасность, которую армейское офицерство до сей поры воспринимало скорее на слух, — беспокоили его куда меньше, чем необходимость как можно скорее убраться с этой станции. Фронт казался наиболее безопасным местом для окопного офицера, и Леонид только ловил момент, когда будет прилично попросить полковника Олексина о литере на первый же поезд.

— ...а этот окопник в крестах? Ваш кузен?

— Не могу поручиться, ваше превосходительство.

— Но рискнуть обязаны, полковник.

Даже на прямое обращение в свой адрес Старшов тогда никак не отреагировал. Отвык, разомлел в госпиталях да объятьях заждавшейся Вареньки, утратил чувство ежечасной опасности.

— Покурим, поручик? — Полковник Олексин щелкнул портсигаром. — Генерал у нас некурящий, так что прошу за столик.

Они уселись за столиком в углу под тускло и неровно светящей электрической лампочкой, закурили. Степенный вахмистр подал пепельницу и ушел; поручик собрался было попросить о литере на ближайший поезд, но Олексин заговорил первым.

— Каково настроение роты?

— Не знаю. Долго отсутствовал: ранение, госпиталь, отпуск. А ныне настроение меняется по семи раз на дню.

— Вы правы, кузен, вы правы. — Полковник озабоченно вздохнул. — С отречением государя Россия утратила устойчивость, и теперь ее мотает по волнам, как мужицкий челнок. Согласитесь, что монархия — при всех известных вам недостатках! — есть самая основательная, самая весомая форма государственной власти.

— До сей поры мне чаще приходилось слышать, что Россию спасет только военная диктатура, — улыбнулся поручик.

— Корнилов? — Александр тоже улыбнулся, но в его улыбке было куда больше скепсиса. — Лавр Георгиевич — бесспорно, вождь, но, увы, не политик, чему свидетельство — августовская авантюра. Кроме того, диктатура для России несравненно опаснее монархии. Почему, спросите? Да хотя бы потому, что монархия есть национальное политическое устройство, а диктатура — заемное.

— Народ ненавидит царя. Во всяком случае, народ, одетый в солдатские шинели.

— Русский человек глубоко нравственен в основе своей, — убежденно сказал Олексин. — И в неразберихе на грани новой пугачевщины он собственным нутром ощутит, что спасение нравственности в сохранении привычного, освященного Богом и веками порядка, каковым является система престолонаследия. А диктатура как альтернатива безнравственна, ибо предполагает захват, узурпацию и неминуемое кровопролитие.

— Кровопролитие, которое учинил Николай Александрович, вряд ли с чем-либо можно сравнить, полковник.

— И за это спросится с него, непременно спросится. — В голосе Олексина зазвучала твердая нота. — Его ожидает суд, и он ответит за все, в чем лично виноват пред своим народом. Но поймите же, дорогой кузен, у нас нет выбора, просто нет, не существует. Россия чудовищно темна, невежественна, бедна и озлоблена, она не готова к демократическим формам правления, ни умом, ни сердцем не способна пользоваться ими, понимать их и контролировать, а потому с неизбежностью придет к диктатуре, коли не расчистим ей привычной дороги. Такова реальность, поручик. У России только два выхода: либо диктатор, либо государь. И государь неизмеримо лучше любого диктатора, ибо рассматривает Россию как наследство, которое обязан передать детям в максимально упорядоченном виде. А диктатор всегда временщик, старающийся урвать побольше,

ибо дети его не наследуют престола. Представляете, какой грабеж национальных сокровищ начнется на Руси, если власть узурпирует временщик, к какой бы партии он себя ни относил? Вы же образованный человек, Старшов, вы же способны предвидеть последствия.

В рассуждениях полковника Олексина была логика, спорить с которой Старшов не мог. Кроме того, он хорошо понимал, что такое вооруженный, доведенный до окопного идиотизма и окончательно утративший цель в этой войне простой солдат, помноженный на десять миллионов себе подобных. А усадьбы уже пылали, а погромы уже начались, и безнаказанность разъедала озлобленные людские массы, как проказа.

— Они не примут царя, — понизив голос, сказал поручик. — Все несчастья и беды олицетворяются сегодня в нем.

— Но не в мальчике! — тоже почти шепотом, но с горячностью и верой подхватил полковник. — Царевич Алексей ни в чем не повинен перед своим народом, и народ поймет это, прочувствует и примет. И сегодня задача каждого истинного сына России в провозглашении Алексея государем пусть даже с англо-шведскими ограничениями. Да, России необходимы демократическая Конституция, земельная реформа, реальное равенство прав, может быть, даже известное ограничение состояний путем государственного их обложения — все так, все! Но более всего ей необходима передышка, чтобы неторопливо обдумать, спокойно взвесить и всенародно обсудить дальнейший путь общественного прогресса. И только ограниченная монархия способна сыграть роль буфера для гашения разгоревшихся народных страстей и партийных амбиций. Вы согласны с такой программой?

— Пожалуй, — не очень уверенно сказал Старшов.

— И прекрасно. В Петрограде неофициально собираются наши соратники, думаю, что ваше место — там. Идем к генералу.

Странно, до чего же скверно соображал тогда разомлевший поручик. Логика жизни, в которой на первый план упорно вылезали пожары и насилия, беззащитные женщины и дети в Княжом и переполненные остервеневшими, утратившими жалость и сострадание солдатами вагоны, вплеталась в логическую вязь продуманных аргументов полковника Олексина, затемняя и проясняя ее одновременно. Состояние его было смутным, он искал не свою позицию в начинавшейся буре, а свое укрытие, которое могло бы хоть как-то гарантировать покой его семье, родным и близким. Однако и при этом состоянии Старшов ни разу не сказал, что он не просто командир роты, но и исполняющий обязанности председателя полкового Комитета, выборный член Армейского совета.

— В Петрограде разыщите полковника Русанова: Садовая, шесть, — говорил тем временем генерал. — Вас перебросят в Царское Село и постараются устроить при особе государя. О фронте не думайте, дезертиром вас не сочтут...

«И что ты думаешь, я поехал, — говорил Дед. — Поехал монархистским заговорщиком, хотя таковым не являлся, и до сей поры понять не могу, почему поехал. Может, и впрямь существует Книга Судеб, предопределяющая пути наши?..»

7

Последний четверг октября выдался в Петрограде на редкость ветреным, холодным и неуютным. По улицам и площадям ветер носил листовки, обрывки газет и объявлений; вооруженные красногвардейцы и солдаты собирали бумагу для многочисленных костров. Кое-где порою слышалась ружейная, а то и пулеметная стрельба, но в городе было людно. Ходили, беспрестанно звеня, трамваи, мелькали извозчичьи пролетки, а вот автомобилей встречалось мало, да и те, что встречались, уже не принадлежали прежним владельцам: их реквизировали большевики и анархисты, эсеры и представители великого множества различных комитетов, и только иностранные миссии и посольства еще пользовались неприкосновенностью.

А жизнь текла, как обычно. Светились окна ресторанов на Невском, практически не закрывались двери трактиров Лиговки и Литейного, шумели переполненные вокзалы и гостиницы, а молчаливые группы вооруженных людей передвигались по самым различным направлениям и вроде бы без всякой системы. Столица ждала, но ждала не затаенно, не испуганно, не забившись в собственные норы. Ждала нетерпеливо, жадно, открыто, никого уже не боясь. Да и кого было бояться, если Корнилов сидел в Быховской тюрьме, никто ничего не демонстрировал, вооруженные люди вели себя мирно, а Краснов был еще далеко по тем смутным — в особенности для железных дорог — временем...

Эшелоны генерала Краснова, медленно подползавшие к столице, переполнили все станции, забили все пути и перекрыли все направления. Пассажирские поезда безжалостно загоняли в тупики, и поезд, на котором ехал поручик Старшов в качестве тайного посланца монархистов-заговорщиков, давно стоял на каком-то разъезде с отцепленным паровозом. Леонид часто выбирался из душного вагона, вслушивался в сырую, промозглую тишину поздней осени и не мог представить, что же творится сейчас в России. На фронте для него было и проще, и привычнее, и легче, но тот германский, окопный фронт навеки оставался позади, а впереди, в черной осенней бездне, ждали другие фронты, совсем непохожие на пройденные и отмученные, и он не то чтобы догадывался — он предчувствовал это.

А в Петрограде были переполнены все театры. Даже огромный Народный дом имени государя императора Николая Второго (название ему еще не сменили) на Петроградской стороне. Там в этот последний четверг давали «Дон Карлоса» Верди с самим Шаляпиным в роли короля Филиппа. И Шаляпин пел, и переполненный зал взрывался аплодисментами, устраивая своему кумиру бурю восторга по окончании каждого акта.

Перед последним актом, когда публика уже сидела в креслах, в зале погас свет. Не постепенно, вместе с вступлением оркестра, а вдруг, еще в то время, когда оркестр настраивал инструменты. Сразу же возникли шум, нервный смех, повышенные женские голоса, но вскоре все перекрыл уверенный и спокойный мужской баритон:

— Граждане, не волнуйтесь, небольшая поломка. Убедительно прошу всех спокойненько сидеть на своих местах, свет скоро дадим.

Не господами назвал публику, что было еще непривычно. Но свет вскоре действительно дали, спектакль продолжался и поклонники великого певца отвели душу в неистовых овациях. И никто не подозревал, не знал да так и не узнал никогда, что как раз в то мгновение, когда упал занавес, дверь спальни генерала в отставке Николая Ивановича Олексина тихо отворилась, и на пороге возникло нечто воздушное со свечою в руке.

— Если противника не атакуют, он вынужден сдаться.

Руфина Эрастовна готовила эту фразу заранее, свеча вздрагивала в ее руке в такт словам, которые она отбарабанила в таком темпе, каковой никак не могло воспринять генеральское ухо. Поэтому Николай Иванович, глупо спросив: «Что?..», сел на постели, а нежный призрак, оказавшись рядом, задул свечу и сказал уже нормальным, даже умоляющим голосом:

— Если быть совсем искренней, то я очень хотела бы стать законной бабушкой своим внукам...

В эту ночь отряды красногвардейцев и солдат яростно и весело атаковали безмолвствующий Зимний дворец, в одной из комнат которого министры Временного правительства давно и устало ждали, когда же наконец их освободят от тяжкой обязанности быть бесправными душеприказчиками умирающей России.

— Наконец-то! — с горестным облегчением вздохнул Терещенко, когда в кабинет ворвалась вооруженная толпа. — Признаться, мы вас заждались, господа...

Юрий БАТЯЙКИН

Праздники одиночеств

* * *

Здесь, где прячется Сет Аларм,
придавая пикантный шарм
беспорядку больных вещей,
наподобье святых мощей
обнажив голубой матрац,
самой страшною из зараз
спит поэзия детским сном,
принакрывшись дневным рядном.

Так прелестны ее черты,
что соперничать только ты
можешь с нею и то, пока
не сощурились облака.
Но, как только ночная мгла
доползет до ее угла,
все, чем равен червяк богам,
я бросаю к ее ногам.

Потому, что в худом тряпье,
луговин и канав репье,
она тем пред тобой берет,
что в Бутырки за мной пойдет,
что в последний прощальный час
не опустит печальных глаз,
и у той гробовой доски
не отпустит моей руки.

И, пока мой бумажный хлам
не присвоил советский хам;
разделяя мои пути,
о, Возлюбленная, прости
протоплазмой, душой, корой,
что для Музы ночной порой,
соблазнившись ее венком,
я краду у тебя тайком.

* * *

Не доверяйте секретов снам —
что для науки сон?
И, плавая по коротким волнам,
не поднимайте звон.

Не открывайте друзьям своей
тайны, что вы — поэт,
и, даже в дни, когда все «о'кей»,
на ночь гасите свет.

Не оставляйте следов в листве
для любопытных глаз,
и прячьте записи в голове
в неторопливый час.

Не забывайте, куда ведет
злая дорожка рифм,
чтобы когда светлый день придет,
встретить его живым.

* * *

В парке, где липы, практикующие дзен,
лижут лиловые сумерки, как ежевичный джем,
я восстанавливаю перпендикуляр,
доказывающий, что земля не шар.

Ветви, будто свисают с век,
льдисты и припорошены, и снег,
как пузырьки в шампанском, возносится
к мостовой,
в частности, если смотришь вниз головой.

Это — единственная среда,
которая не выталкивает и, вреда
не причиняя за вытесненный объем,
окончательно становится моей в моем

городе, от которого убегать
тщетно, даже устав от «ать-
два» под стеной Кремля
возле святыни, похожей на два нуля.

Все объясняется принципами тоски:
стрелки курантов, тянущие носки,
гены брусчатки, лишенные хромосом,
розовый призрак веретена в косом

ветре на площади и мой добровольный скит,
где никого не злит, что Лубянка спит,
мне не мешая прикладывать транспортир
к темному небу, в котором горит пунктир

ярких снежинок, чей праздничный вид мою
жизнь концентрирует в точку, где я стою
на бесконечной плоскости серого вещества,
где совершается таинство нового Рождества.

* * *

Не печалься за брата,
что не так повезло,
все на свете — расплата
за добро и за зло,

все приходят к смиренью
и согласью с бедой,
утешаясь сиренью
и канавой с водой.

Но и каждое утро
на земле неспроста
проступает, как смутный
подмалевок с холста,

и не сдуру, в пороках,
убивающих плоть,
обреченных пророков
выбирает Господь.

Пусть же снова негромко
на линялом бюро,
как шуршит камнеломка,
в доме скрипнет перо,

и от боли до боли
утешеньем строки,
будто весточки с воли,
в нем забьются стихи.

Мой дом

Четыре, пока не пустых, стены —
мой дом, где вещи обречены,
и сквозь подрамник окна кривит
прозрачный песчаник вид,
по лужам скачущего верхом
пространства, увенчанного колпаком,
как более свойственный интерьер,
чем замерший у портьер.

Здесь не обмануться в вещей чутье;
и ясновидящих в канотье
на радужных головах
в белых воротничках
фонарей и трепангов осин,
и бедность, что пахнет, как керосин
в хозяйственной лавке из всех углов,
не спрятать за спины слов.

Так что я не главней, чем ключ,
в доме, где пробует лунный луч
звонкое, как камертон,
жало осиное о бетон
и знают шкаф, и стол, и кровать,
что я был бы тоже не прочь узнать,

как именно и в каком году
я из него уйду.

Мне кажется, я ненадолго сдан,
как в камеру хранения чемодан,
не знающий планов владельца и
в ячейке вынашивающий свои,
выдавливая тюбик из пасты носком
ботинка, придавленного пиджаком,
пока наперегонки бегут
к финишу бегуны секунд

Их скорость смазывает пейзаж
и мысли стискивает метраж
квартиры с привкусом казино,
в замка́х, как линия Мажино,
где на одной из игральных карт
зеркало на гвозде, как карп,
разевает рот, чтоб вдохнуть глоток
воздуха, скрученного в моток.

А я, выхаркивая из плевр
очередной «шедевр»,
с ненавистью зэка́,

покуда сопит чека
покуда храпит райком,
как дворник, скребу скребком
пера за верстой версту
исповеди моей Христу.

И самым тишайшим из голосов
прошу его уберечь от псов
клевер макушки и тех синиц,
что вспархивали по утрам с ресниц,
роившей во сне на подушку нимб,
маленькой королевы нимф,
любившей от всех тайком
приговоренный дом.

* * *

Впитайте, струны, мою боль
и спойте, ей звеня,
что солнце — просто желтый ноль
отныне для меня,

про то, как ясный свет небес
в апрельский день горчит
и как бемоль, а не диез
в моей душе звучит.

Что жизнь нетрудно одному
терпеть, как я терплю,
и больно мне лишь потому,
что я ее люблю.

Под вашу музыку словам
поверится вдвойне,
а что она ответит вам,
не говорите мне.

* * *

Здесь, где волны, омывающие дурдом,
разбиваются с воплями о кордон
параллелепипедов и кубов,
наподобие соляных столбов
стерегущих мою тоску,
я скучаю по голоску
девочки с голубым бантом,
что просвечивает сквозь содом
памяти, где процесс
обратный гниению листьев без
нее невозможен,
где на ветру
колышатся лишь объявления,
что я умру.

И мне хочется, покуда я жив еще,
улететь, как с веревки белье,
куда угодно,
лишь бы сломать механизм
того, что называется коммунизм.
Милая, не осуждай меня,
всматриваясь в лепесток огня —
веко свечи, поставленное торчком
Богом, приказывающим молчком
убираться — не отвергай его —
здесь проще смерти не высидишь
ничего,
но пока Он готов разорвать зажим,
дай мне твою ладошку и побежим.

* * *

Какими ветрами меня занесло,
какими судьбами туманными
на землю,
где к счастью пути замело
глухими ночными буранами,

где жду я всю жизнь, как под
снегом трава,
сияния солнца погасшего,
меняя отчаянья боль на слова
из уст Аполлона уставшего,
где сводит с ума

мой бумажный дурдом
с прокуренным пасмурным
Мéссией,
и дама с собачкой
бредут под окном,
как шизофрения с поэзией,

где, сжав мое сердце,
как грош
в кулаке,
огнями кривляется улица,
и заблаговременно ноет в виске, —
что пуля не дура, а умница.

●

Уильям ФОЛКНЕР

Старик

ПОВЕСТЬ

I

Некогда (дело было в штате Миссисипи в мае двадцать седьмого, то есть в год Большого наводнения) жили-были два каторжника. Первый, лет двадцати пяти, был высокий, тощий, с втянутым животом, загорелый; волосы у него были черные, как у индейца, а в глазах, светлых, цвета бледно-голубого фарфора, полыхал гнев, но гнев, нацеленный не на тех, кто сорвал его преступный замысел, и даже не на упрятавших его сюда адвокатов и судей — гнев его был адресован писателям, авторам, скрывающимся за бесплотными именами на обложках книжонок о Бриллиантовом Дике, Джессе Джеймсе[1] и об им подобных; именно они, эти писаки, считал он, своим невежеством и легкомыслием — должны же они соображать, как серьезно то, о чем они пишут и за что берут деньги,— довели его до беды: он положился на сведения, которые они пустили в розничную продажу; эти сведения несли на себе печать достоверности, подлинности (что тем более преступно, ведь нотариально засвидетельствованных справок о подлинности к таким историям не прилагается, а значит, тем готовнее уверует в них человек, честно протягивающий свои десять центов в надежде, что и с ним обойдутся так же честно, а потому не требующий, не просящий, не ждущий никаких документальных подтверждений), но оказались неприменимыми на практике и (с его точки зрения) преступно ложными; случалось, он останавливал своего мула, не допахав борозды (исправительная колония в штате Миссисипи не огорожена стенами, это не тюрьма, а хлопковая плантация, обычная ферма, где каторжники работают в поле под надзором вооруженных винтовками и длинноствольными пистолетами охранников и доверенных заключенных), и погружался в раздумья: охваченный бессильным гневом, он копался в мусоре, который хранила его память с того дня, когда он в первый и единственный раз на себе познал, что такое судопроизводство; он ворошил этот мусор до тех пор, пока бессмысленные и многословные юридические определения не складывались наконец в более-менее внятное: «использование услуг почты в целях обмана и обкрадывания адресатов» (в поисках справедливости он теперь уже и сам взывал к той слепой силе, которая, верша над ним суд, утянула его в свою круговерть и швырнула на дно) — ибо он, как никто другой, чувствовал себя одураченным примитивной почтовой системой, укравшей у него даже не деньги, сумасшедшие, шальные деньги, о которых он, впрочем, не больно-то и мечтал, а его свободу, честь и гордость.

Пятнадцать лет каторжных работ (посадили его, когда ему только-только исполнилось девятнадцать) он получил за попытку ограбления поезда. Свой план он разрабатывал загодя, в точности следуя авторитетным (и ложным) указаниям печатного слова в мягких обложках; два года он выписывал и собирал эти книжонки, читал их, перечитывал, запоминал наизусть и, по мере того как вызревал его замысел, сравнивал между собой разные истории, сопоставлял методы, выбирая для себя только самое ценное, а шелуху отбрасывая, и старался сохранять непредвзятость суждений, чтобы, когда в назначенный срок почта доставит очередную брошюрку, в последнюю минуту, спокойно, без спешки внести в план уточняющие штрихи, подобно тому, как добросо-

[1] Знаменитые американские гангстеры.

вестная портниха, получив свежий журнал мод, вносит чуть заметные изменения в отделку парадного платья. Но, когда настал великий день, он даже не успел пройти по поезду, не успел собрать часы и кольца, брошки и припрятанные кошельки, потому что его схватили, едва он вошел в почтовый вагон, где, по его расчетам, везли сейф с золотом. Он никого не застрелил, потому что его пистолет не стрелял, хотя и был заряжен; позже он признался окружному прокурору, что и пистолет, и потайной фонарь со свечкой, и закрывавший лицо черный платок он купил на гроши, которые заработал, распространяя подписку на «Журнал сыщика» среди своих соседей в лесной деревушке. И вот теперь он нередко (времени для этого у него было хоть отбавляй) погружался в раздумья, исходя бессильным гневом, оттого что не сказал на суде всей правды, просто не сумел, не знал, как такое сказать. Ведь нужны ему были не деньги. И не богатство, не сумасшедшая добыча: для него все это стало бы лишь знаком отличия — вроде красивой висюльки, которую цепляешь на грудь и носишь с гордостью, как носит спортсмен-любитель олимпийскую медаль,— эмблемой, символом, наглядно подтверждающим, что и он тоже, избрав собственную тактику, добился успеха в нынешние бурные переменчивые времена. И потому нередко, шагая за плугом по жирным разломам чернозема, или прорежая мотыгой разросшийся хлопок и кукурузу, или укладываясь после ужина в койку на ноющую от усталости спину, он вдруг взрывался проклятьями, обрушивая нескончаемый поток грубой изобретательной ругани не на реальных людей из плоти и крови, которые упекли его сюда, а на тех, чьи имена — он, правда, об этом не подозревал — были всего лишь псевдонимами, да и сами они были даже не людьми в полном смысле слова — об этом он тоже не подозревал,— а всего лишь условно обозначенными призраками, писавшими о призраках.

Второй каторжник был невысок ростом и толст. Почти безволосый, с очень белой кожей. Он был похож на личинку, врасплох застигнутую солнечным светом, когда кто-то перевернул трухлявое бревно или прогнившую доску; и он тоже нес в себе (правда, не в глазах, как тот, первый) жгучий огонь бессильного гнева. Но по нему это было незаметно, и, следовательно, никто о его гневе не знал. О нем вообще никто ничего толком не знал, включая людей, отправивших его на каторгу. Горевший в нем гнев был рожден отнюдь не лживостью печатного слова, а тем парадоксальным фактом, что оказаться здесь его вынудил собственный добровольный выбор. Да, его заставили выбирать между исправительной колонией на ферме в штате Миссисипи и федеральной тюрьмой в Атланте, и то, что он, мертвенно-бледная безволосая личинка, выбрал открытое пространство и солнце, просто еще раз подтвердило, как бдительно оберегает свою тайну его одинокая душа,— так бывает, смотришь на черную стоячую воду, и вдруг в ней что-то знакомо бултыхнется, но тотчас, не дав себя разглядеть, уйдет на дно. Какое он совершил преступление, его собратья по каторге не знали; знали только, что приговорен он к ста девяноста девяти годам лишения свободы,— уже в самом этом невероятном, несбыточном сроке проглядывало нечто злобно бессмысленное и фантастическое, намекавшее на характер его преступления, видимо, столь ужасного, что люди, уславшие его сюда, те, чей долг неколебимо стоять на страже правосудия, определяя ему наказание, забыли о беспристрастности, превратились из поборников справедливости в слепых ревнителей общечеловеческой морали, из проводников закона — в ослепленное яростью орудие всеобщей мести и, сплоченные кровожадным порывом, выступили как единое целое — и судья, и адвокат, и присяжные, что, несомненно, нарушало принципы правосудия, а может быть, даже шло вразрез с законами. Возможно, только федеральный прокурор и прокурор штата знали, в чем на самом деле заключалось его преступление. Там было много всего: и некая женщина, и угон украденного автомобиля через границу штата, и ограбление бензоколонки, и убийство сторожа. Кроме него и женщины, во время убийства в автомобиле был еще один человек, и любой, хотя бы раз взглянув на толстяка (что всего раз и сделали оба прокурора), немедленно понимал, что, даже подогрев себя для куражу спиртным, тот никогда бы не осмелился ни в кого выстрелить. Но случилось так, что его, женщину и угнанный автомобиль полиция захватила, а тот, другой, который, конечно, и был убийцей, сбежал, и потому, когда измотанного, расхристанного, рычащего от ярости толстяка втолкнули наконец в прокурорский кабинет, где прямо перед собой он видел злорадные лица двух мрачных непреклонных прокуроров, а за спиной у него, в приемной, разбушевавшаяся женщина вырывалась из рук полицейских, ему предложили выбирать. Его дело могли слушать

либо в федеральном суде, либо в окружном суде штата. Федеральный суд вменил бы ему в вину «статью Манна»[1] и угон автомобиля, другими словами, предпочти он пройти через приемную, где бушевала женщина, в зал федерального суда, у него был бы шанс получить менее суровый приговор; или же он мог признать себя виновным в убийстве и предстать перед судом штата — в этом случае ему разрешили бы, избежав встречи с женщиной, выйти из кабинета через заднюю дверь. И он выбрал; когда ему приказали встать, он встал и услышал, как судья (смотревший на него так брезгливо, будто окружной прокурор и впрямь извлек его на свет, перевернув кончиком ботинка прогнившую доску) огласил приговор: сто девяносто девять лет исправительных работ на ферме. Оттого-то он (времени у него тоже было хоть отбавляй: сначала его пробовали научить пахать, а когда ничего не вышло, определили в кузницу, но старший кузнец, из доверенных, сам попросил убрать его оттуда, так что теперь, повязав по-бабьи длинный передник, он стряпал, подметал и мыл полы в казарме надзирателей) тоже нередко погружался в раздумья и исходил бессильным гневом, хотя по нему, в отличие от первого каторжника, это было незаметно, ведь он посреди работы не останавливался и не замирал, оперевшись, к примеру, на швабру, а следовательно, никто о его гневе не знал.

Именно этот, второй каторжник, начал в конце апреля читать им вслух газету, когда они все вместе, прикованные нога к ноге общей цепью, под надзором вооруженных охранников возвращались с полей и, поужинав, собирались в бараке. Газета выходила в Мемфисе, по утрам ее читали за завтраком надзиратели, а вечером толстый каторжник читал ее вслух своим собратьям, которых, честно говоря, не очень-то интересовало происходящее во внешнем мире; многие из них вообще не смогли бы сами прочесть ни слова и даже не знали, где расположены бассейны рек Огайо и Миссури, а некоторые никогда не видели и Миссисипи, хотя последнее время все они (кто пока только несколько дней, а кто уже и десять, и двадцать, а то и тридцать лет) пахали, сеяли, ели и спали под сенью пролегавшей вдоль нее дамбы (одним предстояло провести здесь еще месяцы, другим — годы, третьим — всю оставшуюся жизнь); понаслышке они, правда, знали, что за высоким земляным валом должна быть вода, это же подтверждали и доносившиеся издали гудки, а кроме того, вот уже с неделю, футах в шестидесяти у них над головой, по небу проплывали пароходные трубы и башенки рулевых рубок.

Однако они слушали, и вскоре даже те из них, кто, как высокий каторжник, никогда прежде не видел водоема размером больше деревенского пруда, стали понимать, что означают сообщения из Мемфиса или Каира о «приближении уровня к тридцатифутовой отметке», и уже бойко рассуждали об искусственных песчаных волноломах. Возможно, их расшевелили репортажи о срочно брошенных на береговые работы воинских частях, о бригадах, где белые и черные вместе по две смены подряд воевали с неуклонно прибывающей водой; рассказы о людях, пусть даже и неграх, которых, как их самих, заставляли работать и которые за свой труд не получали ничего, кроме грубой пищи да нескольких часов сна на земляном полу палатки,— голос читавшего рождал в их воображении картину за картиной: забрызганные грязью белые с непременными длинноствольными пистолетами; муравьиные цепочки негров, несущих мешки с песком, падающих и вновь карабкающихся вверх по крутому склону, чтобы швырнуть в лицо стихии свою жалкую песочную гранату и вернуться за новой. Но, возможно, их интерес объяснялся и чем-то большим. Возможно, они следили за приближением катастрофы с тем смешанным чувством изумления и недоверчивой надежды, что некогда охватило рабов — львов, медведей и слонов, конюших, банщиков и пирожников,— смотревших из садов Агенобарба на вознесшееся над Римом пламя пожара. Как бы то ни было, они слушали, а тем временем подошел май, и надзирательская газета заговорила языком крупных, в два дюйма, заголовков (казалось, даже неграмотный сумел бы прочесть эти отрывистые, как удар кнута, набранные жирным шрифтом фразы): *Наводнение в Мемфисе достигнет пика в полночь... В бассейне Уайт-ривер крова лишилось 4000 человек... Губернатор вызвал части Национальной гвардии... Чрезвычайное*

[1] Статья Манна — принятый конгрессом США в 1910 г. федеральный закон, по которому помощь или соучастие в перевозе женщины из одного штата в другой с аморальными целями признается уголовным преступлением.

положение объявлено в следующих округах... Президент Гувер сегодня выезжает из Вашингтона спецпоездом Красного Креста; и спустя еще три вечера (дождь лил не переставая — не апрельские или майские короткие и бурные грозовые ливни, а тягучий, ровный, серый дождь, какой в ноябре или декабре предвещает холодный северный ветер. В тот день они даже не выходили в поле, и одно то, с каким натужным оптимизмом подавала газета новости почти суточной давности, казалось, опровергало эти сообщения): Пик наводнения миновал Мемфис... 22 000 беженцев благополучно эвакуированы в Виксберг... «Дамбы выдержат!» — заявляют армейские инженеры.

— Значит, надо так понимать, сегодня ночью их прорвет,— заметил один из слушавших.

— Кто знает, может, пока вода дойдет досюда, дождь еще не кончится,— сказал другой.

Остальные хором его поддержали, потому что все они думали о том же: всех их мучило невысказанное подозрение, что если небо расчистится, то, пусть даже прорвет дамбы, пусть даже вода двинется прямо на ферму, им все равно придется снова выйти в поле и работать, что, кстати, впоследствии и произошло. В этой их мысли не было ничего парадоксального, и, хотя они не смогли бы объяснить словами, инстинктивно они понимали, откуда она родилась: земля, которую они возделывали, и урожай, который они собирали, не принадлежали ни им, работающим на этой земле, ни тем, кто заставлял их под дулом пистолета на ней работать, так что и одним, и другим — и каторжникам, и охранникам — было безразлично: вместо семян они могли бы точно так же сеять гальку и точно так же прореживали бы мотыгами хлопок и кукурузу, сделанные из папье-маше. Оттого-то, когда под стук барабанившего по крыше дождя они улеглись на койки, спалось им неспокойно — сказалось все разом: проблески бредовой надежды, пустой день, вечерняя читка заголовков,— а среди ночи в бараке вдруг ярко вспыхнул свет, голоса охранников разбудили их, и они услышали, как неподалеку в ожидании пыхтят грузовики.

— Выкатывайтесь! — заорал надзиратель. Он был уже полностью одет, в резиновых сапогах, в непромокаемом плаще и с пистолетом.— Час назад у Маундс-лендинга прорвало дамбу. Поднимайтесь, и вон отсюда!

II

Когда запоздалый рассвет пробился сквозь струи дождя, толстяк и высокий вместе с двадцатью другими каторжниками были уже в пути. Грузовик вел доверенный заключенный, рядом с ним в кабине сидели два вооруженных охранника, а каторжники, тесно прижатые друг к другу, как спички в перевернутом «на попа» коробке, или как кордитовые стерженьки в гильзе снаряда, стоя ехали в высоком, похожем на конское стойло, открытом кузове, и общая цепь, к которой они были прикованы за щиколотку, билась о неподвижные ступни, покачивавшиеся икры и громыхавшие на полу кирки и лопаты, приклепанная обоими концами к стальным бортам.

А потом, внезапно и неожиданно, они увидели наводнение, про которое уже две недели, а то и больше читал им по вечерам толстяк. Дорога вела на юг. Ее проложили по насыпи — или, как говорили в тех краях, по навалу,— футов на восемь возвышавшейся над равнинной местностью и с обеих сторон ограниченной котлованами, из которых и была взята земля для строительства. В этих котлованах всю зиму стояла вода, скопившаяся после осенних дождей, и вчерашний дождь, конечно, тоже внес туда свою лепту, но сейчас они увидели, что глубокие ямы по бокам дороги исчезли, а вместо них расстилался плоский неподвижный пласт коричневой воды, доползшей уже до распаханных полей, где ее длинные застывшие нити тускло поблескивали в сером свете утра между бороздами, похожие на прутья опрокинутой гигантской решетки. А потом (грузовик шел на хорошей скорости), пока они смотрели и молчали (они и до этого почти не разговаривали, но теперь окончательно притихли и то и дело все вместе, как по команде, вытянув шею, поворачивались направо, чтобы бросить оценивающий взгляд на пространство к западу от дороги), гребни борозд тоже исчезли, и глаза видели только сплошную, безупречно ровную, неподвижную, серо-стальную гладь, из которой оцепенело, будто воткнутые в цемент, торчали телеграфные столбы и ряды кустов, разделявшие земельные участки.

Вода была совершенно неподвижная, совершенно гладкая. Вид у нее был если и не безобидный, то все же очень к себе располагавший. Чуть ли не ласковый. Казалось, по ней можно ходить. Казалось, она застыла намертво, и, лишь, въехав на первый мост, они поняли, что она наделена движением. Мост стоит над канавой, над небольшим ручьем, но сейчас ручей превратился в невидимку, и только ряды кипарисов и кусты куманики обозначали его путь. Вот здесь-то, на мосту, оба каторжника увидели и услышали движение — медленное, степенное, направленное против течения ручья на восток («Смотрите-ка, течет задом наперед»,— тихо сказал кто-то) перемещение этой на вид по-прежнему недвижной, окаменевшей глади, из-под которой, откуда-то из самой глубины, доносился глухой рокот, похожий (впрочем, никто из ехавших в грузовике не смог бы подсказать такое сравнение) на гул поездов метро глубоко под улицей и наводивший на мысль о непостижимой, бешеной скорости. Было ощущение, будто вода состоит из трех отдельных, разных слоев; верхний, такой спокойный и ласковый, неторопливо нес грязную пену и мелкие обломки веток, словно с коварным расчетом маскируя главный, стремительный и лютый поток, который, в свою очередь, прятал под собой ручей, тонкую струйку, журча ползущую в противоположном направлении, следующую к своей лилипутской цели заданным курсом, непотревоженно и в полном неведении, подобно муравьям, что ползут между рельсами под мчащимся экспрессом, пребывая в полном неведении о его мощи и ярости, будто он для них все равно что циклон на Сатурне.

Вода теперь была по обе стороны дороги и, раз уж ее движение перестало быть для них секретом, похоже, отбросила всякую скрытность и притворство: они, казалось, явственно видели, как она все выше оглаживает бока насыпи; деревья — еще недавно, лишь в нескольких милях отсюда их кроны вздымались над водой на высоких стволах — теперь, казалось, начинались сразу с нижних веток и напоминали декоративные кусты на стриженом газоне. Грузовик проехал мимо негритянской хижины. Вода доходила до оконных карнизов. На самом верху крыши, прижимая к себе двух младенцев, сидела на корточках женщина; мужчина и подросток, стоя по пояс в воде, затаскивали визжащую свинью на покатую кровлю сарая, где на коньке уже примостились несколько кур и индюк. Рядом с сараем, на стоге сена стояла привязанная к столбу корова и непрерывно мычала; к стогу, вопя и подымая брызги, приближался верхом на муле мальчишка-негритенок: его ноги впивались мулу в бока, он лупил его без передышки и, перекосившись всем телом, тянул за собой на веревке второго мула. Увидев грузовик, женщина на крыше закричала, ее голос негромким мелодичным эхом разносился над коричневой водой и, по мере того как грузовик удалялся, звучал слабее и слабее, пока не затих вовсе, а почему — может, дело было в расстоянии, а может, женщина сама перестала кричать,— в грузовике не знали.

Потом дорога пропала. Она была ровная, без ощутимого уклона, но тем не менее вдруг разом скрылась под коричневой гладью, не нарушив ее ни зыбью, ни морщинами; вошла в воду, не потревожив ее, как входит в тело тонкая плоская бритва, косо направленная умелой рукой, и осталась там, словно лежала под водой уже годы, словно так и было задумано при строительстве. Грузовик остановился. Шофер вылез из кабины, прошел к заднему борту и вытащил из кузова две лопаты, что всю поездку с лязгом бились о цепь, змеей обвивавшую их щиколотки.

— В чем дело? — спросил один.— Ты чего это придумал?

Не ответив, шофер вернулся к кабине. Оттуда уже вылез охранник, без пистолета. Вдвоем — оба в высоких резиновых сапогах, у обоих в руках лопаты — охранник и шофер осторожно вошли в воду и двинулись вперед, на ощупь проверяя глубину черенками лопат. Не получивший ответа каторжник заговорил снова. Он был немолод, с копной буйных седых волос и слегка безумным лицом.

— Да что же это они, черт возьми, делают? — сказал он.

Ему опять никто не ответил. Грузовик тронулся, въехал в воду и пополз за шофером и охранником, медленно толкая перед собой плотную и вязкую складку шоколадной воды. И тут седой каторжник начал кричать.

— Разомкните цепь, будьте вы прокляты! — яростно размахивая руками, осыпая соседей ударами, он протискивался вперед и, наконец, добравшись до кабины, замо-

лотил кулаками по железной крыше.— Разомкните нас, будь вы прокляты! Разомкните цепь! Сволочи! — выкрикивал он, не обращаясь ни к кому в отдельности.— Они же нас утопит! Разомкните цепь!

Но его будто не слышали, с тем же успехом он мог взывать к мертвецам. Грузовик полз дальше: охранник и шофер, нащупывая дорогу лопатами, шагали впереди, второй охранник сидел за рулем, двадцать два каторжника стоя ехали в кузове, стиснутые, как селедки в бочке, и прикованные общей ножной цепью к стальным бортам. Пересекли еще один мост — два хрупких и нелепых железных перильца под косым углом вылезали из воды, с десяток футов тянулись параллельно ей, а потом косо уходили в нее вновь, оставляя чувство злой досады, как бывает, когда во сне привидится даже не кошмар, а нечто вроде бы многозначительное, но в то же время явно бессмысленное. Грузовик полз дальше.

Ближе к полудню они прибыли по месту назначения, в город. Улицы были мощеные; колеса грузовиков издавали шум, похожий на звук рвущегося шелка. Теперь, когда охранник и шофер снова сели в кабину, они ехали быстрее, грузовик даже вспенивал носом воду, и поднятые им волны, перекатываясь через затопленные тротуары и прилежащие газоны, с плеском ударялись о приступки и веранды домов, где среди пирамид мебели стояли люди. Проехали через деловой район; из какого-то магазина, шатая по колено в воде, выбрался мужчина в болотных сапогах, тянувший за собой плоскодонку, в которую был погружен железный сейф.

Наконец доехали до железной дороги. Пути пересекали улицу под прямым углом, разрезая город пополам. Эта дорога тоже шла по навалу, по насыпи, возвышавшейся над городом футов на десять; упершись в насыпь, улица круто расходилась в обе стороны возле амбара для киповки хлопка и погрузочной платформы, поднятой на сваях до уровня дверных проемов стандартного товарного вагона. На платформе была разбита серая армейская палатка, возле нее стоял часовой в мундире Национальной гвардии с винтовкой через плечо и с патронташем на груди.

Грузовик повернул и вполз на пандус, по которому обычно въезжали фургоны с хлопком, а сейчас подкатывали к перрону грузовики и частные машины, выгружавшие горы домашнего скарба. Каторжников отсоединили от приклепанной к кузову цепи, и, скованные попарно ножными кандалами, они поднялись на перрон, прямо в хаос беспорядочно нагроможденных кроватей, чемоданов, газовых и электрических плит, радиоприемников, столов и стульев, картин в рамах,— все это передавали по цепочке и заносили в амбар негры под присмотром небритого белого в грязной вельветовой паре и болотных сапогах, а у дверей амбара стоял еще один гвардеец с винтовкой, но каторжники, не останавливаясь, подгоняемые охранниками, прошли мимо него в сумрачное, похожее на пещеру строение, где среди составленной ярусами разнородной мебели одинаково тускло, сгустками бледного пустого света мерцали кольца проволоки на кипах хлопка и зеркала трюмо и шифоньеров.

Пройдя через амбар насквозь, они вышли на погрузочную платформу к той самой палатке, возле которой стоял первый часовой. Здесь им пришлом ждать. Никто не объяснял, чего они ждут и зачем. Охранники разговаривали с часовым, а каторжники в ряд, как вороны на заборе, сидели вдоль края платформы, болтая скованными ногами над бурой застывшей гладью, откуда, словно вопреки логике, отвергая перемены и предвестья беды, подымалась целая и невредимая насыпь, молчали и глядели через пути, туда, где отрезанная дорогой половина города — макет из неподвижных, строго чередующихся элементов: дом, куст, дерево,— казалось, плыла по бескрайней текучей равнине под разбухшим серым небом.

Через какое-то время с фермы прибыли остальные четыре грузовика. Тесной колонной, бампер к бамперу, шурша колесами, будто разрывая шелк, они вползли на пандус и скрылись за амбаром. Потом сидевшие на платформе услышали топот и глухое клацанье кандалов: из дверей амбара вышла первая партия вновь прибывших, за ней вторая, третья...— теперь их, одетых в полосатые тиковые комбинезоны и куртки, было здесь уже больше сотни, да еще пятнадцать — двадцать охранников с винтовками и пистолетами. Те, что приехали первыми, встали и, смешавшись с новенькими, расхаживали по двое, как пары близнецов, соединенных клацающей, бренчащей пуповиной; а потом заморосил дождь, неспешный, ровный, мелкий, будто был не май, а декабрь. Но никто из них не сделал и шагу к открытой двери амбара. Они даже не глядели

в ту сторону — ни с тоской, ни с надеждой, ни безнадежно. Ничего такого у них, наверно, и в мыслях не было, ведь они, без сомнения, понимали, что, даже если амбар еще не набит до отказа, оставшееся место понадобится для мебели. Как, наверно, и понимали, что, даже найдись там свободный закуток, он не для них: не потому, что охранники хотят, чтобы они вымокли, а просто охранникам и в голову не придет увести их из-под дождя. В общем, они просто перестали разговаривать, подняли воротники и, скованные по двое, стояли, словно выведенные на старт пары гончих псов: стояли неподвижно, терпеливо, почти задумчиво, повернувшись к дождю спинами, как овцы или коровы.

Еще через какое-то время они заметили, что на платформе уже больше десятка солдат — в прорезиненных накидках солдатам было тепло и сухо — и один офицер с пистолетом на боку; потом, хотя они даже не шелохнулись, донесся запах еды, и, повернувшись, они увидели, что прямо в дверях амбара установлена военная полевая кухня. Но они не тронулись с места, они ждали, пока их построят в шеренгу, и лишь тогда, медленно продвигаясь вперед и терпеливо пригибая голову под дождем, получили каждый миску похлебки, кружку кофе и два куска хлеба. Ели тоже под дождем. Садиться не стали, потому что платформа была мокрая, просто опустились по-деревенски на корточки, сгорбились и нагнулись вперед, пытаясь заслонить миски и кружки, но дождь все равно с плеском лил туда, как в крохотные пруды, и неслышно, невидимо пропитывал собой хлеб.

Они простояли на платформе три часа, прежде чем за ними пришел поезд. Стоявшие ближе к краю увидели его первыми и глядели не отрываясь — пассажирский вагон, похоже, вез себя сам, хотя никакой трубы они не видели, тащил за собой облако дыма: вместо того чтобы улетать вверх, это облако, медленно и тяжело смещаясь вбок, опускалось на залитую водой землю, невесомое и в то же время вконец обессиленное. Поезд подъехал и остановился — не состав, а всего один, старого образца деревянный вагон с открытой задней площадкой, прицепленный к передку небольшого, куда меньше, чем вагон, маневренного паровоза. Их погнали садиться, и они толпой ринулись в передний конец вагона, где стояла маленькая чугунная печка. Она не горела, но они все равно сгрудились вокруг нее, вокруг холодного и немого куска металла в линялых потеках табачных плевков, хранившего призрачные воспоминания о тысячах воскресных экскурсий — Мемфис или Мурхед и обратно; орешки, бананы, мокрые пеленки,— и, толкаясь, протискивались поближе.

— А ну, угомонитесь, хватит! — закричал один из охранников.— Рассаживайтесь, быстро!

В конце концов трое охранников, отложив пистолеты, пробились сквозь толчею, разогнали их, заставили пройти назад и сесть на лавки.

На всех лавок не хватило. Многие стояли в проходе, стояли, все так же скованные кандалами; потом они услышали, как зашипел выпущенный из тормозов воздух, паровоз дал четыре гудка, вагон лязгнул и пришел в движение; платформа и амбар умчались прочь — казалось, поезд рванул с места на полной скорости; и снова, как недавно, когда он приближался к платформе, возникло ощущение чего-то нереального: тогда, хотя паровоз был сзади, поезд ехал вперед, а сейчас, хотя он ехал назад, паровоз был спереди.

Когда и пути в свою очередь ушли под воду, каторжники даже не обратили на это внимания. Они почувствовали, что поезд встал, услышали протяжный, с воем пролетевший над пустошью безответный, скорбный и отчаянный гудок, но даже не полюбопытствовали, в чем дело; и они все так же безучастно — одни сидя, другие стоя — смотрели в исполосованные дождем окна, когда поезд вновь пополз, а коричневая вода забурлила между рельсами, закрутилась между спицами колес и заплескалась облаками пара в набитое огнем провисшее брюхо паровоза; опять раздались четыре коротких гудка, но сквозь торжество победы, сквозь гонор в них пробивалась обреченность и даже слышались прощальные нотки, как будто стальная машина сама понимала, что остановиться больше не посмеет, а вернуться назад не сможет. Два часа спустя — начинало смеркаться — за полосами дождя они увидели горящую ферму. Дом стоял в пустоте и окружен был пустотой; ясное, ровное, похожее на погребальный костер пламя, упорно отстраняясь от своего отраженного в воде двойника, горело

в полумраке над мерзостью водяного запустения — в этой картине было нечто, само себе противоречащее, вызывающее и фантастическое.

Вскоре после наступления темноты поезд остановился. Каторжники не знали, где они находятся. И не спрашивали. Им бы и в голову не пришло об этом спросить — они же не спрашивали, зачем и почему их увезли. Они даже не могли ничего разглядеть, потому что света в вагоне не было, а окна, снаружи мутные от дождя, изнутри запотели от жара спрессованных тел. Им были видны только молочные вспышки мигавших неизвестно откуда сигнальных огней. Издали доносились какие-то голоса, команды, потом охранники в вагоне начали на них кричать; каторжников подняли и погнали к выходу. Сквозь клочья плывшего вдоль вагона пара они спустились навстречу его злобному шипению. Параллельно поезду, сам похожий на поезд, стоял массивный тупорылый моторный катер, а за ним тянулась на тросе вереница яликов и плоскодонок. Солдат вокруг было много; отблески огней играли на стволах винтовок, на пряжках патронташей, и, когда каторжники, опасливо ступая в доходившую до колен воду, рассаживались по лодкам, на кандалах тоже мерцали и дрожали блики; а тем временем и вагон, и паровоз вовсе исчезли в клубах пара, потому что машинист с кочегаром уже выбрасывали из топки горящий уголь.

Спустя час они увидели впереди какие-то огоньки — на горизонте подрагивала тусклая полоска из крохотных красных точек, будто подвешенная к небу. Но прошел еще час, пока они туда доплыли, и, сидя на корточках, кутаясь в намокшие куртки (с дождем они свыклись и давно не чувствовали отдельных капель), каторжники наблюдали, как огоньки все приближаются, а потом проступил и сам гребень дамбы; вскоре они начали различать и поставленные в ряд армейские палатки, и людей вокруг костров, от которых на воду падало зыбкое отражение, высвечивая беспорядочное скопление лодок, привязанных вдоль дамбы, что темной громадой высилась уже почти над головой. Внизу, среди лодок, мигали и переливались огоньки; катер, заглушив мотор, тихо скользил к причалу.

Поднявшись на вершину дамбы, каторжники увидели перед собой длинную череду серых палаток, перемежавшихся кострами, возле которых среди бесформенных тюков с одеждой стояли или сидели на корточках люди — мужчины, женщины и дети, негры и белые,— их глаза поблескивали в свете костров; повернув головы, они молча разглядывали полосатую форму и кандалы; чуть ниже по склону, тоже вместе, хотя и не стреноженные, стояли с десяток мулов и две-три коровы. А потом высокий каторжник услышал какой-то посторонний звук. Не то чтобы услышал сразу и внезапно, а просто вдруг понял, что слышит его давно; но звук этот был настолько чужд всему познанному им миру, настолько не поддавался никакому сравнению, что до этой минуты он даже не воспринимал его, не подозревал о нем, как, должно быть, букашка, несущаяся на камне вместе с лавиной, не подозревает об окружающем ее грохоте; чуть ли не весь день сегодня он провел на воде и уже семь лет пахал, боронил и сеял в тени высокой дамбы, на которой сейчас стоял, но тем не менее далеко не сразу признал этот низкий, глухой рокот. Он остановился. Колонна каторжников, врезавшись в него, качнулась назад, словно затормозивший товарный поезд, и кандалы загремели, словно вагоны.

— Шагайте! — крикнул охранник.

— Что это там? — спросил высокий каторжник.

Ему ответил негр, сидевший на корточках возле ближнего костра.

— Это он,— сказал негр.— Это Старик.

— Старик? — переспросил каторжник.

— Чего встали? Эй, вы там, шагайте! — закричал охранник.

Они пошли дальше; навстречу попались еще несколько мулов — те же скошенные глаза, те же отвернутые на миг от костров длинные угрюмые морды,— потом, миновав их, они вышли к пустому палаточному городку: легкие походные солдатские палатки, все двухместные. Охранники начали их туда загонять, по шесть скованных парами каторжников в каждую палатку.

На четвереньках, будто собаки, пролезающие в тесную конуру, их шестерка заползла внутрь и кое-как разместилась. От сбившихся в кучу тел в палатке скоро стало тепло. Постепенно они угомонились, и теперь слышно было уже всем: они лежали и молча слушали басовитый рокот — глубокий, наполненный силой и мощью.

— Старик? — снова спросил поездной грабитель.

— Угу,— отозвался кто-то.— Он о себе понятие имеет, ему хвастать не надо.

На рассвете охранники разбудили их, пиная сапогами торчавшие наружу пятки. Напротив раскисшего причала и скопища лодок поставили полевую кухню, откуда уже доносился запах кофе. Вчера они ели всего один раз, да и то в полдень, под дождем, но по крайней мере высокий каторжник двинулся за едой не сразу. Вместо этого он впервые взглянул на Старика, на великую реку, рядом с которой провел эти последние семь лет, но которую никогда прежде не видел; замерев, пораженный своим открытием, он стоял и смотрел на строгую, нигде не нарушенную волнами и лишь слегка покачивающуюся серо-стальную поверхность. Река простиралась далеко за доступные его глазу пределы — покрытая шоколадной пеной, грузно колыхавшаяся ширь только в одном месте, примерно в миле от него, была прорезана хрупкой, на вид тонкой, как волос, линией, и мгновенье спустя он догадался: *Это же еще одна дамба,* спокойно подумал он. *И мы оттуда выглядим точно так же. То, на чем я стою, оттуда выглядит именно так.* Сзади что-то ткнулось ему в спину; голос охранника пронесся над ухом:

— Пошел! Пошел! Еще будет время насмотреться.

Им выдали те же, что вчера, похлебку, кофе и хлеб; они опять сели на корточки и, хотя дождя пока не было, заслонили собой миски и кружки. Ночью из воды всплыл совершенно целый сарай. Прибитый течением к дамбе, он застыл неподалеку от причала, на нем толпой копошились негры: отрывая дранку и доски, они переносили их на берег; высокий каторжник неторопливо, сосредоточенно жевал и смотрел, как сарай тает прямо на глазах — точно дохлая муха, исчезающая под кучей трудолюбивых работяг-муравьев.

Они кончили есть. Тут снова, как по команде, пошел дождь, но они все так же стояли или сидели на корточках в своих задубевших робах, которые за ночь нисколько не высохли, а просто немного нагрелись, чуть выше температуры воздуха. Потом их подняли, разделили по списку на две группы, заставили одну группу вооружиться грязными ломами и лопатами и всех вместе погнали наверх. Вскоре к причалу, скользя, вероятно, над лежавшей в пятнадцати футах под килем хлопковой плантацией, подошел катер со свитой лодок, осевших в воду по самые борта: в лодках, держа на коленях узлы с вещами, ехали множество негров и горстка белых. Когда мотор на катере заглушили, над водой раздалось треньканье гитары. Лодки причаливали и разгружались: каторжники смотрели, как мужчины, женщины и дети, волоча тяжелые мешки и взвалив на плечи увязанные в одеяла пожитки, карабкаются наверх по скользкому склону. А гитара все тренькала, и наконец каторжники увидели его, молодого черного узкобедрого парня с гитарой на перекинутой через шею бечевке. Он взбирался на дамбу, продолжая перебирать струны. Кроме гитары, у парня не было с собой ничего — ни еды, ни смены белья, ни даже пиджака.

Высокий каторжник был так поглощен этим зрелищем, что не услышал охранника, пока тот не выкрикнул его имя, подойдя вплотную.

— Заснул, что ли?! — гаркнул охранник.— Вы, ребята, как, с лодкой управитесь?

— А где с ней надо управляться? — спросил высокий.

— В воде,— отрезал охранник.— Ты думал, где?

— Туда я ни на какой лодке не поплыву.— Высокий косо мотнул головой, показывая на невидимую реку по ту сторону дамбы.

— Нет, это с нашей стороны.— Охранник нагнулся и ловко разомкнул цепь, соединявшую высокого каторжника с тем толстым безволосым.— Тут рядом, чуть дальше по дороге.— Он выпрямился. Оба каторжника следом за ним спустились к лодкам.— Держитесь вон тех столбов, пока не доплывете до автозаправки. Ее вы сразу отличите, у нее еще крыша видна. Заправка стоит на протоке, а что это протока, тоже сразу поймете — там торчат верхушки деревьев. Поплывете вдоль протоки, пока не увидите разросшийся кипарис. На нем женщина сидит. Снимите ее оттуда, потом развернетесь, возьмете круто влево, на запад, и доплывете до сарая, где на крыше сидит мужчина...— Он повернулся и посмотрел на них: оба каторжника стояли совершенно неподвижно, с напряженными лицами и оценивающе поглядывали то на лодку, то на воду.— Ну? Чего вы ждете?

— Я не умею грести,— сказал толстый.

— Значит, самое время научиться. Садитесь в лодку,— приказал охранник.

Высокий подтолкнул напарника вперед.

— Залезай,— сказал он.— Не трусь, ничего с тобой не будет. Купать тебя никто не собирается.

Оттолкнувшись от берега — толстый устроился на носу, а высокий сел ближе к корме,— они увидели, что охранники расковали еще несколько пар и подводят их к лодкам.

— Я вот думаю, а сколько еще парней тоже первый раз видят такую большую воду,— сказал высокий.

Второй каторжник не ответил. Он стоял на коленях на дне лодки и опасливо шлепал по воде веслом. Уже в самом наклоне его мясистой мягкой спины отражались недоверие и тревожная настороженность.

Вскоре после полуночи в Виксберге причалило спасательное судно, до краев набитое лишившимися крова людьми. Это был пароход, предназначенный для мелководья; весь день он шарил по зажатым среди кипарисов и эвкалиптов протокам и обыскивал хлопковые поля (иногда, вместо того чтобы плыть, он тащился на брюхе), собирая свой скорбный груз с крыш домов и сараев, а порой даже с деревьев, и сейчас пришвартовался в этом выросшем как на дрожжах городе несчастных и отчаявшихся, где под моросью дождя чадили язычки керосиновых ламп, а спешно проведенный электрический свет озарял мерцаньем штыки военной полиции и повязки с красным крестом на рукавах врачей, медсестер и работавших в столовых добровольцев. Обрывистый берег над причалом был сплошь уставлен палатками, но тем не менее их не хватало на всех; люди укрывались кто где мог, некоторые же, и в одиночку, и целыми семьями, сидели и лежали прямо под дождем, мертвые от усталости, а между ними, обходя их, переступая через них, сновали врачи, медсестры и солдаты.

Среди первых с парохода сошел один из надзирателей колонии, почти вплотную за ним следовали толстый каторжник и еще один белый — щуплый человечек с изможденным небритым серым лицом, все еще выражавшим беспредельное возмущение. Надзиратель, казалось, знал, куда ему надо. Сопровождаемый своими, не отстающими ни на шаг спутниками, он уверенно протискивался между грудами мебели и обходил спящих, пока наконец не оказался в ярко освещенном и наспех приспособленном под кабинет помещении — по существу, здесь было что-то вроде военного штаба,— где за столом сидел начальник колонии, а рядом с ним два армейских майора.

Надзиратель не тратил времени на предисловия.

— У нас пропал человек,— сообщил он и назвал фамилию высокого каторжника.

— Пропал? — переспросил начальник.

— Ага. Утонул.— Не поворачивая головы, надзиратель приказал толстому: — Расскажи.

— Это ведь он сказал, что умеет грести,— начал толстый...— А я такого отродясь не говорил. Я уже ему объяснял,— он кивком показал на надзирателя,— я грести не умею. И, значит, когда мы добрались до протоки...

— Не понимаю, о чем он,— перебил начальник.

— Это с катера увидели,— объяснил надзиратель.— У протоки на кипарисе сидела женщина, а подальше сидел вот этот,— он указал на своего второго спутника; начальник и оба майора повернулись и поглядели на него,— на сарае. Катер их не подобрал, там уже места не было. Рассказывай дальше.

— Ну вот, подъезжаем мы, значит, туда, где была протока,— продолжил толстый напрочь лишенным интонаций голосом, монотонно, без пауз.— И тут лодка у него вырвалась. Что случилось, я не знаю. Я просто сидел и ничего не делал, потому что он же ясно сказал, что грести умеет и с лодкой управится. Никакого водоворота я не видел. Просто лодку вдруг крутануло и понесло назад будто ее к поезду прицепили а потом она опять закрутилась а я случайно посмотрел наверх а там прямо надо мной была ветка и я успел за нее ухватиться а лодку из-под меня выдернуло одним махом все равно как носок с ноги и я потом увидел только что она перевернулась а этот который говорил что грести умеет цеплялся за нее одной рукой а другой все держал весло.— Он кончил говорить. Его голос не понизился, не затих, а просто разом оборвался, и каторжник застыл в молчании, глядя на стоявшую на столе ополовиненную бутылку виски.

Начальник повернулся к надзирателю:

— Откуда ты знаешь, что он утонул? Может, понял, что есть возможность сбежать, и воспользовался случаем, почем ты знаешь?

— Куда бы он сбежал? — возразил тот.— Ведь всю дельту затопило, на целых пятьдесят миль. До самых гор все на пятнадцать футов под воду ушло. Да и лодка-то перевернулась.

— Парень утонул,— сказал толстый каторжник.— Насчет этого можете не сомневаться. Иначе говоря, вышло ему помилование, до срока освободился, можете так в приказе и написать, рука у вас не отсохнет.

— И что же, больше его никто не видел? — спросил начальник.— А та женщина на дереве?

— Не знаю,— сказал надзиратель.— Я ее пока не нашел. Должно быть, ее другая лодка подобрала. Зато я привел вот этого, который на сарае сидел.

Начальник и оба офицера снова взглянули на того второго, на его изможденное небритое злое лицо, еще хранившее следы пережитого страха — страха, смешанного с бессилием и гневом.

— Он так за тобой и не приплыл? — спросил начальник.— Ты его так и не видел?

— Никто за мной не приплывал,— сказал беженец. Его начала бить дрожь, хотя первые слова он произнес довольно спокойно.— Я сидел, как дурак, на этом чертовом сарае и все ждал, что его в любую минуту накроет. Видел и катер, и лодки эти видел, только там, понимаешь, места для меня не было. Набили, понимаешь, целую прорву черномазых ублюдков, один даже на гитаре играл, а для меня, понимаешь, места у них не нашлось! С гитарой, понимаешь! — выкрикнул он и дальше кричал уже во весь голос, трясся, брызгал слюной; лицо у него дергалось, кривилось.— Для черномазого ублюдка с гитарой место нашлось, а для меня...

— Успокойся,— сказал начальник.— Успокойся.

— Дайте ему выпить,— посоветовал один из офицеров.

Начальник плеснул в стакан виски. Надзиратель протянул стакан беженцу, тот взял его трясущимися руками и попытался поднести ко рту. Секунд двадцать они молча наблюдали за ним, потом надзиратель отобрал у него стакан, сам поднес его к губам беженца и держал так, пока тот пил, но на заросший подбородок все равно поползли тонкие струйки.

— В общем, мы подобрали и его, и...— надзиратель впервые назвал фамилию толстого каторжника,— уже в сумерках и поплыли назад. А тот пропал.

— М-да.— сказал начальник.— Ну и дела. У меня за десять лет ни один заключенный не пропадал, а тут нате вам, да еще так нехорошо. Завтра отошлю вас назад на ферму. Сообщи его семье и немедленно подготовь все документы.

— Понял,— кивнул надзиратель.— Только знаешь что, шеф, он все же был неплохой парень, и, может, зря мы его в лодку-то посадили. Правда, он сам сказал, что грести умеет. Слушай, а что если написать: «Утонул, спасая людей во время Большого наводнения двадцать седьмого года»,— и послать губернатору, пусть подпишет. Родным все же приятно будет, на стенку повесят, чтобы соседи видели, и вообще. Может, даже власти деньжат им за парня подкинут — в конце концов его сюда прислали на ферме работать, хлопок растить, а не на лодке шастать, да еще и в наводнение.

— Ладно, я сам за этим прослежу,— сказал начальник.— Тебе главное — поскорее провести по всем ведомостям, что он умер, а то ведь ловкачей много, деньги на его питание мигом себе в карман положат.

— Понял.— Подтолкнув своих спутников к двери, надзиратель вышел вместе с ними. В темноте под моросящим дождем он снова повернулся к толстому каторжнику: — Ну что? Выходит, обставил тебя твой напарничек. Он-то теперь освободился. Отбыл свой срок. А тебе еще трубить и трубить.

— Освободился, как же! — буркнул толстый — Такая свобода мне даром не нужна.

III

Вынырнув на поверхность, высокий каторжник, как правдиво засвидетельствовал толстый, по-прежнему держал в руке весло. И вовсе не потому, что подсознательно надеялся вновь оказаться в лодке,— была минута, когда ему уже не верилось, что он ее поймает или хоть бы найдет что-нибудь ей взамен,— просто он даже не успел его

отпустить. Слишком уж стремительно все развивалось. Он был застигнут врасплох, он лишь почувствовал первый мощный рывок течения, увидел, как лодку завертело и его напарник, взмыв вверх, исчез, словно вознесшийся на небо пророк Исайя, а в следующее мгновение он сам очутился в воде и, борясь с тянувшим за собой веслом — он и не подозревал, что оно до сих пор у него в руке,— всякий раз, как удавалось вынырнуть, цеплялся за крутившуюся волчком лодку,— она то далеко отскакивала от него, то, будто решив вышибить ему мозги, зависала прямо над головой,— пока наконец не ухватился за корму; его тело как бы превратилось в плавучий якорь, и они — человек, лодка и торчавшее над ними, как мачта, весло — исчезли из поля зрения толстого каторжника (который тоже и столь же стремительно, правда, переместившись не в сторону, а вверх, исчез из поля зрения высокого), будто живая картина, которую всю целиком с невероятной быстротой убрали со сцены.

Теперь он попал в узкий канал, в протоку, где до сегодняшнего дня царил покой, не нарушавшийся, вероятно, с тех древних времен, когда исторгнутые недрами воды сотворили этот край. Зато сегодня течение здесь было бурным; со дна тянувшейся за кормой борозды ему казалось, будто небо и деревья с головокружительной скоростью проносятся мимо и мрачно, с грустным удивлением поглядывают на него сквозь холодные желтые брызги. Но ведь деревья на чем-то стояли, и стояли надежно; он подумал об этом и, охваченный на миг отчаянной злостью, вспомнил о твердой земле, о той прочной, плотной, незыблемой, навеки скрепленной трудовым потом поколений земле, которая была где-то под ним, где-то внизу, куда он не дотягивался ногами; и в эту минуту, опять застав его врасплох, лодка нанесла ему сокрушительный удар кормой в переносицу. Повинуясь тому же инстинкту, что раньше не позволил ему расстаться с веслом, он забросил весло в лодку и двумя руками ухватился за борт как раз в ту секунду, когда лодка вильнула в сторону и опять завертелась волчком. Теперь обе руки у него были свободны, он подтянулся, перевалился через корму, упал в лодку лицом вниз и, обливаясь смешанной с водой кровью, шумно задышал — не от изнеможения, а от лютого гнева, что рождается в человеке после пережитого ужаса.

Но почти тотчас заставил себя встать, ошибочно полагая, что лодка помчалась еще быстрее и, следовательно, уносит его все дальше. Итак, он поднялся из красноватой лужи — с него текло ручьями, промокшая роба, будто железо, оттягивала плечи, черные волосы плоско прилипли к черепу, насыщенная кровью вода расчерчивала куртку полосами,— осторожно, быстрым движением провел рукой под носом, поглядел на кровь, потом схватил весло и попытался развернуть лодку. Его даже не беспокоило, что он не знает, где, на котором из деревьев, что уже пронеслись или еще пронесутся мимо, сидит его напарник. Он об этом даже не задумывался в силу неопровержимой логики, подсказывавшей, что тот находится в противоположной стороне, и значит, плыть надо вверх, то есть против течения, а само понятие «течение» после только что пережитого заключало в себе такую стремительность, такую силу и скорость, что вообразить его иначе, как в виде прямой линии, разум просто отказывался — это было бы все равно, что представить себе пулю диаметром с хлопковое поле.

Лодка уже начала разворачиваться. Она поддалась с готовностью, и он пропустил тот жуткий, цепенящий миг, когда до него дошло, что поворачивается она как-то слишком легко; описав носом дугу, лодка подставила бок потоку и тут же опять коварно завертелась, а он, обливаясь кровью, оскалив зубы, продолжал все так же сидеть, и его потерявшие силу руки все так же молотили никчемным веслом по воде, по этой безобидной на вид субстанции, что недавно сжимала его, стягиваясь, как анаконда, в железные кольца, а сейчас, казалось, была не плотнее воздуха и сопротивлялась его требовательному страстному натиску тоже не больше, чем воздух; лодка, давно угрожавшая ему и в конце концов зло, как мул, лягнувшая его в лицо, сейчас, казалось, парила над водой, невесомая, как цветок чертополоха, и крутилась, будто флюгер, а он все молотил веслом и, думая о своем напарнике — он живо представлял себе, как тот, благополучно избежав опасности, спокойно сидит на дереве в бездеятельном ожидании,— с бессильной, придавленной страхом ненавистью размышлял о ведающей людскими судьбами деспотической силе, которая одному определила безопасное убежище на дереве, а другого бросила в неуправляемую взбесившуюся лодку, и все лишь потому, что понимала: из них двоих именно он и только он приложит усилия, чтобы вернуться и спасти своего товарища.

Лодка перестала крутиться и снова поплыла по течению. Сбросив недавнее оцепенение, она, казалось, опять летела с невероятной скоростью, и он подумал, что, должно быть, его на много миль отнесло от того места, где он расстался со своим напарником, хотя в действительности за время, что он плыл один, лодка лишь описала большой круг и сейчас опять готовилась врезаться в то же препятствие — кучку кипарисов, зажатых в кольце бревен и мелких обломков,— на которое уже однажды наскочила раньше, когда корма ткнулась ему в лицо. Но он об этом не знал, потому что до сих пор ни разу не скользнул взглядом поверх бортов. Сейчас он тоже не поднимал глаз, но ему было ясно, что его вот-вот обо что-то ударит; он почти физически ощущал, как бездушную плоть лодки пронизывают токи жаркой злорадной неукротимой решимости; все это время он без роздыху молотил веслом обманчиво кроткую, вероломную воду и, как ему казалось, выложился уже до предела, но тут вдруг неизвестно откуда, неизвестно из какого тайного, неприкосновенного запаса у него вновь появились силы, и упрямое желание выстоять передалось его нервам и мышцам; он продолжал грести до последней секунды и свой заключительный гребок (разогнулся он уже чисто машинально — так, поскользнувшись на льду, человек машинально хватается за шляпу и кошелек) довершил в тот самый миг, когда лодка ударилась и он уже во второй раз повалился на дно.

Но теперь он поднялся не сразу. Он лежал лицом вниз, раскинув руки и ноги; в его позе была даже некая умиротворенность, будто он покорно предался размышлениям. Рано или поздно ему придется встать, он это понимал, ведь вся жизнь из того и состоит, что рано или поздно ты должен вставать, а потом через какое-то время снова ложиться. И если на то пошло, у него еще оставались силы, он еще не впал в отчаяние и не так уж страшился встать. Просто ему казалось, что по воле случая он превратился в пленника обстоятельств, что время и все вокруг — все, кроме него самого,— застыло в оцепенении; он чувствовал себя игрушкой во власти потока, стремившегося неизвестно куда сквозь день, не думавший клониться к вечеру; когда же потоку надоест с ним играть, он изрыгнет его обратно, в относительно безопасный мир, откуда его так грубо похитили, а пока что и его поступки, и его бездействие не имеют особого значения. И потому он еще несколько минут лежал, теперь уже не только чувствуя, но и слыша, как мощное течение негромко скребет по деревянному днищу. Наконец он приподнял голову, осторожно провел ладонью по лицу, снова посмотрел на кровь, потом сел на пятки, перегнулся через борт, сморкнулся — из носа вырвалась красная струя — и уже вытирал пальцы о штанину, когда над головой у него раздался тихий голос: «Долго же ты добирался» — до этой минуты у него не было ни повода, ни времени поднять глаза выше бортов, но тут он взглянул наверх и увидел, что на дереве сидит и смотрит на него женщина. Их разделяло не более десяти футов. Она сидела на нижней ветке одного из кипарисов, что плотной сросшейся кучкой стояли в кольце сора и бревен, куда врезалась лодка; в старомодной широкополой шляпе, одетая в короткий солдатский китель поверх домашнего ситцевого халата, она держалась за ствол дерева и болтала над водой голыми ногами в грубых мужских башмаках без шнурков: эта женщина — он даже не удосужился рассмотреть ее как следует, потому что достаточно было одного, самого первого удивленного взгляда, чтобы перед ним прошли поколения ее предков и вся ее жизнь,— будь у него сестры, вполне бы могла быть одной из них, а не угоди он на каторгу юным парнишкой, еще не достигнув того возраста, когда поневоле женятся даже такие, как он, плодовитые самцы-однолюбы, могла бы оказаться его женой; вполне вероятно, она действительно приходилась кому-то сестрой и уж наверняка была (по крайней мере ей следовало быть) замужем, хотя последнее обстоятельство открылось ему лишь позднее,— он попал за решетку слишком молодым, его познания о женщинах носили чисто теоретический характер.

— Я уж было подумала, ты не вернешься.

— Как это?

— Ну, после того раза. Когда ты врезался в бревна, а потом залез в лодку и уплыл.

Он огляделся по сторонам и вновь осторожно потрогал рукой лицо; да, возможно, именно здесь лодка ударила его тогда кормой в переносицу.

— Как видишь, вернулся,— сказал он.

— Ты не придвинешь лодку поближе? А то я, пока сюда залезла, прямо надорвалась. Может, я лучше...

Но он не слушал, он только что заметил, что весло пропало; когда его повалило, он закинул весло не в лодку, как в прошлый раз, а куда-то за нее.

— Да вон оно, там, в кустах.— сказала женщина.— Ты до него дотянешься. На-ка, лови.

Она держала в руках конец длинной виноградной лозы. Лоза вилась вверх вокруг ствола кипариса, и наводнение вырвало ее корни из земли. Чтобы не упасть с дерева, женщина обмоталась этой лозой, но сейчас сняла ее с себя и кинула ему свободный конец. Поймав его, он направил лодку вдоль кромки обломков, подобрал весло, подъехал прямо под ветку и, удерживая лодку на месте, смотрел, как женщина, тяжело заколыхавшись, опасливо готовится спуститься вниз — ее движения выдавали не боль, а скорее мучительную осторожность; сонная грузная неуклюжесть ее тела не прибавила ничего нового к тому ошеломившему его впечатлению, когда первый же брошенный на нее взгляд похоронил его неистребимую мечту — ведь даже в неволе он (все с той же страстью, забывая, что именно печатное слово привело его к краху) продолжал жадно поглощать несусветно романтические дрянные книжонки, бдительно проверявшиеся цензорами и тайно, контрабандой, проносившиеся в тюрьмы; и кто знает, какую красавицу — может, Прекрасную Елену, а может, Грету Гарбо — мечтал он освободить из плена на неприступном утесе или спасти от дракона, когда вместе со своим напарником садился в лодку. Он смотрел на нее и даже не пытался ей помочь, лишь зло удерживал лодку на месте, пока женщина слезала с дерева,— она повисла на руках, теперь он видел ее целиком,— и, глядя на ее выпиравший, обтянутый ситцем огромный живот, думал: *И это ради нее-то. Ведь сколько на свете баб, так надо же, чтобы судьба кинула мне в лодку вот это.*

— А где сарай? — спросил он.

— Какой сарай?

— Ну, на котором человек сидит. Его тоже надо забрать.

— Не знаю. Тут вокруг полно сараев. И на каждом, небось, кто-нибудь да сидит.— Она внимательно его разглядывала.— Ты же весь в крови. И вообще с виду прямо живой каторжник.

— Угу,— он злобно оскалился.— Это только с виду живой, а так, будто уже на виселицу вздернули. Ладно, мне еще моего напарника подобрать надо, а потом тот сарай отыскать.

Он отчалил. Проще говоря, отпустил конец лозы. Ничего больше и не требовалось, потому что, даже когда лодка застряла над нагромождением бревен, даже когда, натягивая лозу, он удерживал лодку в сравнительно неподвижной, отгороженной бревнами заводи, ему все равно был слышен ровный, несмолкающий гул и он ощущал мощную силу воды, мурлыкавшей всего в дюйме от хрупких досок кормы, а едва он отпустил лозу, эта сила вновь подчинила себе лодку, но не грубо, не рывком, а легко, деликатно, по-кошачьи мягко; и если раньше он надеялся, что дополнительный груз сделает лодку более управляемой, то теперь понял, как безосновательны были его надежды. В первую минуту ему вдруг повернлось (тоже без всяких оснований), что лодка и в самом деле его слушается; он сумел повернуть ее против течения и ценой неимоверных усилий удерживал так, даже когда осознал, что хотя плывут они более-менее по прямой, но лодка движется кормой вперед; и он все еще напрягался из последних сил, даже когда лодку стало заносить вбок и ее нос описал дугу; что последует дальше, он знал уже слишком хорошо и, понимая, что бороться бесполезно, позволил лодке развернуться — он рассчитывал, что по инерции она сама опишет полный круг и он успеет поймать тот миг, когда можно будет вновь направить ее против течения; но лодка, резко виляя носом, понеслась наискось через протоку навстречу новому заслону из затопленных деревьев; поток под днищем бешено набирал скорость, они попали в водоворот, но каторжник этого не знал; ему было некогда делать выводы или задавать себе вопросы, он сидел на корточках — оскаленные зубы белой полоской выделялись на распухшем, покрытом кровавой коркой лице, легкие в распертой груди, казалось, вот-вот лопнут — и молотил веслом, а громады деревьев нависали над ним все ниже и ниже. Лодку ударило, завертело, снова ударило; женщина полулежала, вцепившись руками в борта, и откинувшись назад, будто хотела спрятаться за собст-

венным животом, а каторжник рубил веслом уже не воду, а живые, истекающие соком деревья; он больше не думал о том, что надо куда-то плыть, куда-то добираться,— у него сейчас было только одно желание: любым способом уберечь лодку, не дать ей разбиться о стволы. А потом что-то словно взорвалось, на этот раз удар пришелся ему в затылок, и склоненные деревья, круговерть воды, лицо женщины — все вдруг слилось и исчезло в ослепительной беззвучной вспышке.

Час спустя, медленно скользя по старой просеке, а значит, уже выбравшись из протоки, лодка проползла через лес и выплыла на хлопковое поле — серую бесконечную, успокоенно застывшую гладь, нарушенную лишь линией телеграфных столбов, похожей на шагающую вброд сороконожку. Сейчас гребла женщина, движения ее были ровными, сосредоточенными, в них сквозила все та же странная полусонная бережность; каторжник, сев на дно и зажав голову между колен, пытался тем временем остановить снова хлынувшую из носа кровь и пригоршнями плескал воду себе в лицо. Женщина перестала грести и, пока лодка замедляла ход, осмотрелась по сторонам.

— Вот и выплыли,— сказала она.

Каторжник поднял голову и тоже огляделся.

— Выплыли куда?

— Я думала, может, ты знаешь.

— Я? Я не знаю даже, где меня мотало. Если бы кто сейчас показал, в какой стороне север, я бы и то не знал, туда мне или не туда.

Он снова зачерпнул воды, обмыл лицо, на ладони у него остались розовые потеки, и он посмотрел на них не то чтобы удрученно или встревоженно, а скорее с насмешливым неприязненным удивлением. Женщина глядела ему в затылок.

— Нам обязательно надо куда-нибудь доплыть.

— А то я не понимаю? Одного велено с сарая снять, другой где-то на дереве застрял. Да еще и ты тут, вот-вот разродишься.

— Меня вообще-то раньше времени подперло. Может, вчера растрясла себя, когда на дерево лезла, да потом еще целую ночь там просидела. Но пока держусь. А только все равно, лучше бы поскорей куда-нибудь добраться.

— Это уж точно. Я, между прочим, тоже хотел куда-нибудь добраться, только у меня не больно получилось. Ты сообрази, куда тебе надо, а там посмотрим — может, тебе повезет больше. Давай-ка лучше передохни.

Женщина протянула ему весло. Нос у лодки ничем не отличался от кормы, и каторжник просто повернулся кругом.

— Плыть-то в какую сторону надумал? — спросила она.

— Это уж моя забота. Ты, главное, потерпи подольше.— Он начал грести, направив лодку через поле. Снова пошел дождь, поначалу не сильный.— Во-во,— сказал он.— Ты лучше у лодки спрашивай. Я с самого завтрака из нее не вылажу, а куда мне надо и куда она меня тащит, так до сих пор и не пойму.

Разговор этот состоялся примерно в час дня. А ближе к вечеру (они давно уже плыли опять по какой-то протоке; попали они в нее, сами не заметив как, а потом выбираться оттуда было поздно, да и каторжник не видел в том нужды, тем более что теперь они плыли гораздо быстрее) лодка выскочила на усеянный обломками водный простор, в котором он признал реку, и, несмотря на свои более чем скудные сведения о крае, где, не отлучаясь ни на день, провел последние семь лет, по размерам реки догадался, что это Язу. А вот что текла она сейчас задом наперед, он не знал. И потому, едва лодку подхватило потоком, начал грести, двигаясь, как он думал, вниз по течению, туда, где, по его расчетам, были города — Язу-Сити или, на худой конец, Виксберг, а если повезло и протока впадала в Язу севернее, то еще раньше шли маленькие городки, названий которых он не знал, но там ведь все равно должны были быть люди, дома, и он бы куда-нибудь — да куда угодно — сдал свою подопечную, забыл бы о ней навсегда и вернулся бы к своей аскетической жизни в мир кандалов и пистолетов, уберегавших его от вторжения всего чужеродного, всяких там женщин, беременностей и тому подобное. Когда он поглядывал на ее разбухшее неповоротливое тело, ему казалось, что оно не имеет к ней никакого отношения, что это просто сгусток некой инертной, но в то же время живущей своей отдельной жизнью массы, опасной и привередливой, и что оба они — и женщина, и он сам — в равной

степени жертвы этого сгустка; а еще он думал — эта мысль не покидала его уже часа четыре,— что стоит женщине на минуту (впрочем, хватило бы и секунды) опрометчиво снять руку с борта или отвести взгляд, он без труда может скинуть ее в воду, и бесчувственный жернов, не испытывая при этом никаких мук, утопит ее вместе с собой; но у него больше не вспыхивало желания отомстить ей за то, что она этот жернов оберегает, он жалел ее, как жалел бы, наверно, добротный сарай, который необходимо сжечь, чтобы уничтожить расплодившихся в нем паразитов.

Он продолжал грести, помогая течению; греб ровно, напористо, тщательно рассчитывая силы, в уверенности, что плывет вниз по Язу, навстречу городам, людям, и скоро наконец ступит на твердую землю: женщина время от времени приподнималась и вычерпывала из лодки копившуюся на дне дождевую воду. Дождь лил непрерывно, но все так же вяло, бесстрастно; небо и еще довольно яркий свет растворялись в воде равнодушно, без скорби; лодка скользила, окруженная аурой серой дымки, которая плавно, без переходов сливалась с качавшейся, покрытой слюнявыми пузырями пены, захламленной сором и обломками водой. Потом день и разлитый в воздухе свет явно начали убывать, и каторжник позволил себе приналечь на весло — ему показалось, что лодка замедлила ход. Так оно и было, но каторжник ведь не знал. Он думал, ему это просто чудится и во всем виноваты сумерки или, в худшем случае, дает себя знать усталость от изнурительного, без роздыха и еды дня, отягощенного приступами тревоги и бессильной злостью на судьбу, которая ни за что, ни про что втравила его в эту передрягу. В общем, он теперь греб быстрее, но не потому, что обеспокоился,— напротив, его бодрило и окрыляло само соседство знакомого потока, реки, чье древнее имя сохраняли в первозданности многие поколения, обживавшие ее берега, подчиняясь извечному стремлению — оно было присуще человеку даже в те времена, когда он не придумал еще слов для обозначения воды и огня,— селиться у воды, рядом с текучей живой силой, что, притягивая к себе людей, властно определяла их дальнейшую жизнь и даже меняла их физический облик. Так что он не беспокоился. И продолжал грести, не подозревая, что в действительности плывет против течения, туда, откуда навстречу ему уже устремилась вся та вода, что последние сорок часов, прорвав дамбу, текла на север, а сейчас возвращалась назад, в Миссисипи.

Постепенно совсем стемнело. Наступил настоящий вечер, серое расплывчатое небо исчезло, но поверхность воды, словно по закону обратной связи, была теперь видна гораздо лучше, как если бы по ней вместе с дождем растекся вымытый им из воздуха дневной свет; перед лодкой расстилалась желтая, казалось, даже чуть светящаяся гладь, обрубленная вдали линией, за которой глаз не различал уже ничего. У темноты имелись свои преимущества; ему теперь было не видно дождя. Он мок под ним целые сутки и потому давно его не чувствовал, но сейчас, когда он вдобавок его и не видел, дождь в каком-то смысле утратил для него реальность. А еще он теперь был избавлен от необходимости отводить глаза, чтобы не видеть вздутый живот своей пассажирки. И он все так же греб — мерными, уверенными движениями, спокойно, ни о чем не тревожась и лишь досадуя, что в облаках так долго не вспыхивают отблески огней Язу-Сити или городов поменьше, до которых, как он считал, ему осталось плыть самую малость, хотя на деле он отдалился от них уже на много миль,— когда вдруг до него донесся странный шум. Он не понял, что это, ведь ничего подобного он прежде не слышал и было бы наивно предполагать, что когда-нибудь он услышит такое снова, потому что услышать этот звук даже раз в жизни дано очень немногим, а услышать его дважды не дано никому. Но он и теперь не встревожился, просто не успел, ибо в тот же миг глазам его — хотя отчетливо просматриваемое пространство перед лодкой кончалось довольно близко — предстало тоже нечто этакое, чего он никогда прежде не видел. Линия, резко отграничивавшая светящуюся воду от темноты, была сейчас футов на десять выше, чем минуту назад, и закручивалась в трубку, будто раскатанное тугое тесто. Ползя вверх, вал клонился вперед; его гребень, взвихренный, словно разметавшаяся на скаку грива, и тоже пронизанный свечением, искрился и подрагивал, как пламя. Женщина съежилась на носу лодки, и каторжник не понимал, осознает она происходящее или нет; сам же он, ошеломленно разинув рот, с перекошенным от ужаса, распухшим, вымазанным кровью лицом, продолжал тем временем грести прямо навстречу валу. Он просто опять не успел подать мышцам команду, и, загипнотизированные ритмом, они трудились по-прежнему. Лодка уже не двигалась вперед

и, казалось, застыла, подвешенная в пустоте, но он продолжал грести, весло все так же опускалось, чиркало, поднималось и снова шло вниз; а потом вместо пустоты лодку внезапно окружило месиво мчащихся со всех сторон обломков, мусора и черт-те чего еще; доски, небольшие строения, мертвые, но почему-то нелепо ухмыляющиеся животные, целые деревья — они, точно дельфины, выпрыгивали наверх и снова ныряли в воду, а над всем этим хаосом, будто птица, что, замешкавшись над проносящимися внизу полями, нерешительно раздумывает, куда ей опуститься да и стоит ли опускаться вообще, невесомо, бесплотно парила лодка; на дне ее скорчившись сидел каторжник и, машинально продолжая грести, ждал лишь подходящей минуты, чтобы закричать. Но ему не выпало такой возможности. Лодка вдруг словно встала на дыбы, замерла, потом подскочила, стрелой вскарабкалась, как кошка, по завитку водяной стены, взмыла над лижущим воздух гребнем и, застряв меж ветвей дерева, повисла в вышине, а каторжник, окруженный, будто птенец в гнезде, молодой листвой, все ждал, когда наконец можно будет закричать, все сгибался и разгибался, хотя у него даже не было теперь весла, и смотрел вниз на ввергнутый в неистовство, безумный, повернутый вспять мир.

Около полуночи под вспышки молний и канонаду грома, взрывавшего тишину с таким грохотом, будто палила целая батарея орудий, будто все четыре стихии и сама небесная твердь после сорокачасового запора облегчились наконец оглушительным свержающим салютом, снисходительно одобряя буйство и ярость потока, лодка в сопровождении мельтешащей свиты из дохлых коров и мулов, хижин, сараев и курятников пронеслась мимо Виксберга. Каторжник об этом не знал. Он не поднимал глаз высоко; ухватившись за борта, он все еще сидел на корточках и глядел на обступавшее его желтое бурление, откуда крутясь выскакивали, чтобы вскоре опять исчезнуть, большие деревья, остроконечные крыши домов и длинные грустные морды мулов, которые он отпихивал обломком неизвестно где подобранной доски (а они, казалось, в ответ укоризненно поглядывали на него невидящими глазами и с недоумением удивленно выпячивали мягкие обвислые губы); лодка то летела по прямой вперед, то скользила боком, то пятилась назад, иногда она плыла по воде, иногда ехала на крышах и деревьях, а порой путешествовала даже на спинах мулов, как будто этим животным и после смерти не суждено было избавиться от проклятья судьбы, уготовившей их бесполому племени участь вьючной скотины. И он не увидел Виксберг; лодка с бешеной скоростью неслась по стремнине узкого пролива между взмывающими в небо пьяными берегами, и он не видел разлитого над ними марева огней; увидел только, как мешанину обломков впереди разрезало пополам, и ее половины, громоздясь друг на друга, поползли вверх; образовавшаяся дыра засосала его мгновенно, он даже не успел сообразить, что проскочил в проем железнодорожного моста; потом на один жуткий миг лодка смущенно застыла перед выросшим из темноты пароходом и, казалось, не могла решить, то ли ей на него вскарабкаться, то ли нырнуть и проплыть под ним снизу; и почти тотчас каторжника обдало жестким ледяным ветром — его запах и сырой привкус несли ощущение бескрайнего водного простора и пустоты; потом лодка сделала последний направленный бросок вперед, и родной штат, завершающим рвотным спазмом исторгнув каторжника из своих пределов, бросил его в суровые объятья Отца Вод.

Полтора месяца спустя, одетый в новую робу из полосатого матрасного тика, побритый и коротко остриженный, он так рассказывал об этом, сидя в бараке на своей прежней койке:

Когда гроза истощила запасы грома и молний, лодка часа три-четыре летела в зыбкой кромешной тьме, и ему казалось — а будь светло, он бы убедился в этом воочию,— что колыхавшаяся вокруг ширь беспредельна. Буйная и невидимая, эта ширь, качаясь, вздымалась под лодкой, обступала ее со всех сторон, топорщилась грязной фосфоресцирующей пеной и несла в своих складках плоды разрушений — безымянные огромные невидимые предметы ударялись о нос, о корму, пропахивали борта и вихрем мчались дальше. Он не знал, что плывет по Миссисипи, по реке. И даже если бы знал, ни за что бы не поверил. Вчера по обе стороны потока примерно через равные промежутки мелькали деревья и он понимал, что плывет по какому-то каналу. Но сейчас, поскольку даже при дневном свете он не увидел бы ни намека на берега, ему и в голову не могло прийти, что он оказался на реке; вообще-то он ни о чем таком не думал,

но если бы задался вопросом, куда же его забросило и что лежит у него под ногами, то, пожалуй, ответил бы, что несется с головокружительной и необъяснимой скоростью над самым большим хлопковым полем в мире; если бы он, который вчера твердо знал, что плывет по реке, он, который принял этот факт без сомнений и колебаний, а потом увидел, что река вдруг повернула вспять и кинулась прямо на него, свирепая и кровожадная, будто обезумевший жеребец.., если бы он сейчас хоть на миг заподозрил, что окружавшая его буйная и бескрайняя ширь — это тоже река, ему бы просто отказал рассудок; он бы потерял сознание.

Когда наступило утро — серый клочковатый рассвет был пронизан ветром, налетавшим всякий раз, едва унимался ледяной дождь,— оглядевшись по сторонам, он понял, что никакое это не поле. Швырявшая лодку вода текла не над пашней, понял он; мерная поступь пахаря, колыхание напруженных ягодиц мула — все это было незнакомо укрытой водой земле. Тогда-то у него и мелькнула мысль, что нынешний разгул стихии — не аномалия, не исключение, случающееся раз в десять лет, и что исключение составляют как раз промежуточные годы-затишья, когда вода спокойно и сонно позволяет человеку сковывать ее хрупкими нелепыми сооружениями; а то, что происходит сейчас,— это нормально, потому что сейчас река делает именно то, что ей хочется, то, ради чего она терпеливо ждала десять лет,— так мул готов послушно работать десять лет ради того, чтобы однажды все-таки лягнуть хозяина. А еще он понял коечто о страхе, кое-что такое, чего ему не удалось открыть для себя в прошлый раз, хотя тогда он тоже пережил настоящий страх — в ту далекую ночь в почтовом вагоне, когда он, совсем еще юный, увидел перед собой дважды полыхнувшее дуло пистолета и лишь через несколько секунд убедил перепуганного охранника, что его собственный пистолет не стреляет; он понял, что, если запастись терпением, страх постепенно перестает быть мукой и превращается просто в надоедливый отвратительный зуд, как после сильного ожога.

Грести теперь было не надо, и он (уже сутки без еды и больше двух суток без сна), мчась по бурлящей пустыне — он давно понял, куда его вынесло, но не отваживался в это поверить,— только рулил обломком доски, стараясь сберечь лодку, удержать ее на плаву среди домов, деревьев и мертвых животных (вокруг него, словно резвящаяся рыбешка, выпрыгивали из воды целые городки, склады, коттеджи, сады, фермы); его больше не заботило, куда он приплывет, он думал лишь о том, как бы по дороге не разбить лодку. Он ведь ни о чем особенном не мечтал. Для себя ему вообще ничего было не нужно. Он хотел только одного; поскорее избавиться от этой женщины, от необходимости видеть ее живот и потому старался лишь сделать все как положено — не ради себя, ради нее. Ведь он же запросто мог бы в любую минуту посадить ее снова на какое-нибудь дерево...

— Или мог бы сам выпрыгнуть, а ее оставил бы тонуть вместе с лодкой,— перебил толстый каторжник.— Тогда тебе дали бы десять лет за побег плюс повесили бы за убийство и еще взыскали бы с твоих стариков стоимость лодки.

— Угу,— кивнул высокий.

...но он же этого не сделал. Он хотел, чтобы все было как положено, хотел найти кого-нибудь, неважно кого, и передать ее из рук в руки, хотел поставить ее на что-нибудь твердое, а потом, если надо, пожалуйста, готов был снова прыгнуть в реку. Вот и все, чего он хотел,— просто доплыть куда-нибудь, безразлично куда. Ничего больше ему не требовалось. Но даже в этой малости ему было отказано. Лодку несло все дальше...

— А что, навстречу никто даже не попадался? — спросил толстый.— Может, хотя бы какой пароход мимо шел или катер?

— Не знаю.

...и он лишь следил, чтобы она не перевернулась, а когда наконец темнота поредела и рассеялась, он увидел...

— Темнота? — переспросил толстый.— Ты же вроде говорил, был день.

— Угу.— Готовясь свернуть самокрутку, он достал свой новый кисет и сейчас аккуратно сыпал табак на сложенный желобком листок бумаги.— С тех пор успело снова стемнеть. Там, пока я был, много раз темнело.

...что лодка, не сбавляя скорости, плывет между затопленными деревьями по извилистому проходу, в котором он снова признал реку — побывай он здесь на пару

дней раньше, он понял бы, что сейчас течение двигалось в обратную сторону. Но чутье подвело его, не подсказало, что вновь, два дня спустя, он попал на реку, которая тоже течет задом наперед. Он, конечно, вряд ли допускал, что это опять та самая река, хотя, мелькни у него такая мысль, он нисколько бы не удивился, потому что коварная, сумасбродная стихия уже давно и, похоже, надолго отвела ему роль пешки и потехи ради могла забросить, куда ей вздумалось. Главное, он догадался, что перед ним все-таки река, а это само собой подразумевало близость суши, близость если и незнакомого, то по крайней мере доступного пониманию участка земной поверхности. Теперь он был уверен, что нужно только взяться за весло, грести, и со временем он обязательно доплывет до какой-нибудь, пусть даже мокрой, но все же возвышающейся над водой плоскости, и, может быть, там даже будут люди; если же грести достаточно быстро, то он доплывет туда еще скорее; а кроме того, нужно, позарез необходимо перестать смотреть на женщину — едва рассвело, ее присутствие вновь стало бесспорным и, видимо, уже непреодолимым фактом,— которая, как ему теперь казалось (ведь к первым двум суткам без сна прибавились еще одни, и не ел он уже тоже больше двух суток, даже если считать ту курицу. Захлебнувшаяся, дохлая, она висела, зацепившись крылом за дранку крыши, что вчера промчалась мимо лодки, и хотя женщина есть не стала, сам он съел кусок сырого куриного мяса), утратила все человеческое и превратилась в одно сплошное выжидательно застывшее страшное брюхо, и каторжнику верилось, что если надолго отвести взгляд, оно исчезнет, а если ухитриться и вообще больше не смотреть в ту сторону, исчезнет навсегда. Вот чем были заняты его мысли, когда он вдруг понял, что водяной вал опять возвращается.

Он и сам не знал, как он это определил. Он же не услышал никакого постороннего шума, ничего не почувствовал, ничего не увидел. Конечно, он заметил, что лодка попала как бы в полосу штиля, в том смысле что если еще недавно вся масса воды — неважно, в ту сторону она текла или не в ту,— перемещалась горизонтально, то сейчас это движение прекратилось и вода колыхалась на месте вверх и вниз; но он считал, что об опасности его предупредило даже не это, а нечто более существенное. Может, все объяснялось просто его граничащей с фанатизмом, неистребимой уверенностью, что жидкая среда, которая, видимо, уже навеки подчинила себе его судьбу, изначально хитроумна и коварна; и, может, просто он вдруг четко осознал — независимо ни от чего, без страха и удивления,— что сейчас ей самое время подготовиться к очередной каверзе. Поэтому он крутанул лодку, развернул ее рывком, как лошадь на скаку, и, двинувшись в обратную сторону, уже не увидел перед собой прохода, по которому плыл еще минуту назад. Он не понимал, то ли просто не различает его, то ли проход исчез еще раньше, а он не заметил; возможно, река бесследно затерялась в затопленном мире, а может быть, наоборот, весь мир растворился в одной безбрежной реке. И он не знал, плывет ли он по прямой впереди вала или скользит зигзагами параллельно ему; знал только, что свирепая мощь за спиной неуклонно нарастает, а потому, пока он не доплывет до чего-нибудь плоского, до чего-нибудь, возвышающегося над водой, ему остается лишь все так же грести, насилуя изнуренные одеревеневшие мышцы, и стараться не смотреть на женщину, отлепить от нее взгляд, перевести его в сторону и задержать там как можно дольше. А потом, вконец вымотанный, пытаясь чуть ли не физически оторвать запавшие глаза от той точки, куда они впились, словно резиновые присоски игрушечных детских стрел; напрягая высохшие мышцы, которые работали уже помимо его воли, как бывает, когда усталость, достигнув пика, переходит в особое гипнотическое состояние и легче продолжать начатое, чем остановиться, он снова с маху ударился о какую-то преграду, снова в который раз повалился вперед, но тут же приподнялся на четвереньки и, опухший, безумный, уставившись на человека с пистолетом, хрипло крикнул:

— Виксберг?.. Где Виксберг?

Даже сейчас, когда он об этом рассказывал, даже сейчас, семь недель спустя, когда, целый и невредимый, он снова был в безопасности, закованный в кандалы и надежно, гарантированно защищенный от внешнего мира еще десятью годами, которые за попытку побега прибавили к его первоначальному сроку, в выражении его лица, в голосе и в интонациях проступило что-то от пережитого тогда полуистерического-полуизумленного отчаяния. Он ведь так и не ступил на ту, другую лодку. Рассказывая, как он уцепился за ее обшивку (обшарпанный, замызганный баркас с пьяно покосив-

шейся жестяной трубой даже не изменил курса, когда он в него врезался, хотя эти трое, должно быть, следили за его приближением; второй мужчина, босой, бородатый, с всклокоченными волосами, сидел у руля, а еще там была женщина: одетая в грязные мужские обноски, она стояла, прислонившись к двери кабины, и наблюдала за каторжником — как давно, он не знал — с той же холодной задумчивостью, что и оба ее спутника), и как эта посудина грубо потащила его рядом с собой, а он тем временем пытался изложить и растолковать им свою простую и (по крайней мере с его точки зрения) разумную просьбу — рассказывая об этом, пытаясь все это пересказать, он чувствовал, что его снова бросает в жар от обиды, и глядел, как табак никчемно сеется сквозь его дрожащие пальцы, а потом, сухо шелестнув, на пол упала и бумага.

— Сжечь робу? — крикнул каторжник.— Зачем мне ее сжигать?

— Ты б еще названье тюрьмы себе на грудь повесил,— сказал который с пистолетом.— Как ты в этой пижамке сбежать собираешься?

Рассказывая, он попытался объяснить, что втолковывал это тем троим, да и не только им, а всему вокруг — пустынным водам, скорбным деревьям, небу — не для того, чтобы оправдаться, ведь оправдываться ему было не в чем (и сейчас тем более: он же знал, что его слушатели, другие каторжники, не требуют от него никаких оправданий), просто он боялся, что сон сморит его, измученного до предела, на полуслове, и он вдруг непостижимым образом задохнется. Он рассказал тому, с пистолетом, как им с напарником дали лодку и велели подобрать мужчину и женщину, как он потерял напарника, как не смог отыскать мужчину на сарае, и он объяснил, что ничего ему на свете не надо, только бы набрести хоть на какое ровное место, где можно будет на время оставить женщину, пока он не найдет какого-нибудь полицейского или шерифа. В ту минуту он думал о доме, вернее, о ферме, где жил чуть ли не с детства, о приобретенных за долгие годы друзьях, понятных ему во всем, как и он им; о знакомых полях, где он трудился, научившись и хорошо выполнять и любить свою работу, о мулах, чью натуру он постиг и уважал не меньше, чем натуру иных людей; о вечерах в бараке, где летом на окнах была натянута москитная сетка, а зимой тепло грела печка и где кто-то заботился, чтобы всегда хватало еды и топлива; о воскресных бейсбольных матчах и киносеансах — не считая бейсбола, все остальное было ему прежде незнакомо. Но больше всего он в ту минуту размышлял о себе, о своем характере (два года назад его захотели сделать доверенным заключенным. Ему не пришлось бы ни пахать, ни кормить скотину, он бы только расхаживал с заряженным пистолетом и следил, как работают другие, но он отказался. «Лучше уж буду пахать, как пахал,— сказал он совершенно серьезно.— А с пистолетом от меня толку мало, один раз уже пробовал, хватит»), о своем добром имени, о том, что он привык держать свое слово, и не только перед теми, на кого тоже можно положиться, но и перед самим собой; о том, что для него дело чести всегда выполнять, что поручено, и он гордился своей способностью выполнить любое поручение, в чем бы оно ни заключалось. Он размышлял обо всем этом, слушая, как человек с пистолетом что-то там говорит о побеге; висел, вцепившись в обшивку баркаса, грубо тащившего его за собой (как он сказал, именно тогда он впервые заметил на деревьях длинные бороды мха, хотя, почем знать, может быть, мох нарос еще несколько дней назад), и чувствовал, что вот-вот взорвется от ярости.

— Да что ты все никак в башку себе не вдолбишь?! Не собираюсь я никуда сбегать! — закричал он.— Не веришь, сторожи меня сам, у тебя вон и пушка есть — пожалуйста! Мне бы только приткнуть куда-нибудь эту бабу, а...

— Я уже сказал, ее я пущу,— невозмутимо перебил его мужчина с пистолетом — А которые шерифа ищут, для таких у меня на судне места нету, будь они хоть во фраке, а не то что в тюремной робе.

— Если залезет на палубу, шарахни его пистолетом по мозгам,— посоветовал тот, что сидел у руля.— Он же пьяный.

— Не полезет он никуда. Сумасшедший он.

Тут заговорила женщина. Она все еще стояла, прислонившись к двери, одетая, как и оба мужчины, в линялый залатанный и грязный комбинезон.

— Дай им какой-нибудь жратвы, и пусть убираются — Сойдя с места, она прошла к краю палубы и холодно, угрюмо посмотрела сверху на спутницу каторжника.— Тебе рожать-то скоро?

— Да по срокам вроде только через месяц,— ответила та.— Но я...

Женщина в комбинезоне повернулась к державшему пистолет.

— Дай им какой-нибудь жратвы,— повторила она. Но он, не отвечая, продолжал разглядывать женщину в лодке.

— Чего ждешь? — сказал он каторжнику.— Подымай ее на борт и проваливай.

— Ты бы лучше подумал, чего тебе самому будет, если с полицией свяжешься,— сказала женщина в комбинезоне.— Припрешь ее к шерифу, а шериф спросит, кто ты такой,— что тогда?

Мужчина даже не посмотрел в ее сторону. И пистолет лишь слегка качнулся, когда свободной рукой он наотмашь, с силой ударил ее по лицу.

— Сукин ты сын,— сказала она. Но он опять даже не взглянул на нее.

— Ну! — поторопил он каторжника.

— Не могу я так! — крикнул тот.— Неужели не понимаешь?

Вот тогда-то, сказал он своим слушателям, он и сдался. Понял, что обречен. Точнее, понял, что обречен был с самого начала и ему никогда не отделаться от своей пассажирки, теперь он был в этом совершенно уверен, а ведь те, кто отправил его на лодке, были тоже совершенно уверены, что он не сдастся, не отступится; и когда женщина в комбинезоне кинула им среди прочего банку сгущенного молока, он усмотрел в этом предзнаменование, бесплатно и бесповоротно, как телеграмма о смерти, известившее его, что он уже не успеет до рождения ребенка отыскать ровную, не уходящую из-под ног твердь. Он рассказывал, как, удерживая лодку вплотную к баркасу, ощущал под собой первые, пробные толчки, предвещавшие приближение гигантской волны, а женщина в комбинезоне тем временем сновала между кабиной и бортом, швыряя в лодку еду,— кусок солонины, драное грязное одеяло, комья подгорелого холодного хлеба, который она вывалила из таза, словно мусор; как, прижимаясь к баркасу, он сопротивлялся нараставшей силе течения, разбуженного вторым валом, о котором он в те минуты забыл, потому что все еще пытался объяснить свою бесхитростную просьбу, свое невероятно простое желание, но мужчина с пистолетом (из всех троих обут был только он) наступил ему на руки, начал топтать его пальцы, и, спасаясь от тяжелых каблуков, он на миг отдергивал то одну, то другую руку, пока не получил ботинком в лицо, и тогда, стараясь увернуться, мотнулся в сторону, разжал обе руки и всем весом свалился в лодку: подхваченная крепнущим течением, она отскочила от баркаса, ее понесло вперед, а он снова принялся грести изо всех сил — так, уразумев наконец, что обречен свалиться в пропасть, человек сам спешит к ее краю,— но то и дело поглядывал назад на баркас, на быстро уменьшавшиеся, отделенные от него ширившейся полосой воды, замкнутые насмешливо-угрюмые лица и, чуть ли не в агонии, сквозь подступившее удушье, с окончательной невыносимой ясностью сознавая, что ему не просто отказали, а отказали в ничтожном пустяке — ведь он просил и хотел такой малости, а они потребовали, чтобы за эту малость он заплатил тем единственным на свете поступком, который (они же сами наверняка понимали) был для него невозможен, ведь иначе он бы давно его совершил и был бы сейчас совсем в другом месте и никого бы ни о чем подобном не просил,— подымал весло над головой, тряс им и выкрикивал проклятья даже после того, как пистолет полыхнул огнем и пуля пронеслась по воде сбоку от лодки.

И вот, стало быть, рассказывал он, так он там и болтался, потрясая веслом и вопя, когда вдруг вспомнил про волну, про тот второй, утыканный домами и мертвыми мулами водяной вал, что, набирая высоту и мощь, катился вслед за ним с затопленных болот. Перестав кричать, он снова начал грести. Опередить волну он не пытался. Он по опыту знал, что, когда она его нагонит — а нагонит непременно,— ему волей-неволей придется двигаться с ней в одном направлении, и тогда его понесет так быстро, что, попадись по дороге самое распрекрасное место, он уже не сможет остановиться и ссадить женщину вовремя. Время: выиграть время, куда-нибудь доплыть, пока вал не обрушился на лодку,— вот единственное, к чему он сейчас стремился и на что надеялся, а значит, должен был как можно дольше продержаться впереди волны. И потому он продолжал грести, заставляя работать мышцы, которые так давно и так беспредельно устали, что уже не ощущали усталости,— в точности, как бывает, когда человека слишком долго преследуют неудачи, и, наконец, он перестает их замечать; более того, ему кажется, что все не так уж плохо. Даже когда он

ел — горелые комки размером с бейсбольный мяч (женщина с баркаса вывалила их прямо на дно лодки, они полежали в воде, но весом и твердостью все равно напоминали каменный уголь), странные, словно из железа, тяжелые, как свинец, предметы, которые потеряли право называться хлебом, едва их вытряхнули из закопченного, обгоревшего таза,— то ел только одной рукой, да и ту отнимал от весла с великой неохотой.

Он, как сумел, попробовал описать и весь тот день — лодка мчалась среди бородатых деревьев, а волна время от времени высылала своих гонцов на разведку, и они с любопытством, тихонько щекотали дно лодки короткими осторожными щупальцами, а потом с еле слышным, похожим на смешок, шипением бежали дальше, и вновь вокруг не было ничего, лишь вода, деревья да тоска, а лодка все плыла и плыла, пока ему не стало казаться, что он уже даже не пытается отдалиться от того, что позади, и приблизиться к тому, что впереди, и что оба они, и он, и волна, одновременно и недвижно зависли во времени, в беспримесной призрачной пустоте, которую он ворошит веслом совсем не потому, что надеется куда-то доплыть, а просто чтобы сохранить неизменным то ничтожно малое, ограниченное длиной лодки расстояние, которое отделяет его от сонно застывшей, неотвратимо притягивающей его взгляд кучи женской плоти; — и наступившую затем ночь, когда лодка понеслась с еще большей скоростью, потому что если не видишь и не знаешь, где ты, любая скорость кажется огромной; и как впереди не было ничего, а сзади подгоняла нарисованная памятью жуткая картина: гигантская кренящаяся стена воды, пенный гребень с частоколом похожих на клыки зазубрин; как потом снова рассвело (очередное звено в бесконечной цепи иллюзорных перемен — день, ночь, снова день,— вызывающих то ощущение усеченности, сбоя и неправдоподобности, какое возникает в театре, когда на сцене увеличивают или, наоборот, уменьшают свет); как очертания лодки проступили из темноты и как, увидев, что женщина не лежит больше под мокрым скукожившимся кителем, а, вцепившись обеими руками в борта, сидит с закрытыми глазами совершенно прямо и кусает губы, он неистово замолотил по воде обломком доски и, дико глядя на женщину из-под опухших от бессонницы век, закричал, прокаркал:

— Терпи! Бога ради, держись, терпи!

— Я стараюсь,— отозвалась она.— Только скорее! Скорее!

Он ушам своим не поверил, рассказывал он: *скорее, торопись* — да уж куда скорее?! — падающему с обрыва велели ухватиться за что-нибудь и спастись; сами эти слова, вырвавшиеся в мучительном забытьи, звучали бредово, нелепо, смехотворно и безумно, поражали своей неправдоподобностью больше, чем любая сказка, разыгрываемая в огнях рампы.

К тому времени он был уже в бассейне реки...

— В бассейне? — переспросил толстый каторжник.— Но это же где купаются.

— Вот именно,— хрипло ответил высокий, глядя вниз, себе на руки.— Я и выкупался.— Огромным усилием уняв на миг дрожь в руках, он отделил от пачки два листка папиросной бумаги и даже сумел удержать руки в неподвижности еще пару секунд, пока оба листка, кружась и порхая, нерешительно опускались на пол к его ногам.

...в бассейне, в широком тихом желтом море, где, как ни странно, сразу чувствовалась во всем упорядоченность, отчего у него, даже в ту минуту, возникло ощущение, что если и не полное затопление, то, во всяком случае, большая вода для этого места не в новинку; он даже вспомнил сейчас, как оно называлось,— две-три недели спустя кто-то сказал ему это название — Атчафалайя...

— Луизиана? — удивился толстый.— Это что же, тебя аж в другой штат забросило? Ну и дела.— Он недоверчиво посмотрел на высокого.— Да нет, ерунда. Ты просто был по ту сторону от Виксберга.

— Ни про какой Виксберг я там ни от кого не слышал,— возразил высокий.— А вот что по ту сторону Батон-Руж, это мне говорили.

И он стал рассказывать про маленький, белый, аккуратный, точно нарисованный, примостившийся среди громадных, очень зеленых деревьев городок, который возник в его рассказе, пожалуй, так же неожиданно, как это случилось в действительности, когда, явившись внезапно, будто мираж, воздушный и невероятно уютный, городок этот предстал перед ним россыпью лодок, пришвартованных к дверям товарных ва-

гонов, что застыли в воде длинной цепью. Он попробовал описать и другое: как, стоя по пояс в воде, он на мгновенье оглянулся и посмотрел на женщину — она полулежала, глаза ее были по-прежнему закрыты, костяшки вцепившихся в борта пальцев побелели, из прокушенной губы стекала на подбородок тонкая струйка крови,— как он стоял и смотрел на нее с гневным отчаянием.

— А сколько мне надо будет пройти? — спросила она.

— Говорю тебе, не знаю! — закричал он.— Но вон же она, земля, вон! И земля, и дома.

— Так-то хоть в лодке, а то шаг сделаю, и, глядишь, прямо в воду рожу,— сказала она.— Ты уж давай, подплыви туда поближе.

— Ладно! — со злым недоумением безнадежно выкрикнул он.— Жди. Я пойду, сдамся им, тогда они должны будут...— Он не закончил, не стал дожидаться, пока закончит;

и еще он рассказал, как, подымая брызги, спотыкаясь, то шагал, то пытался бежать, всхлипывал, задыхался; но он уже увидел — над желтым разливом высилась погрузочная платформа, и по ней сновали фигурки, одетые в «хаки»,— все, как раньше, все то же самое, один в один; и промежуточные дни, прошедшие с того безобидного утра, словно сложились в гармошку, сказал он, сплющились и исчезли, будто их никогда не было; два разделенные этими днями мгновения вдруг оказались рядом: то, которое тогда, перешло в это, которое сейчас (перешло? или, может, слилось с ним?), и, перенесясь через не существовавший больше промежуток, он попросту повторил прежний путь, только в обратном направлении — спотыкаясь, падая, он шагал с поднятыми руками сквозь брызги и что-то хрипло каркал. «Вон один из них!» — донеслось до него, потом раздалась команда, лязгнули затворы и кто-то встревоженно выкрикнул: «Вон он идет! Вон там!»

— Да! — рванувшись, побежав, закричал он.— Вот он я. Здесь! Здесь! — повторял он, выбегая навстречу первым недружным выстрелам.— Я хочу сдаться! Я сдаюсь! — размахивая руками, вопил он, остановившись среди пуль и глядя — без ужаса, но изумленно, с беспредельным мучительным гневом,— как скопление присевших фигурок в «хаки» разделилось пополам и в просвете возник пулемет; тупое толстое дуло косо поползло вниз, дернулось и выжидательно замерло, наставленное на него, а он все вопил хриплым каркающим голосом: — Я хочу сдаться! — Крутился на месте, падал, подымал брызги, барахтался и продолжал вопить, даже когда с головой ушел под воду, и когда прямо над ним — чок-чок-чок, слышал он — зашлепали пули, и когда елозя по дну, он пытался встать на ноги, а из воды торчали только два полушария, в которых безошибочно угадывался его зад,— даже тогда гневный, яростный вопль рвался из его рта, пузырями проплывал у него перед лицом — ведь он же просто хотел сдаться. А потом он оказался в относительно укрытом месте, вне досягаемости огня, правда, ненадолго. Иначе говоря (он не рассказал, ни как это случилось, ни где), у него появилась возможность на минутку остановиться и перевести дух, прежде чем он побежал снова,— обратная дорога к лодке была пока достаточно безопасной, хотя за спиной у него по-прежнему слышались крики, а иногда гремели и выстрелы,— и, задыхаясь, всхлипывая — из ладони ему вырвало длинный клок мяса, но когда и как, он не знал,— впустую растрачивая драгоценное дыхание, не адресуя эти слова уже никому — так предсмертный крик кролика не взывает к слуху смертных, а скорее выносит обвинение всему, что живет и дышит, и себе самому, своим глупым безумствам и мучениям, ибо единственное, что, пожалуй, бессмертно,— это неистощимая способность всего живого совершать глупости и страдать,— бормотал: — Мне же ничего не надо, я просто хочу сдаться.

Он вернулся к лодке, залез в нее и вновь взялся за служивший веслом обломок доски. Дойдя в своем рассказе до этого места, он, несмотря на весь неистовый драматизм кульминации, совершенно успокоился — пальцы у него больше не дрожали, он даже сумел согнуть следующий листок папиросной бумаги и наполнил узкую канавку табаком, не просыпав ни крошки,— и говорил легко, как будто прямо из-под шквала пулеметного огня перенесся в заводь, где ничто не сулило новых потрясений; и поэтому все, что он рассказывал дальше, доходило до слушателей словно сквозь затуманенное, хотя и прозрачное стекло, как нечто воспринимавшееся не слухом, а зрением,— череда силуэтов, не слишком четких, но все же хорошо различимых, плавно, без суеты плы-

вущих друг за другом в логическом порядке, не издавая ни звука: они были в лодке, в центре широкой и тихой, безбрежной котловины их крохотный жалкий челнок летел, подчиняясь неотвратимой власти течения, снова направленного неизвестно куда; мелькавшие в обрамлении дубовых рощ, недостижимые, призрачные, как мираж, маленькие городки, казалось, не имели под собой никакой опоры и висели в воздухе на фоне неменяющегося горизонта. Он этим городкам не верил, они стали ему безразличны, он был обречен; они теперь утратили для него реальность: тающий дым, бредовые видения — не более; непрестанно погоняя лодку, потеряв и цель и даже надежду, он плыл дальше и время от времени поглядывал на женщину: напряженно застывшая, один сплошной комок, она сидела, подтянув колени к животу и обхватив их руками, с закушенной нижней губы стекала кровавая слюна. Он плыл в пустоту, убегая от пустоты, и грести продолжал лишь потому, что греб уже слишком долго и теперь боялся остановиться, боялся, что его мышцы в тот же миг закричат от смертельной боли. И то, что затем случилось, не вызвало у него удивления. Донесшийся сзади шум был ему хорошо знаком (по правде говоря, он слышал его прежде всего раз, но такое запоминается навсегда), к тому же он давно ждал его; продолжая грести, он оглянулся и увидел: закручиваясь в трубку, увенчанная гребнем, волна легко, как солому, несла свой неизменный груз — деревья, обломки, мертвых зверей; он целую минуту глядел на это зрелище, отгороженный от него чудовищной усталостью — этой запредельной усталостью, что подмяла под себя его гнев, положила конец страданиям, лишила даже способности ощущать новые обиды,— и злобно, с холодным любопытством размышлял, велика ли степень напряжения, которую еще смогут вынести его потерявшие чувствительность нервы, и какие очередные испытания придумала для них стихия; глядел и размышлял, пока волна, собирая воедино всю свою громовую мощь, не заревела прямо над ними. Только тогда он отвернулся. Ритм его движений остался прежним, он греб и не быстрее, и не медленнее; выложившийся без остатка, он все так же размеренно, словно в трансе, опускал и подымал весло, когда заметил плывущего оленя. Он даже не понял, что это олень, и не изменил курса, чтобы поплыть следом, просто наблюдал за скользящей впереди головой, а волна тем временем, закипев, изогнулась, и лодка знакомо взмыла всем корпусом вверх, попала в мешанину скачущих деревьев, домов, мостов и заборов, но он все так же греб и продолжал грести, даже когда весло зачерпывало лишь воздух, даже когда и лодка, и олень вместе, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, рванулись вперед; правда, теперь он наблюдал за оленем внимательнее, следил, как тот начал вдруг подыматься из воды, а потом, выбравшись из нее совсем, побежал по ее поверхности и, поднимаясь все выше, оторвался, взлетел, воспарил над ней в затухающих всплесках, в гасящем хрусте ветвей — мокрый куцый хвостик мелькнул в воздухе, и олень, весь целиком, растаял где-то в вышине, как дым. Тут лодку ударило, перевернуло, он тоже на миг взлетел, но тотчас оказался по колено в воде и, стремясь из нее выпрыгнуть, падая и вновь неуклюже вставая, во все глаза, неотрывно глядел вслед пропавшему из виду животному.

— Земля! — крикнул он.— Земля! Потерпи! Еще чуть-чуть!

Обхватив женщину под мышками, выволок ее из лодки и пыхтя ринулся за исчезнувшим оленем. Да, это на самом деле была земля — ровный, гладкий, крутой подъем, неправдоподобно твердое и странное возвышение, что-то вроде индейского кургана; штурмуя глинистый склон, он соскальзывал назад, а женщина вырывалась из его вымазанных грязью рук.

— Отпусти! — кричала она.— Отпусти!

Но он, удерживая ее под мышки, пыхтя и всхлипывая, карабкался наверх; и уже почти взобрался, почти доставил свою яростно сопротивлявшуюся ношу на плоскую вершину кургана, когда наступил на какой-то прут, который вдруг конвульсивно дернулся у него под ногой и мгновенно уплотнился. *Это была змея,* теряя равновесие подумал он, и, собрав последние, теперь уже, бесспорно, последние силы, вытолкнул, выбросил женщину на холм, а сам, ногами вперед, лицом вниз, полетел обратно — все в тот же мир воды, где он обретался уже не упомнить сколько дней и ночей и откуда так ни разу не выбрался целиком,— как если бы его тело, несчастное, измочаленное, пыталось любой ценой — пусть даже утопив себя,— выполнить его неослабное яростное желание отделиться от обузы, которую невольно и безоговорочно навязала ему судьба. Позже, когда он вспоминал об этом, ему казалось, что вместе с собой он унес под воду и первый, мяукающий крик ребенка.

IV

Когда она спросила, нет ли у него ножа, каторжник — вода ручьями стекала с его полосатого одеяния, с тюремной робы, из-за которой в него уже дважды за эти четыре дня стреляли при обеих его встречах с людьми, а последний раз стреляли даже из пулемета — испытал то же самое, что и тогда, в мчащейся лодке, когда женщина сказала, что хорошо бы плыть быстрее. Его снова охватило возмущение; обиженный, оскорбленный до глубины души, он бессильно злился, не находя слов, не в состоянии ничего на это ответить; и, вымотанный, задыхающийся, потерявший дар речи, простоял над женщиной еще целую минуту, пока до него дошло, что она кричит: «...банку! Консервную! Из лодки!». Чутье не подсказало ему, зачем ей эта жестянка; он даже не стал гадать, не задержался, чтобы спросить. Повернулся и побежал; *Еще одна,* на этот раз без удивления подумал он, когда в траве снова что-то конвульсивно сжалось в неуклюжем инстинктивном рывке, обозначавшем никак не тревогу, а лишь настороженность, и даже не отпрянул на бегу в сторону, хотя понял, что занесенная нога опустится всего в ярде от плоского черепа. Подброшенная волной, лодка довольно высоко въехала носом на берег и так и застряла, сейчас в нее заползала с кормы змея; нагнувшись за служившей им черпаком жестянкой, он заметил, что к островку плывет что-то еще, но не понял что — какая-то голова над расходящейся клином рябью. Схватил жестянку; даже не наклонив, отвесно опустил ее в воду и сразу же вынул, полную до краев — все это на ходу, уже поворачивая назад. И снова увидел оленя, правда, может быть, другого. В общем, оленя — краем глаза: светлый дымчатый призрак, на миг возникнув между кипарисами, тотчас исчез, а он, не остановившись, не поглядев ему вслед, бегом примчался назад к женщине, опустился на колени и держал банку у ее губ, пока она не объяснила, чего от него хочет.

В банке раньше хранились то ли бобы, то ли помидоры, короче, что-то герметически закупоренное, а потом, четыре раза ткнув топориком, банку открыли, и железная крышка с рваными, острыми, как бритва, краями была отогнута. Женщина растолковала ему, что надо сделать; он вытащил из ботинка шнурок и перерезал его пополам острой жестью. Потом ей потребовалась теплая вода — «Если бы нагреть хоть немного воды»,— без особой надежды, тихим, слабым голосом сказала она; *где, где он возьмет ей спички?!* — его охватило почти такое же возмущение, как недавно, когда она спросила, нет ли у него с собой ножа, и гнев его улегся, лишь когда она сама, покопавшись в кармане задубевшего кителя (два темных у-образных пятнышка на рукаве и круглое темное пятно на плече остались от спороты нашивок и эмблемы рода войск, но каторжнику эти кляксы ни о чем не говорили), достала коробок, сооруженный из двух вставленных одна в другую латунных гильз. Тогда он оттащил ее подальше от воды, а сам пошел искать сухой хворост для костра, то и дело говоря себе: *Это просто еще одна змея,* хотя — отвлекаясь, добавил он — вполне мог бы сказать: *еще одна из десяти тысяч*; и теперь он уже понял, что там, среди кипарисов, был другой олень, потому что по дороге увидел сразу трех оленей одновременно: самцов или самок, он не понял, ведь в мае олени все без рогов, к тому же он об оленях ничего не знал и раньше видел их только на рождественских открытках; еще ему попался кролик — утонул, наверно; короче, был мертвый и уже наполовину распотрошенный,— а на кролике стоял ястреб: хохолок торчком, клюв твердый, злой с аристократической горбинкой, взгляд желтых глаз надменный, хищный; он пинками согнал его, пинал до тех пор, пока тот, шатаясь и хлопая широкими крыльями, не поднялся в воздух.

Когда он вернулся — и с хворостом, и с мертвым кроликом,— младенец, завернутый в китель, лежал в развилке между нижними ветками кипариса, а женщины что-то не было видно, правда, вскоре — каторжник тем временем уже опустился на колени в грязь и заботливо раздувал чахлый огонь — она появилась откуда-то с берега и, медленно, неуверенно переставляя ноги, подошла к ребенку. Потом вода наконец нагрелась, и в руках у женщины оказался неизвестно где раздобытый квадратный лоскут чего-то среднего между мешковиной и шелком (каторжник так и не

узнал, где она взяла эту тряпку, да, небось, и сама женщина, пока не приперло, не знала, откуда она ее возьмет, впрочем, этого не знала бы и ни одна другая женщина, ведь такими вопросами женщины не задаются) — присев на корточки у костра, сквозь пар, шедший от мокрой робы, он с любопытством дикаря наблюдал, как она обмывает ребенка, и это было так интересно, так удивительно и невероятно, что, не выдержав, он подошел ближе, встал над ним и, глядя сверху на крошечное, ни на что не похожее оранжево-красное существо, думал: *И только-то. Значит, эта и есть то, из-за чего я был так грубо разлучен со всем, что знал и понимал; вот, значит, то, ради чего меня сперва зашвырнуло в мир, которого я страшился от рождения, а потом в конце концов выбросило в краю, который я раньше и в глаза не видел, туда, где мне даже не узнать, где я.*

Потом он еще раз спустился к воде и снова наполнил жестянку. Солнце меж тем тускнело (закатом это было не назвать, густые облака закрывали небо), и день, такой долгий, что каторжник уже не помнил его начала, шел к концу: когда же он вернулся назад, туда, где угрюмо переплетаясь ветвями, кипарисы обступали костер, то понял, что за время его короткого отсутствия вечер успел полностью вступить в свои права, как если бы темнота, что, спасаясь от потопа, вначале тоже приютилась на этом крохотном, в четверть акра, холме, на этом земляном ковчеге, на этом заросшем кипарисами, кишащем живностью, окруженном водой, затерянном в пустоте кургане — где, в какой стороне, как далеко и как далеко от чего лежит этот островок, он не знал, с тем же успехом его можно было спросить, какое сегодня число,— сейчас, с заходом солнца, вновь выбралась из своего убежища, чтобы расползтись по воде. Пока он по частям варил кролика, огонь становился все краснее, все ярче алел в темноте, откуда, то вспыхивая, то угасая, то вновь вспыхивая, робко и настороженно поглядывали глаза мелкого зверья, а один раз высоко над землей зажглись кроткие большие, чуть не с блюдце, глаза оленя; и вот после четырех дней голода — бульон, крепкий, горячий; первую жестянку целиком выпила женщина, а он смотрел на нее и, казалось, слышал, как слюна шкворчит у него во рту. Потом он тоже выпил полную жестянку; они доели остальное мясо — обугленные, черные кусочки, жарившиеся на ивовых прутьях; и была уже настоящая ночь.

— Ты с ним лучше иди спать в лодку,— сказал каторжник.— Завтра нам рано отплывать.

Чтобы лодка стояла ровно, он спихнул ее со склона, потом нарастил носовой фалинь, привязав к веревке лозу; вернулся к костру, обмотал себя концом лозы, как поясом, и лег. Лежал он в липкой грязи, но внизу, под ним, под грязью, было твердо; там была земля, и она не двигалась; упав на нее, ударившись об ее бесспорный, не таящий подвоха покой, ты мог даже переломать кости, но зато она была физически ощутима, она тебя не обволакивала, не душила, не засасывала все глубже и глубже; иногда ее бывало тяжело пропарывать плугом, и случалось, ты проклинал ее привередливость, когда на закате долгого дня она отсылала тебя назад, на твою койку, но зато она не похищала людей из привычного, знакомого им мира, не мотала тебя, бессильного пленника, по несколько дней в пустоте, отняв надежду на возвращение. *Я не знаю, где я, и, похоже, не знаю даже дорогу обратно, туда, куда хочу вернуться,* думал он. *Но по крайней мере лодка давно уже стоит спокойно, и теперь я, наверно, сумею ее развернуть.*

Проснулся он на заре, еще только светало; небо — бледно-желтое, день будет хороший. Костер давно отгорел; по ту сторону холодной золы лежали три змеи — три застывшие параллельные линии, вроде тех, какими отчеркивают итог под столбиком цифр,— и контуры остальных змей, казалось, тоже начинали проступать в нарастающем свете; земля, которая только что была просто землей, распалась на отдельные неподвижные извивы и кольца; ветви, которые еще минуту назад были просто ветвями, превратились в окаменевшие волнистые фестоны — все это произошло в один миг, пока каторжник, поднявшись на ноги, думал о еде, о том, что перед отплытием надо бы поесть чего-нибудь горячего. Но потом решил, что не так уж это важно и не стоит зря терять столько времени, тем более что в лодке оставалось еще немало твердых, похожих на камни комков, которые вывалила туда женщина с баркаса; да и кроме того, думал он, какой бы удачной и скорой ни оказалась его охота, он же все равно не запасет еды впрок, чтобы хватило, пока они не доплывут куда надо. И потому, подтягивая к себе вплетенную в веревку лозу, он спустился к лодке, к воде, окутанной плотным, как ватин, туманом (он был густой, этот туман, но стлался, похоже, только понизу), в котором уже исчезла корма, хотя лодка почти касалась носом берега. Женщина проснулась, заворочалась.

— Отплываем? — спросила она.

— Угу. А ты что, надумала с утра пораньше еще одного родить? — Каторжник влез в лодку, оттолкнулся, и берег сразу же начал таять в дымке.— Дай-ка весло,— не поворачивая головы, не глядя на женщину, сказал он.

— Весло?

Он повернулся.

— Да, весло. Ты на нем лежишь.

Но весла под ней не было, и на миг — пока островок продолжал медленно таять, пока туман бережно, словно дорогую безделушку, словно что-то очень хрупкое или очень ценное, укутывал лодку в невесомую, неосязаемую вату,— каторжник оцепенел, охваченный даже не тревогой, а тем внезапным неистовым гневом, который вспыхивает в человеке, когда тот еле успевает увернуться от падающего сейфа, и в следующую секунду ему на голову валится стоявшее на сейфе тяжелое пресс-папье: мучительнее всего было сознавать, что он не мог дать этому гневу выхода, потому что именно сейчас нельзя было терять ни минуты. Он действовал без размышлений. Схватил конец лозы, прыгнул в воду, с головой ушел на дно, тотчас, яростно барахтаясь, вынырнул и, продолжая барахтаться (за свою жизнь он так и не научился плавать), рванулся, бросился к исчезнувшему из вида кургану: рассекая телом воду, двигаясь вперед и постепенно поднимаясь все выше, он скоро шагал уже прямо по воде, как вчера олень, потом наконец вскарабкался по скользкому склону, повалился на берег и долго лежал там, задыхаясь, ловя ртом воздух и все так же крепко сжимая в руке конец лозы.

Первым делом он выбрал, как ему казалось, самое подходящее деревце (на секунду у него мелькнула мысль подпилить ствол зазубренной жестью, но не понял, что сходит с ума) и разложил вокруг него костер. Шесть следующих дней он занимался поисками еды, а деревце тем временем, прогорев насквозь, упало и продолжало гореть, пока не догорело до нужной длины: чтобы придать ему форму весла, каторжник непрерывно поддерживал огонь в маленьком костре, лукаво лизавшем полено с боков, следил за огнем и по ночам, пока женщина с ребенком (младенец уже брал грудь, уже чмокал и каждый раз, когда женщина начинала расстегивать вылинявший китель, каторжник поворачивался к ней спиной, а то и вовсе уходил в лес) спали в лодке. Научившись выслеживать снижающихся ястребов, он часто находил кроликов и два раза нашел опоссумов; однажды набрал в воде дохлой рыбы, они ее съели, и у обоих высыпала на теле сыпь, а потом открылся страшный понос; в другой день они съели змею — правда, женщина думала, что это черепаха,— и с ними ничего не было; а потом, как-то вечером, пошел дождь, и тогда он встал, наломал в кустах веток, с прежним знакомым ощущением собственной неуязвимости стряхнул с них змей (теперь он больше не говорил себе: *Это просто еще одна змея,* а спокойно отходил на шаг и уступал им дорогу — они тоже без звука уступали ему дорогу, если успевали вовремя свернуться в клубок) и сложил шалаш, но дождь в ту же минуту кончился и больше не возобновлялся, так что женщина вернулась в лодку.

А потом, однажды ночью — медленно, нудно тлевшее полено уже почти превратилось в весло — ...да, была ночь, он лежал в постели, на своей койке в бараке, и было холодно, он натягивал на себя одеяло, но его мул мешал ему, тыкался в него, тяжело наваливался, норовил улечься рядом с ним на узкой койке, и постель тоже была холодная, мокрая, он пытался из нее вылезти, только мул не давал ему, держал зубами за ремень штанов, дергал и валил его назад в холодную, мокрую постель, а потом, наклонившись, плавно лизнул ему по лицу холодным гибким тугим языком, и, проснувшись, он увидел, что костер погас и даже под веслом, уже почти готовым, не рдело ни уголька, но тут что-то длинное, холодящее и тугое снова плавно скользнуло по его телу; он лежал, погруженный дюйма на четыре в воду, а лодка, толчками натягивая привязанную к его поясу лозу, то выдергивала его из этой воды, то опять бросала обратно. Что-то непонятное, всплыв снизу, тыкалось ему в щиколотку (полено, весло — вот что это было), и, еще не найдя лодку, еще продолжая в панике, на ощупь искать ее, он уже слышал,

как по деревянному днищу мечутся скользкие шорохи, и тут женщина всполошилась, подняла визг.

— Крысы! — закричала она.— Полная лодка крыс!

— Лежи тихо! — крикнул он.— Это просто змеи. Можешь ты хоть немного помолчать, пока я доберусь?

Наконец он отыскал лодку, влез в нее вместе с незаконченным веслом; под ногой снова дернулся толстый тугой жгут; змея не ужалила; ему, впрочем, было бы все равно; он, не отрываясь, глядел поверх кормы, туда, где глаза что-то различали: сквозь туман там слабо просвечивала вода — открытое пространство. Втыкая весло в ил, как багор, он направил лодку в ту сторону и на ходу отпихивал увитые змеями ветви; дно лодки вялым эхом отзывалось на тяжелые сочные шлепки, женщина визжала не переставая. Наконец лодка выплыла из-под деревьев, оторвалась от островка, и только тогда он явственно ощутил, как эти твари стегают его хвостами по ногам, услышал шуршание, с которым они уползали через борта. Вытянув полено из воды, он провел им по дощатому дну — как совком, как лопатой: вперед, наверх и — за борт; в белесом отсвете воды было видно, как еще три из них, прежде чем исчезнуть, судорожно свились в спирали.

— Замолчи! — крикнул он.— Тихо! Жалко, я сам не змея, а то бы тоже отсюда сбежал.

Когда негреющее утреннее солнце — бледный вафельный кружок в ореоле тонких пушистых волокон — вновь глянуло сверху на лодку, плыли они или стояли на месте, он не понимал, каторжник уже опять слышал тот самый звук, который до этого слышал дважды и запомнил навсегда: настойчивый, неотвратимый гул разъярившейся воды. Только на этот раз он не мог определить, откуда этот звук надвигается. Можно было подумать, шум несся со всех сторон и то нарастал, то затихал; за туманом словно прятался летучий призрак: вот он только что был далеко, за многие мили от лодки, но уже через секунду казалось, он незамедлительно сокрушит ее своим ревом; были мгновенья, когда каторжник, ясно сознавая (все в нем сжималось, каждая клеточка его усталого тела вопила от ужаса), что лодка сейчас с маху врежется в этот грохот, хватался, как безумный, за свое весло — цветом и фактурой оно походило на закоптелый кирпич, на нечто, выгрызенное бобрами из старого дымохода, а весило фунтов двадцать пять,— стремительно разворачивал лодку и тут же понимал, что шум снова успел погаснуть вдали. А потом вдруг над головой у него раздался страшный грохот, он услышал голоса, звон колокола, и шум пропал, а туман растаял, как тает на стекле изморозь, стоит приложить к форточке руку — лодка качалась на искрящейся солнцем коричневой воде бок о бок с пароходом, отделенная от него какими-нибудь тридцатью ярдами. Палубы были забиты людьми — мужчины, женщины, дети,— одни сидели, другие стояли среди пирамид прихваченной впопыхах невзрачной мебели, и все они молча, грустно смотрели вниз, на лодку, пока каторжник и высунувшийся из рубки человек с мегафоном переговаривались между собой, тщетно пытаясь заглушить своими немощными выкриками тарахтенье двигателей.

— Ты чего, рехнулся? Угробить себя решил?

— В какую сторону Виксберг?

— Виксберг?.. Виксберг?! Подгребай ближе и подымайся на борт.

— А лодку тоже возьмете?

— Что? Лодку?! — И мегафон разразился руганью; богохульства вперемешку с вариациями на сексуально-физиологические темы полились потоком — пустой неосязаемый гулкий рев: казалось, его исторгли и тотчас вновь заглотили обратно вода, воздух и туман, а потому слова эти не причинили никому вреда, не оставили после себя ни саднящей обиды, ни унижения.— Да если я начну подбирать каждое ваше дырявое корыто, у меня из-за вас, крыс болотных, скоро негде будет шагу ступить. А ну, давай, подымайся на борт! Думаешь, мать твою за ногу, я так и буду гонять из-за тебя двигатели вхолостую?

Но тут раздался другой голос, такой спокойный, мягкий и рассудительный, что на миг показалось, будто здесь он еще более чужероден и неуместен, чем бесплотная рокочущая брань мегафона:

— Куда же ты собираешься плыть?

— Я не собираюсь. Я уже плыву,— ответил каторжник.— В Парчмен.

Тот, что задал ему этот вопрос, повернулся и, похоже, посоветовался с кем-то третьим, тоже стоявшим в рубке. Потом снова поглядел вниз, на лодку.

— В Кариаврон?

— Что? — не расслышал каторжник.— В Парчмен.

— Хорошо. Мы как раз в ту сторону. Высадим тебя где-нибудь поближе к дому. Поднимайся на борт.

— А лодку-то возьмете?

— Да, да. Давай скорее. А то, пока мы тут с тобой разговариваем, у нас только уголь зря горит.

Тогда каторжник подогнал лодку вплотную к пароходу и удерживал ее на месте, глядя, как они помогают женщине с младенцем перебраться через поручни, а потом вскарабкался и сам, но при этом не выпускал конец вплетенной в веревку лозы, пока лодку не подняли на грузовую палубу.

— Боже мой,— сказал тот, добрый, с мягким голосом.— Ты что же, вместо весла греб вот этим?

— Угу. У меня доска была, только я потерял.

— Доска,— повторил добрый (каторжник изобразил, как тот чуть ли не прошептал это слово).— Доска. Ну, ладно. Пошли, дадим вам поесть. С лодкой теперь все в порядке.

— Я, пожалуй, лучше здесь подожду,— сказал каторжник. Потому что, как объяснил он своим слушателям, до него только тогда стало доходить, что люди вокруг, все эти толпившиеся на палубе беженцы (он сидел вместе с женщиной на перевернутой лодке, а они, обступив их кольцом, пристально разглядывали и его, и женщину со странным жадным и скорбным любопытством) не белые...

— В смысле — негры? — уточнил толстый каторжник.

— Нет. В смысле — не американцы.

— Не американцы? Так это что, была уже даже не Америка?

— Не знаю,— сказал высокий.— Они это место называли Атчафалайа.

...и потому что, когда он переспросил о чем-то одного мужчину, тот опять закулдыкал «гур-гур-гур».

— Закулдыкал? — удивился толстый.

— Это они так между собой разговаривали,— пояснил высокий.— Гур-гур-гур, уэнь-муэнь, ко-ко-ко, то-то-то.

И он сидел, наблюдал, как они кулдыкают и поглядывают на него, но потом они попятились и снова появился тот, добрый (на рукаве у него была повязка с красным крестом), а за ним шел официант с подносом. Добрый нес два стакана с виски.

— Давайте-ка, выпейте,— сказал добрый.— Согреетесь.

Женщина выпила сразу, но он, рассказывал каторжник, поглядел на свой стакан и подумал: *Я же виски семь лет не пробовал.* До этого дня он за всю свою жизнь попробовал виски вообще только раз; случилось это прямо на винокурне, еще там, в сосновой пади; ему было семнадцать лет, он пошел туда с компанией: кроме него, пошли еще четверо, двое из которых были уже взрослые мужики — одному года двадцать два — двадцать три, а другому под сорок; и он помнил. Вернее, помнил примерно лишь треть всего, что произошло с ним в тот вечер,— бешеная круговерть в багровых адских всполохах, потрясение, оторопь от раскалывавших голову ударов (и еще от стука собственных кулаков, молотивших по твердой, как они сами, но какой-то иной кости), а потом пробуждение — он лежал неизвестно где, в каком-то коровнике, которого никогда прежде не видел и который, как потом оказалось, был в двадцати милях от его дома. Короче, продолжал каторжник, он все это вспомнил, подумал, глядя на следящие за ним лица, и сказал:

— Пожалуй, не буду.

— Ладно тебе,— настаивал добрый.— Пей.

— Не хочу.

— Глупости,— сказал добрый.— Мне лучше знать, я доктор. Пей. А потом уж и поешь.

В общем, он взял стакан, но и тогда никак не мог решиться, и добрый опять поторопил:

— Давай же, пей, не тяни, ты нас задерживаешь.

Голос этот, по-прежнему мягкий, рассудительный,— голос человека, который не привык, чтобы ему перечили, а потому умеет оставаться спокойным и любезным,— прозвучал теперь чуть резче, и картожник выпил, но даже тогда, в ту последнюю секунду — в желудке уже заполыхал сладкий огонь, и в следующий миг все должно было начаться,— даже тогда он еще пытался сказать, объяснить! «Я же вас предупреждал! Я предупреждал!» Но слишком поздно: бледная вспышка солнца озарила десятый день страха, безнадежности, отчаяния, бессилия, ярости, гнева, и остались только он сам и мул, *его* мул (он дал мулу имя, ему разрешили — Джон Генри), на котором, кроме него, не пахал больше никто, уже пять лет, и чьи повадки и привычки он знал и уважал, а тот тоже так хорошо его изучил, что каждый из них всегда мог предугадать любое движение и любое намерение другого; только он и его мул, а перед ними пролетали и кулдыкали эти человечки, твердые головы знакомо бились о его кулаки, он слышал свой голос: «Ну, Джон Генри, пошел! Дави их плугом, дави! Закулдыкай их всех, старичок!», и он продолжал кричать, даже когда яркая, горячая, красная волна снова ринулась ему навстречу; он принял ее радостно, с восторгом и взмыл вверх, завис, вихрем промчался сквозь пустоту, ликующий, победно орущий, а потом, как было уже не раз, последовал тяжелый, страшный удар в затылок — распластанный на спине, он лежал, раскинув пригвожденные к палубе руки и ноги, вновь совершенно трезвый, из носа опять хлестала кровь, а тот, добрый, стоял, наклонившись над ним, и глаза за тонкими голыми стеклами — таких холодных глаз он не видел никогда в жизни — смотрели, как сказал каторжник, вовсе не на него, а только на хлещущую кровь и ровным счетом ничего не выражали, разве что бесстрастный, лишенный намека на сочувствие интерес.

— Вот и молодец,— сказал добрый.— Так, значит, есть еще порох в пороховнице, а? И кровью бог не обделил, вон ее сколько — красная, хорошая. Тебе не говорили, что ты гемофилик? (— Чего, чего? — переспросил толстый каторжник.— Гемофилик? А ты знаешь, что это? — Высокий, уже раскурив самокрутку, согнулся пополам, втиснулся в узкое, как гроб, пространство между верхней и нижней койками и застыл там, худой, чистый, неподвижный; сизый дым косо, змейкой полз по его смуглому выбритому орлиному лицу.— Это такой теленок, который сразу и бык, и корова.

— Нет, неправильно,— вмешался третий каторжник.— Это когда теленок похож на жеребенка, только на самом деле он и не жеребенок, и не теленок.

— Тьфу ты, черт! — рухнулся толстый.— Либо уж то, либо другое, а иначе и утопить могут.— Все это время он не отрываясь глядел на высокого и сейчас снова обратился к нему: — И ты позволил ему так себя обозвать?) Да, он это проглотил. На вопрос доктора (с той минуты он перестал считать его добрым) он вообще ничего не ответил. И пошевелиться тоже не мог. Хотя чувствовал себя хорошо, даже очень хорошо, не то что все эти десять дней. Короче, ему помогли встать, довели под руки до перевернутой лодки и усадили рядом с женщиной; так он там и сидел: нагнувшись вперед, в классической древней позе — локти на коленях, кисти свободно опущены; сидел и смотрел, как по грязному, затоптанному полу расползаются ярко-алые пятна, пока чистая, ухоженная рука — рука доктора — не поднесла ему к носу какой-то флакончик.

— Понюхайте,— сказал доктор.— Вдохни глубоко.

Он вздохнул, едкий запах нашатыря прожег ноздри и затек в горло.

— Еще,— велел доктор.

Каторжник послушно вдохнул снова, но на этот раз поперхнулся, и кровь ударила фонтаном; нос у него ничего теперь не чувствовал, все равно как ноготь, только, казалось, стал очень большой, с лопату, и холодный был тоже, как лопата.

— Вы, пожалуйста, меня извините,— сказал он.— Я вовсе не хотел.

— Пустяки,— сказал доктор.— Ну, ты силен драться, человек сорок раскидал, не меньше. Я такого и не упомню. Целых две секунды продержался. Теперь можешь чего-нибудь съесть. Или, боишься, опять в голову ударит?

Поели они там же, сидя на лодке; никто их больше не разглядывал, никто рядом не кулдыкал; сгорбившись, каторжник медленно, с мучительными усилиями грыз толстый сэндвич, кусал его сбоку и жевал, точно собака,— косо наклонив голову, держа ее параллельно земле; пароход плыл дальше. В полдень им дали по миске горячего супу и снова кофе с хлебом; все это они съели, продолжая сидеть бок о бок на лодке; на руке у каторжника был по-прежнему намотан конец лозы. Младенец проснулся, покормился, потом заснул снова, а они тихо разговаривали.

— Что он сказал? Докуда нас повезут? До Парчмена?

— Да. Я сказал, мне нужно туда.

— Мне показалось, он сказал не Парчмен, а как-то иначе. Вроде совсем и не Парчмен.

Каторжнику и самому так показалось. О своих сомнениях он трезво думал уже с той минуты, как поднялся на борт, и особенно, когда впервые обратил внимание на необычность остальных пассажиров; эти мужчины и женщины все были явно ниже его ростом и, хотя у некоторых тоже были голубые или серые глаза, отличались от него цветом кожи, никак не походившим на загар; кроме того, они говорили между собой на языке, которого он прежде не слышал, а его язык, судя по всему, был им непонятен — таких людей он никогда не видел ни в Парчмене, ни где-либо еще, и ему не верилось, что они плывут в Парчмен или вообще в те края. Но он ни о чем не расспрашивал, не допытывался, потому что не такой он был человек, и, по его деревенским понятиям, расспрашивать было все равно, что просить о помощи, а к чужим за помощью не обращаются: если уж сами предложат, принимаешь и благодаришь — даже немного неприязненно, скороговоркой,— но первый никогда ни о чем не просишь. И потому он, как бывало уже не раз, только наблюдал, ждал и старался по возможности делать лишь то, что ему подсказывал здравый смысл.

Короче, он ждал; а к середине дня пароход толчками, пыхтя, протиснулся сквозь зажатый дамбами узкий пролив, вырвался на простор, и вот тогда-то каторжник окончательно понял, что они плывут по Реке, по Миссисипи. Теперь он в это поверил («Потому что очень уж большая,— рассудительно объяснил им он.— Ей любой потоп нипочем, разве что слегка приподымется, мол, дай-ка погляжу, где там эта блоха,— просто чтобы знать, какое место почесать. Это ведь только всякая мелюзга, разные там ручейки-речушки начинают вдруг течь задом наперед, а потом разворачиваются и давай закидывать человека дохлыми мулами да курятниками»),— она текла невероятно вальяжная, желтая, разомлевшая на солнце, и пароход полз прямо по ней (*как муравей по тарелке*, думал каторжник, сидя рядом с женщиной на перевернутой лодке, и младенец, которого она опять кормила, вроде как тоже глядел вперед, туда, где с обеих сторон в миле от парохода тянулись линии дамб, похожие на две длинные нитки, плывущие по воде параллельно друг другу), а потом солнце начало садиться, и каторжник поймал себя на том, что прислушивается к голосам, к разговору доктора с человеком, который орал тогда на него в мегафон и сейчас снова что-то громко выкрикивал сверху из рубки.

— Чего? Остановить?! У меня что, по-вашему, трамвай?

— Ну, хотя бы просто для разнообразия,— сказал приятный голос доктора.— Вы ведь, уж не знаю который день мотаетесь здесь туда-обратно, и этих, как вы их называете, болотных крыс подобрали столько, что не перечесть. Но, согласитесь, это первый случай, когда сразу двое — вернее, трое — не только знают, куда именно им надо, но и на самом деле пытались туда добраться.

Итак, каторжник ждал, а солнце меж тем клонилось все ниже, муравей-пароход продолжал неспешно ползти по гигантской пустой тарелке, и она все больше отливала бронзой. Но каторжник ни о чем не спрашивал, просто ждал. *Может, он сказал Каролтон?* — думал он. *Первая буква точно была К.* Только ему и в это не верилось. Он не знал, где они сейчас плывут, но понимал, что в любом случае места эти далеко от Каролтона, городка, который он запомнил с того дня семь лет назад, когда проезжал через него на поезде, скованный парными наручниками — запястье к запястью — с помощником шерифа: он помнил, как мерно, дробно и оглушительно загромыхали вагоны на пересечении железнодорожных путей, помнил россыпь белых домов, умиротворенно застывших среди деревьев на зеленых, по-летнему пышных пригорках, помнил торчащий в небо шпиль — перст Господень. Но никакой реки там не было *А уж если рядом такая река, это завсегда чувствуешь*, думал он. *Кто бы ты ни был, где бы ни прожил свою жизнь — чувствуешь все равно.* Потом пароход, разворачиваясь против течения, закачался, и тень от него, тоже качаясь и намного его опережая, заскользила к одиноко выступавшей над водой дамбе, к густо поросшему ивняком, пустому, безжизненному берегу. Там не было ничего, совсем ничего, по ту сторону дам-

бы каторжник не видел ни воды, ни земли; казалось, пароход сейчас медленно протопчет себе дорогу сквозь хлипкий низкий ивняк и погрузится в пустоту или, если ему там окажется тесно, замедлит ход, попятится, впишется в изгиб дамбы и выгрузит в пустоту его, каторжника, если, конечно, это и есть то намеченное для высадки место, которое и от Парчмена далеко, и никакой не Каролтон, даже если название его и впрямь начинается с буквы К. Повернув голову, он увидел, как доктор наклонился над женщиной, пальцем приподнял младенцу веко и посмотрел.

— Кто еще с вами был, когда он родился? — спросил доктор.

— Никого,— ответил каторжник.

— Значит, управились сами?

— Да.

Доктор разогнулся и поглядел на него.

— Это Карнаврон.

— Карнаврон? — переспросил каторжник.— Так это не...— Он осекся, замолчал. Теперь-то он уже мог им рассказать — в глазах, пристально смотревших на него из-за голых стекол, было ледяное равнодушие, на холеном лице застыло недовольство: этот человек не привык, чтобы ему перечили, и, чтобы врали, тоже не привык. (— Во-во,— перебил толстый.— Я уж давно собираюсь спросить. А как же твоя роба? По ней любой догадается. Если этот твой доктор такой умный, как ты говоришь, чего же он не...

— Я ведь и спал прямо в робе, как-никак десять ночей, и по большей части в грязи,— сказал высокий.— И потом еще с полуночи до рассвета греб, а весло ведь толком, до конца не выжег, и сажу с него соскоблить тоже не успел. Да и вообще столько дней не раздевался, и что ни день, то снова страх, снова нервотрепка — тут что хочешь прежний вид потеряет. И не только штаны,— добавил он без улыбки.— Лицо тоже. А доктор, он все прознал.

— Ясно,— кивнул толстый.— Давай дальше).

— Я знаю,— сказал доктор.— Я все понял, пока ты валялся тут пьяный. Так что лучше не ври. Не люблю, когда врут. Мы плывем в Новый Орлеан.

— Нет,— немедленно сказал каторжник, сказал тихо, но твердо, решенно. И будто снова услышал шлепки по воде «чок-чок-чок», прямо в том месте, где миг назад был он сам. Но сейчас он думал не о пулях. Он их забыл, он им простил. Он думал о себе, о том, как, скрючившись, всхлипывая, задыхаясь, остановился на секунду, чтобы потом побежать снова; и опять слышал свой голос, этот крик, этот обвинительный приговор, этот вопль окончательного и бесповоротного отречения от древнего, первобытного, языческого Вседержителя, от всех страстей, безумств и несправедливостей: *Мне же ничего было не надо, я хотел только сдаться;* он думал об этом, вспоминал, но уже без волнения, без гнева, и мысли его были короче иной эпитафии: *Нет. Один раз попробовал. В меня стреляли.*

— Значит, в Новый Орлеан ты не хочешь. И в Карнаврон тоже вроде не собирался. Тем не менее готов сойти в Карнавроне, лишь бы не попасть в Новый Орлеан.

Каторжник молчал.

Доктор внимательно смотрел на него: увеличенные стеклами зрачки были похожи на шляпки строительных гвоздей.

— За что сидел? Хотел ударить, но не рассчитал и убил, так?

— Нет. Хотел поезд ограбить.

— Не понял. Повтори.

Каторжник повторил.

— Ну и как же это было? Рассказывай. О таком в наше время не часто услышишь — сейчас все же двадцать седьмой год,— а ты вдруг замолчал. Давай, рассказывай.

И каторжник рассказал, спокойно, бесстрастно — и про журналы, и про пистолет, который не стрелял, про маску и про потайной фонарь, который он купил на вырученные от подписки деньги и в котором не было даже щели для воздуха, отчего свеча погасла чуть ли не одновременно со спичкой, но железо все равно так нагрелось, что к нему нельзя было прикоснуться. *Нет, он ведь не на глаза мои смотрит и не на губы,* думал он. *Будто изучает, будто хочет понять, как у меня что устроено.*

— Понятно,— сказал доктор.— И все же что-то сорвалось. Зато потом у тебя было достаточно времени во всем разобраться, подумать. Определить, в чем была твоя ошибка, что ты сделал неправильно.

— Да,— согласился каторжник.— Я много потом думал, и по-умному.

— Значит, в следующий раз не повторишь ту же ошибку?

— Не знаю. Следующего раза не будет.

— Почему? Ты же теперь знаешь, как надо,— второй раз тебя уже не поймают.

Каторжник пристально посмотрел на доктора. Они пристально глядели друг на друга: выражение их глаз в общем-то мало чем различалось.

— Кажись, понимаю, к чему вы клоните,— наконец сказал каторжник.— Тогда мне было восемнадцать. А сейчас — двадцать пять.

— Вот как.— Доктор даже не шелохнулся (каторжник попробовал описать, как это было), просто перестал на него смотреть. Потом вынул из кармана пачку дешевых сигарет.— Закуришь?

— Табаком не балуюсь,— ответил он.

— Вот и правильно,— все тем же приятным и любезным голосом сказал доктор. И убрал сигареты.— Моей касте (касте врачевателей) помимо прочего дана власть как запрещать, так и разрешать — право, дарованное нам если не самим Господом Богом, то уж по крайней мере Союзом американских медиков,— отвлекаясь, добавлю, что уже ныне, в году одна тысяча девятьсот двадцать седьмом от Рождества Господня, я готов в любое время побиться об заклад на любые деньги, что организацию эту ждет большое будущее. Что же касается данного случая, то не знаю, намного ли я превышу свои полномочия, однако мы с тобой рискнем.— Доктор поднял глаза на башенку капитанского мостика и поднес ко рту сложенные рупором руки.— Капитан! — крикнул он.— Этих трех пассажиров мы высадим здесь.— Потом снова повернулся к каторжнику.— Да, вот именно,— сказал он.— Я полагаю, пусть лучше твой родной штат сам подлижет то, что выблевал. Держи.— Рука его снова вынырнула из кармана, но на этот раз в ней были деньги.

— Нет,— сказал каторжник.

— Бери, бери. Не люблю, когда со мной спорят.

— Нет,— повторил он.— Вернуть я все равно не смогу.

— А разве я прошу, чтобы ты возвращал?

— Нет. Но я же тоже не просил вас мне одалживать.

И вот он опять стоял на сухой земле (уже дважды познал он, каково быть игрушкой во власти насмешливой и могучей стихии — а ведь никому не уготовано пройти через такое более одного раза за одну жизнь,— но несмотря на это судьба припасла для него новое невероятное испытание), стоял рядом с женщиной на пустой дамбе — младенец спал, закутанный в линялый китель, на руке у каторжника был по-прежнему намотан конец лозы,— стоял и смотрел, как пароход попятился, развернулся, вновь пополз по пустынной глади, по огромному блюду, все больше отливавшему медным блеском, и поволок хвост дыма, который сердито вился, медленно распадаясь на отдельные, подбитые медью сгустки, редел над водой и таял: унося с собой вонь гари, пароход пересекал необозримый безмятежный простор, становился все меньше и меньше, а потом, казалось, неподвижно завис в призрачности заката и бесследно исчез, как растворившийся в воде комочек грязи.

Тогда он отвернулся, впервые глянул вокруг, посмотрел, что лежит у него за спиной и, внутренне сжавшись — не от страха, а чисто инстинктивно; напряглись не мышцы, а его душа, сработала заложенная в самой его сути здравая, осмысленная настороженность горца, который никогда не позволит себе обратиться к чужим не то что за помощью, но и просто за разъяснением,— спокойно подумал: *Нет. Это даже и не Каролтон.* Потому что взгляд его, скользнув вниз вдоль отвесного склона дамбы и пробуравив шестьдесят футов абсолютной пустоты, упал на поверхность плоскую, как вафля, и цветом тоже напоминавшую вафлю или, может быть, летнюю песочную шерсть жеребенка и наделенную такой же ворсистой упругостью, свойственной еще коврам и мехам; эта поверхность простиралась вдаль ровно и гладко, на ней не было ни волн, ни зыби, однако сам ее вид рождал то странное ощущение неосязаемой плотности, какое обычно вызывает вода; желтизна нарушалась здесь и там горбатыми холмиками густой сероватой зелени — хотя казалось, они нисколько не возвышаются

над общим уровнем местности — и кривыми извилистыми прожилками чернильного цвета, которые, как он сразу заподозрил, вероятно, и были водой,— впрочем, он воздерживался от окончательных суждений и продолжал от них воздерживаться, даже когда уже шагал по этой воде. В общем, они пошли дальше — вот как он сказал, вот как он это описал. И ни слова о том, как в одиночку тащил лодку по насыпи наверх, и через гребень дамбы, и оттуда еще те же шестьдесят футов, но уже вниз, по отвесному склону,— просто сказал, что пошел дальше: москиты клубились тучей, обжигали укусами, будто раскаленные угли, он протискивался, продирался сквозь высокую, скрывавшую его с головой траву, и ее зазубренные края стегали его в ответ по рукам и лицу, точно гибкие лезвия, а он волок за собой лодку, в которой сидела женщина, и, опотыкаясь, по колено увязая в месиве, похожем скорее на воду, чем на землю, пробирался по одной из этих черных проток, заполненных скорее землей, чем водой, а потом вдруг — он уже тоже был в лодке, потому что дно, по которому он ступал еще полчаса назад, внезапно ушло у него из-под ног, и на серой вечерней воде, пока он не вынырнул и не залез в лодку, видна была только его надувшаяся пузырем, слегка шевелящаяся куртка,— а потом вдруг возник тот домишко — размеры чуть больше стойла, стены из кипарисовых досок, крыша железная,— хижина на тонких, как паучьи лапки, десятифутовых сваях, походившая на неказистое (и, возможно, ядовитое) болотное насекомое, которое забрело по этой плоской пустоши в такую даль, что оттуда уже никуда было не добраться, и, настигнутое смертью, так и сдохло стоя, потому что негде было даже прилечь; к подножью грубо сколоченной лестницы была привязана пирога, в проеме двери, подняв над головой фонарь (уже совсем стемнело) стоял человек, глядел на них сверху и что-то кулдыкал.

Рассказывая, он не обошел молчанием те восемь или девять, а может, десять дней — он не помнил, сколько,— когда он сам, женщина, младенец и этот маленький жилистый человек — у него были гнилые зубы и мягкие диковатые блестящие глаза, как у крысы или бурундука, и говорил он на непонятном языке — жили все вместе в этой хибарке, состоявшей из одной комнаты и еще крохотной клетушки. Но только рассказал он об этом по-другому, коротко, видимо, решив не тратить зря слова — точно так же он, вероятно, счел лишним рассказывать, как в одиночку перетащил через гребень плотины свою лодку, весившую сто шестьдесят фунтов. Он просто сказал: «Через какое-то время мы набрели на дом и пробыли там дней восемь-девять, а потом дамбу взорвали динамитом, и нам пришлось оттуда уйти». Вот и все, что он сказал. Но сам-то он ничего не забыл и сейчас, легко и уверенно держа в руке сигару — да-да, теперь уже не самокрутку, а, хотя пока и не зажженную, но все равно настоящую, хорошую сигару, которую дал ему Начальник,— тихо, про себя, вспоминал то первое утро, когда, проснувшись рядом с хозяином на тощем матрасе (единственную кровать они отдали женщине) и увидев, что солнце уже зло расчертило решеткой покоробившиеся щелястые стены, он встал, вышел на ветхое крыльцо-помост и, глядя на эту ровную плодородную пустошь — и не земля, и не вода, своим видом она повергала в растерянность, потому что невозможно было ни на глаз, ни на ощупь доподлинно определить, что здесь густой, плотный воздух, а что — густая бесплотная растительность,— спокойно подумал: *Должен же он чем-то промышлять себе на жизнь и пропитание. А вот чем — я не знаю. Но, пока я не поплыву дальше, пока не узнаю, где я, и не придумаю, как незаметно пробраться через город, я должен буду помогать ему, чтобы мы тоже смогли здесь жить и что-то есть — но я не знаю, какое у него ремесло.* А еще в то утро он почти сразу добыл себе смену одежды, но в его рассказе этот эпизод занял не больше места, чем переправа с лодкой через дамбу: он не стал описывать, как не то выклянчил, не то одолжил, не то купил эти дешевые хлопчатобумажные штаны — они были такие старые, что носить их гнушался даже сам каджун[1], этот человек, которого он впервые увидел двенадцать часов назад и с которым, когда они расставались, по-прежнему не мог перекинуться и парой слов,— грязные, без пуговиц, с обтрепанными, рваными концами, похожими на лоскутную бахрому, какой украшали гамаки в конце прошлого века; но когда в то первое утро женщина, проснувшись, открыла глаза (она спала вместе с младенцем

[1] Каджун — искаженное от cajun (фр.) — так называют говорящих по-французски выходцев из Акадии (французской колонии в Канаде), переселенных англичанами в XVIII в. в Луизиану.

на самодельной кровати — в набитом сухой травой деревянном ящике, приколоченном прямо к стене), он, голый по пояс, уже стоял перед ней в этих портках и протягивал ей свою вымазанную грязью, черную от сажи робу — комбинезон и куртку.

— Постирай,— сказал он.— Только хорошо. Чтобы сошли все пятна. Все до единого.

— А как же ты без куртки? — сказала она.— Может, у него заодно и старая рубашка найдется? А то такое солнце и еще москиты...

Он ей даже не ответил, а сама женщина об этом больше не заговаривала, но, когда вечером он и Каджун вернулись в хижину, его вещи были выстираны, и, хотя пятна кое-где не отошли, одежда была чистой: внимательно ее осмотрев и убедившись, что она вновь, как и полагалось, похожа на тюремную робу, он (плечи и спина у него были уже огненно-красного цвета и на другое утро сплошь покрылись волдырями) завернул куртку и комбинезон в старую, полугодовой давности новоорлеанскую газету и сунул за потолочную балку, где сверток лежал потом еще долго, а тем временем день шел за днем, волдыри лопались, гноились, и он, весь в поту, терпеливо сидел с бесстрастным, как деревянная маска, лицом, пока Каджун, макая грязную тряпку в не менее грязное блюдце, мазал ему спину какой-то жидкостью; ну а женщина все так же молчала, ибо, несомненно, понимала логику его поведения, но не потому что последние две недели связали их особыми узами и заставили сообща перенести столько всяких — и эмоциональных, и социальных, и экономических, и даже моральных — потрясений, сколько не выпадает иной супружеской паре за пятьдесят лет совместной жизни (ох, уж эти старые мужья и жены: да вы сами видели эти древние дагерротипные снимки, тысячи объединенных попарно лиц, до того одинаковых, что их пол можно определить лишь по запонке пристяжного воротничка или по кружевной косынке в стиле героинь Луизы Элкот[1]; снятые вдвоем, они похожи на призовую пару пристегнутых к одному поводку гончих, чье изображение втиснуто между колонками густого газетного текста, между известиями о бедах, тревогах, беспочвенных ожиданиях и надеждах — невероятно бесчувственные, наглухо отгороженные от завтрашнего дня, спаянные тысячами фунтов сахара и тысячами галлонов кофе, поглощенных совместно за годы общих утренних трапез; или же снятые поодиночке, он или она; покачиваясь в кресле-качалке на веранде или сидя на солнышке под заплеванным табачными струями балконом окружного суда — как ни в чем не бывало, как если бы после смерти своей половины они омолодились и обрели бессмертие: овдовев, они вдруг словно открывают в себе второе дыхание и, кажется, готовы жить вечно: можно подумать, будто плотская связь, морально оправданная и официально узаконенная традиционной церемонией в полном соответствии со словами церковного ритуала и благодаря скучной многолетней привычке действительно превратила их в одну плоть, которую всю целиком унес с собой тот из них, кто сошел в могилу первым, и осталась лишь кость, к которой эта плоть крепилась, но зато уж теперь кость, стойкая, неподвластная времени, живет свободно, независимо, без помех) — нет, не поэтому, а потому, что, как и он, сама она тоже принадлежала к племени, ведущему начало от одного общего забытого праотца, взращенного в горной глуши.

Итак, сверток лежал за балкой, дни шли, а он и его напарник (у них с Каджуном были теперь деловые партнерские отношения, они охотились на крокодилов и выручку делили поровну, или, как он выразился, «напополам».

— Напополам? — переспросил толстый каторжник.— Как же это ты умудрился условия с ним обсудить? Ты ж сказал, вы даже просто так и то поговорить не могли.

— А нам ни к чему было разговаривать,— ответил высокий.— Про деньги и без слов все понятно) меж тем наладились каждое утро спозаранку выезжать на промысел: поначалу плавали вместе, на пироге, но потом стали охотиться порознь, и один на пироге, другой на лодке — у одного старая, ржавая винтовка, у другого нож, узловатая веревка и деревянная дубина, весом, размером и формой похожая на палицу древних германцев,— выслеживали кенозойских монстров, рыская по неведомым извилистым протокам, что пронизывали эту плоскую медно-желтую пустошь. А еще он вспоминал вот что: в то первое утро, постояв на хлипком деревянном помосте и уже

[1] Луиза Элкот (1832—1888) — американская писательница, автор широко известных в XIX веке романов для «юных девиц».

повернувшись спиной к взошедшему солнцу, он вдруг увидел прибитую к стене, вывешенную на просушку шкуру и, застыв на месте, внимательно оглядел ее, думая про себя: *Вот и пожалуйста. Вот, значит, чем он зарабатывает на жизнь и пропитание,* потому что сразу определил, что это — шкура, кожа, и хотя не догадывался, с какого зверя она содрана — никаких ассоциаций или сопоставлений у него не возникло, в памяти не всплыли даже картинки, которые он видел во времена своей давно скончавшейся юности,— ему теперь стало ясно, почему и ради чего этот крохотный домпаучок (медленное умирание, гниение, распространяясь от свай наверх, охватило хижину еще до того, как была приколочена крыша) стоит здесь, затерянный в кишащем мириадами жизней запустении, стиснутый, зажатый со всех сторон землей и солнцем, что сплелись в яростном объятии, как вошедшие в охоту кобыла и жеребец; и поняв это — а понял он потому, что безошибочно признал в Каджуне собрата, ибо выпавший им обоим одинаково жалкий удел напрочь стирал всякую разницу между деревенщиной-горцем и жителем болот: скаредная судьба уготовила и тому и другому лишь тяжкий бесконечный труд, но вовсе не ради их благополучия в будущем, вовсе не для того, чтобы они могли положить в банк или хотя бы зарыть под кустом деньги, которые обеспечат им спокойную, праздную старость, а для того только, чтобы и тот и другой имели право выносить все новые тяготы и сполна платить за каждое касание воздуха, за каждый глоток солнца, отпущенные на их недолгий век,— он сказал себе: *Ничего, теперь уж узнаю все и даже скорее, чем думал,* вернулся в хижину — женщина еще только просыпалась, лежа в единственной кровати, вернее, в набитом соломой, прибитом к стене ящике, который ей уступил Каджун,— съел завтрак (рис, полужидкое, но довольно сытное, сдобренное лютым перцем месиво из рыбы, приправленный цикорием кофе) и голый по пояс следом за хозяином — тот, маленький, гнилозубый, с блестящими глазами, двигался быстро и проворно — спустился по грубо сколоченной лестнице в пирогу. Пирога для него тоже была в новинку, он почти не сомневался, что она перевернется,— не потому, что она была такая легкая и неустойчивая, а потому, что, как ему казалось, дерево, сам тот ствол, из которого ее выдолбили, повинуется заложенному в него особому, категорическому, недремлющему закону природы, некой непреложной воле, и нынешнее горизонтальное положение нарушает этот закон, возмутительно ему противоречит,— но тем не менее он принял это как данность, равно как и тот факт, что шкура на стене принадлежит животному намного крупнее, чем, скажем, теленок или кабан, и что при такой шкуре у зверя скорее всего должны быть также клыки и когти; и, смирившись с этим, он примостился в пироге на корточках, вцепился в борта обеими руками, напряженно застыл и, чуть дыша, боясь шевельнуться, словно во рту у него было яйцо, начиненное взрывчаткой, думал: *Если это и есть его ремесло, я тоже научусь, и даже если он ничего не объяснит, думаю, сам пойму — буду смотреть, как он что делает, и соображу.* И, действительно, сообразил, научился, вспоминал он теперь совсем спокойно: *Я решил, что это делается именно так, и приведись мне снова заняться этим промыслом в первый раз, думаю, решил бы точно так же* — горевший медью день уже свирепо грыз его голые плечи, кривая протока извивалась чернильной нитью, пирога ползла, подчиняясь беззвучно режущему воду веслу; потом вдруг весло замерло, Каджун сзади зашипел, что-то жарко закулдыкал ему в спину, а он, сжавшись на корточках, затаив дыхание, оцепенел в напряженной неподвижности, в том абсолютном, безраздельном внимании, с каким прислушивается слепой, и в это время какая-то тень, нечто похожее на деревянный брус, скользнув вперед, подмяло опадающий гребень им же пропаханной в воде борозды. Уже потом он вспомнил про винтовку — про положенное Каджуном в пирогу однозарядное, щербатое от ржавчины ружье с неуклюже примотанным прикладом, с дулом, в которое можно было без усилий воткнуть пробку от виски,— но это уже только потом, не тогда; а тогда он просто скорчился, сжался, окаменел, дышал с величайшей осторожностью и, неустанно шаря вокруг пытливым взглядом, думал: *Что это? Что? Я не только не знаю, что я ищу, но не знаю даже, где искать.* Затем, когда Кайон передвинулся, каторжник почувствовал, что пирога закачалась, и еще почувствовал, физически ощутил, как взволнованный шепот, жаркое, торопливое, сдавленное кулдыканье щекочет ему шею и ухо; глянув вниз, в просвет между собственным локтем и телом, он заметил, как что-то быстро метнулось в воде, там, куда указывал зажатый в руке Каджуна нож; а когда поднял глаза повыше, увидел

плоский массивный пласт грязи, и, пока он смотрел на него, этот пласт раскололся, превратился в толстое грязно-желтое бревно, которое, казалось, сохраняя прежнюю неподвижность, вдруг выпрыгнуло вверх и отпечаталось в сетчатке его глаз сразу в трех — нет, в четырех измерениях: объем, масса, форма и еще одно, рождавшее не страх, а трезвую сосредоточенность; и, глядя на этот чешуйчатый застывший контур, он даже не подумал: *Похоже, опасный зверь,* нет, он просто подумал: *Похоже, большой,* и еще подумал: *Ну и что — когда человек впервые видит мула на пастбище и без недоуздка, он ему, небось, тоже поначалу большим кажется,* и еще подумал: *Если бы он хоть объяснил мне, что делать, а так только время зря теряю;* а пирога меж тем подползала ближе, подкрадывалась, но на воде уже не осталось и следов ряби; ему казалось, он слышит даже стесненное дыхание своего напарника, и, взяв из его руки нож, он не думал больше ни о чем, потому что дальше все произошло слишком стремительно, в одно короткое мгновение; но его спокойствие вовсе не означало, что он сдался, что он отступился: это безграничное спокойствие было частью его существа, он впитал его с молоком матери и жил с ним всю жизнь: *В конце концов нельзя же всегда выполнять только ту работу, которая тебе предназначена, и выполнять ее только тем орудием, которое тебе выдано и которое ты научился применять наилучшим известным тебе способом. Да и потом кабан, он же все равно кабан, каков бы ни был с виду. А значит, с ним и нужно, как с кабаном,* и выждав еще чуть-чуть, дождавшись, когда нос пироги легко, легче опавшего листа, коснется земли, он встал, шагнул в воду — помедлив лишь долю секунды, пока слова: *Похоже, большой,* невыразительные и банальные, всплыли в отведенном для них участке сознания, и мысленно прочитанные, тотчас исчезли вновь,— широко расставив ноги, наклонился и, не успев еще ухватиться за ближнюю к нему лапу, с размаху направил нож — все это произошло одновременно, в то самое мгновение, когда заметавшийся хвост с чудовищной силой ударил по спине. И все-таки нож попал в цель, он понял это сразу, даже еще когда лежал на спине в грязи, а барахтавшийся зверь, придавив его своим весом, растянулся на нем во всю длину: бугристый хребет вдавливался ему в живот, локтем он стискивал зверю глотку, шипящая голова прижималась к его щеке, нож в свободной руке на ощупь искал и находил пульсирующую жизнь — а потом мощно ударил горячий фонтан, и вскоре каторжник уже сидел возле тяжелой, перевернутой кверху брюхом туши, сидел, привычно опустив голову меж колен, подливая собственную кровь и насквозь промочившую его кровь зверя, и думал: *Опять этот мой чертов нос.*

Так он там и сидел — затекшее кровью лицо, склоненная меж колен голова,— поза его выражала не уныние, а глубокую озадаченность и раздумье; пронзительный голос Каджуна доносился до него далеким жужжанием, словно с огромного расстояния: спустя какое-то время он даже поднял глаза и посмотрел на этого комичного щуплого человечка, который вприпрыжку носился вокруг него как сумасшедший, сверкая глазами, корча дикие рожи и что-то шумно кулдыча; когда каторжник, стараясь не мешать крови течь свободно, осторожно скосил голову и посмотрел на него холодными испытующими глазами — так оглядывает лежащую под стеклом коллекцию ее хозяин или хранитель музея,— Каджун вскинул ружье, завопил: «Бух-бух-бух!», потом швырнул ружье на землю и, воссоздавая недавний эпизод, разыграл целую пантомиму, а потом снова принялся махать руками и кричать: «Magnifique! Magnifique! Cent d'argent! Mille d'argent! Tont d'argent sous le ciel de Dieu!»[1]. Но каторжник тем временем уже снова опустил голову: ополаскивая лицо, он наблюдал, как неиссякающие ярко-пунцовые капли расплываются мраморными прожилками в пригоршнях кофейно-бурой воды, и думал: *«Мог бы и чуток пораньше объяснить, теперь-то чего?»* — хотя, пожалуй, он подумал об этом короче, потому что в следующий миг они снова сидели в пироге, и каторжник опять окаменел, опять не дышал, словно пытался задержкой дыхания уменьшить собственный вес; на носу пироги перед ним лежала окровавленная шкура, и, глядя на нее, он думал: *А я даже не могу спросить его, сколько причитается на мою долю.*

Но эта мысль тоже занимала его недолго, потому что, как он позднее сказал толстому, про деньги все понятно без слов. Он, конечно, помнил, как это было (он

[1] Великолепно! Великолепно! Деньги — сотня, тысяча! Все деньги на свете! (фр.).

уже вернулись в хижину, шкуру разостлали на помосте, и Каджун, теперь уже специально для женщины, снова разыграл свою пантомиму от начала до конца; непонадобившееся ружье, рукопашная схватка — под пронзительные крики невидимый, воображаемый крокодил был зарезан во второй раз, но, поднявшись с пола, победитель опять обнаружил, что его спектакль никто не смотрит. Женщина глядела на вновь распухшее, воспалившееся лицо каторжника.

— Это что же, он тебя прямо в лицо лягнул? — спросила она.

— Да нет,— хрипло, зло сказал он.— Зачем ему было меня лягать? Просто я, видать, сам такой дохлый стал. Пальни мне этот парень горохом в зад, у меня, небось, тоже с носу кровь захлещет.), да, он помнил, но рассказать не пытался. Потому что, наверно, вряд ли бы получилось — попробуй, опиши, как двое людей, которые не могут перекинуться и парой слов, сумели выработать соглашение, причем каждый не только понимал все условия, но был уверен, что другой будет соблюдать и оберегать этот договор (возможно, именно потому, что словами они объясниться не могли) тщательнее и строже, чем любой письменный контракт, заверенный свидетелями. Они умудрились даже каким-то образом прийти к общему мнению, что, охотясь порознь, каждый на своей лодке, смогут находить добычу вдвое легче. Насчет этого они, правда, договорились легко; каторжник не сомневался, что понял Каджуна правильно и что тот сказал: «Ни я, ни мое ружье тебе не нужны. Мы тебе будем только мешать, без нас ты управишься лучше». Более того, они сумели обсудить, брать ли им второе ружье: на болотах вроде бы жил кто-то еще, неважно кто — то ли какой-то приятель, то ли сосед, то ли просто еще один охотник,— у кого можно было одолжить второе ружье; говоря каждый на своем наречьи — один на корявом английском, другой на не менее корявом французском,— один шебутной, болтливый (дикарские блестящие глаза, гнилые пеньки зубов), другой — уравновешенный, почти угрюмый (плечи в пузырях, спина обгоревшая, красная, как кусок говядины), они обсуждали эту идею, усевшись на корточках по разные стороны прибитой колышками шкуры и поглядывая друг на друга, словно два директора корпорации, переговаривающиеся через широкий солидный стол; и, посовещавшись, решили, что второе ружье им не нужно,— вернее, так решил каторжник.

— Думаю, ни к чему оно,— сказал он.— Другое дело, кабы я скумекал, кабы не торопился да сам бы начал с ружьем — тогда, конечно. А раз уж сразу без ружья начал, думаю, и дальше так буду.

Речь ведь как-никак шла о деньгах, и, значит, вопрос упирался во время, в число дней. (Странное дело, но как раз про деньги Каджун так и не смог объяснить, так и не сказал, сколько же составит половина выручки. Что он получит ровно половину, каторжник понял сразу.) А вот времени-то у него было очень мало. Он понимал, что скоро должен будет двигаться дальше. *Вся эта ерунда скоро кончится, и я смогу вернуться назад,* думал он, а потом вдруг понял, что думает: *Хочу — не хочу, а ведь придется возвращаться назад* — от этой мысли он совсем замкнулся в себе и тоскливо обвел глазами окружавшую его незнакомую изобильную пустыню, где, так случайно оказавшись, он ненадолго обрел покой и надежду,— последние семь лет его жизни, казалось, канули в эту пустыню, как камешки в пруд, бесследно, не оставив после себя даже легкой ряби,— и спокойно, даже с чуть насмешливым удивлением подумал: *Сдается, забыл я, как это приятно — зарабатывать деньги. Когда никто тебе не запрещает.*

Итак, он охотился без ружья, прихватывал с собой только узловатую веревку и дубину-палицу; по утрам они с Каджуном порознь, каждый на своем суденышке отправлялись прочесывать протоки, тайной сетью опутавшие этот затерянный среди простора край; их лодки ползли, каждая своим маршрутом, меж зарослей, из которых (а может, из-под которых) вдруг, как по волшебству, откуда ни возьмись, появлялись, кулдыча, другие такие же смуглые и малорослые люди в таких же, как у Каджуна, лодках-стволах и тихо плыли за каторжником, чтобы поглазеть на его поединки — людей этих звали: кого — Тин, кого — Тото, кого — Тюль; маленькие, щуплые, своим видом они очень даже напоминали мускусных крыс, которых Каджун (еда — тоже обязанность хозяина, едой обеспечивает тоже хозяин — он объяснил это точно так же, как объяснял про ружье, и каторжник снова все понял, как если бы Каджун говорил по-английски, как если бы *он* сказал: «Доставать еду — не твоя забота, о, Геркулес.

Ты знай себе, лови крокодилов. Пищей тебя снабжу я») вынимал иногда из капканов — так иной хозяин при необходимости выходит во двор и режет поросенка — и тем разнообразил меню, неизменно состоявшее из риса и рыбы (а вот про это каторжник рассказал: про то, как, возвращаясь вечером в хижину, где дверь и единственное окно — просто дыра в стене, даже без рамы — на ночь заслоняли от москитов досками — чистая условность, пустой ритуал, помогавший не больше, чем когда стучишь по дереву, чтобы не сглазить, или скрещиваешь пальцы, чтобы не попасться на вранье,— и где воздух был горячий, как кровь, он сидел возле стоявшей на дощатом столе окруженной роем мошкары керосиновой лампы и, поглядывая на кусок мяса, плававший среди пара в его тарелке, с усмешкой думал: *А это, должно быть, Тюль. Он из них вроде самый жирный*); и дни текли чередой, монотонные, неразличимые; каждый новый день был похож на предыдущий и на следующий, а тем временем теоретически принадлежавшая ему половина суммы — он не знал, в чем она исчислялась: может, в центах, может, в долларах, а может, в десятках долларов — неуклонно росла; одинаковыми были и утра, когда, отплывая на охоту, он всякий раз видел, что его уже поджидает — как поджидает матадора толпа поклонников — кучка одних и тех же, сопровождавших его на почтительном расстоянии пирог; и тяжкие часы пополудни, когда среди обступивших его полукругом маленьких неподвижных скорлупок он в одиночку вел свои рукопашные бои; и предзакатная пора, когда он возвращался назад, а пироги, постепенно отставая, исчезали по одной в зарослях,— первые несколько дней он даже не различал все эти крохотные бухточки и проливы; и вечера, когда в сумерках на помосте лежала добытая в тот день окровавленная шкура, а то и две, и Каджун разыгрывал перед застывшей как изваяние женщиной — она в это время обычно кормила младенца — очередную, ставшую обрядом пантомиму победной схватки, а на стене к двум столбикам зарубок прибавлялись новые черточки; и ночи, когда женщина и младенец давно спали на единственной в хижине кровати и Каджун тоже уже вовсю храпел на подстилке, а он, придвинув поближе вонявшую керосиновую лампу, сидел, упираясь в пол голыми пятками, бесконечно истекал потом (лицо осунувшееся, спокойное, согнутая дугой спина — обожженная, красная, как кусок сырой говядины, вся в гнойниках от лопнувших волдырей, в страшных рубцах, оставленных свирепыми хвостами) и обдирал, стругал обугленное деревце, уже почти превратившееся в весло; иногда он отрывался, поднимал голову над звенящим, вихрящимся вокруг него облаком москитов и глядел прямо перед собой, в стену, глядел долго, и, наконец, грубые доски, должно быть, сами по себе источившись, растаяв, пропускали его стеклянный невидящий взгляд дальше, и, беспрепятственно пронизав стену, взгляд этот устремлялся в глубь густой беспамятной тьмы, а может быть, даже еще дальше, в то, совсем уже далекое, что лежало по другую сторону семи прошедших впустую лет, когда, как он понял лишь теперь, ему разрешалось только трудиться — не работать, а трудиться. Потом в конце концов он тоже отходил на покой: бросал последний взгляд на спрятанный за балкой сверток, задувал лампу, укладывался рядом со своим храпящим напарником (ложился он на живот, любое прикосновение к спине было невыносимо), лежал, обливаясь потом, в звенящей, жаркой, как печка, наполненной грустным ревом крокодилов темноте и вместо того, чтобы думать: *Так и не дали мне времени толком научиться,* думал: *Я и забыл, как это здорово — работать.*

А потом, на десятый день, опять случилась все та же история. В третий раз. Вначале он отказывался в это поверить, но не потому, что, казалось бы, прошел уже через все мытарства испытательного срока, определенного ему злонравной судьбой, не потому, что рождение младенца стало как бы перевалом через высшую точку в его восхождении на Голгофу, после чего судьба вроде бы могла если и не разрешить, то по крайней мере оставить без внимания его свободный и легкий спуск по противоположному склону. Нет, ни о чем подобном он даже не думал. Дело было в другом: он никак не мог смириться с тем фактом, что великая, могучая сила, последовательно и упорно, с убийственной целенаправленностью куражившаяся над ним несколько недель подряд, сила, имевшая в своем распоряжении неисчерпаемый запас самых разных, на любой вкус, вселенских бедствий и катастроф, оказалась такой неизобретательной, такой бедной на выдумку и настолько низко ценила свой творческий дар, свое искусство, что позволяла себе повторяться. Когда она проделала этот трюк

в первый раз, он принял его как должное, во второй раз — скрепя сердце простил, но чтобы три раза повторить одно и то же — в такое он просто отказывался верить, особенно когда в конце концов понял, что этот новый повтор рожден не стихией, облекшей слепую ярость в массу и движение, а выполняется по приказу и руками человека; и что глумливый рок, дважды потерпев неудачу, пал в своей мстительной, упрямой злобе так низко, что прибег к помощи динамита.

Об этом он не рассказал. Потому что, конечно же, и сам до конца не разобрался, что случилось, и не знал, почему происходит именно так, а не иначе. Но, без сомнения, он запомнил (и сейчас, уверенно держа в чистых пальцах толстую коричневую, до сих пор не начатую сигару, без сомнения, вспоминал, хотя уже совсем спокойно) все, что сумел тогда понять, все, о чем догадался по наитию. Был вечер, девятый вечер, он и женщина сидели за столом по обе стороны от пустовавшего места хозяина; он слышал доносившиеся снаружи голоса, но есть не прекращал, все так же размеренно жевал, потому что, даже не видя, ясно представлял себе эту картинку; под помостом, на котором стоит Каджун, качались на темной воде две-три, а может, четыре пироги; голоса кулдыкали, лопотали что-то непонятное, но в них не было ни паники, ни даже злости или, скажем, неподдельного изумления — скорее это напоминало гомон потревоженных болотных птиц, и потому, когда Каджун, влетев в дверь, остановился перед ними — полубезумное лицо, горящие глаза, почерневшие пеньки зубов в зияющей чернильной дыре растянутого рта,— каторжник, продолжая жевать, лишь спокойно поднял на него глаза, не вложив в свой взгляд ни особого удивления, ни излишне настойчивого вопроса, и молча смотрел, как тот, бурно жестикулируя, разыгрывая бурную пантомиму насильственной эвакуации и выселения, собрал в охапку какие-то воображаемые предметы, вышвырнул их за дверь, в воду, затем, сменив роль, превратившись из виновника в жертву произведенных манипуляций, схватился за голову, согнулся пополам и, замерев так, не делая больше ни движения, но при этом изображая, будто его смыло волной и куда-то уносит, завопил: «Бух! Бух! Бух!» — наблюдая за ним и только сейчас на секунду перестав жевать, каторжник думал: *Что это? Что он пытается мне объяснить?* а еще думал (не столько думал, сколько подсознательно догадывался, потому что облечь это в слова он все равно бы не смог, а значит, и сам не подозревал, что так думает), что хотя судьба и закинула его сюда, хотя она поместила его жизнь в этот замкнутый мир, и хотя этот мир принял его, а он в свою очередь тоже принял законы этого мира (ведь у него здесь действительно все получалось хорошо — вероятно, думал бы он спокойно и трезво, сумей выразить это словами и перевести чувства в мысли,— лучше, чем когда бы то ни было, это у него-то, который до самого последнего времени даже не понимал, до чего прекрасно работать и зарабатывать деньги), тем не менее жизнь здесь не была его жизнью: здесь он всегда бы ощущал себя не более, чем букашкой, скользящей по глади пруда, а узнать, что прячется под поверхностью, в непроницаемых, таинственных глубинах, ему было бы не дано, потому что его приобщение к этим тайнам ограничивалось бы, как сейчас, лишь теми мгновениями, когда, окруженный разомкнутым кольцом застывших, наблюдавших за ним пирог, он ступал на одиноко поблескивающую под беспощадным солнцем глинистую прогалину и, согласившись разыграть избранный противником гамбит, войдя в круг, где стегающим радиусом метался закованный в броню хвост, бил деревянной палицей по наскакивающей шипящей голове; или, когда падая, без размышлений опутывал бронированное туловище собственной хрупкой оболочкой из плоти и костей, оболочкой, в которой он существовал и передвигался, и на ощупь острым восьмидюймовым ножом искал гневно пульсирующую под броней жизнь.

В общем, они просто сидели и смотрели на Каджуна, а он — маленький, жилистый, лицо дикое — в подробностях разыгрывал перед ними сцену выселения, энергично, свирепо жестикулировал, и его тень истерически носилась вверх и вниз по грубой дощатой стене, когда он изображал, как покидает хижину, как собирает по углам и со стен вещи — жалкие пожитки, на которые никто бы никогда не польстился и лишить которых его могла разве что слепая стихия, например, наводнение, или землетрясение, или пожар,— и женщина, тоже не отрывавшая от Каджуна глаз — на лице тупое недоумение, набитый пережеванной пищей рот чуть приоткрыт — только повторяла:

— Что это он говорит? Что?

— Не знаю. Коли надо будет, поймем, а пока, видать, не время еще,— рассудительно сказал каторжник, потому что нисколько не встревожился, хотя до него уже вполне дошел смысл пантомимы. *Он готовится уходить. И говорит, чтобы я тоже уходил,* подумал он — правда значительно позже, уже после того, как они встали из-за стола, и женщина пошла спать, и Каджун тоже лег, но потом поднялся с подстилки, подошел к нему и заново, только на этот раз очень тщательно и четко, как повторяют сказанное, чтобы избежать недоразумения, или как объясняют ребенку, разыграл всю пантомиму от начала до конца, изобразил, будто покидает хижину: при этом одну руку он неподвижно вытянул, словно удерживая каторжника на месте, другой же рукой размахивал и рубил, будто выговаривая каждое слово по слогам, а каторжник (на корточках, в руке раскрытый нож, на коленях почти законченное весло) глядел на него, кивал и даже бормотал по-английски: «Да-да, конечно. Еще бы. Я тебя понял»,— принявшись снова стругать весло, стругая его так же неторопливо, как все предыдущие ночи, невозмутимый, уверенный, что когда придет время, он узнает все, что ему надлежит знать, но при этом, сам того не подозревая, он уже ответил себе на еще не заданный, еще не возникший вопрос; он отвергал саму мысль о том, что ему тоже придется отсюда уйти, он думал о шкурах, он думал: *Хорошо бы он хоть как-нибудь объяснил, куда же мне отнести мою долю, чтобы деньги получить,* но мысль эта, коротко мелькнув между двумя осторожными взмахами ножа, тотчас сменилась другой: *Главное, думаю,— это чтобы можно было их добывать, а уж покупателя, небось, сыщу без труда.*

Короче, на следующее утро он помог Каджуну перенести в пирогу его скудные пожитки — изъеденную ржавчиной винтовку, узелок с одеждой (и опять они, эти двое, которые не могли даже просто побеседовать друг с другом, умудрились договориться и произвести обмен: на этот раз каторжнику достались все немногочисленные кастрюли и сковородки, несколько ржавых капканов, то есть вещи вполне определенного назначения, плюс некая совокупность абстрактного характера — показывая, Каджун сделал рукой широкий полукруг,— включавшая в себя, как он понял, плиту, грубую койку и то ли саму хижину, то ли право в ней жить — что-то в этом духе — в обмен на одну крокодилью шкуру), потом они сели на корточки и, как дети делят палочки, поделили между собой шкуры, раскладывая их на две кучки: одну тебе — одну мне, две тебе — две мне, после чего Каджун погрузил свою долю, оттолкнул пирогу от помоста, но тут же снова ее остановил и, положив весло на дно, опять изобразил, будто собирает что-то в охапку, а потом двумя руками подкинул невидимый груз в воздух и, прокричав с вопросительной интонацией: «Бух? Бух!», яростно закивал стоявшему на помосте полуголому, страшно обожженному солнцем человеку, а тот поглядел на него в ответ с мрачноватым спокойствием и сказал: «Да, конечно, бух-бух». Тогда Каджун поплыл прочь. Назад он не оглядывался. Провожая его взглядом, они смотрели, как он гребет все быстрее и быстрее — вернее, смотрела только женщина, потому что каторжник уже отвернулся.

— Может, это он объяснял, чтобы и мы отсюда уходили,— сказала она.

— Да, может быть,— согласился он.— Я ночью тоже так подумал. Дай-ка весло.

Она сходила, принесла весло, то самое деревце, которое он обстругивал по вечерам, было пока не вполне закончено, но возни с ним осталось не более, чем на один вечер (все это время он пользовался запасным веслом Каджуна. Тот даже предложил ему оставить это весло себе, вероятно, в приложение к плите, койке и праву на владение хижиной, однако каторжник отказался. Возможно, он прикинул, в какую часть крокодильей шкуры обойдется ему такой подарок, и понял, что еще один вечер кропотливой, утомительной работы с ножом встанет дешевле) — и, прихватив узловатую веревку и палицу, он тоже уплыл, но только в противоположную сторону, как если бы, не довольствуясь своим отказом прислушаться к предостережениям и уехать отсюда, считал необходимым утвердиться в принятом решении и доказать его бесповоротную окончательность, проникнув в эти края еще дальше и глубже. И вот тогда-то внезапно и нежданно на него нахлынула вся давно копившаяся, жестокая и муторная тоска одиночества.

Даже если бы он захотел, то все равно не сумел бы описать все это словами — и недавно занявшееся утро, и как он плыл и плыл, совершенно один, и как больше

не выскальзывали неизвестно откуда, не пристраивались ему в хвост пироги, правда, он и не ждал, он понимал, что остальные тоже наверняка покинули эти места; но дело было даже не в том, на него давило само сознание своего одиночества, ощущение безысходной тоски, которую он, предпочтя остаться здесь, испытывал теперь сполна и которой ни с кем не мог поделиться; и то, как весло вдруг замерло у него в руке, а лодка еще несколько мгновений неслась по инерции вперед, и как он подумал: *Что такое? Что это?* а потом, когда тишина, одиночество и пустота оглушили его раскатами насмешливого воя, в голове у него пронеслось: *Нет! Не может быть! Нет!* — и как, резко крутанувшись, лодка развернулась, и он, жертва предательства, яростно замолотив веслом, устремился назад, к помосту, хотя понимал, что уже слишком поздно и что его оплоту, цитадели, оберегавшей самое заветное, самое дорогое и сладостное в его жизни — право свободно работать и зарабатывать деньги, почетное право, которого, верилось ему, он добился сам, без чьей-либо помощи, не прося ни у кого никаких одолжений, кроме одного: чтобы его оставили в покое и позволили рассчитывать лишь на собственные решимость и силу, когда он вступал в единоборство с ящероподобным владыкой этого края, этой земли, куда его закинуло прихотью судьбы,— грозит опасность; как он мчался туда, с мрачным гневом вгоняя в воду самодельное весло, и, когда наконец различил вдалеке помост и увидел стоявший возле хижины катер, нисколько не удивился, более того, почти обрадовался, словно получил наглядное подтверждение, оправдывавшее его ярость и страх, и мог теперь торжествующе заявить собственному гневу: *Я же говорил;* и как, продолжая приближаться к помосту, он будто погрузился в дрему: ему казалось, что лодка стоит на месте, его мышцы словно потеряли силу и упругость, он, будто сквозь сон, налегал на невесомое весло, опуская его в непротивящуюся жидкую среду и, будто со стороны, наблюдая, как лодка, сдвигаясь с каждым гребком на ничтожно малое расстояние, ползет по солнечной воде к помосту, а в это время человек в катере, всего их там было пятеро) кулдыкал ему что-то на том самом языке, в котором он до сих пор не понимал ни слова, хотя постоянно слышал его уже десять дней, и тут второй человек — женщина шла за ним следом: она держала на руках младенца и, уже готовая к отъезду, была снова в своем вылинявшем кителе и старомодной шляпе — вынес из хижины (он нес и другие вещи, но глаза каторжника видели только эту) газетный сверток, который он сунул за балку десять дней назад и к которому никто с тех пор не прикасался, и тогда— уже на помосте, в одной руке конец привязанной к лодке веревки, в другой — деревянная палица,— исхитрившись наконец поговорить с женщиной, он приказал ей сонным, задыхающимся и невероятно спокойным голосом:

— Забери это у него и отнеси назад в дом.

— Значит, ты все-таки говоришь по-английски? — сказал тот, что в катере.— Почему же вчера к нам не выплыл, как тебе велели?

— Не выплыл? — переспросил каторжанин. Снова глянул на этого человека, полыхнул глазами, но опять умудрился совладать со своим голосом.— А некогда мне разъезжать туда-сюда. Других дел хватает.— И, еще не договорив, снова повернулся к женщине, уже было открыл рот, чтобы повторить, но, разобрав, о чем сонно жужжал мужской голос, повернулся обратно и с величайшей, невыносимой досадой закричал: — Наводнение? Какое еще наводнение?! Черта лысого! Я уж два раза в него попадал, с тех пор вон сколько времени прошло. Нету его больше, кончилось! Какое еще наводнение?! — и тогда (эту мысль его сознание тоже не сумело облечь в слова, но тем не менее он понимал — мучительная провинциальная догадка озарила его, когда он попытался разобраться в себе и в своей участи,— что почти все критические повороты в его нынешней судьбе странным образом повторяются, что каждый такой кризис, едва зародившись, развивается по одинаковой скучной схеме, и более того, даже внешне чисто физические обстоятельства этих событий складываются всякий раз по одному и тому же дурацкому стандартному образцу) человек в катере приказал: «Взять его!», и он, увертываясь, рассыпал удары направо и налево, задыхаясь от ярости, продержался на ногах еще несколько минут, но вскоре опять, в который раз, опрокинулся спиной на неподатливые жесткие доски, и четверо мужчин свирепо придавили его сверху — пыхтящее месиво ругани, твердых кулаков и локтей,— а потом наконец сухо и злорадно щелкнул замок наручников.

— Ты чего это, черт тебя побери? Совсем рехнулся? — сказал который в катере.— Дамбу сегодня в полдень взорвут. Динамитом. Неужели непонятно?.. А ну, быстро,— скомандовал он остальным.— Тащите его на борт. Пора отсюда уходить.

— Я возьму шкуры и лодку,— сказал каторжник.

— Да пропади они пропадом, твои шкуры. Если дамбу сегодня не взорвут, через пару дней наловишь себе целую кучу крокодилов прямо посреди Батон-Ружа. А лодка тебе и подавно ни к чему, вон у нас какой катер — лучше бы спасибо сказал.

— Без лодки никуда не поеду.— Он произнес это спокойно и непререкаемо, до того спокойно и непререкаемо, что все они с минуту молчали и только глядели на него, на этого распростертого у их ног, полуголого, покрытого волдырями и шрамами, беспомощного человека в кандалах и наручниках, который предъявил свой ультиматум мирным и ровным голосом,— таким голосом разговариваешь перед сном с женщиной, лежащей рядом с тобой в постели.

Тот, что в катере, первым стряхнул с себя оцепенение; бесстрастно сплюнув за борт, он — тоже спокойным, ровным голосом — сказал:

— Ладно. Давайте сюда его лодку.

Они помогли женщине — руки у нее были заняты, она держала младенца и сверток — сесть в катер. Потом подняли каторжника на ноги — кандалы и наручники зазвенели — и помогли ему перебраться туда же .

— Дашь слово вести себя хорошо, наручники могу снять,— предложил все тот же, видимо, их старший.

Каторжник на это даже не ответил.

— Хочу веревку держать,— сказал он.

— Веревку?

— Да,— сказал он.— От лодки.

В общем, они взяли лодку на буксир, положили каторжника в кормовой отсек, дали ему наконец веревку и поплыли. Назад каторжник не смотрел. Да и вперед не смотрел — скованный по рукам и ногам, уперев пятки в пол и согнув колени, он лежал на спине и сжимал в кулаке конец веревки. По дороге катер сделал еще две остановки; к тому времени, когда размытый вафельный кружок солнца стал снова зависать прямо над головой, в катере было уже пятнадцать человек; а потом каторжник — он все так же неподвижно лежал на спине — увидел, как плоский медный берег пополз вверх и превратился в зеленовато-черную массу спутанных бородатых болотных зарослей, но вскоре болота тоже кончились, и глазам его открылась водная ширь — столько воды он еще никогда не видел,— очерченная вдали синей береговой линией и жидко блестевшая под полуденным солнцем; тарахтенье мотора смолкло, катер тихо скользил вслед за угасающей волной.

— Эй, ты чего это надумал? — раздался голос старшего.

— Да ведь уже двенадцать,— отозвался рулевой.— Может, взрыв услышим.

Все прислушались — катер уже не двигался вперед, а лишь покачивался на месте, мелкие волны блестящими осколками плескались о борта, перешептывались,— но с простора под раскаленным туманным небом не донеслось ни звука, даже воздух не задрожал; долгие секунды слились в минуту, она завершила собой час, и полдень кончился.

— Поехали.

Мотор снова затарахтел, катер начал набирать скорость. Старший прошел на корму и, держа в руке ключ, наклонился над каторжником.

— Теперь уж, хочешь не хочешь, а должен будешь вести себя, как положено,— сказал он, отмыкая наручники, а потом и кандалы.— Понял?

— Да.

Они плыли дальше; вскоре берега исчезли вовсе, катер шел теперь словно по небольшому морю. Руки и ноги у каторжника были свободны, но он все так же лежал на спине, зажав в кулаке конец намотанной на запястье веревки; иногда он поворачивал голову и поглядывал назад, на свою лодку, которая, виляя и подскакивая, тащилась за катером; а иногда смотрел даже вперед, окидывая взглядом озеро — лицо у него оставалось мрачным, застывшим, двигались только глаза,— и думал: *Никогда еще я не видел такой необъятности, такой огромной водной пустыни,*— хотя, наверно, нет, он так не думал; а еще часа через три-четыре вновь проступившая береговая линия опять поползла вверх и, расколовшись на части, превратилась в скопище парусников,

моторок, паровых суденышек, и тогда он подумал: *Я себе даже не представлял, что на свете так много кораблей, даже не знал, что их столько, самых разных*,— впрочем, скорее всего он опять же ничего такого не думал, а просто наблюдал, как катер втискивается в узкий канал, за которым низко висел городской дым; потом вдруг открылась гавань, и катер сбавил ход; люди, молчаливой толпой стоявшие на причале, смотрели на катер со скорбным равнодушием — каторжнику оно было уже знакомо, и, что это за люди, он тоже понял сразу, хотя, когда проплывал через Виксберг, ничего не видел — все они несли на себе печать неприкаянности, по которой безошибочно узнаешь бездомных, и сам он был помечен этим клеймом еще более жестоко, хотя никому не позволил бы причислить его к их племени.

— Вот и все,— сказал ему старший.— Приехали.

— А лодка?

— Здесь она, цела. Чего ты от меня хочешь? Может, еще и расписку выдать?

— Нет,— сказал каторжник.— Только лодку.

— Ну так бери ее. Тебе, правда, не мешало бы найти сначала какие-нибудь ремни, а то как ты ее потащишь?

(— Что значит «как потащишь?» — удивился толстый.— Зачем тащить-то? Куда бы ты ее потащил?)

Он рассказал и про то, что было дальше: как они с женщиной сошли с катера, и как один из тех пятерых помог ему подтянуть лодку ближе к берегу, и как он стоял там, держал намотанный на руку конец веревки, а тот мужик все суетился, кричал: «Так, хорошо. Грузим дальше! Грузим дальше!», и как он пошел вместе с ними, и как они перенесли лодку и поставили ее на деревянный настил рядом с другими лодками, и как он, чтобы потом быстро ее отыскать, засек две приметы: рекламу кока-колы и горбатые мостки, и как его и женщину (сверток он нес теперь сам) загнали вместе с другими в грузовик, а потом грузовик поехал среди потока машин между тесно стоящими домами, и вскоре показалось большое здание, арсенал...

(— Арсенал? — переспросил толстый.— Тюрьма, что ли?

— Нет. Вроде склада. Только там люди были. С узлами, с вещами. На полу лежали.)

...И как он подумал, что, может, его напарник тоже здесь, и даже потолкался там, выглядывая Каджуна, пока поджидал удобной минуты, чтобы снова пробраться к входу, где стоял солдат, и как, наконец, вместе с ходившей за ним по пятам женщиной все же подошел к двери и ему прямо в грудь уперлась взятая наперевес винтовка.

— Куда собрался? Иди назад! — сказал солдат.— Сейчас тебе одежу выдадут. В таком виде по улицам ходить нельзя. И поесть тоже скоро дадут. А там, глядишь, родные твои за тобой подъедут.

И еще он рассказал, как женщина посоветовала:

— Ты бы сказал ему, что у тебя здесь родня, он бы, может, нас выпустил.

И как он этого не сделал; а почему, он тоже не смог бы объяснить и выразить словами: ему еще никогда не приходилось об этом думать и переводить в слова глубоко укоренившееся в нем, заложенное поколениями предков рассудочно-завистливое почтение деревенщины-горца к мощи и силе лжи — ложью следовало пользоваться не то чтобы скупо, но уважительно и даже бережно, и в ход ее нужно было пускать осторожно, одним быстрым и сильным ударом, как отменный, разящий насмерть клинок. И как ему принесли одежду — синюю куртку и комбинезон, а потом дали поесть. «Ребеночка надо обязательно выкупать и перепеленать,— сказала молодая энергичная, хрустящая крахмалом медсестра.— Иначе умрет», а женщина сказала: «Да, мэм. Он, конечно, маленько поорет, дак его ж никогда еще не купали. А так-то он у меня дите смирное», и как наступила ночь, и над храпящими людьми горели грубым, злым, скорбным светом голые лампочки, и он поднялся, растолкал женщину, а потом была эта история с окошком. Он и это рассказал: как вокруг было много дверей, но он не знал, куда они ведут, и как долго искал, пока наконец нашел подходящее окно и пролез в него первым, держа в руках и сверток и младенца...

(— Тебе надо было порвать простыню, скрутить ее и по ней спуститься,— сказал толстый.)

...Ничего, он и без простыни обошелся; теперь под ногами он чувствовал булыжники мостовой, вокруг была густая темнота. Город был где-то рядом, но он его еще не видел, да и потом тоже не увидел, разве что какое-то тусклое немеркнущее марево. И ему еще долго пришлось добираться до гавани, до лодки: реклама кока-колы была теперь просто зыбким пятном, горбатые мостки высгибались, как паук, на желтом фоне предрассветного неба; а вот про то, как он доволок лодку до воды, он не рассказал ничего, точно так же, как и про ту свою переправу через шестидесятифутовую дамбу. Озеро уже осталось у него за спиной; выбора не было, плыть он мог лишь в одном направлении. Когда он снова увидел Реку, то узнал ее сразу. Еще бы — ведь теперь она была неизгладимой частью его прошлого, его жизни, того накопленного опыта, который он передаст своим потомкам, если, конечно, они у него будут. Но четыре недели спустя, в воспоминаниях, Река, естественно, должна была видеться ему уже несколько по-другому, не такой, какой он увидел ее тогда,— Старик оклемался после загула и вновь водворился в берега, волнистая ширь безмятежно катилась к морю; коричневая и густая, как шоколад, она текла между дамбами: их обращенные к воде, прорезанные морщинами склоны — будто застывшие в изумлении, ошеломленные лица — были увенчаны сочной летней зеленью ив; а за ивами, по ту сторону гребня, шестьюдесятью футами ниже, гладкие, лоснящиеся мулы наваливались на дышло, протягивая широким, из стороны в сторону, броском плуга, бороздившего обогащенную землю, которую и засевать-то — лишнее, потому что, стоит только показать ей хлопковое семечко, и она сама выстрелит зелеными побегами; к июлю там на многие мили растянутся симметричные ряды крепких стеблей, в августе вскипит лиловое цветенье, в сентябре черные поля припорошит снежной белизной, из лопнувших коробочек поползет прядями шелковистая сердцевина, длинные черные проворные руки засуют меж веток, горячий воздух наполнится воем железных машин, но то будет в сентябре, а тогда, в июле, воздух тяжелел от саранчи, был напитан городским запахом свежей краски и кислым душком мучного клейстера... по берегам тянулись городки, деревни, вдоль глядевших на воду склонов дамбы мелькали одинокие деревянные причалы; нижние этажи домов, свежепокрашенные, обклеенные новыми обоями, проплывали ядовито-пахучими яркими пятнами, и даже темные метины, что оставила после себя на сваях, столбах и деревьях вздыбившаяся бешеная майская вода, уже начинали светлеть под натисками серебристого, по-летнему шумного капризного дождя; у нижней оконечности дамбы торчал магазинчик; в сонной пыли кемарили несколько оседланных мулов с повисшими веревочными поводьями, бродили собаки, на ступеньках сидели кучка негров и трое белых, один из которых, помощник шерифа, заглянул сюда, охотясь за голосами, чтобы на августовских предварительных выборах обставить своего начальника (который, кстати, и взял его в полицию),— все они вдруг замерли, наблюдая, как возникшая неизвестно откуда, скользящая по ослепительно сверкавшей воде лодка причаливает к берегу; первой сошла женщина с ребенком на руках, за ней на землю ступил высокий мужчина, и, когда он подошел ближе, они увидели, что одет он в выцветшую, но недавно постиранную и вполне чистую тюремную робу; остановившись в пыли, где дремали мулы, он молчал, и его светлые, холодные, очень серьезные глаза не отрываясь глядели на помощника шерифа, который характерным движением сунул руку за пазуху — присутствующие поняли, что сейчас он должен молниеносно выхватить пистолет, однако, хотя шуровал там уже довольно долго, до сих пор ничего оттуда не извлек. Но для высокого, видимо, и этого оказалось вполне достаточно.

— Вы не с полиции будете? — спросил он.

— Угадал на все сто,— ответил помощник шерифа.— Подожди, вот только достану сейчас этот чертов пистолет...

— Отлично,— сказал высокий.— Вон ваша лодка, вот — женщина. А этого урода на сарае я так и не нашел.

V

На следующее утро в колонию прибыл один из, как их называли, мальчиков губернатора. Он действительно был еще вполне молод (за тридцать ему, правда, уже перевалило и вернуть ушедшую юность он не мог бы при всем желании, но такого желания у него и не возникало, что, кстати, свидетельствовало об определенной цельности характера,— он был из тех, кто смотрит на вещи трезво и о невозможном не

мечтает), этот полковник, член «Фи-Бета-Каппа»[1], выпускник престижного университета на Восточном побережье; и свое место в команде губернатора он отнюдь не купил, как некоторые, что выкладывают на избирательную кампанию крупные суммы,— нет, это назначение он заработал честно: небрежно-элегантный, в костюме столичного покроя, нос с горбинкой, в глазах ленивое высокомерие, он добросовестно выступал с балконов в бесчисленных глухих провинциальных городишках, рассказывал заученные байки, терпеливо внимал ответному гоготу одетой в комбинезоны, помнящей сплевывавшей аудитории, с тем же ленивым высокомерием во взоре ласково тискал младенцев, получивших свои имена кто в память предыдущей, кто в честь (или в знак возлагаемых на нее надежд) будущей администрации, и (такое о нем тоже поговаривали, хотя все это, несомненно, ложь) рассеянно, заблудившейся рукой гладил по попке юные создания, которые, хотя и не были уже младенцами, но еще явно не достигли возраста, дающего право участвовать в выборах. И вот теперь, не расставаясь со своей кожаной папкой, он сидел в кабинете начальника колонии; старший надзиратель, отвечавший за порядок на дамбе, тоже был уже здесь. За ним, конечно, и так бы послали, хотя, вероятно, не сразу, не сейчас, но он явился, не дождавшись приглашения, вошел без стука, шляпы не снял, громко поздоровался с визитером — при этом назвал его уменьшительным именем и фамильярно хлопнул по спине,— а потом взгромоздил половину своего зада на стол и оказался как раз посредине между начальником и гостем. Добро бы просто гостем, а то ведь губернаторским эмиссаром, так сказать, полномочным визирем, с которым, как немедленно выяснилось, шутки были плохи.

— Ну что? — сказал эмиссар.— Выходит, наломали дров, так?

Начальник курил сигару. Эмиссару сигара тоже, конечно, была предложена. Но он отказался, зато надзиратель, пока начальник с каменным лицом и даже несколько помрачнев смотрел ему в затылок, перегнулся через стол, выдвинул средний ящик и взял сигару сам.

— А по-моему, все тут ясно, и ничего страшного,— сказал начальник.— Парень ни в чем не виноват, просто его унесло черт-те куда. Как только смог, сразу вернулся и сдался властям.

— Даже лодку, и ту назад приппер,— вмешался надзиратель.—А бросил бы ее, был бы здесь уже через три дня. Так нет же. Только, мол, с лодкой. «Вот ваша лодка, вот — женщина, а этого урода на сарае я так и не нашел».— И, загоготав, он хлопнул себя по колену.— Ох, уж эти мне уголовники! У мула и то мозгов в два раза больше.

— Мулы вообще поумнее многих, и не только уголовников,— любезным тоном сказал эмиссар.— Но загвоздка совсем в другом.

— В чем же? — спросил начальник.

— В том, что этот парень умер.

— Ни хрена он не умер,— опять встрял надзиратель.— Он сейчас вон в том бараке и, небось, уже заливает дружкам про свои приключения на всю катушку. Могу сейчас сводить тебя туда, сам увидишь.

Начальник смотрел на надзирателя не отрываясь.

— Знаешь что,— сказал он.— Мне тут Блэдсо жаловался, что вроде у его мула что-то с ногой приключилось. Ты бы лучше сходил на конюшню и...

— Знаю, ходил уже, разобрался,— бросил надзиратель, даже не повернувшись в его сторону. Он смотрел на эмиссара и обращался только к нему.— Так что ни хрена подобного. Жив он и...

— Тем не менее в документах официально записано: «Освобожден из заключения по причине смерти». Не помилован, не выпущен под надзор, а *освобожден*. Так что либо он умер, либо на свободе. Но и в том и в другом случае здесь ему не место.

Теперь уже на эмиссара глядели и надзиратель и начальник; надзиратель так и не успел откусить кончик сигары, рот у него был приоткрыт, рука, державшая сигару, застыла в воздухе.

А эмиссар говорил все тем же любезным тоном, произнося каждое слово очень четко.

— Это вытекает из рапорта о смерти, направленного губернатору начальником исправительной колонии.— Надзиратель закрыл рот, но более не сделал ни движе-

[1] Привилегированное общество студентов и выпускников колледжей.

ния.— А также из официального заявления надзирателя, которому было поручено найти и доставить заключенного в колонию.

Тут надзиратель наконец сунул сигару в рот и медленно оторвал зад от стола. Когда он заговорил, сигара у него во рту закачалась из стороны в сторону.

— Вот оно что. Значит, все шишки на меня, так? — Он коротко рассмеялся — очень театрально, всего две ноты, «ха-ха».— А то, что я три раза подряд верно угадал результаты выборов? При трех разных администрациях. Это уже не в счет, да? А ведь об этом кое-где наверняка записано. Да и у вас в Джексоне[1] про это тоже знают. А ежели забыли, я кому надо напомнить могу.

— Три раза? — эмиссар поднял брови.— Что ж, это прекрасно. Редкий случай.

— Вот именно, редкий. Таких, как я, раз-два и обчелся.

Начальник снова мрачно глядел ему в затылок.

— Знаешь что,—сказал он.— Ты бы сбегал ко мне домой. Прихвати там у меня в буфете бутылку виски и тащи сюда.

— Сейчас. Сперва покончим с этой бодягой. Я вам скажу, чего сделать...

— Под выпивку у нас быстрей пойдет,— перебил начальник.— Только сначала лучше зайди к себе и надень куртку, а то еще увидят, что бутылку несешь.

— Это долго. Без куртки сойдет.— Надзиратель двинулся к двери, но у порога снова обернулся.— Я вам скажу, чего сделать. Сгоните сюда двенадцать человек, скажите ему, что они присяжные,— он на суде всего раз-то и был, шиш он что поймет. И судите его по второму заходу. За ограбление поезда. Судью может Хэмп изобразить.

— Дважды за одно преступление не судят,— сказал эмиссар.— Насчет присяжных он, может, и не поймет, но про этот закон скорей всего знает.

— Знаешь, что,— снова сказал начальник.

— Ладно, просто скажете, что это новое ограбление. Что, мол, прямо вчера и случилось. Что, дескать, он еще один поезд ограбил, пока на воле шастал. Ограбил, а сам уже и забыл. Доказать-то он ни черта не докажет. Да ему и все равно. Для него что в колонии, что на воле — все едино. Ну, выпустим мы его — а куда он пойдет? Здесь все также. Отсидит парень свое, его выпустят, а к Рождеству, глядишь, снова тут как тут, будто у них здесь какой обор однополчан. И ведь опять за то же преступление, что и в первый раз.— Он снова загоготал.— Эти уголовники, они все на один лад.

— Знаешь что,— сказал начальник.— Ты, когда ко мне зайдешь, сначала бутылку-то открой и проверь, хороший виски или нет. Выпей стаканчик-другой. И не спеши, распробуй как следует. А то вдруг дрянь, тогда и смысла нет сюда ее нести.

— Ладно,— кивнул надзиратель. И наконец ушел.

— Вы не могли бы запереть дверь? — сказал эмиссар.

Начальник смущенно заерзал. Точнее, слегка шевельнулся в кресле.

— В конечном-то счете он прав. И действительно угадал результаты выборов уже в третий раз. Кроме того, у него всюду родня, весь наш округ, не считая негров.

— Тогда давайте не будем терять время. — Эмиссар открыл папку и вынул оттуда кипу бумаг.— Здесь весь расклад.

— И какой же расклад?

— Это был побег.

— Но он явился назад добровольно.

— Но ведь сбежал.

— Хорошо, пусть так. Сбежал. Что дальше?

Теперь уже и эмиссар вполне мог бы сказать «знаешь, что». Но он так не сказал.

— Послушайте,— сказал он.— Я в командировке, и мне платят суточные. Из денег налогоплательщиков, то бишь избирателей. А если кому-нибудь вдруг взбредет затеять по этому делу расследование, сюда прикатит с десяток сенаторов и штук двадцать пять конгрессменов, причем, возможно, приедут они спецпоездом. И все будут получать суточные. А потом будет довольно сложно отправить их назад прямо в Джексон, потому что одни наверняка пожелают задержаться в Мемфисе, другие заглянут в Новый Орлеан — а суточные всем так и будут идти.

— Ясно,— сказал начальник.— Что предлагает ваш шеф?

— Вот что. Заключенный отбыл отсюда под наблюдением конкретного надзирателя. А назад был доставлен совершенно другим сотрудником полиции.

[1] Столица штата Миссисипи.

— Но он же сдался и...— Начальника никто на этот раз не перебивал, но он сам замолчал и уставился на эмиссара.— Понятно. Продолжайте.

— Итак, на специально назначенного надзирателя, точнее, старшего надзирателя, была возложена ответственность за указанного заключенного. Он же, вернувшись, доложил, что вверенный ему заключенный физически отсутствует; более того, он доложил, что о местопребывании этого заключенного ему неизвестно. Все правильно?

Начальник молчал.

— Все правильно? — вежливо и настойчиво повторил эмиссар.

— Но нельзя же с ним так. Говорю вам, у него тут кругом родня, н...

— Все учтено. Шеф подыскал ему место в дорожной полиции.

— Черт-те что,— сказал начальник.— Да он же на мотоцикле ездить не умеет. Я ему и грузовик-то не доверяю.

— На мотоцикл никто его сажать не собирается. Штат Миссисипи чтит своих героев, а человек как-никак три раза подряд угадал результаты выборов — не сомневаюсь, что в знак восхищения и благодарности ему предоставят машину и подыщут напарника, который при необходимости будет ее водить. Ему даже не придется сидеть в машине все время. Главное, чтобы не отходил от нее слишком далеко. Чтобы, если проверка, если какой-нибудь инспектор увидит, что машина пустая, и начнет жать на клаксон, он бы уже через пять минут был на месте.

— Нет, мне это все равно не нравится,— сказал начальник.

— Мне тоже. Вашему беглецу действительно следовало утонуть — избавил бы нас от этих неприятных хлопот. Но он же не утонул. Поэтому шеф так и распорядился. У вас что, есть варианты лучше?

Начальник вздохнул.

— Нет,— сказал он.

— Прекрасно.— Эмиссар разложил бумаги, отвинтил колпачок авторучки и начал писать.— «Попытка побега из мест заключения, добавлено еще десять лет каторжных работ. Старший надзиратель Бакуорт переведен в дорожную полицию». Можно написать «за примерную службу». Никакой роли это уже не играет. Вот вроде бы и все. Так?

— Так.

— Тогда, может быть, вызовете его прямо сейчас? И дело с концом.

В общем, начальник послал за высоким каторжником, и тот вскоре явился: серьезный, угрюмый, в новой полосатой робе, лицо загорелое, отсвечивающие синевой, чисто выбритые щеки, недавно подстрижен, аккуратный пробор, легкий запах бриолина (парикмахер сидел за убийство жены, ему дали пожизненное, но парикмахер всегда остается парикмахером). Здороваясь, начальник назвал высокого по имени.

— Ну и хлебнул же ты лиха, да?

Каторжник молчал.

— Теперь хотят тебе еще десять лет накинуть.

— Что ж, пускай.

— Да, крепко тебе не повезло. Сочувствую.

— Чего уж там,— сказал каторжник.— Раз так положено.

Короче, ему дали еще десять лет. Начальник угостил его сигарой, и сейчас он сидел, втиснувшись спиной в узкое пространство между верхней и нижней койками, держал в руке незажженную сигару, а толстый и четверо других каторжников слушали его рассказ. Вернее, задавали ему вопросы, потому что все уже кончилось, он снова чувствовал себя в безопасности, так что, может, и не стоило ничего им рассказывать.

— Ну, хорошо,— сказал толстый.— Значит, вернулся ты на реку. А что потом?

— Ничего. Греб, и все.

— Небось, тяжело-то было опять против течения грести?

— Да, вода еще высоко стояла. И течение тоже было еще сильное. Первые две недели я плыл медленно. А потом вроде как быстрее дело пошло.— И тут вдруг словно рухнул какой-то барьер: его косноязычие, его природная, унаследованная от предков нелюбовь к длинным речам — все это тихо и незаметно испарилось; он заметил, что сам прислушивается к своему рассказу, и рассказ льется легко, спокойно, слова приходят на язык не то чтобы мгновенно, но без труда и когда нужно; и он стал рассказывать. Как он греб (он уже понял, что если держаться ближе к берегу, скорость — впрочем, скоростью это тоже было не назвать — будет больше; он в этом убедился

после того, как внезапно, рывком — он даже не успел ничего сделать — его вынесло на стремнину, и лодка помчалась назад, туда, откуда он только что сбежал, и почти все утро пропало даром, потому что он снова оказался близ города, в том узком канале, по которому на рассвете уплыл из гавани), пока не наступил вечер, а потом они привязали лодку к берегу, съели часть еды, которую он припрятал под куртку перед побегом из арсенала, и женщина, как обычно, ночевала с младенцем в лодке, а когда рассвело, они снова двинулись в путь и вечером опять пристали к берегу, а на следующий день еда у них кончилась, и тогда он причалил в каком-то городке — названия он даже не заметил — и нашел работу. На той ферме выращивали тростник...

— Тростник? — переспросил один из каторжников.— Какой же дурак станет его выращивать? Тростник не выращивают, а вырубают. В наших краях так даже нарочно его изводили. Выжигали, чтобы землю зря не занимал.

— Это другой тростник был. Сорго,— сказал высокий.

— Сорго? Что, целая ферма занята под сорго? Сорго? А чего они с ним делали?

Этого высокий не знал. Он же не спрашивал, он просто поднялся на дамбу, а там уже готовился отъезжать набитый неграми грузовик, и какой-то белый крикнул: «Эй, ты! С плугом управишься?», и он сказал: «Управлюсь», а тот мужик сказал: «Тогда залазь», а он сказал: «Только я не один, со мной тут...»

— Во-во,— сказал толстый.— Я как раз хотел спросить. Так что же...

Лицо у высокого осталось серьезным, голос его прозвучал спокойно, разве что немного отрывисто:

— У них там палатки были, для семейных. За полем.

Толстый поглядел на него и заморгал.

— Они подумали, она твоя жена?

— Не знаю. Должно быть, так.

— А разве она не была тебе женой? В смысле, по ночам? Ну, не то чтобы все время, а так, иногда, разок-другой?

Высокий на это даже не ответил. Он увидел, что верхний табачный лист слегка отстает, аккуратно облизал конец сигары языком.

— Ладно,— сказал толстый.— Потом-то что было?

И, значит, проработал он там три дня. Работа ему не нравилась. Почему? Может, потому, что тростник этот — а там вроде бы действительно большей частью было сорго — тоже не вызывал у него особого доверия. Так что, когда ему сказали, что уже суббота и выдали деньги, а тот белый сказал, что один мужик поедет завтра на моторке в Батон-Руж, он сходил поговорил с тем мужиком, потом на заработанные шесть долларов купил еды, привязал лодку к моторке, и они двинули в Батон-Руж. Плыли недолго, а в Батон-Руже отцепились от моторки, и он снова греб, но только теперь вода в реке вроде как опустилась пониже, да и течение стало послабее, помедленнее, так что плыли они довольно быстро, а по вечерам причаливали к берегу, вставали среди ивняка, и женщина с младенцем спали, как раньше, в лодке. Потом еда снова кончилась. Пришлось опять вылезти на пристани. На другой. Оттуда шел лесосплав, бревна лежали на причале, сложенные в штабеля, их только что выгрузили из фургона. Те мужики — ну, которые грузчики с фургона — рассказали ему про лесопилку и помогли втащить лодку на дамбу; они хотели там ее и оставить, но он сказал, что нет, и тогда они погрузили лодку на фургон, он с женщиной тоже сел в фургон, и они поехали на лесопилку. Там им дали комнату. С обстановкой. Они за нее два доллара в день платили. Работа была тяжелая. Ему нравилось. Он там восемь дней пробыл.

— Если так уж нравилось, чего бросил? — спросил толстый.

Высокий, снова осматривая сигару, поднес ее ближе к свету.

— Влип я там в историю,— сказал он.

— Какая еще история?

— Да из-за бабы одной. Ее муж тоже на лесопилке работал.

— Это что же, ты чуть не полтора месяца день и ночь таскал с собой девку по всей Америке, а тут первый раз мог хоть передохнуть малость, так вместо этого с другой бабой снюхался, да еще и в историю влип — так, что ли?

Высокий и сам не раз об этом думал. Он помнил: как поначалу бывали минуты, когда, не будь при ней младенца, он, может, и рискнул бы, может, и попробовал бы. Но желание возникало лишь на миг, потому что уже в следующую секунду при одной

этой мысли все в нем переворачивалось от ужаса и отвращения; он ловил себя на том, что как бы со стороны, как бы чужими глазами разглядывает ее, этот жернов, который навесила ему своей силой и властью слепая глумливая стихия, и с грубой злостью, яростно, гневно (хотя женщина у него была последний раз аж два года назад, да и то какая-то немолодая, ненароком приблудившаяся негритянка, которую он подцепил в одно из тех воскресений, когда раз в пять недель в колонию пускали посетителей: ее парня — то ли мужа, то ли хахаля — за неделю до того пристрелил охранник, а она не знала и приехала) бормотал: «Даже для такого дела и то не годится».

— Ну хоть ту-то оприходовал? — спросил толстый.

— Угу.

Толстый смотрел на него не отрываясь и моргал.

— Ну и как было? Хорошо?

— А это завсегда хорошо,— сказал другой каторжник.— Ну, а потом? Рассказывай дальше. Много их у тебя еще было, пока назад добирался? Бывает, если парень уж начал, его не остановишь, ни одну не пропустит, даже если...

Нет, других у него потом не было, сказал высокий. С лесопилки они уплывали второпях, еду он купил только на следующей пристани. Там он потратил все, что заработал, все шестнадцать долларов, и они поплыли дальше. Вода спала, теперь в этом не было сомнений, а еды он на шестнадцать долларов закупил вроде как целую кучу и потому думал, что, может, ее хватит, что, может, они дотянут. Только течение было, наверно, все-таки еще сильное, сильнее, чем ему казалось. Зато это был уже штат Миссисипи, кругом хлопок; его ладони вновь привычно ложились на рукоятки плуга, напружиненные, колыхавшиеся ягодицы мула отливали глянцем — вот это была уже его работа, это он знал и умел, хотя платили ему там только доллар в день. Но теперь он решил твердо. Про это он им тоже рассказал: как ему опять сказали, что суббота, и заплатили, и как — он рассказал подробно — на голом, вытоптанном, гладком, будто серебро, пятачке земли горел закопченный фонарь, а вокруг темнели силуэты сидящих на корточках мужчин, слышались приглушенные серьезные голоса, тихие восклицания, бренчали и сыпались в пыль крапчатые кубики; да, к тому времени он уже твердо решил.

— А сколько выиграл-то? — спросил не толстый, а тот, второй.

— Мне хватило.

— Нет, но все-таки?

— Мне хватило,— повторил он. Хоть и в обрез, но действительно хватило: весь выигрыш он отдал мужику, у которого был свой катер (покупать еду было теперь незачем), и вот они уже плыли на этом катере, а сзади тащилась на веревке лодка; женщина занималась младенцем, а он мирно придерживал на коленях свой сверток; и он сразу узнал — нет, не Виксберг, потому что Виксберга он так и не видел, а тот мост, под которым почти два месяца назад он пронесся средь молний и грома на ревущей волне, утыканной деревьями, домами и мертвой скотиной; он взглянул на него всего раз, без волнения, даже без интереса, и мост остался позади. Но теперь он начал внимательнее всматриваться в берег, в дамбу. Он не знал, как определит то место, хотя знал, что не ошибется, а тем временем перевалило за полдень, и вскоре — пришла-таки эта минута — он сказал хозяину катера: «Вроде добрались. Причаливай».

— Здесь? — удивился тот.— Я тут что-то ничего не вижу.

— Все же, думаю, мы сойдем,— сказал высокий.

Короче, они повернули к берегу, хозяин заглушил мотор и, когда катер остановился у дамбы, отвязал лодку.

— Давай лучше еще немного проедем,— предложил он.— Довезу тебя хоть до пристани какой. Я же обещал.

— Да нет, вроде добрались,— сказал каторжник.

В общем, они сошли на берег, и он стоял там, держал конец вплетенной в веревку лозы, а катер, снова заурчав, отделился от дамбы и уже начал разворачиваться; но он на него не смотрел. Привязал лодку к корням ивы и повернулся к реке спиной. Не говоря ни слова, взобрался по склону наверх, выше темной полосы, которую оставила после себя перебесившаяся вода и которая была теперь сухой, морщинистой, вся в мелких пустых трещинах, похожих на глупые укоризненные улыбки выжиивших из ума стариков, зашел в кусты, снял комбинезон и рубашку, выданные ему в Новом Орлеане, куда-то, не глядя, закинул их, развернул газету, вынул свою, желанную, немного выц-

ветшую, в пятнах, поношенную, но чистую и легко узнаваемую робу, надел ее, вернулся к лодке и взял в руки весло. Женщина уже сидела на своем обычном месте.

Толстый стоял, смотрел на него и моргал.

— И, стало быть, ты вернулся,— сказал он.— Так, так.

Все они молча глядели, как высокий аккуратно, очень сосредоточенно откусил кончик сигары, выплюнул его, пригладил и смочил языком разлохматившийся табачный лист, потом достал из кармана спичку, тщательно ее осмотрел, будто хотел убедиться, что целая и, мол, годится для хорошей сигары, затем так же сосредоточенно чиркнул спичкой себе о ляжку — пожалуй, даже чересчур замедленным движением,— подождал, пока сера догорит и, когда пламя посветлело, поднес огонек к сигаре.

Толстый смотрел на него и все моргал — быстро, часто.

— А они тебе, стало быть, еще десятку влепили. За то, что сбежал. Дрянь дело. Первый-то срок, это еще ничего, это привыкнуть можно, и плевать, сколько лет они тебе впаяли, пусть хоть сто девяносто девять. А вот если еще десятку сверх того... И особенно, когда не ждешь. Чтоб еще десять лет без никакого общества... и, стало-ть, без женской компании...— Он все так же пристально смотрел на него и моргал.

Но высокий и сам давно уже об этом думал. Он ведь когда-то крутил любовь с одной. Ну, в смысле, пели вместе в церковном хоре и на пикники тоже вместе ходили... она помоложе его была, на год или около того, коротконогая, груди налитые, рот крупный, тяжелый, а глаза, как спелые виноградины,— тусклые, мутноватые; и у нее жестяная коробка была, из-под соды, а там чуть не до краев всяких сережек, брошек, колец — она их в уцененках покупала (бывало ей и дарили, если просила), где любая вещь десять центов. Он раскрыл ей свой план, и позже, когда размышлял об этом, ему думалось, что, если бы не она, он, может, ни в жизнь бы на такое не решился — впрочем, это была лишь смутная догадка, ощущение, не закрепленное в словах, потому что перевести его в слова он опять же не сумел бы: поди знай, а вдруг она и в самом деле мечтала о судьбе невенчанной невесты знаменитого гангстера, вдруг ей и в самом деле грезилась скоростная машина — взаправдашние темные стекла, дула пулеметов,— мчащаяся напролом под красный свет. Но подозрение это зародилось у него, лишь когда все было давно позади, а потом — он отбывал срок уже третий месяц — она приехала с ним повидаться. На ней были серьги, браслет и еще какие-то побрякушки, которых он прежде у нее не видел, и для него осталось загадкой, как она выбралась в такую даль; и в первые три минуты она рыдала навзрыд, хотя потом (он даже не понял, когда и как вдруг оказался один и как она успела познакомиться) он застал ее за оживленным разговором с охранником. Но все же она в тот вечер перед уходом его поцеловала — прижалась, чуть потная, пахнущая одеколоном и мягким молодым женским телом, немного запыхавшаяся — и сказала, что при первой же возможности приедет снова. Однако больше не приезжала ни разу, хотя он продолжал ей писать; а семь месяцев спустя от нее пришел ответ. Открытка, цветная литография с видом отеля в Бирмингеме — одно из окон по-детски перечеркнуто жирным чернильным крестиком, а на обороте жирными кривыми — тоже как у первоклашки — буквами: «Здесь мы проводим наш медовый месяц. Остаюсь твой друг — миссис Вернон Уолдрип».

Толстый каторжник стоял, смотрел на высокого и моргал — быстро, часто.

— Да уж, точно. Когда еще десятку сверху, это обидней всего. Чтоб еще десять лет без баб... чтоб совсем ни одной бабы, а ведь мужик, он не железный, он...— Быстро и часто моргая, он пристально глядел на высокого. Но тот не шелохнулся: втиснувшись спиной между верхней и нижней койками, степенный, чисто вымытый, он уверенно держал чистыми пальцами сигару — она горела солидно, ровно, и дым косой змейкой полз по замкнутому, серьезному, спокойному лицу.— Чтоб еще десять лет...

— Бабы... тю! — сказал высокий каторжник.

Перевел с английского Алексей МИХАЛЕВ

Александр ВЕЛИЧАНСКИЙ

За душой — лишь душа

* * *

Господи, отчего тиранов
сотворил Ты подобно людям —
т. е. им Твоего подобья
тоже толика перепала,
отчего, как Шекспир, не сделал
Ты тирана горбатым карлой,
колченогим, кривоколенным,
чтобы лик его безобразным
был, как мерзость и как проказа,
и как козни его тиранства,
отчего, как Шекспир, Ты дал им
дар чернейшего красноречья,
а порою, как тот же Уильям,
ум давал им, хоть безоглядный,
но ухватистый и глубокий,
словно прорва иль ров могильный?
А ведь мог бы, Господь, тирана
Ты дебилом наглядным сделать,
чтоб безмозглости ряской трусы
оправдали его злодейства.

* * *

Страшный Суд вверяя Богу —
пусть со страху, сгоряча —
может быть, я с веком в ногу
и простил бы палача.

но не названы ни имя,
ни вина его черна —
оттого и непростима
непростимая вина.

* * *

А истина? — а истина —
не лабиринт крота —
как нагота таинственна,
проста, как нагота —

она умом незрячим
окутывает нас,
мы ж прячем ее, прячем...
но как-то напоказ.

* * *

В январе полуодета
ах, весна, ты входишь в дом —
начинаешься со света
и кончаешься теплом.

В путь пора, пятак мой медный,
Солнце, тень свою не блазнь —
да минует нас бессмертной
ясности водобоязнь.

(ПРИТЧ., 25, 20)

Это Он снимал одежду, от стужи бел,
это Он лил уксус себе и другим на раны,
это Он опечаленным лишь о печали пел,
и Его ненавидели бездари и тираны.

* * *

Вечернею зарею
мир сделался опять.
Меж жизнью и собою
легко ли выбирать?

Ты, словно жребий, выпал,
а мнится, словно роль...
Бог создал боль и выбор:
иль выбор, или боль.

* * *

Непониманье — стена крепостная.
Непониманье — живительный хмель.
О, от стыда этот гнев не сгорает:
в этом бою не бывает потерь.
И глухота косной роскошью пышет
и правоты попирает почет,
но, коль имеющий уши не слышит,
он, хоть имеет уста, — не речет.

* * *

Смерть — водопад недвижного потока
в мир, уж во всяком случае, безводный.
Смерть — это тоже в о п л о щ е н ь е, только
души б е с п л о т н о й.

* * *

Твое наследство — не только труд, но веха:
«здесь» или «там» — глядел ты слишком вольно, —
а ко двору приходится от века
только дворня.

* * *

Что ж душа? — Иль воздух-вздох?
Или спрятанная влага?
или алой крови ток?
иль страстей бродячих брага, —
нет ей имени живаго,
если есть она — то Бог.

* * *

Морей раскинутые сети,
вершины храмов, гор прибой —
как много, Господи, на свете
еще не виданного мной...

Но разве невидали эти
сравнятся с невидалью т о й?

* * *

Тот, кто родился в Назарете,
был тем, чего я не пойму:
все именуется на свете,
но нету имени Ему —

названья есть, но щиты гладью
условности людских словес,
поскольку Он не есть п о н я т ь е,
а просто нету или есть.

* * *

Нет ничего страшнее правых дел,
ну, разве что неправые, но те хоть
не прячутся за правоты пробел...
Куда бы нам уйти или уехать?

* * *

Поднимите взоры, лица —
без перстов касанья ясно:
только человек и птица
созданы крестообразно —
в пропасть тот свою стремится,
та — в заката позолоту, —
только человек и птица
век обречены полету.

* * *

Поначалу свежим летом
солнце светит без заботы.
За девичьим силуэтом
ночи полуобороты
столь прозрачны.
Осень следом —
разлучения излеты —
плоть с душой, как тьма со светом,
в полумраке сводят счеты.

* * *

А память, а память
как море, неизгладима.
Бездонно, как память,
чуть теплое море само,
что сверху зимою
похожа на слепок дыма —
замерзшее море —
застывшего плеска клеймо.

* * *

Человек одинок,
как в груди клинок.
Человек одинок
с головы до ног.
Человек одинок,
словно во Вселенной Бог.
Оттого, что виноват
с головы до пят.

* * *

Родимые места
смеются времени в лицо.
Не то что дома нет — снесен
весь переулок тот,
и нас самих почти что нет,
но остаются всё
от дома — древний монастырь
и часовой завод.

* * *

Сначала меньше,
потом лучше,
но все кромешней
черная вода,
и ты опознан
в отражений гуще
сначала поздно.
после — никогда.

* * *

Уж туч октябрьских толща
полна ноябрьской мглой.
Неслышнее и тоньше
листвы истлевший слой.
Просвет так мал у суток.
Почти исчезла суть
свечения, и в сумрак
души не заглянуть.

* * *

Чуть от тела оттает,
через дождь или снег,
но душа отлетает
неминуемо вверх —
в космос — скопище теней —
черный — не голубой,
атмосферных явлений
не касаясь собой.

* * *

Когда бы был я
седым буддистом
и подлежал бы
пасьянсу кармы,
хотел бы я
перевоплотиться
в мелодию,
чтоб меня играли.

* * *

Я побывал у подножья берез,
видел рябины кровавую гроздь,
кровосмешенье желтка и чернил —
Иван-да-Марью, глядел, как закрыл
глаз свой цикорий. У спуска к ручью
я задохнулся огромной крапивой,
и облака с синевою счастливой
вновь надо мной разыграли ничью.

* * *

Крапива. Забор.
Задворки. Сарай.
Не пойман — не вор.
Не потерян — не рай.
Когда этот свет
не воротишь назад,
когда нет как нет
и когда рад не рад.

* * *

За душой — ни гроша,
за душой — лишь душа,
да и та —
маета —
больно уж хороша.

* * *

Сусальна золота сентябрьская гарь.
Октябрь, заржавело твое злато.
Душа ж до Покрова зеленовата,
как встарь, моя прекрасная, как встарь.

* * *

Сквозь безвозвратность лживую
все в мире ярче, но
обратной перспективою
искажено:
как будто погрузился всяк
предмет себя на дно,
и стало явственней, чем знак,
лица ль, души пятно.

* * *

Жизнь состоит из рока.
Это так.
Река ль, поток, дорога —
это он:
нас из созвездий
сочетавший мрак
в нас где — невесть,
но где-то заключен.

* * *

Снег, что ордою налетел, —
белей, чем лета был пробел,
и небеса стоят босые
в закатном розовом снегу —
ни зги, ни звука, ни гу-гу.
Что ж так живит тебя, Россия,
морозов ли анестезия?
Когда зима слетелась вся...
Разительна твоя краса.

* * *

Надо дойти до стены, то есть до тупика,
и, обернувшись, в кирпич упереться плечами:
всё, что скрывалось, хоть было весь век пред очами,
душе на миг, но откроется наверняка.

* * *

Связует нас ненастье:
в его пустотах ты,
как испытавший счастье
на горестном пути,

и нам не мрамор-памятник
за жизненной чертой,
а маятник, а маятник
кивает головой.

* * *

Удел двоих —
любить сквозь грех
сперва на миг,
потом на век, —

и вы правы,
когда вдвоем
схватились вы
с небытием.

* * *

Белый день — то рай Господний.
Ночь черна — то ад напрасный.
А уж сумрачно, ненастно,
надо быть, во преисподней.

* * *

Высоко иль низко,
тяжко иль легко,
но пока Ты близко —
мы недалеко:
Ты фитиль, мы воска
жар и холод враз,
пока, словно воздух, Ты
окружаешь нас.

Раньше или позже,
но в урочный час,
удаляясь, Боже,
оглянись на нас,
еще не испитых
судьбою до дна,
пока даль путей Твоих
не отдалена.

7.8.1990

Публикация Елизаветы ГОРЖЕВСКОЙ

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ

Лев Троцкий

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

«Когда идеи ведут кровавую борьбу на площадях, на улицах, на больших дорогах, в полях и лесах, тогда сама истина перестает уже интересовать; не до нее».

Н. БЕРДЯЕВ.

Глава третья. ДЕВЯТЫЙ ВАЛ ВАНДЕИ

Русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем напомнило мне о страшной ране гражданской войны. Медленно проходя с отцом Солуяном, старым русским священником, вдоль многочисленных холмиков могил дроздовцев, алексеевцев, каледенцев, нашедших вечное прибежище на чужбине, я особенно остро почувствовал с высот нашего времени историческую бессмысленность гражданских войн. Соотечественники с яростью уничтожают друг друга. Каждая сторона считает себя правой. Часто брат шел против брата, отец сражался со своими сыновьями. Как будто не о Вандее 1793 года, а о долгой кровавой схватке на равнинах России писал Жан Жорес: «Сколько неистовых страстей загорается в этих городах, ощутивших почти у самого сердца острие ножа! Какая ненависть вспыхнет завтра! Сколько репрессий и против врага, и против тех, кого заподозрят в том, что они были его сообщниками, помогавшими ему активными действиями или своей инертностью!»[1].

Слова отца Солуяна, обращенные к тем, кто пал в этой братоубийственной сече, были исторически справедливы:

— Время и вечность должны примирить соотечественников. Тогда, казалось, достаточно уничтожить белых (или красных!) — и счастье в твоих руках! Смертью братьев нельзя добыть ни мира, ни счастья... Да помирит их время!

Сегодня слова священника кажутся близкими к истине. А тогда? Революция имеет свою жестокую логику. Народный гнев 1917 года рожден империалистической войной, революцией, невиданной ломкой старого, ожесточенным сопротивлением тех, кого списали, столкнули с исторической сцены. Политические партии направили вначале гнев революции в русло борьбы с самодержавием. Сметя с легкостью вековые атрибуты царизма, классы, политические партии, социальные силы России в смятении увидели: у всех разные цели! Одни хотели остановиться на результатах февраля; иные, ужаснувшись при виде бездны разрухи, были готовы вернуть самодержца, ограничив его конституцией; третьи — непременно убрать со своей дороги и первых и вторых... Правоту силы предстояло доказать на бесчисленных фронтах междоусобной войны.

Три долгих года после трех лет империалистической бойни лилась кровь сыновей России. В гражданской войне в братских могилах, на полях сражений, на

Продолжение. Начало см. «Октябрь» №№ 5—7 с. г.

[1] Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. М., 1983, т. 6, с. 208—209.

городских и сельских кладбищах Отечества, а то и просто в ложбинах и балках захоронены миллионы людей. Уже сама «цена революции» ставит под историческое сомнение ее прогрессивность. Погибшие были не только люди в буденновках или офицерских шинелях; большая часть павших, умерших от голода, выкошенных тифом — мирные люди.

К слову сказать, когда Троцкий окажется в Турции, то у него будет намерение написать книгу о гражданской войне в России, о создании Красной Армии. Но случилось непредвиденное: пожар на его вилле сожрал большую часть рукописей и книг по этой теме. Архив НКВД не дает ответа: был ли пожар случайным или это дело рук людей Менжинского.

Более трех лет артиллерийская канонада, топот сабельных атак, стоны измученных страшной войной людей будут заглушать все звуки на бескрайних равнинах Отечества. Один из видных деятелей большевизма А. С. Бубнов назовет гражданскую войну «образцом перерастания буржуазно-демократической революции в революцию пролетарско-социалистическую». Именно гражданская война, писал он в 1928 году, «практически двигала вперед это перерастание» [1]. В этой кровавой круговерти еще выше взойдет звезда Троцкого. Он был за эту войну, в которой существовал шанс, по его мнению, не только решить одним ударом вопрос уничтожения всех эксплуататорских классов в России, но и подтолкнуть пролетариат других стран к мировому революционному пожару. Когда из Москвы предложили провести пароходы с хлебом по Волге для безопасности под флагом Красного Креста, Троцкий в телеграмме Ленину запротестовал: «Считаю недопустимым пропустить пароходы под флагом Красного Креста. Получение хлеба будет шарлатанами и глупцами истолковываться как возможность соглашения и н е н у ж н о с т и (выделено мной.— Д. В.) гражданской войны...» [2]. Русским якобинцам эта братоубийственная сеча была нужна для достижения их «великой цели».

«Законы» революции

Сложив с себя полномочия наркома по иностранным делам, Троцкий неожиданно для многих 14 марта 1918 года был назначен народным комиссаром по военным (а позже и по морским) делам. Вскоре он стал и председателем Революционного Военного Совета. Человек, не износивший в своей жизни ни одних солдатских штанов, занял высшие военные посты в республике! Как это произошло? Почему Ленин остановил свой выбор на Троцком?

Ленин проницательно увидел, что в ситуации, когда революция висела на волоске, руководителем военного ведомства должен быть не столько профессионал, сколько человек, обладающий огромной энергией, способный заразить свое окружение непоколебимой уверенностью в успехе. Троцкий оправдал надежды Ленина в Октябрьском восстании, в разгроме мятежа генерала Краснова, хорошо вел дипломатическую «партию» на переговорах в Брест-Литовске, кроме заключительного аккорда. Ленин еще раньше заметил, что Троцкий обладает высокой решительностью, может в критическую минуту взять всю полноту ответственности на себя.

К тому же Ленин верил в мировую социалистическую революцию. Он знал, что если бы она произошла, то непременно втянула бы в свою орбиту и страну, которая ее произвела первой. В этих условиях Троцкий был бы особенно полезен этому процессу. А Троцкий не скрывал, что видит долг создаваемой Красной Армии не только в защите Советской России, но и в решительной поддержке международных революционных процессов. Выступая с речью на заседании Московского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 19 марта 1918 года, новый нарком по военным делам заявил: «При помощи этой армии мы будем не только защищаться и обороняться сами, но сможем содействовать борьбе международного пролетариата». И далее, развивая эту мысль, сказал еще

[1] Гражданская война 1918—1921. Том первый. Изд-во «Военный вестник», М., 1928, с. 15.
[2] ЦГАСА, ф. 4, оп. 14, д. 7, л. 79.

определеннее: «...При первом раскате мировой революции мы должны быть готовы принести военную помощь нашим восставшим иностранным братьям» [1].

Ленин был вынужден пойти на крупные перестановки в военной области и потому, что Крыленко, Подвойский, Антонов-Овсеенко, Мехоношин, некоторые другие видные военные работники не хотели согласиться с его намерением широко привлечь военных специалистов для строительства Красной Армии и организации защиты республики.

Ленин не ошибся в своем выборе. Не обладая глубокими военными познаниями в области стратегии, оперативного искусства и тактики, Троцкий компенсировал эти серьезные слабости способностью широкого политического подхода к вопросам обороны и военного строительства, поразительной энергией, умением зажигать и вдохновлять людей.

Став во главе военного ведомства, еще до своего первого выезда на фронт, Троцкий без конца выступает на различных заседаниях, совещаниях, съездах, старается привлечь к делу строительства армии все органы власти и слои населения.

С марта 1918 года, когда почти все члены правительства поселились в Кремле *, общение с Лениным было повседневно частым. Троцкий позже вспоминал об этом времени: «С Лениным мы поселились через коридор. Столовая была общая. Кормились тогда в Кремле из рук вон плохо. Взамен мяса давали солонину. Мука и крупа были с песком. Только красной кетовой икры было в изобилии вследствие прекращения экспорта. Этой неизменной икрой окрашены не в моей только памяти первые годы революции...

С Лениным мы по десятку раз на день встречались в коридоре и заходили друг к другу обменяться замечаниями, которые иногда затягивались минут на десять и даже на четверть часа, а это была для нас обоих большая единица времени... Облачко брест-литовских разногласий рассеялось бесследно. Отношение Ленина ко мне и членам моей семьи было исключительно задушевное и внимательное. Он часто перехватывал наших мальчиков в коридоре и возился с ними...» [2].

В середине апреля Троцкий в один присест написал текст «Социалистической военной присяги», заключительный пункт которой напоминал: отступления от клятвы не может быть. Иначе же... «если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня суровая рука революционного закона» [3].

Этот текст был утвержден ВЦИК 22 апреля 1918 года. Десятилетиями советские воины, принимая присягу (содержание ее менялось медленно и незначительно), конечно, не догадывались, что ее авторство принадлежит «презренному фашистскому наймиту Троцкому». Как бы мы ни относились к бывшему наркому по военным делам и его памяти, нельзя не отдать должное способности этого человека изложить в двух десятках строк такие идеи, которые долго «не линяют» под действием времени.

По инициативе Троцкого в июне 1918 года состоялся Первый Всероссийский съезд военных комиссаров. В своей речи на нем нарком предельно ясно и откровенно изложил основные функции комиссаров в армии: политическое воспитание бойцов и контроль за действиями командного состава. Троцкий признал, что добровольческий принцип формирования армии оправдал себя «только на треть», ибо в частях «много элемента негодного — хулиганов, лодырей, отбросов». Поэтому «на обязанности военных комиссаров лежит неусыпная работа в области поднятия сознательности в недрах армии и беспощадного искоренения проникшего в нее нежелательного элемента». Троцкий категорически утверждает партийную установку: «Комиссар является непосредственным представителем

[1] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. 1, с. 228—229.
* Поразительно, как быстро лидеры революции, еще вчера поносившие старую власть за расточительную роскошь, тут же воспользовались ею. Шикарные апартаменты, лимузины, загородные дома, личные врачи... Власть всегда порочна, и она обычно деформирует многие лица верхнего эшелона. Только демократия способна ослабить эту закономерность.
[2] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 75—76.
[3] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. 1, с. 686—687.

Советской власти в армии, защитником интересов рабочего класса... Если комиссар заметил, что со стороны военного руководителя угрожает опасность революции, комиссар имеет право беспощадно расправиться с контрреволюционером вплоть до расстрела»[1]. Так закладывалась идейная беспощадность большевиков, которая перерастет в жестокость по отношению к многочисленным врагам.

Тогда, кроме большевиков, комиссарами могли пока еще быть и левые эсеры, но скоро монополия большевиков не только на власть, но и на комиссарство станет безраздельной. Троцкого, как и всех большевистских руководителей, не смущало, что комиссар по партийной установке является «защитником интересов рабочего класса», хотя армия в основном состояла из крестьян... Тогда еретическая мысль об антидемократичности диктатуры одного класса (бывшего в абсолютном меньшинстве по сравнению с крестьянством) едва ли приходила кому-либо в голову. Право комиссара, ставленника партии, если он заметил что-то подозрительное, «беспощадно расправиться», сегодня выглядит как один из истоков будущих массовых беззаконий.

Пожалуй, никто так последовательно и решительно не отстаивал идею широкого использования военных специалистов в строительстве Красной Армии и деле защиты революции, как Троцкий. Чувствуя исключительно сильную оппозицию к принципиальной линии на широкое использование военспецов, Троцкий приводит убедительные аргументы в защиту своей позиции:

«У нас ссылаются нередко на измены и перебеги лиц командного состава в неприятельский лагерь. Таких перебегов было немало, главным образом, со стороны офицеров, занимавших более видные посты. Но у нас редко говорят о том, сколько загублено целых полков из-за боевой неподготовленности командного состава, из-за того, что командир полка не сумел наладить связь, не выставил заставы или полевого караула, не понял приказа или не разобрался по карте. И если спросить, что до сих пор причинило нам больше вреда: измена бывших кадровых офицеров или неподготовленность многих новых командиров, то я лично затруднился бы дать на это ответ»[2].

Приводя все новые и новые аргументы в пользу привлечения бывших поручиков, капитанов, полковников и генералов, Троцкий далее пишет: «Широкая публика знает почти о всех случаях измены и предательства лиц командного состава, но, к сожалению, не только широкая публика, но и более тесные партийные круги слишком мало знают о всех тех кадровых офицерах, которые честно и сознательно погибли за дело рабочей и крестьянской России. Только сегодня мне комиссар рассказывал о капитане, который командовал всего-навсего отделением и отказывался от более высокого командного поста, потому что слишком тесно сжился со своими солдатами. Этот капитан на днях пал в бою...»[3]. Когда же вопрос шел о конкретном факте предательства, здесь Троцкий был непреклонен, даже беспощаден. Об этом, например, свидетельствует дело А. М. Щастного.

Начальник морских сил Балтфлота бывший адмирал Щастный по постановлению наркомвоена Троцкого, которое было одобрено на следующий день Президиумом ВЦИК, был арестован 27 мая 1918 года. Обвинение в подготовке контрреволюционного переворота бывшим начальником морских сил Балтфлота слушалось 21 июня в Верховном революционном трибунале республики. В своих показаниях на заседании трибунала Троцкий в качестве главного факта обвинения адмирала приводит содержание политического реферата, который начальник морских сил Балтфлота собрался прочесть на съезде морских делегатов. «Весь конспект с начала до конца,— говорил Троцкий,— несмотря на всю внешнюю осторожность, есть неоспоримый документ контрреволюционного заговора... Это была определенная политическая игра — большая игра с целью захвата власти. Когда же гг. адмиралы или генералы начинают во время революции вести свою

¹ Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. 1, с. 267—268.
² Там же, с. 363.
³ Там же, с. 379—380.

персональную политическую игру, они всегда должны быть готовы нести за эту игру ответственность, если она сорвется. Игра адмирала Щастного сорвалась»[1].

Суд был скорым. Правым ли, судить трудно. Очень похоже, что расстрел, к которому присудили бывшего царского адмирала, был вынесен лишь за подозрение в нелояльности и попытку установить «диктатуру Балтийского флота». У революции — свои законы, чрезвычайный характер которых способен творить новое зло, часто большее по объему, чем прежнее. Троцкий был идеальным исполнителем этих законов.

Особенно ярко это его качество проявилось при подавлении вспыхнувшего накануне X съезда партии Кронштадтского мятежа. Когда Троцкому доложили о восстании, он тут же продиктовал обращение:

«К гарнизону и населению Кронштадта и мятежных фортов. Приказываю:

Всем поднявшим руку против социалистического Отечества немедленно сложить оружие.

Упорствующих обезоружить и передать в руки советских властей.

Арестованных комиссаров и других представителей власти немедленно освободить.

Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской Республики.

Одновременно мною отдается распоряжение подготовить все для разгрома мятежа и мятежников железной рукой...»

Много позже, когда на Западе вспомнили кровавую роль Троцкого в подавлении мятежа, он долго оправдывался и в своем «Бюллетене оппозиции», и в письмах сторонникам. В этих письмах (несколько сот оказались вскоре в руках НКВД) Троцкий, объясняя причины жестокого подавления восстания, писал: «Революция имеет свои законы... За годы революции у нас было немало столкновений с казаками, крестьянами, даже с группами рабочих (группы уральских рабочих организовали добровольческий полк в армии Колчака)... В разных частях страны орудовали так называемые «зеленые» крестьянские отряды, которые не хотели признавать ни «красных», ни «белых». Бывало, когда «зеленые» сталкивались с «белыми» и терпели от них жестокий урон; но они не встречали, конечно, пощады и со стороны «красных»[2]. Другими словами, по Троцкому, жестокость, безбрежное насилие и непреклонность в его применении и есть важнейший «закон революции».

Троцкий пытается предпринять радикальные шаги в военном строительстве. Созданная им комиссия по делам Главвоздухфлота ставит в Реввоенсовете вопрос о формировании военной авиации[3]. Через Склянского вскоре передает Рыкову телеграмму:

«Совершенно необходимо приступить на Урале или на других заводах к производству танков, использовав для этого, если возможно, части тракторов. Присутствие известного числа танков на южфронте будет иметь огромное психологическое значение...»[4]. В критический момент весны 1919 года Троцкий готов пойти на страшный шаг, телеграфируя в Москву:

«...Необходимо создать возможность применения удушливых газов. Нужно найти ответственное лицо для руководства ответственными работами...»[5]. Но то ли «ответственное лицо» не нашли, хотя в любой революции безответственных фигур масса, то ли дело оказалось сложнее, чем представлялось Троцкому, но, слава богу, опыт первой мировой войны не нашел «удушливого» продолжения на российских равнинах.

Середина 1918 года — наверное, самое тяжелое, на грани безнадежного, положение Советской Республики. Столь смертельно опасное положение в гражданской войне сложится еще один раз, когда в 1919 году Деникин подойдет к Туле. Интервенция англичан, французов, американцев, японцев, мятеж чехосло-

¹ Там же, с. 329.
² Архив НКО ОГПУ ф. 17548, д. 0292, т. 2, л. 202—218.
³ ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 361, л. 170.
⁴ ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 85, л. 29.
⁵ ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 146, л. 125.

вацкого корпуса... В сводках замелькали новые политические образования: комитет членов Учредительного собрания в Самаре, эсеровское правительство в Екатеринбурге, Уфимская директория, гетманство Скоропадского... Позже Троцкий напишет об этом времени: «Много ли в те дни не хватало для того, чтобы опрокинуть революцию? Ее территория сузилась до размеров старого Московского княжества. У нее почти не было армии. Враги ее облегли со всех сторон. За Казанью наступала очередь Нижнего. Оттуда открывался почти беспрепятственный путь на Москву...» [1].

По предложению Ленина 29 июля 1918 года состоялось объединенное заседание ВЦИК и Моссовета, на котором выступил Ленин с докладом «О положении Советской Республики», а затем Троцкий: «Социалистическое Отечество в опасности». Все понимали: Советская Республика в смертельной опасности. Троцкий это понимал, похоже, лучше других.

«Наши красноармейские части лишены необходимой духовной и боевой спайки, так как не имеют еще боевого закала... Здесь, в этом зале, нас до 2 тысяч человек, а то и свыше, и мы в своем подавляющем большинстве, если не все, стоим на одной революционной точке зрения. Мы не составляем с вами полка, но если нас сейчас превратить в полк, вооружить и отправить на фронт, я думаю, это был бы не самый худший полк в мире. Почему? Потому ли, что мы квалифицированные солдаты? Нет, но потому, что мы объединены определенной идеей, одушевлены твердым сознанием, что на фронте, куда нас отправили, вопрос поставлен историей ребром и что тут нужно или победить, или умереть» [2]. Троцкий этот необычный подход тут же трансформировал в конкретное предложение: для того, чтобы в каждом подразделении, части было твердое коммунистическое ядро, которое он назвал «сердцем полка и роты», нужно из Москвы, Петрограда, из других городов послать на фронт наиболее сознательных рабочих, коммунистов, агитаторов.

Голос Троцкого еще более окреп, когда он стал говорить об участившихся фактах перехода на сторону белых военспецов. Нам нужно, заявил докладчик, «фрондирующее офицерство обуздать железной уздой». Нужно взять на учет все бывшее офицерство, которое не желает работать на нас и «запрятать его в концентрационные лагеря». А если будут замечены подозрительные действия офицера, которому даны командные права, «то, разумеется, виновный,— об этом нечего и толковать, тут вопрос ясен и прост,— должен быть расстрелян» [3].

Словами Троцкого говорило якобинство русской революции. «Мы не имеем ни одного лица в высшем командовании, у которого не было бы комиссаров справа и слева, и если специалист нам не известен как лицо, преданное Советской власти, то эти комиссары обязаны бодрствовать, ни на один час не спуская глаз с этого офицера». И если эти комиссары справа и слева с револьверами в руках, продолжал Троцкий, «увидят, что военспец шатается и изменяет, он должен быть вовремя расстрелян» [4].

После выступлений Ленина и Троцкого была принята резолюция, подготовленная Председателем Высшего Военного Совета, в которой нашли отражение все выводы и предложения, прозвучавшие в докладах. Жестокое время было стихией этих людей. Революция висела на волоске. Троцкий спустя годы мог бы сказать: революцию спасла только воля. Революционная и жестокая. Позже ее фанатически погубит эта же воля. Воля злая, почти контрреволюционная. «Револьверное право» комиссаров, по мнению Троцкого, было лишь неизбежным выражением «суровости пролетарской диктатуры» [5].

Во главе Реввоенсовета

Когда революция, по выражению Троцкого, находилась «в самой низкой точке», он 2 сентября 1918 года по предложению Свердлова был утвержден

[1] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 125—126.
[2] Л. Троцкий, Соч., т. XVII, ч. 1, с. 507—508.
[3] Там же, с. 508—510.
[4] Там же, с. 511.
[5] Архив ИНО ОГПУ, ф. 17548, д. 0292, т. 2. л. 212

Председателем Революционного Военного Совета Республики (РВСР). За несколько недель до этого Троцкий в сопровождении группы московских коммунистов-агитаторов выехал на Восточный фронт, где складывалась почти катастрофическая обстановка. Пламя гражданской войны стремительно взметнулось вверх, как будто кто-то бросил в тлеющий костер вязанку сухого хвороста. Противоборствующие стороны надеялись предопределить исход борьбы решительными ударами. Они еще не знают слов, которые позже напишет в Берлине изгнанный Николай Бердяев: «Никакие гражданские войны не могут положить конец революции, не могут быть выходом из трагедии революции. Гражданские войны целиком принадлежат самой иррациональной стихии революции, они пребывают в революционном распаде и увеличивают этот распад...» [1].

В Москве казалось, что «кукушка прокуковала» конец революции. Перед этим пали Симбирск, а затем и Казань. Поезд Троцкого, которому предстоит стать знаменитым, как когда-то лошади Александра Македонского, смог дойти лишь до Свияжска, крупной станции перед Казанью.

В своих воспоминаниях Троцкий писал об этих днях: «Армия под Свияжском состояла из отрядов, отступивших из-под Симбирска и Казани или прибывших на помощь с разных сторон. Каждый отряд жил своей жизнью. Общей всем им была только склонность к отступлению. Слишком велик был перевес организации и опыта у противника. Отдельные белые роты, состоявшие сплошь из офицеров, совершали чудеса. Сама почва была заражена паникой. Свежие красные отряды, приезжавшие в бодром настроении, немедленно же захватывались инерцией отступления. В крестьянстве пополз слух, что Советам не жить. Священники и купцы подняли головы. Революционные элементы деревни попрятались. Все осыпалось, не за что было зацепиться, положение казалось непоправимым» [2]. Еще до приезда в Свияжск Троцкий в своем вагоне продиктовал приказ № 10, пропитанный духом якобинцев:

«Всем, всем, всем...

...Борьба с чехо-белогвардейцами тянется слишком долго. Неряшливость, недобросовестность и малодушие в наших рядах являются лучшими союзниками наших врагов. В поезде наркомвоена, где пишется этот приказ, заседает Военно-революционный трибунал, который снабжен неограниченными полномочиями.

Назначенный мною начальник обороны железнодорожного пути Москва — Казань т. Каменщиков распорядился о создании в Муроме, Арзамасе и Свияжске концентрационных лагерей, куда будут заключаться темные агитаторы (так в тексте.— **Д. В.**), контрреволюционные офицеры, саботажники, паразиты, спекулянты, кроме тех, которые будут расстреливаться на месте преступления или приговариваться трибуналами к другим карам...

8 августа 1918 года.

Л. Троцкий» [3].

К моменту приезда Троцкого на Восточный фронт Центром было направлено туда 11,5 тысячи человек, 19 орудий, 136 пулеметов, 16 самолетов, 6 бронепоездов и 3 броневика [4]. Но Троцкий знал, что ему здесь противостоят силы, заметно превосходящие революционные войска: 50 тысяч штыков и сабель, до 190 орудий и 20 вооруженных пароходов [5]. Троцкий поддержал предложение военных специалистов освободиться от отрядной системы и перейти к классической: армия — в составе трех дивизий, конного корпуса и авиагруппы. К концу августа на Восточном фронте было сформировано пять армий, общей численностью около 70 тысяч человек, более 250 орудий и свыше 1000 пулеметов [6].

В разгар подготовки контрнаступления Восточного фронта, которое готовил его командующий Вацетис, белогвардейская бригада под командованием полковника В. О. Каппеля совершила рейд по тылу 5-й армии и атаковала Свияжск, где

[1] Николай Бердяев. Новое средневековье. Обелиск, Верлин, 1924, с. 85.
[2] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 125.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 40, л. 21.
[4] ЦГАСА, ф. 4, оп. 1, д. 16, л. 239.
[5] ЦГАСА, ф. 176, оп. 3, д. 171, л. 2.
[6] См.: Директивы командования фронтов Красной Армии (1917—1922), т. 4. М., 1978, с. 38.

находился поезд наркомвоена. «Мы были изрядно застигнуты врасплох.— вспоминал Троцкий.— Боясь потревожить нестойкий фронт, мы сняли с него не больше двух-трех рот. Начальник моего поезда снова мобилизовал все, что было под руками в поезде и на станции, вплоть до повара. Винтовок, пулеметов, ручных гранат у нас было достаточно. Поездная команда состояла из хороших бойцов. Цепь залегла в версте от поезда, сражение длилось около 8 часов, обе стороны понесли жертвы, неприятель выдохся и отступил. Тем временем перерыв связи со Свияжском вызвал в Москве и по всей линии огромную тревогу» [1]. Наркомвоен сообщил в центр, в связи с чем была прервана связь его поезда с Москвой. Ленин тут же откликнулся шифротелеграммой:

«Свияжск, Троцкому.

Получил Ваше письмо, если есть перевес и солдаты сражаются, то надо принять особые меры против высшего командного состава. Не объявить ли ему, что мы отныне применим образец Французской революции, и отдать под суд и даже под расстрел Вацетиса, так и командарма под Казанью и высших командиров в случае затягивания и неуспеха действий? Советую вызвать многих заведомо энергичных и боевых людей из Питера и других мест фронта. Не подготовить ли сейчас Блохина и других для занятия высших постов?

Ленин» [2].

30 августа 1918 г. № 111/ш.

Троцкий, видимо, почувствовал, что столь радикальная телеграмма вызвана прежде всего его сообщением о каппелевском прорыве. Ему, вероятно, пришлось пережить неприятные минуты, в течение которых разум общался с совестью, но сразу скажем, что ни Вацетиса, ни командарма в связи с каппелевским инцидентом он не стал привлекать к ответственности. Тем более что на следующий день помощник Глазман молча положил перед Троцким телеграмму из Москвы:

«Свияжск, Троцкому. Немедленно приезжайте. Ильич ранен, неизвестно насколько опасно. Полное спокойствие. Свердлов» [3].

Поезд Троцкого тут же отбыл в Москву. «Настроение в партийных кругах Москвы было угрюмое, сумрачное, но непоколебимое. Лучшим выражением этой неколебимости был Свердлов. Врачи признали жизнь Ленина вне опасности, обещали скорое выздоровление. Я обнадежил партию предстоящими успехами на Востоке и сейчас же вернулся в Свияжск» [4]. Вернулся уже Председателем РВСР. А «обнадежил» он руководство партии и республики своим выступлением 2 сентября на заседании ВЦИК. Как всегда, речь Троцкого была образной: «...наряду с фронтами, которые у нас имеются, у нас создался еще один фронт — в грудной клетке Владимира Ильича, где сейчас жизнь борется со смертью и где, как мы надеемся, борьба будет закончена победой жизни. На наших военных фронтах победа чередуется с поражениями; есть много опасностей, но все товарищи несомненно признают, что этот фронт — кремлевский фронт — сейчас является самым тревожным...

Обращаясь к тому фронту, с которого я прибыл, я должен сказать, что не могу, к сожалению, доложить о решающих победах, но зато с полной уверенностью имею возможность заявить, что эти победы предстоят впереди: что наше положение твердо и прочно; что произошел решительный перелом; что мы теперь застрахованы, постольку — поскольку можно быть застрахованным,— от крупных неожиданностей, и каждая неделя будет усиливать нас за счет наших врагов» [5]. Троцкий остался верен себе: если в деле оставался хоть небольшой шанс, он всегда оценивал его оптимистически. Но выданный на заседании ВЦИК вексель Восточному фронту он оплатил быстро. По решению командующего фронтом, одобренному Председателем Реввоенсовета республики, 5 сентября войска двух армий перешли в контрнаступление.

Незадолго до взятия Казани Троцкий принял личное участие в рейде нескольких миноносцев (пришедших по Мариинской водной системе с Балтики)

---

[1] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 132.
[2] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 403, л. 84а.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 403, л. 86.
[4] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 138.
[5] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. I, с. 519.

и вооруженных речных судов под командованием Раскольникова в район города. Миноносец Троцкого был подбит артиллерийским снарядом, но все обошлось. Троцкий вспоминал, что когда их подбитый корабль, ярко освещенный горящей баржей, груженной нефтью, оказался на виду у берегов, было впечатление, что «миноносец торчал на освещенном плесе, как муха на яркой тарелке. Сейчас нас возьмут под перекрестный огонь с пристани и с услона. Это было жутко» [1]. Глава военного ведомства Советской Республики непосредственно пережил все чувства, какие могут испытывать бойцы на передовой, под плотным огнем противника. Соединения 5-й армии во взаимодействии с частями 2-й армии и речным десантом под командованием любимца Троцкого Н. Г. Маркина 10 сентября освободили Казань. По сути, то была первая крупная победа Красной Армии на Восточном фронте. Председатель Реввоенсовета республики в своих воспоминаниях объяснил природу первой победы следующим образом: «Комиссары получили в частях значение революционных вождей, непосредственных представителей диктатуры. Трибуналы показали, что революция, находящаяся в смертельной опасности, требует высшего самоотвержения. Сочетанием агитации, организации, революционного примера и репрессий был в течение нескольких недель достигнут необходимый перелом. Из зыбкой, неустойчивой, рассыпающейся массы создалась действительная армия» [2].

Как только Троцкий получил телефонное сообщение Революционного Военного Совета 5-й армии о взятии Казани, он тут же продиктовал:

«Приказ № 33
По Красной Армии и Красному Флоту

10 сентября 1918 года.

День 10 сентября войдет праздником в историю социалистической революции. Частями пятой армии Казань вырвана из рук белогвардейцев и чехословаков. Это поворотный момент...

Солдаты и матросы пятой армии! Вы взяли Казань. Это зачтется вам. Те части и отдельные бойцы, которые особенно отличились, будут соответственно вознаграждены рабочей и крестьянской властью... От имени Совета Народных Комиссаров я вам говорю: товарищи, спасибо!

Председатель Революционного Военного Совета
Республики Л. Троцкий» [3].

На другой день, 11 сентября, в городском театре состоялся митинг, на котором присутствовали представители частей, освободивших Казань, местные большевики, жители города. С большой речью выступил воодушевленный победой Троцкий. В ней он, в частности, сказал: «Учредительное собрание! Под этим лозунгом еще вчера у стен Казани буржуазия пыталась противостоять рабочим и крестьянам, умиравшим в борьбе против этого лозунга. Учредительное собрание представляет собою совокупность классов и партий, т. е. состоит из представителей всех партий, от помещиков до пролетариата. И вот мы спрашиваем: кто же в Учредительном собрании будет править? Не предложат ли нам коалицию, а это единственное, что можно здесь предложить — союзное правительство из Лебедева, с одной стороны, и тов. Ленина, с другой? Я думаю, товарищи, что этот номер не пройдет в нашей исторической программе» [4].

После сентябрьского 1918 года военного успеха на Волге, когда были освобождены Казань, Симбирск, Хвалынск, другие города, Троцкий смог как бы поднять голову от карты Восточного фронта и посмотреть на панораму гражданской войны в целом. По указанию Совнаркома ЦК партии Реввоенсовет республики начал координировать и направлять действия многочисленных фронтов и направлений.

---

[1] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 135—136.
[2] Там же, с. 137.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 40, л. 29.
[4] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. I, с. 525.

Троцкий оказывал большое влияние на расстановку, выдвижение и перемещение военных кадров. В Реввоенсовете республики в конце концов оказались в основном люди, которых он предложил ЦК для назначения. Кто же работал рядом с Троцким и окружал его в РВС Республики? Состав постоянно менялся, но вот, например, в один из критических моментов борьбы, в апреле 1919 года, в РВС были членами: Е. М. Склянский, И. И. Вацетис, С. И. Аралов, К. Х. Данишевский, В. М. Альтфатер, К. А. Мехоношин, А. П. Розенгольц, И. Н. Смирнов, А. А. Юренев, Н. И. Подвойский, И. Д. Смилга, А. И. Окулов, В. И. Невский, В. А. Антонов, Ф. В. Костяев. Более чем 15 армий, сформированные на разных фронтах, имели весьма пестрый состав. И если начальники штабов были, как правило, военспецы, членов Военного совета Троцкий чаще всего рекомендовал сам. Это были: С. И. Гусев, Г. И. Теодорович, П. К. Штейнберг, И. С. Кизильштейн, О. М. Берзин, А. П. Розенгольц, А. М. Орехов, Б. П. Позерн, И. И. Ходоровский, Г. Я. Сокольников, П. Е. Якир, Б. В. Легран и другие коммунисты [1]. Те, кто уцелеет в гражданской войне,— почти все неизбежно погибнут в роковые тридцатые годы. Любая мета в личном деле, связанная с именем Троцкого, представляла в будущем смертельную улику.

Троцкий довольно быстро установил деловой контакт с командующими фронтов и армий, членами революционных военных советов. Однако особой теплоты в этих отношениях не было: Троцкий никогда не скрывал своего интеллектуального превосходства над людьми.

С некоторыми военными и политическими деятелями у него с самого начала гражданской войны не сложились отношения. Одним из таких людей был Сталин. Троцкий не слышал его выступлений, не сталкивался с его инициативами, но видел, что этот человек неизменно вводится в состав ЦК, других высших партийных и государственных органов. Когда Сталин и Шляпников в мае 1918 года были назначены общими руководителями продовольственного дела на Юге России, Троцкий узнал об этом лишь из документов СНК. Затем Сталин, оставаясь наркомом по делам национальностей, стал членом Реввоенсовета Южного фронта. Троцкого несколько раз покоробило поведение Сталина, обращавшегося по военным вопросам прямо к Ленину, минуя его, Председателя Реввоенсовета республики. Иногда Сталин просто игнорировал распоряжения Троцкого. Тот не оставлял это без внимания и реагировал, хотя и в достаточно сдержанной форме.

«Балашов, Реввоенсовет.

Вполне присоединяюсь к протесту товарища Раскольникова против вмешательства отдельных товарищей из Комиссариата национальностей в распорядки на фронте. Соответственное заявление мною сделано Комиссариату национальностей. Сегодня выезжает в Балашов Бобинский, который уполномочен мною действовать исключительно под руководством Реввоенсовета девятой армии...

Троцкий» [1].

Ленин быстро заметил «игнорирование» Сталиным Троцкого. В архивах сохранилась такая его телеграмма: «Т. Троцкий. Если Вы не имеете этой и всех расшифрованных в Секр. Зампр. телеграмм тотчас, то пошлите Сталину за моей подписью телеграмму шифром: Адресуйте все военные сообщения также Троцкому, иначе опасная проволочка.

Ленин» [2].

На одну из телеграмм Ленина о необходимости помочь Кавказскому фронту Сталин ответил: «Мне не ясно, почему забота о Кавфронте ложится прежде всего на меня... Забота об укреплении Кавфронта лежит всецело на Реввоенсовете Республики, члены которого, по моим сведениям, вполне здоровы, а не на Сталина, который и так перегружен работой» [3]. Ленинский ответ был лаконичным и твердым:

«На вас ложится забота об ускорении подхода подкреплений с Юго-Зап. фронта на Кавфронт. Надо вообще помочь всячески, а не препираться о ведомственных компетенциях.

Ленин» [1].

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 573, л. 111—114.
[2] ЦГАСА, ф. 4, оп. 1, д. 243, л. 95.
[3] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 3, д. 46, л. 301.

Не единожды отношения Троцкого и Сталина достигали такого накала, что оба обращались к Ленину как к последней инстанции. Троцкий не мог простить наркомнацу независимости и явного игнорирования Реввоенсовета республики, тем более что когда Сталин выезжал на фронт, оттуда шли жалобы на грубость, произвол, жесткость решений и выводов. Троцкий не раз пробовал убрать Сталина с военной работы.

«Москва. Председателю ЦИК. Копия Предсовнаркома Ленину. Категорически настаиваю на отозвании Сталина. На Царицынском фронте неблагополучно, несмотря на избыток сил. Ворошилов может командовать полком, но не армией в пятьдесят тысяч солдат. Тем не менее я оставлю его командующим десятой Царицынской армии на условии подчинения командарму Южной Сытину. До сего дня царицынцы не посылают в Козлов (местонахождение поезда Троцкого) даже оперативных донесений. Я обязал их дважды в день представлять оперативные и разведывательные сводки. Если завтра это не будет выполнено, я отдам под суд Ворошилова и Минина и объявлю об этом в приказе по армии... «Царицын» должен либо подчиниться, либо убраться. У нас успехи во всех армиях кроме южной, в особенности Царицынской, где у нас колоссальное превосходство сил, но полная анархия в верхах. С этим можно совладать в 24 часа при условии Вашей твердой и решительной поддержки. Во всяком случае, это единственный путь, который я вижу для себя.

Троцкий» [2].

Это не единичная телеграмма. В октябре 1918 года Председатель Реввоенсовета шлет Председателю ЦИК Свердлову и Предсовнаркома Ленину шифровку: «Мною получена следующая телеграмма: Боевой приказ Сталина номер сто восемнадцать надо приостановить исполнение. Командующему Южным фронтом Сытину мною даны все указания. Действия Сталина разрушают все мои планы...

Главком Вацетис, член Реввоенсовета Данишевский...

Троцкий» [3].

Как относился Ленин к обращениям Троцкого? Лидер русской революции в этом конфликте занимал позицию «пользы делу». Ленин не держал «одной стороны» и вначале пытался предпринять шаги к примирению. Об этом, в частности, свидетельствует его телеграмма Троцкому 23 октября 1918 года. В ней Ленин излагал содержание своей беседы со Сталиным, оценку члена Военного совета Южного фронта, положения в Царицыне и его желание наладить отношения с Реввоенсоветом республики. В заключение телеграммы Ленин предлагал:

«Сообщая Вам, Лев Давидович, обо всех этих заявлениях Сталина, я прошу Вас обдумать их и ответить, во-первых, согласны ли Вы объясниться лично со Сталиным, для чего он согласен приехать, а во-вторых, считаете ли Вы возможным, на известных конкретных условиях, устранить прежние трения и наладить совместную работу, чего так желает Сталин.

Что же меня касается, то я полагаю, что необходимо приложить все усилия для налаживания совместной работы со Сталиным» [4].

Однако попытки Ленина нормализовать отношения людей, которых через несколько лет он назовет «выдающимися вождями», совершенно не дали желаемого результата. Оба были слишком своенравны, капризны, самолюбивы, хотя конфликты времен гражданской войны между двумя этими руководителями инициировались в основном демонстративной неисполнительностью, своеволием Сталина.

Сталин обращался к Троцкому в самых крайних случаях. Обращался офи-

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 3, д. 46, л. 301.
[2] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 40, л. 29.
[3] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 40, л. 30.
[4] Ленинский сборник, т. XXXVII, с. 108.

циально, безлично. В свою очередь, Троцкий как старший по должности не упускал возможности указать Сталину на неблагополучие в частях фронта, где тот был членом Реввоенсовета. Вот текст одной из таких шифровок:

«Реввоенсовет Южфронта. Вызвать к аппарату Серебрякова или Сталина и потребовать немедленной расшифровки и ответа.

Сведения относительно корпуса Буденного внушают тревогу. По подробному докладу Пятакова части армии Буденного грабят население, в штабах пьянство, что грозит разложить корпус, как разложился корпус Мамонтова. Также и в политическом отношении возможны серьезные осложнения на почве разложения корпуса. Совершенно необходимо, по-видимому, предпринять серьезнейшие меры: подтянуть комиссарский состав, обратив на это особое внимание Ворошилова и Щаденко, проверить комячейки, привлечь к ответственности некоторых командиров и комиссаров, виновных в грабежах и пьянстве, вообще установить в корпусе надлежащий режим и тем спасти его от разложения. Может быть, своевременно оттянуть наиболее расшатанные части конной армии в резерв для упорядочения, иначе при соприкосновении с махновцами кавалеристы могут совершенно разложиться. Прошу сообщить, что вами предпринято или предложено предпринять в этом отношении.

Предреввоенсовета Троцкий» [1].

Мне не удалось обнаружить в архиве ответа Серебрякова или Сталина. Но ясно, что, отправляя такие шифротелеграммы, Троцкий руководствовался не только заботой о состоянии объединений и соединений, но и стремлением уязвить, заставить подчиниться недоброжелателя, упорно игнорирующего власть и волю Председателя Реввоенсовета республики.

Ленин понимал, что Реввоенсовет работает как военно-политический орган, направляющий стратегическую деятельность Главкома и Полевого штаба РВСР. Сам Троцкий редко вмешивался в оперативно-стратегические вопросы, полагаясь на Вацетиса, Каменева и других военных специалистов. Но он неуклонно следил за реализацией во фронтовой практике общей линии РКП(б), указаний ЦК, директив Ленина. Уже с осени 1918 года Троцкий, бывший энергичным и жестким организатором, стремился придать плановые начала военным действиям, особенно на оперативном и стратегическом уровне. Например, по его указанию главком Вацетис подготовил план боевых действий на осенне-зимнюю кампанию 1918—1919 годов [2]. Троцкий, одобрив стратегический замысел Вацетиса, доложил о нем Ленину. Суть плана заключалась в укреплении оборонных возможностей республики, накоплении стратегических резервов и последовательном разгроме сил внутренней и внешней контрреволюции на Украине, в Донбассе, на Кавказе, на Урале и в Сибири. Жизнь, конечно, вносила свои жесткие коррективы в подобные планы, но документы архивов дают основания утверждать, что действия Троцкого и руководимого им Реввоенсовета не были спонтанными. Вожди революции учились искусству управлять не только социальными, политическими процессами, вызванными Октябрем в России, но и организованной защите государства.

Троцкий, судя по всему, оказался самой подходящей фигурой на должность, от которой в огромной степени зависели создание регулярной Красной Армии и защита страны, а затем и разгром целого сонма врагов Советской власти. Горький вспоминал еще при жизни Ленина, как тот оценивал Троцкого: «А вот указали бы другого человека, который способен почти в год организовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов. У нас такой человек есть...» [3]. Парабола судьбы Троцкого быстро приближалась к феерическому апогею. Его слава бежала уже далеко впереди знаменитого поезда Председателя Реввоенсовета республики, мотавшегося по фронтам, белой петлей охватившим Центральную Россию.

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 32, л. 533.
[2] См.: Директивы Главного командования Красной Армии (1917—1920). Сб. документов. М., 1969, с. 153—169.
[3] Русский современник. Петроград, 1923, с. 243.

В петле фронтов

2 июня 1919 года в газете, которая издавалась в поезде Троцкого, появилась статья Председателя Реввоенсовета республики «Девятый вал». В своей обычной яркой манере Троцкий писал: «То, что мы сейчас переживаем,— это девятый вал контрреволюции. Она теснит нас на Западном и Южном фронтах. Она угрожает опасностью Петрограду. Но в то же время мы твердо знаем: ныне контрреволюция собрала свои последние силы, двинула в бой последние резервы. Это ее последний, девятый вал. Больше тех сил, что Деникин, Колчак, белоэстонцы и белофинны выставили против нас ныне, в распоряжении контрреволюции нет и не будет. На Южном фронте, на востоке, под Петроградом русская и с нею мировая контрреволюция поставила на карту всю свою судьбу» [1]. Троцкий не сказал, что не только контрреволюция, но и революция поставила на карту свою судьбу. Как и сам Предреввоенсовета.

Как вел себя Троцкий на фронте? Почему его слава росла? Я думаю, многое могут объяснить «Записки адъютанта штаба 4-й армии Восточного фронта о пребывании наркома по военным делам Л. Д. Троцкого в воинских частях в сентябре 1918 года».

Старший адъютант штаба Савин (инициалов в записках не приведено) дотошно описал встречу и действия Троцкого в войсках, что помогает понять стиль работы наркома, причины его популярности.

«Ночью 16 сентября было сообщено в штаб армии из поезда Троцкого, что он завтра, т. е. 17 сентября, прибывает в Саратов, причем справлялись, как положение наших войск под Хвалынском и взят ли он.

Временный командарм Хвесин ответил, что наши войска вплотную подходили к Хвалынску, идут бои и завтра, т. е. 17 сентября, он будет взят. В 7.40 начдив Вольской дивизии т. Гаврилов донес по прямому проводу, что 16 сентября в 16 часов г. Хвалынск взят...

Хвесин и член Военного совета Линдов выехали из Покровска в Саратов на пароходе, оттуда на пассажирский вокзал для встречи т. Троцкого. В 9 часов 37 мин. утра под звуки народного гимна, исполненного духовым оркестром, поезд Троцкого подошел к перрону вокзала, где были выстроены части Саратовского гарнизона. Появление т. Троцкого из вагона было встречено громовым ура... Встречающие представились; Троцкий сделал обход войск, поблагодарил за приветствие (отсутствовали представители местного исполкома).

...На автомобилях кортеж проследовал на пристань. Отплыли на пароходе т. Троцкий, Хвесин, член ВС-4 Линдов, ст. адъютант Савин, председатель Саратовского исполкома Жуков, два конвоира (охрана.— Д. В.) и два секретаря тов. Троцкого. В 12.15 пароход прибыл в Покровск... На пристани был выстроен почетный караул шпалерами. Начальник штаба Булгаков отдал рапорт. В штабе Троцкий прошел по всем отделам. Командарм сделал доклад о положении (указал на плохое снабжение). Троцкий тут же отдал распоряжение об улучшении снабжения армии. Пробыл в штабе 1 час 45 минут. Отбыл на пристань. Там его встретили «Марсельезой». С парохода Троцкий держал речь. В ответ — громовое «ура».

Затем Троцкий отбыл в Вольск. Тоже встречали народным гимном. Троцкий держал речь. Желал скорейшего взятия Самары. В ответ — громовое «ура». Прибыл в Балаково. Опять держал речь, отвечал на приветствия. Вновь шпалеры войск, держал речь из автомобиля. Каждому красноармейцу, бывшему в строю при встрече, приказал выдать в виде подарка по месячному окладу (250 руб.). Прибыли в Хвалынск. Опять встречали шпалеры войск. Держал Троцкий речь. Выехали на линию фронта в Вольскую дивизию (село Поповка). Построили интернациональный полк. Речь держал Троцкий на русском и Линдов на немецком языке.

Замечания Троцкого:

1) Начдив Гаврилов развязен и держал себя как недисциплинированный солдат...

[1] Л. Троцкий. Соч. т. XVII, ч. II, с. 182—184.

2) Полки расположены без сторожевого охранения.

3) Интернациональный полк медленно собирался — нужны пробные «тревоги».

4) Плохо дело со связью.

5) В частях много самодеятельности — не придерживаются указаний штаба.

6) Штабы располагаются далеко от войск.

7) Требуются в войска автомобили и теплое обмундирование.

Но в целом революционный дух и сознательная дисциплина в Вольской дивизии крепка, места разлагающимся частям нет.

Отправились вниз по Волге, в Покровск (19 сентября в 9 часов утра). Троцкий говорил по прямому проводу с Арзамасом. В 1 час 45 минут Троцкий с Хвесиным и Линдовым прибыли в Саратов. Там Троцкий выступал на многолюдном митинге в Народном дворце. Слушал доклад военрука Шарскова. Решал вопросы снабжения в губвоенкоме. Затем отправился в Николаевск (20 сентября в 11 часов 15 минут утра прибыл). Был почетный караул, шпалеры, «ура».

Решили создать другую дивизию, назвав ее второй Николаевской, назначив начальником тов. Чапаева. Командир первой бригады Чапаев долго упорствовал и не соглашался на принятие командования второй дивизией: «Привык, свыкся». О нем говорили: «Надо сказать, что тов. Чапаев, этот степной орел, действует с начала открытия фронта исключительно партизанским способом». Распоряжений штаба не признает. Были случаи, что Чапаев уходил со своим отрядом и пропадал без вести, а возвратившись через некоторое время, доставлял трофеи и пленных. Население, по рассказам очевидцев, где появлялся Чапаев, было терроризировано. Его жестокость известна многим. Личность легендарная. Троцкий уговорил Чапаева.

Вечером выступал на митинге в театре. В селе Раевском выдал бойцам по 250 руб. Призывал: «Вперед, на Самару!». Раздавал еще отличившимся портсигары.

В селе Богородское в полку сказали, что есть перебежчики. Их поймали. Тов. Троцкий отдал распоряжение немедленно, в 24 часа образовать революционный трибунал и предать перебежчиков суду: «всех лиц, уличенных в дезертирстве, расстрелять на месте». 3-й и 4-й полки выстроили за селом. Все в разношерстной одежде, был один даже в цилиндре. Есть старики.

— Что, хочешь сражаться? — спросил одного Троцкий.

— Да, хочу.

Троцкий произнес речь с призывом: «На Самару!» Сказал о дезертирах в 1-м и 2-м полках, сказал, что сегодня будут расстреляны!

Спросил об отличившихся в бою. Сказали — 20 человек. Вывели их из строя. А подарков оказалось только 18. Последним двум красноармейцам Троцкий подарил, сняв с руки, свои часы, а последнему отдал свой браунинг. Всем велел выдать по 250 рублей. Кричали «ура». За день проехали на автомобиле 200 верст.

Высказал замечания: дивизия крепкая и горит желанием взять Самару. Плохо однако исполняют команды и приказы. Чапаев говорит: я не верю штабу и бумажек его знать не хочу...

При поездках тов. Троцкого находились фотограф и кинематограф, которые зафиксировали важные эпизоды поездки и отдельных лиц, представляющих из себя интерес для Российской Советской Республики и которые послужат политическим примером для других стран света, как борется пролетариат с игом капитала.

Старший адъютант Савин.

22 сентября 1918 года. Село Покровск, Самарской губернии» [1].

Документ интересен во многих отношениях. Можно, разумеется, стремление Троцкого эффектно «подать» себя расценить лишь как фанфаронство, славолюбие. Но, думаю, дело не только в этом. Троцкий хотел и использовал любую возможность, чтобы подчеркнуть значимость новой центральной власти, значимость верховного военного командования республики, уверенность в триумфе революции.

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 12, л. 1—10.

Каждую остановку в части, штабе, на позиции Троцкий использовал для общения с красноармейцами. Его короткие (по 20—30 минут) выступления просвещали бойцов и выдвигали конкретную военно-политическую цель. Вчерашние крестьяне, поставленные под ружье, видели в Троцком не только «начальника», но и одного из высших представителей новых властей. Записи Савина показывают, что Троцкий был неплохим психологом: раздарив все серебряные портсигары (кстати, изъятые во множестве из царского склада), Предреввоенсовета быстро находится — снимает свои часы и вынимает из кобуры свой браунинг для вручения двум последним отличившимся. А уж молва пойдет отсюда, из-за околицы приволжского села Богородское, гулять по частям фронта, обрастая новыми подробностями. Так рождаются легенды...

Троцкий все более пристально смотрелся в зеркало истории. Думаю, что еще никто из большевистских вождей не догадался возить за собой «двух секретарей», а главное — «фотографа и кинематографа», которые должны были, конечно, увековечить наркома для грядущих поколений.

Кое-кто пытался еще при жизни изобразить Троцкого «великим полководцем». Но все знали, что он не был не только полководцем, но и военным специалистом среднего уровня. Это был дилетант в военных вопросах. Когда Артур Бризбен из Чикаго попытался написать о Троцком как об одном из «величайших полководцев» (входящих в десятку лучших имен), ему, и в копии Троцкому, ответила некая Ж. Аллен: «Гражданская война велась в России главным образом офицерами старой армии, с обеих сторон. А Троцкий — агитатор, а не полководец» [1]. Предреввоенсовета сохранил в своих бумагах эту нелицеприятную, но справедливую характеристику своей особы.

На всех распоряжениях Троцкого лежит печать не столько военного человека (он им так никогда и не стал), а политика, приверженца линии большевистского руководства. Особенно обостренно Предреввоенсовета реагировал на конфликтные ситуации, связанные с межнациональными отношениями. Когда ему донесли, что в Башкирии отмечен ряд случаев мародерства частей Красной Армии по отношению к местному населению, он немедленно откликнулся грозным распоряжением по прямому проводу.

«Симбирск, Реввоенсовет. Копия — Башкирскому ревкому в Саранске.

По-видимому, неоспоримые данные свидетельствуют о преступном, зверском отношении некоторых частей армии востфронта к башкирскому населению и к башкирским войскам, перешедшим на сторону советской власти. Между тем до сих пор дело ограничивалось словесными увещеваниями. Считаю необходимой строгую и примерную расправу со всеми виновными в постыдных насилиях над башкирским народом. О принятых мерах и карах донести.

3 июля 1919 г. Предреввоенсовета Троцкий» [2].

Угроза репрессиями за невыполнение приказов была стилем руководства Председателя Реввоенсовета. В ноябре 1918 года Троцкий шлет телеграмму Военному совету 9-й армии и в копии — Ленину и Свердлову, где говорится: «...Надо железной рукой заставить начальников дивизий и командиров полков перейти в наступление какой угодно ценою. Если положение не изменится в течение ближайшей недели, вынужден буду применить к командному составу девятой армии суровые репрессии... Первого декабря требую точный список всех частей, не выполнивших боевых приказов...» [3].

В силу своего особого положения настороженно относилось к новой власти казачество, значительная часть которого поддержала Деникина. Этому способствовала террористическая политика советских властей по отношению к казачеству, которое рассматривалось как «социальная база контрреволюции». Были прямые указания центра «о полном, быстром, решительном уничтожении казачества как особой экономической группы, разрушение его хозяйственных устоев, фи-

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 475, л. 178.
[2] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 195, л. 73.
[3] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 41, л. 5.

зическое уничтожение казачьего чиновничества и офицерства, вообще всех верхов казачества...»[1]. В духе подобных указаний началось «расказачивание». Ответом было восстание людей, которые умели воевать, ибо в Российской империи на них была возложена особая роль по защите Отечества. Троцкий отдает специальный приказ по ликвидации восстания:

«...Гнезда бесчестных изменников и предателей должны быть разорены. Каины должны быть истреблены, никакой пощады станицам, которые будут оказывать сопротивление. Милость только к тем, кто добровольно сдаст оружие и перейдет на нашу сторону... В несколько дней вы должны очистить Дон от черного пятна измены...»[2].

Принятыми мерами «успокоение» было достигнуто. На волне социального террора против казачества возникло «дело Миронова», к которому Троцкий имел прямое отношение и запятнавшее его, по-видимому, навсегда.

Филипп Кузьмич Миронов добровольно встал на сторону красных, был назначен командиром Особого Донского казачьего конного корпуса, храбро сражался. Миронов встречался с Лениным, рассчитывал найти понимание партийной властью проблем казачества. Но когда начались репрессии большевиков на Дону, Миронов им решительно воспротивился. В частности, в июне 1919 года он направляет телеграмму Троцкому, Ленину и Калинину, в которой сообщает о фактах бесчинств комиссаров и особых отделов. Когда у «крестьянина,— говорится в шифровке,— имеющего семью 12 человек, отобрали быков, он запротестовал и его расстреляли», сообщает, что Особый отдел в Морозово расстрелял 67 человек, что от дел председателя одного из трибуналов Комракова «жутко становится». Характерно, что эта телеграмма после расшифровки была передана в особый отдел ВЧК...[3]. А там уже видели в нем «замаскировавшегося врага». Не завершив формирования корпуса, Миронов отправляется с ним, без приказа свыше, на фронт. Это было расценено как контрреволюционное самоуправство с целью «поднять восстание против советской власти». Миронов был арестован и по приказу Троцкого, переданному Смилге, отдан под суд военного трибунала[4]. Еще до задержания «мятежника» Троцкий в своем поезде выпустил листовку, озаглавленную «Полковник Миронов». В ней Предреввоенсовета признавал, что «при продвижении красных войск на Дон были, несомненно, совершены в разных местах отдельными советскими представителями и худшими красноармейскими частями несправедливости и даже жестокости по отношению к местному казацкому населению». Однако далее Троцкий обвиняет Миронова в попытке стать «донским наказным атаманом» и в помощи Деникину. Последние две строки написаны типичным языком гражданской войны: «В могилу Миронова история вобьет осиновый кол, как заслуженный памятник презренному авантюристу и жалкому изменнику»[5].

Военный трибунал приговорил Миронова и его товарищей к расстрелу. Однако Политбюро ЦК РКП(б) 23 октября 1919 года отменило приговор. А через десять месяцев бывший смертник назначается командующим Второй Конной Армией, которая отличилась при разгроме Врангеля. Получив предложение на новое назначение — Главным инспектором кавалерии РККА,— Миронов отправился в Москву. Однако было известно, что в публичных разговорах Миронов «не жаловал» Троцкого, выражал ему недоверие. Некий Вакулин написал на командарма донос, вновь инкриминируя ему замыслы «восстания на Дону». В феврале 1921 года Миронов был вновь арестован и препровожден в Бутырскую тюрьму. Прославленный командир пишет из камеры письма, требует справедливого разбирательства и освобождения. В письмах несколько раз не в лучшем свете упоминается Троцкий. Но все запросы остаются без ответа. Тогда командарм пишет еще одно письмо:

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 65, д. 34, л. 163—165.
[2] ЦГАСА, ф. 100, оп. 3, д. 192, л. 277.
[3] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 3, д. 2, л. 11—12.
[4] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 32, л. 407.
[5] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 3, л. 108.

«Зампредреввоенсовета Республики т. Склянскому
от командарма 2-й Конной Армии
Миронова

Заявление

Докладываю: я оклеветан. Прошу Вашего и тов. Троцкого участия в моей судьбе. В тяжкий момент для Социальной Республики я готовился отдать всего себя на службу ей и попал в Бутырскую тюрьму.

18 лет революционной борьбы. Во внимание к этому и моим боевым заслугам (особенно в Крымской кампании — приказ РВС республики от 4.XII.20 № 7078) — прошу социальной правды ко мне.

Не за себя больно, а за орден Красного Знамени, не спасший меня от клеветы.

Бутырская тюрьма 16/III-21 г. Б. Командарм 2-й Конной Миронов»[1].

Узник через две недели отсылает еще одно письмо Склянскому, где, в частности, вновь пишет: «Горе, да когда же мне будут верить! Прошу Вас доложить Льву Давидовичу т. Троцкому, что я страдаю напрасно. Жизнь медленно замирает. Я голоден. Во имя боевых заслуг моих прошу Вашего участия. Судите скорее, но не мучьте!»[2].

Храбрый казачий командир, уже немолодой, приближавшийся к пятидесяти годам, за три недели пребывания в Бутырке мог вспомнить все: юнкерское училище, свою родную станицу Усть-Медведицкую, русско-японскую и первую мировую войны, которые он прошел. Еще в 1906 году попал в опалу за революционные высказывания. На германском фронте прослыл поразительно смелым офицером, получив чин войскового старшины (подполковника) и Георгиевские кресты. Командование корпусом, армией. Революционные награды: орден, золотые часы, шашка в серебряной оправе... А сейчас, действительно, «жизнь медленно замирает».

Троцкий был знаком с письмами Миронова, но, возможно, навсегда останется тайной, причастен ли он лично и непосредственно к убийству Миронова. Дело в том, что 2 апреля бывшего командарма вывели (одного!) на прогулку в тюремный дворик, где он и был застрелен часовым с вышки. Кто распорядился убрать Миронова до суда? Велось ли расследование убийства? Документов этих в архиве нет. А письма Миронова в архиве Троцкого сохранились...

Непросто бросить Троцкому прямое обвинение в смерти Миронова, однако ясно одно: он не заступился за оклеветанного командарма, не захотел честного разбирательства. Ни он, ни Склянский, ни другие руководители не вняли крику души подследственного. Прямые обвинения Троцкого в терроре против казачества, неоднократно выдвигавшиеся бывшим войсковым старшиной, не были ему прощены. Беззаконие уже глубоко пустило корни на русской земле, охваченной ожесточенной нетерпимостью, революционным экстремизмом и фанатичной верой в собственную безгрешность. Насилие как атрибут большевистской власти прочно заняло особое место в арсенале «создателей нового мира».

Занимаясь организацией отпора и подавления контрреволюции, интервенции, Троцкий, будучи глубоко политической фигурой, тонко ощущал социальные вопросы, которые были определенным отражением общего тяжелейшего положения Советской республики. В этом смысле представляет немалый интерес написанное Троцким письмо реввоенсоветам фронтов и армий, адресованное «ко всем ответственным работникам Красной Армии и Красного Флота». Письмо озаглавлено: «Больше равенства!». На шести страницах Предреввоенсовета с большой силой поставил вопрос о социальной справедливости в армии. Позволю привести здесь некоторые идеи письма Троцкого.

В этом документе он пишет: «Сейчас мы живем в *переходную* эпоху... Мы вынуждены применять в распределении как средств, так и сил, систему *ударности*, т. е. в первую голову обеспечивать работниками и материальными средствами наиболее важные отрасли государственной работы», а это означает, что, отдавая «все для фронта», мы ослабляем просвещение, пита-

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 3, д. 61, л. 525.
[2] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 3, д. 61, л. 524.

ние, обеспечение самым необходимым рабочих и работниц. Все это понятно. Но есть люди, которые пользуются этими приоритетами в личных целях. Нужно не только учитывать, что все, что мы получаем в армии,— это за счет народа, но и в самих войсках нужно больше равенства.

Что первая пара сапог и первая шинель должны быть отданы командиру, это поймет всякий солдат... Но когда автомобиль служит для веселых прогулок на глазах усталых красноармейцев или когда командиры одеваются с кричащим щегольством на виду у полураздетых бойцов,— такого рода факты не могут не вызывать раздражения и ропота со стороны красноармейцев. Привилегия сама по себе в известных случаях является — повторяем — неизбежным, пока что неустранимым злом. Явное излишество в привилегии представляет уже не зло, а преступление... Особенно деморализующий и разлагающий армию характер имеет пользование преимуществами, связанное с нарушением существующих правил, декретов и приказов. Сюда относятся прежде всего и главным образом пирушки с выпивками, с участием женщин и проч., и проч.». Далее Троцкий заключает, что «покорный и безропотный солдат» хуже наблюдающего и критикующего, что первенство, основанное на незаконных привилегиях, подтачивает боевую мощь Красной Армии[1]. Троцкий формулирует целый перечень требований, которые должны быть выполнены военными советами фронтов и армий в русле утверждения социальной справедливости,— важного условия не только боеспособности армии, но и жизнеспособности молодого государства.

А вот как говорил Троцкий, выступая на объединенном заседании Московского Совета и представителей профессиональных союзов 26 августа 1919 года,— о своих неудачах:

«...Разумеется, товарищи, нас постигла неприятность, не военная неудача, а в полном смысле неприятность. Этот прорыв мамонтовской кавалерии. Если рассматривать этот прорыв с точки зрения кавалерийского набега, то он представляет собой, несомненно, предприятие, удачно проведенное». Троцкий не уточнил, что девятитысячный отряд генерала Мамонтова прошел в течение почти месяца Тамбовскую, Рязанскую, Тульскую, Орловскую, Воронежскую губернии, побывал в десятке городов, пытаясь поднять общее восстание против Советов и в конце концов в сентябре вновь соединился с деникинской армией. Красная пехота без конницы оказалась бессильной, чтобы блокировать и прервать рейд белого генерала. Правда, в разгар рейда Троцкий, находясь в Туле, успел издать Приказ Председателя Реввоенсовета республики № 146, озаглавленный: «На борьбу с разбойниками мамонтовской шайки». В нем, в частности, говорилось: «Предупреждаю: мамонтовская конница пройдет, Советская власть останется. Погибшие рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки будут отмщены. Контрреволюционные гады будут раздавлены. Их имущество будет конфисковано и отдано бедноте... Всякая помощь мамонтовским разбойникам, прямая или косвенная, представляет собой измену народу и карается расстрелом»[2].

После этого похода Мамонтова Троцкий выдвинул клич: «Пролетарий, на коня!».

Гражданские войны жестоки, как и их вожди. Натерпевшись от набегов неуловимых мамонтовских полков, Троцкий издает жестокий приказ:

«Предлагаю объявить премии за каждого доставленного живым или мертвым казака из мамонтовских банд. В качестве премии можно выдавать иожаное обмундирование, сапоги, часы, предметы продовольствия (несколько пудов) и проч. Кроме того все, что найдено будет при казаке, лошадь и седло, поступает в собственность поимщика...»[3].

Как будто и не существует никакой морали, а только мародерские аргументы. Сыграло или нет какую-нибудь роль подобное предложение наркомвоена, судить трудно, ясно одно, что в гражданской войне Троцкий не гнушался ничем, отбросив в сторону все «надклассовые» предрассудки.

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 306, л. 35—87.
[2] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 3, л. 68.
[3] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 229, л. 213.

А пока Троцкий говорил на заседании Моссовета, что все это «легкая кавалерийская пена и она будет смыта тем ударом, который мы направляем в основу деникинской армии». Его выступление таково, что кажется: вот разобьем Деникина — и конец войне! Начало главному — мировой революции! «Деникина мы раздавим и разобьем, а за Деникиным резервов нет. Там Закавказье, Грузия, Азербайджан, которые ждут не дождутся нас, как и Афганистан, Белуджистан, как Индия и Китай. Советская Венгрия с радиусом в 70—80 верст временно пала... Что такое 70—80 верст, которые окружали Будапешт, в сравнении с теми тысячами верст, которыми мы завладели для Советской России!.. Мы скажем нашим товарищам венграм: «Подождите, братья, подождите! Ждать осталось меньше, чем мы ждали! И, повернувшись на Восток, мы должны сказать народам Азии: «Подождите, угнетенные братья, ждать осталось меньше, чем вы думали!»[1]

Но, увы, ждать оставалось еще бесконечно долго. Не только желанная Троцкому мировая революция никак не хотела загораться, но и ослабление нажима на одном из фронтов не означало еще ликвидации смертельной хватки контрреволюции. Троцкий был прав, когда говорил, что у молодой республики не было границ, а были одни фронты. Пообещав в своей августовской речи в Москве разделаться с Деникиным, менее чем через неделю Троцкий уже выступает на экстренном заседании Петроградского Совета. Находясь в экстазе борьбы, веря, что защита Советской республики неуклонно ведет к мировому революционному пожару, Троцкий с жаром бросает слова: «...есть на западе участок, где мы не можем подаваться назад ни на одну версту, где мы не можем уступать врагу ни одного квадратного вершка территории. Этим участком является Петроградский фронт. Питер и сейчас остается нашим глазом, устремленным в Западную Европу у Балтийского моря». Троцкий убеждал слушателей, что борьба миров решится не на «финляндском квадрате, не на эстляндском квадрате», она «разрешится на поверхности всего земного шара». А «вопрос о судьбе Финляндии и о судьбе Эстляндии будет разрешен попутно». Троцкий, показывая, как империализм терзает Россию, говорит, что в этих условиях «бывают моменты, когда месть становится делом революционной целесообразности... И этот пример мы покажем на Финляндии. Она первая попадается под руку Красной Армии, которая на ней отомстит этой политике окружения... Мы пройдемся опустошительным крестовым походом против финляндской буржуазии, истребим ее с беспощадностью[2]. Троцкий убеждает слушателей, что разгром Юденича и его пособников будет означать окончательный перелом в борьбе с контрреволюцией и интервенцией.

Троцкий не наивен, а порой просто авантюрно легкомыслен. Своими речами он часто рисует не реальную, а желаемую им картину. Для него Деникин — «белогвардейская пена», Колчак — «недобиток», с которым скоро будет покончено, Юденич, Балахович и Родзянко — «кровавая пьяная троица...». Во время революции и гражданской войны Троцкий вообще много обещал своим слушателям: близкую победу, будущее благоденствие, всеобщее братство, всемирную Советскую республику...

Может быть, люди поэтому так и тянулись к нему, видя в нем счастливого пророка? А может быть, он лучше, чем кто-нибудь другой, знал, что когда голодные люди по колено в крови, им нужно обязательно что-то обещать, чем-то вдохновлять, указывать близкие, достижимые, но великие цели? В гражданской войне Троцкий, мотаясь по фронтам, действовал часто как проповедник революции, что не мешало ему порой становиться и инквизитором (революционным, разумеется!).

Когда же дело касалось конкретных стратегических вопросов, он обычно следовал советам своих помощников в Реввоенсовете, предложениям военспецов, людей, которые в отличие от него были не дилетантами, а профессионалами военного дела. Тогда же, когда Троцкий отходил от этого правила, из его уст или из-под его пера выходили планы, проекты, близкие, казалось к бредовым.

[1] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. II, с. 211—212.
[2] Там же, с. 256—260.

Направляясь в своем поезде из Бологого в Петроград, Троцкий обдумывал меры по спасению северной столицы. Нам трудно сейчас судить, под каким впечатлением или под чьим влиянием у него родилась статья «Петроград обороняется изнутри». Она была опубликована в газете «В пути» 18 октября 1919 года. Достаточно привести несколько фрагментов из нее, чтобы увидеть антистратегическое «военное» мышление Троцкого. Он пишет, что нужно покончить с Юденичем. «С этой точки зрения для нас в чисто военном отношении наиболее выгодным было бы дать юденичской банде прорваться в самые стены города, ибо Петроград нетрудно превратить в великую западню для белогвардейских войск... Прорвавшись в этот гигантский город, белогвардейцы попадут в каменный лабиринт, где каждый дом для них будет либо загадкой, либо угрозой, либо смертельной опасностью. Откуда им ждать удара? Из окна? С чердака? Из подвала? Из-за угла? — Отовсюду!

...Артиллерийский обстрел Петрограда мог бы, конечно, причинить ущерб отдельным случайным зданиям, уничтожить некоторое количество жителей, женщин, детей. Но несколько тысяч красных бойцов, расположившихся за проволочными заграждениями, баррикадами, в подвалах или на чердаках, подверглись бы в высшей степени ничтожному риску в отношении к общему числу жителей и выпущенных снарядов.

...Достаточно двух-трех дней такой уличной борьбы, чтобы прорвавшиеся банды превратились в запуганное, затравленное стадо трусов, которые группами или поодиночке сдавались бы безоружным прохожим или женщинам...» Правда, в конце статьи Троцкий говорит: «Конечно, уличные бои сопряжены со случайными жертвами, с разрушением культурных ценностей. Это одна из причин, почему полевое командование обязано принять все меры к тому, чтобы не подпустить врага к Петрограду. Но если бы полевые части не оказались на высоте и открыли бы зарвавшемуся врагу дорогу в самый Петроград, это вовсе не означало бы конца борьбы на Петроградском фронте...» [1]

Думаю, военные размышления Троцкого, изложенные в его газете, достаточно красноречиво характеризуют архиреволюционные взгляды наркомвоенмора. Троцкий принадлежал к тому типу людей, для которых цель оправдывает все: для них сама жизнь (чужая!) — н и ч т о по сравнению с целью, идеалом, мечтой.

Поезд Троцкого

На основе устных сказаний, преданий рождаются легенды. О поезде Троцкого легенд возникло много. Красноармейцы часто рассматривали прибытие поезда Троцкого как прямую военную помощь с отборным личным составом, артиллерией, боезапасами и, конечно, с легендарным «вождем Красной Армии», который личным примером добивается перелома. Командиры и комиссары усматривали в прибытии поезда особое значение их участка фронта, не без опаски ожидая возможных крутых мер Председателя Реввоенсовета. Буквально у всех — красноармейцев, комиссаров, командиров — существовала вера в то, что приезд наркома «двинет дело», поможет переломить исход борьбы на передовой. О поезде много говорили, но меньше писали. Однако сегодня мы имеем немало архивных, литературных свидетельств об этом поезде — неповторимом в своем роде символе революционного руководства фронтами гражданской войны.

Осенью 1922 года начальник Военных сообщений и снабжения РККА М. Аржанов предложил показать поезд Председателя Реввоенсовета республики на юбилейной выставке Красной Армии и Флота. Троцкий поручил «проработать» вопрос Я. Блюмкину. В декабре 1922 года Блюмкин подготовил докладную записку, в которой, в частности, сообщалось:

Предлагается на выставке открыть отдел «Поезд ПредРВСР Троцкого». Подготовить огромную схему всех рейдов поезда за четыре года. На этой схеме указать места стоянок, боев, крушений. На специальных щитах представить издания поезда и прежде всего — подшивки газеты «В пути», копии приказов, брошюр. Вывесить списки личного состава поезда, траурную доску с именами

[1] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. II, с. 265—267.

погибших в боях «поездников», выставить с почетным караулом боевые знамена поезда. Блюмкин предлагал также до открытия выставки провести «Неделю истории поезда», во время которой собрать воспоминания членов команды поезда, с заполнением специальной анкеты [1].

Через десятилетие, находясь уже на Принцевых островах в изгнании, Троцкий напишет: «Поезд мой был организован спешно в ночь с 7-го на 8-е августа 1918 г. в Москве. Наутро я отправился на нем в Свияжск на чехословацкий фронт. Поезд в дальнейшем непрерывно перестраивался, усложнялся, совершенствовался. Уже в 1918 году он представлял из себя летучий аппарат управления. В поезде работали: секретариат, типография, телеграфная станция, радио, электрическая станция, библиотека, гараж и баня.

Поезд был так тяжел, что шел с двумя паровозами. Потом пришлось разбить его на два поезда. Когда обстоятельства вынуждали дольше стоять на каком-нибудь участке фронта, один из паровозов выполнял обязанности курьера. Другой всегда стоял под парами. Фронт был подвижный, и с ним шутить было нельзя» [2].

Когда поезд был сформирован, он вначале состоял из 12 вагонов, в которых находились около 250 человек: охрана из латышских стрелков, пулеметный отряд, группа агитаторов, узел связи, команда шоферов, бригада ремонтников пути и другие специальные группы. Первым начальником поезда был Чикколини. Длительное время в поезде работали с Троцким Гусев и Смидович. В последующем, когда поезд был разбит на два состава, в него включили авиаотряд из двух самолетов, несколько автомобилей и даже оркестр [3].

Троцкий, всегда старавшийся создать себе комфортные условия, позаботился о себе и сейчас: повара, секретари, охрана, снабжение. Своим распоряжением Троцкий положил высокие оклады составу поезда, приравняв его начальника и своего секретаря к командиру дивизии...[4]. Председатель Реввоенсовета требовал, чтобы на станциях его обязательно встречали высокие должностные лица с почетным караулом. В приказе начальника поезда по этому поводу, в частности, говорилось:

«1. Чтобы у вагона Наркомвоена тов. Троцкого не скоплялись люди.

2. Чтобы при выходе Наркомвоена тов. Троцкого его не сопровождали беспорядочной кучей любые попавшиеся товарищи, а лишь для этой цели назначенные...» [5].

Республика, только родившись, создавала свои ритуалы. Их содержание диктовалось всевластием диктатуры пролетариата, обожествлявшей своих вождей. Революция, имевшая целью народовластие, стала быстро формировать когорту людей, которые говорили и действовали от имени народа. Создание поезда Троцкого, хотя и диктовалось военной необходимостью, сопровождалось многим таким, в чем можно рассмотреть сегодня атрибуты тоталитарного единовластия.

В своих рейдах Троцкий всегда требовал высокой скорости передвижения. Лица, не обеспечивавшие беспрепятственного прохода состава, сурово наказывались.

По некоторым данным за годы гражданской войны поезд Троцкого проехал более 200 тысяч километров. Особенно много поездок Троцкий совершил на Южный фронт, который, по его словам, оказался «самым упорным, самым длительным и самым опасным».

В составе поезда несколько вагонов занимали не только проверенная, отборная охрана Троцкого, в основном из числа молодых рабочих, матросов и интеллигентов, но и несколько десятков коммунистов. Часто из их состава приказом Троцкого назначались командиры и комиссары во вновь организуемые части, а иногда и заградотряды. Поезд очень тщвтельно охранялся, вагоны были бронированными, на площадках стояли пулеметы, команда поезда была до зубов вооружена. «Все носили кожаное обмундирование,— писал позже Троцкий,—

[1] См.: ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 141, л. 790—793.
[2] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 143.
[3] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 25, л. 16—44.
[4] ЦГАСА, ф. 4, оп. 7, д. 125, л. 5.
[5] ЦГАСА, ф. 4, оп. 7, д. 34, л. 60.

которое придает тяжеловесную внушительность. На левом рукаве у всех, пониже плеча, выделялся крупный металлический знак, тщательно выделанный на Монетном дворе и приобретший в армии большую популярность... Для поддержания бдительности в пути часто и днем и ночью устраивались тревоги. Вооруженные отряды сбрасывались с поезда по мере надобности, для «десантных» операций. Каждый раз появление «кожаной сотни» в опасном месте производило неотразимое действие. Чувствуя поезд в немногих километрах от линии огня, даже наиболее нервно настроенные части, и прежде всего их командный состав, тянулись из всех сил...» [1]

Между тем поезд, доставляя Троцкого с одного фронта на другой, жил своей внутренней жизнью. Некоторые ее черты, которые можно воспроизвести с помощью архивов, свидетельствуют не только о быстром формировании нового органа военного управления, но и о той значимости, которую придавал своей особе Троцкий. Деятельность многочисленной команды поезда была оговорена множеством инструкций. Например, в случае тревоги начальник поезда Вольдемар Ухенберг предписывал: «Сигналом тревоги будет служить три выстрела или три тревожных свистка паровоза... Дежурные у телефонов ни под каким предлогом не имеют права отходить от телефонов... Все, не подчиняющиеся инструкциям, будут немедленно арестованы и преданы Военно-революционному суду...» [2]. У Троцкого, кроме общей охраны поезда, была и охрана личная, фактически — телохранители. В конце 1918 года это были: В. Чернопятов, К. Субатович, Н. Шарапов, П. Крутов, Ф. Новин, А. Мазалин, Э. Тапулевич, С. Комаровский, Я. Долгис, С. Дюбиниски, В. Гудович, Ф. Клепатский...[3] Как сильно революционер ценил свою жизнь... Старший команды личной охраны Николай Шарапов занимался также на основании особого мандата «приобретением за наличный расчет продуктов для Председателя Реввоенсовета республики на стоянках поезда...» [4]. Вот, например, в Нежине была предъявлена заявка в горпродком: «Прошу отпустить в самом срочном порядке для личного питания тов. Троцкого следующие продукты: дичи свежей — 10 шт., масла сливочного — 5 ф., зелени (спаржа, шпинат, огурцы зеленые)...» [5]. Дело было 6 мая 1920 года, но «врид. начальника поезда Ирбе» требовал и спаржу, и шпинат, и огурцов зеленых. Любая власть порочна, но люди постепенно научились ограничивать ее различными рамками. Власть от имени диктатуры никаких рамок не признает. Читатель скажет, что это же мелочь (спаржа и шпинат)! Возможно — однако все трагедии тоже начинаются с мелочей.

Прибывая на ближайшую к штабу фронта или армии железнодорожную станцию, из вагонов выгружали два-три грузовых автомобиля и машину Троцкого. В поездках в части и на фронт Предреввоенсовета сопровождало обычно двадцать — тридцать красноармейцев с несколькими пулеметами. Конечно, в пути всегда имелась опасность натолкнуться на засаду банды, разъезд белой конницы. Это так. Но внимательный анализ всей боевой деятельности Л. Д. Троцкого дает возможность сделать вывод о том, что «вождь Красной Армии» (так часто именовали в печати наркомвоена) очень берег свою жизнь.

Надежда Александровна Маренникова, работавшая в секретариате Троцкого, рассказывала мне:

— Мы между собой Троцкого за его интеллигентность называли «маэстро»...

— Почему же вы решили, что Троцкий очень берег свою жизнь?

— У него почти ежедневно бывали врачи, видимо, проверяли его здоровье. Ну а главное — его всегда охраняли. Сильно охраняли. Подле него было всегда несколько охранников. У Фрунзе (я у него тоже работала) был лишь один. Незаурядный, даже выдающийся человек был Троцкий, но трусоват...

Такое вот неожиданное заключение человека, который знал Троцкого, был близок к его помощникам, особенно к Сермуксу.

[1] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 151.
[2] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 45, л. 3.
[3] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 47, л. 06.
[4] ЦГАСА, ф. 33987 оп. 2, д. 41, л. 218.
[5] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 42, л. 460.

Думаю, заключение Надежды Александровны не лишено основания. Большая часть двух железнодорожных составов была предназначена для передвижения вместе с Троцким прежде всего его личной охраны. Кроме Сталина (в будущем), никто не принимал столь исключительных мер личной охраны.

В поезде Троцкий возил с собой специальный запас сапог, кожаных курток, рубах, биноклей, часов для вручения «героическим бойцам». Это всегда в сочетании с короткой яркой речью производило большое впечатление.

По предложению и настоянию Троцкого ВЦИК учредил орден Красного Знамени. После его учреждения в сентябре 1918 года знак долго не могли изготовить. Наконец, в январе 1919 года Троцкий получил партию орденских знаков и был разочарован. Тут же телеграфировал в Москву.

«ПредЦИК Свердлову
Копия Склянскому

Орден Красного Знамени невозможен, слишком груб и снабжен таким механизмом для прикрепления на одежду, что носить его практически невозможно. Выдавать его не буду, ибо вызовет общее разочарование. Настаиваю на прекращении выделки и передаче сего дела военному ведомству. Орден ждут несколько месяцев, а получили бляху носильщика, только менее удобную. Знак должен быть в три-четыре раза меньше и сделан из лучшего материала...

Предреввоенсовета Троцкий» [1].

Возможно, посчитав, что этого указания недостаточно, тут же по прямому проводу телеграфировал Енукидзе:

«Считаю совершенно недопустимым небрежность в изготовлении ордена Красного Знамени... Все ждут, а мы неспособны изготовить орден. Рассуждать о том, насколько серебряные обойдутся дороже,— смешно. Дело идет о грошах. Необходимо знак сделать в три раза меньше. Ободок позолотить. Работу сделать более изящной...» [2]

Однако, когда орден стал «работать» как моральный стимул, кое-где его невольно стали обесценивать массовыми награждениями. Троцкий отреагировал, например, на одну из телеграмм в свой адрес — «Реввоенсовет конармии просит об отпуске трехсот орденов Красного Знамени для награждения бойцов... 19 января 1920 года. Реввоенсовет Ворошилов, Буденный, Щаденко» — следующим образом: прямо на телеграмме крупно написал: «Слишком много! Штук 50—75 можно выслать» [3]. Почувствовав, что подобная форма морального поощрения выходит из-под контроля, еще раз вернулся в своем поезде к этому вопросу: «...Те награждения, какие были сделаны Реввоенсоветом без утверждения ЦИК, представить дополнительно для утверждения...» [4]. А иногда, по принципиальным соображениям, возражал против награждения конкретных лиц. «Считаю совершенно неуместным,— телеграфировал он Склянскому,— награждение орденом Красного Знамени Тухачевского по поводу годовщины армии. Это чисто монархическая манера награждать... Тухачевский не персонифицирует армии, он должен награждаться в зависимости от своих боевых действий, а не по поводу годовщины армии...» [5]. Трудно не согласиться с этими доводами. Впрочем, на протяжении десятилетий в нашем советском государстве существовала именно «монархическая манера награждать».

Только военные советы начали награждать отличившихся, последовали запросы: как быть, если красноармеец, командир, комиссар отличились еще раз? Председатель Реввоенсовета, как всегда, подобные проблемы решал быстро и находчиво:

«Москва. Склянскому, копия ЦЕКА.

Многие из красноармейцев, особенно из летчиков, имеют орден Красного Знамени и при дальнейших подвигах создается крайне затруднительное положение в деле награждения. Единственный способ — это награждать во второй и третий разы, не выдавая ордена, а укрепляя на основном ордене маленькие

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 86, л. 92.
[2] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 86, л. 105.
[3] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 260, л. 17.
[4] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 262, л. 115.
[5] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 229, л. 31.

цифры — два, три, четыре и т. д. Предлагаю провести это в самом спешном порядке через президиум ЦИК...» [1].

Он еще не знает, что в этом же 1919 году, в ноябре, 20-го числа, Президиум ВЦИК, «проведет» в своем постановлении решение о награждении Предреввоенсовета орденом Красного Знамени. В постановлении, в частности, говорится: «Тов. Лев Давидович Троцкий, взяв на себя по поручению ВЦИК задачу организации Красной Армии, проявил в порученной ему работе неутомимость и несокрушимую энергию. Блестящие результаты увенчали его громадный труд... В дни непосредственной угрозы красному Петрограду тов. Троцкий, отправившись на Петроградский фронт, принял ближайшее участие в организации блестяще проведенной обороны Петрограда, личным мужеством вдохновляя красноармейские части на фронте под боевым огнем...» [2].

К слову сказать, Троцкий был удостоен некоторых других революционных наград. Например, в сентябре 1920 года Троцкому, Склянскому, Каменеву и Лебедеву было вручено «почетное оружие (шашки) туземного образца» [3]. Революция метила врагов свинцом, а своих героев наградами, которые изобретала в ходе кровавой сечи.

В поезде окреп костяк окружения Троцкого, без которого он был бы не в состоянии не только исполнять свои многосторонние обязанности «вождя» Красной Армии, но и непрерывно писать. В поезде наркомвоен не прекращал свои занятия литературным трудом. Большая часть написанного Троцким в поезде в годы гражданской войны вышла в 1922—1924 годах в пяти томах! Автор этих сочинений признает, что «не только литературная, но и вся остальная моя работа в поезде была бы немыслима без моих сотрудников-стенографов: Глазмана, Сермукса и более молодого Нечаева *. Они работали днем и ночью, на ходу поезда, который, нарушая в горячке войны все правила осторожности, мчался по разбитым шпалам со скоростью в семьдесят и больше километров... Я всегда с удивлением и благодарностью следил за движением руки, которая, несмотря на толчки и тряску, уверенно выводила тонкие письмена. Когда мне приносили через полчаса готовый текст, он не нуждался в поправках. Это не была обычная работа, она переходила в подвиг» [4].

Троцкий, говоря о Глазмане, Сермуксе и Нечаеве, назвал не всех своих помощников. Штат работников его секретариата и окружения был большим, как ни у кого из вождей революции. Троцкий раньше, чем другие политические, государственные деятели, понял, как много в работе зависит от интеллектуальных помощников.

Он не был бы самим собой, если бы не организовал на своем «летучем голландце» поездную газету. Прибывая в тот или иной пункт фронта, вслед за Троцким сгружали тюки с газетой «В пути», листовки, обращения, которые тут же распространялись среди красноармейцев и местного населения.

У Деникина, Колчака, Каледина, Юденича знали цену пропаганды Троцкого и пытались ей противопоставить собственную контрпропаганду. Иногда в довольно неожиданной форме. В мае 1919 года Сермукс принес в вагон Троцкого несколько экземпляров «приказа» Председателя Реввоенсовета республики, отпечатанного типографским способом, такого же формата, каким тиражировались и его подлинные распоряжения...

«После периода распродажи чуждой и ненавистной мне России я волею кронштадтских хулиганов-матросов и средствами немцев достиг высшей власти: я управляю остатками России на страх и смерть себе, на горе всех любящих Россию. Совсем безнадежны дела наши и на фронтах, которым я и счет потерял; я только вижу, как предел моего царства все уменьшается; только год прошел, а у меня нет богатой Сибири, Туркестана, весь Пермский край через неделю-другую будет утерян, Украина не хочет нас признать, Ригу потеряли,

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 359, л. 33.
[2] ЦГАСА, ф. 8, оп. 1, д. 310, л. 24.
[3] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 260, л. 124.
* Непонятно, почему Троцкий называет Глазмана и Сермукса своими стенографами; это были помощники Предреввоенсовета в полном смысле слова.
[4] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 149.

уходит Псков, а скоро и Петрограда не станет... Нам России не жаль, а посему, как и прежде, продолжать, товарищи, грабить, разорять трудовое крестьянство, разрушать промышленность, чинить насилия, бесчинства, зверства, обманы...» [1]

Внизу стояла подпись: «Лейба Троцкий-Бронштейн» с указанием всех его должностей.

Предреввоенсовета отодвинул приказ и взглянул в лицо своего давнего преданного помощника:

— А зачем срывали? Не нужно было этого делать. Кто этой фальши поверит? Нужно было рядом приклеить мой последний подлинный приказ...

— Пожалуй, вы правы, Лев Давидович...

Редакцией газеты «В пути» заведовал бывший командир Московского учебного батальона Березовский, который одновременно готовил обобщенные материалы об обстановке на фронтах для «Известий ВЦИК». Троцкий специальным предписанием приказал «всем штабам и учреждениям Военного ведомства оказывать тов. Березовскому, в пределах порученных ему задач, самое широкое содействие...» [2]

Новый редактор на первых порах сразу же стал славить в газете Председателя Реввоенсовета Республики. Но Троцкий, будучи умным человеком, быстро почувствовал, что такие лобовые панегирики в *своей* газете могут сыграть обратную роль. Он тут же охладил редактора:

«Товарищу Березовскому.

В передовой статье № 18 имеются отзывы по моему адресу. Я считаю крайне неудобным, чтобы в газете, издающейся в нашем поезде, печатались такого рода хвалебные отзывы. Вообще прошу личный момент по возможности устранить» [3].

Троцкому не нужна была мелкая похвальба. Он уже давно мыслил категориями эпох и континентов.

Негативно относясь к проявлениям тщеславия этого человека, нельзя, однако, не заметить, что историки благодаря этой слабости получили дополнительные уникальные возможности глубже заглянуть за кулисы подлинных исторических событий того времени.

Поезд обладал большой автономней, снабжался в первую очередь оружием, боеприпасами, обмундированием, продуктами. Часто — лучшего качества. Когда, например, Троцкий узнал, что еще цел царский вагон-гараж на пять машин, он тут же отдал распоряжение наркому путей сообщения передать его поезду Предреввоенсовета [4].

Члены команды поезда пользовались некоторыми неписаными льготами, которые были обусловлены особой заботой Троцкого о своем окружении: охране, секретариате, поварах, врачах и т. д. В архивных делах Предреввоенсовета много таких, например, записок:

«Предъявитель сего, член ВИКЖЕДора экстренного поезда Председателя Реввоенсовета Республики Александр Пухов действительно крайне нуждается в теплом зимнем пальто. Прошу выдать ему вне очереди ордер на право приобретения такового» [5].

Даже в грозное время войны отдельные члены поезда пользовались отпусками:

«Увольнительный билет.

Предъявитель сего сотрудник экстренного поезда Председателя Реввоенсовета Республики т. Спиридонов уволен в отпуск в гор. Петроград и его окрестности с 27 декабря с. г. по 19 января 1919 г., что подписью с приложением советской печати удостоверяется» [6].

Внизу — подпись секретаря Предреввоенсовета, коей достаточно, чтобы и в годину смуты приближенные к одному из вождей революции пользовались привилегиями и льготами.

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 142, л. 98.
[2] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 41, л. 223.
[3] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 41, л. 225.
[4] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 41, л. 183.
[5] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 41, л. 170.
[6] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 41, л. 183.

Люди слабы. Даже вожди. Власть дает им возможность наиболее близких к ним чаще, чем других, осыпать милостями, хотя обычно за счет других. Но вожди, лидеры, понимают, что так они «покупают» преданных себе помощников. У Троцкого не было друзей. Кроме жены — Натальи Ивановны Седовой. Друзей он заменял большим количеством тех людей, которых через несколько лет Сталин будет называть «обслугой». Это уже не буржуазная прислуга, а безропотная социалистическая обслуга, которая не за совесть а за страх, за привилегии холопа, возможность быть как бы «выше» простых смертных готова исполнить любую волю вождя. Даже волю злую! Троцкий один из тех, кто положил начало формированию этой многочисленной категории людей, необходимого придатка безжалостному бюрократическому Молоху.

Белые и интервенты знали о поезде Троцкого. Он несколько раз подвергался артиллерийским и авиационным налетам, состав терпел загадочные крушения. «Поезд завоевал себе ненависть врагов и гордился ею,— писал Троцкий.— Социалисты-революционеры несколько раз затевали покушение на него. Об этом подробно рассказал на процессе эсеров Семенов, организатор убийства Володарского и покушения на Ленина, участник в подготовке покушений на поезд» [1]. Все это было в порядке вещей.

Диктатура и террор

В своей последней работе «Царство духа и царство кесаря» Николай Бердяев, опираясь на богатейший опыт всей своей жизни, написал: «Революции, все революции, обнаруживают необыкновенную низость человеческой природы многих наряду с героизмом немногих. Революция — дитя рока, а не свободы... Революция в значительной степени есть расплата за грехи прошлого» [2]. И «расплата» в революциях, которые, желая устранить зло, делают это с помощью нового зла. У русских революционеров, радикальных по своему мироощущению, долгие десятилетия господствовала идея непреходящей исторической значимости диктатуры пролетариата. Безоговорочно считалось, что и в крестьянской стране, где пролетариат составлял абсолютное меньшинство, только его диктатура способна повернуть колесо истории в нужную сторону. Безапелляционная историческая правота априори, каковой якобы обладала диктатура пролетарита, автоматически оправдывала неограниченное применение насилия по отношению к ее противникам.

За рубежами отечества оказались тысячи россиян, с болью взиравших на страшную сцену гражданской войны. В большой теоретической статье, опубликованной в журнале «Русское обозрение», выходившем в Пекине, подчеркивалось, что методы Коммуны в XX веке непригодны, а попытки включить в социальный процесс неограниченное насилие ведут к уничтожению самой идеи свободы, во имя которой и совершалась революция. Мир является свидетелем начала огромной трагедии, проницательно отмечалось в журнале, «если мы вспомним ужасные эксперименты и вивисекцию на окровавленном, корчащемся теле России» [3].

На фронте действует своя логика. Необученность значительной части мобилизованных в Красную Армию крестьян, помноженная на глухое недовольство чрезвычайных мер, в сочетании с целым рядом других негативных факторов, рождали массовое дезертирство, нежелание рисковать жизнью «за Советы», неверие в конечный успех. То на одном, то на другом участке фронта не раз складывалась обстановка, когда поставленные под ружье крестьяне бросались врассыпную перед атакой офицерских рот, казачьих эскадронов, от простого панического крика «Обошли!». В этих условиях нередко не оставалось иного способа, кроме угрозы смертельной кары, возвратить бежавших на позиции. Но эти, видимо, возможные в боевой обстановке случаи военного принуждения по отношению к своим превращались в систему, обязательную норму. Троцкий такое положение считал естественным и никогда не пересматривал своих взглядов.

[1] Л. Троцкий. Моя жизнь, ч. II, с. 151.
[2] Н. Бердяев. Царство духа и царство кесаря. Париж, 1951, с. 150.
[3] «Русское обозрение». Пекин, 1921, № 5, с. 174.

В воспоминаниях он с большой долей явного цинизма и глубокой убежденности в своей правоте писал: «Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади» [1]. Для Троцкого репрессии были составной частью военного строительства, формой воспитания личного состава.

«...Одним из важнейших принципов воспитания нашей армии является неоставление без наказания ни одного проступка или преступления... Репрессии должны следовать немедленно за нарушением дисциплины, ибо репрессии имеют не самодовлеющее значение, а преследуют воспитательные, боевые задачи... Наиболее суровым карам подвергнуть за нарушение дисциплины и невыполнение приказов командиров, коммунистов...» [2]. Так считал не только Троцкий, но и другие вожди революции.

Гражданская война в России стала одним из жесточайших выражений тотального насилия. Не только в военной области, но и в экономической, социальной, духовной. Ленин, выступая 7 ноября 1918 года с речью на митинге сотрудников ВЧК, заявил: «Для нас важно, что ЧК осуществляют н е п о с р е д с т в е н н о (выделено мной.— Д. В.) диктатуру пролетариата, и в этом отношении их роль неоценима. Иного пути к освобождению масс, кроме подавления путем насилия эксплуататоров,— нет» [3].

Сегодня нам «то» насилие, видимо, осуждать просто. Было другое время, другие люди, другое мышление. Мы сильно изменились вместе со временем. А тогда все было по-другому.

«Свияжск, Троцкому.

Благодарю, выздоровление идет превосходно. Уверен, что подавление казанских чехов и белогвардейцев, а равно поддерживающих их кулаков-кровопийц, будет образцово-беспощадное. Горячий привет. Ленин» [4].

Но Троцкому приходилось устраивать «образцово-показательный» террор не только против «кулаков-кровопийц». В армию по мобилизации загоняли тысячи крестьян, многие из которых уже по нескольку лет отсидели в окопах империалистической войны. Получив землю, они совсем не пылали желанием вновь месить грязь по бесконечным дорогам, ходить в штыковые атаки, кормить вшей в солдатских казармах. Только что сформированные батальоны и полки тут же таяли. Красноармейцы разбегались по домам. Дезертирство приняло огромные масштабы.

После гражданской войны появилась интересная работа С. Оликова «Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним». Автор книги, работавший в военные годы в органах по «отлову» дезертиров, отмечает, что особенно много дезертировало солдат во второй половине 1918 года и в первой половине 1919 го. Например, только в апреле 1919 года были получены такие результаты: «Первые две недели оперативно-карательной и агитационной деятельности центральной комиссии дали 31.683 задержанных и добровольно явившихся дезертира. Следующие две недели дали 47.393 дезертира. В некоторые месяцы удавалось задерживать до ста тысяч дезертиров. Только насилие, угроза расстрела (и многих расстреливали) заставляли тысячи людей вновь возвращаться на фронт [5]. Троцкий почувствовал, что без пресечения этой эпидемии «бойкота войны» боеспособной армии ему не создать. Были созданы многочисленные комиссии по борьбе с дезертирством. 2 июня 1919 года Ленин и Склянский подписали специальное постановление совета Рабоче-Крестьянской Обороны, согласно которому добровольно не явившиеся в части (или к властям) сбежавшие бойцы «считаются врагами и предателями трудящегося народа и приговариваются к строгим наказаниям, вплоть до расстрела». Появились многочисленные инструкции по

[1] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 141.
[2] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 216, л. 174.
[3] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 174.
[4] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 403, л. 87а.
[5] С. Оликов. Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним. М., 1926, с. 27—28.

борьбе с этим бедствием, такие странные теперь (на слух) должности и органы как: «Дивизионный комдезертир», «Армкомдезертир», «Фронтовой комдезертир»[1] и т. д. Эпидемия бегства с фронта была всеохватывающей.

А. И. Деникин пишет, что он, как и командующие другими антибольшевистскими формированиями, принимал все возможные меры к тому, чтобы бывшие царские офицеры уклонялись от службы в Красной Армии. В одном приказе, подписанном Деникиным, последние строки были такими: «Всех, кто не оставит безотлагательно ряды Красной Армии, ждет проклятие народное и полевой суд Русской Армии — суровый и беспощадный»[2]. Приказ этот тайно распространялся в Советской республике, и некоторые офицеры последовали его зову. В ответ были новые беспощадные репрессии. Но это не остановило перехода бывших царских офицеров на сторону белых. Тогда Троцкий без колебаний взял на вооружение глубоко аморальный метод заложничества.

«Серпухов, реввоенсовет. Аралову.

Еще в бытность Вашу заведующим оперода Наркомвоена мною отдан был Вам приказ установить семейное положение командного состава из бывших офицеров и сообщить каждому под личную расписку, что его измена или предательство повлечет арест его семьи и что, следовательно, он сам берет на себя таким образом ответственность за судьбу своей семьи. С того времени произошел ряд фактов измены со стороны бывших офицеров, но ни в одном из этих случаев, насколько мне известно, семья предателя не была арестована, так как, по-видимому, регистрация бывших офицеров вовсе не была произведена. Такое небрежное отношение к важнейшей задаче совершенно недопустимо...

2.12.18.

Предреввоенсовета Троцкий»[3].

Решением этой «важнейшей задачи» пытались укрепить формируемую армию. Троцкий напоминал об этом не только Аралову.

«Казань. Военкомокр Межлауку.

11 дивизия обнаружила свою полную несостоятельность. Части продолжают сдаваться без сопротивления. Корень зла — в командном составе. Очевидно, Нижегородский губвоенком сосредоточил свое внимание на строевой и технической стороне дела, позабыв о политической. Предлагаю обратить сугубое внимание на привлекаемый состав, ставя на командные должности только тех бывших офицеров, семьи которых находятся в пределах Советской России, и объявляя им под личную расписку, что они сами несут ответственность за судьбу своей семьи...

Предреввоенсовета Троцкий»[4].

В течение 1918—20 годов Троцкий весьма серьезно уповал на то, что делая семьи военных специалистов фактическими заложниками, заставлял тем самым последних сражаться из-за страха за жизнь своих близких. Думаю, Троцкий понимал глубокую аморальность этих методов, но в делах, касавшихся революции, он считал нравственным все, что способствовало ее спасению. Заложниками были не только члены офицерских семей, но и сами офицеры. Немало их полегло под пулями, как только кто-то из бывших «золотопогонников» переходил на сторону белых.

Труднее было заставить сражаться основную массу бойцов. Троцкий делал особую ставку на пример коммунистов, комиссаров в бою. И эта надежда в основном оправдывалась. Но не всегда. Были нередки случаи, когда целые части снимались с позиций и бежали. Председатель Реввоенсовета Республики с одобрения Москвы принял кардинальное решение: за неустойчивыми частями выставлять заградительные отряды, которым вменялось в обязанность в случае несанкционированного отхода применять оружие по своим. Так что Сталин, учредивший заградотряды в 41—42 годах, просто воспроизвел в новых условиях опыт гражданской войны. Еще в декабре 1918 года Троцкий отдал распоряжение формировать специальные подразделения с функциями заградотрядов. При-

[1] Там же, с. 97—127.
[2] А. И. Деникин. Очерки русской смуты, том четвертый, с. 91.
[3] ЦГАСА. ф. 33987. оп. 2. д. 41. л. 62.
[4] ЦГАСА. ф. 33987. оп. 2. д. 41. л. 63.

том он не ограничивался общими указаниями, а давал и более подробные «тактические» рекомендации по работе этих карательных подразделений.

«Товарищу Иванову, начальнику заградотряда фронта.

По-видимому, во многих случаях заградительные отряды сводят свою работу к задержанию отдельных дезертиров. Между тем во время наступления роль заградительных отрядов должна быть более активной. Они должны размещаться в ближайшем тылу наших цепей и в случае надобности подталкивать сзади отстающих и колеблющихся. В распоряжении заградительных отрядов должны быть по возможности или грузовик с пулеметом, или легковая машина с пулеметом, или, наконец, несколько кавалеристов с пулеметами.

Предреввоенсовета Троцкий»[1].

Троцкий, особенно в 1918—1919 годах, настойчиво искал пути укрепления морального состояния сражающихся войск: угрозы, репрессии, поощрения, награждения, взывание к классовым инстинктам, политическое просвещение. Революция, защищая себя, не гнушалась ничем. Троцкий, рассматривая однажды очередные донесения и сводки о количестве вновь дезертировавших, под стук колес своего поезда продиктовал Познанскому такую телеграмму для передачи ее в Москву для проработки и утверждения:

«Предлагаю как меру наказания ввести для Армии и Флота черные воротники, для дезертиров, возвращенных в части, для солдат, отказавшихся от выполнения приказа, чинивших разгром и прочее. Солдаты и матросы с черными воротниками, пойманные на втором преступлении, подвергаются удвоенной каре. Черные воротники снимаются только в случае безупречного поведения или воинской доблести»[2]. Слава богу, средневековое предложение Троцкого не получило поддержки.

Троцкий безоглядно верил в эффективность насилия, террора. Фактически всю гражданскую войну трибуналы не оставались без дела. Особенно много было расстреляно в 1918—1919 годах, но и в 1920—1921 годах смертельный карательный серп собирал обильную скорбную жатву. Конечно, немало среди этих тысяч было настоящих врагов, преступников, которые, прежде чем пасть от пули чекиста или красноармейца, лишили жизни многих командиров, бойцов, просто сочувствующих Советской власти. Но основная масса расстрелянных — простые крестьяне, бежавшие из частей в свои убогие избы, не понимавшие сути всего происходящего или не хотевшие умирать за «коммуну».

Показав, что Троцкий был решительным сторонником и проводником военных репрессий на фронте, нельзя это представлять как абсолютное личное беззаконие, по крайней мере формально. Троцкий обычно действовал в рамках большевистской военной политики «с одобрения ЦК» и при помощи революционных трибуналов. В этом смысле стоит привести письмо Троцкого Реввоенсовету 2-й армии.

«Уважаемые товарищи,

из беседы с начальником и комиссаром 28 дивизии я установил, что во 2-й армии имели место случаи расстрелов без суда. Я ни на минуту не сомневаюсь, что лица, подвергнувшиеся такой каре, вполне ее заслуживали. Ручательством этого является состав реввоенсовета. Тем не менее порядок расстрела без суда совершенно недопустим (выделено мной.— Д. В.).

Разумеется, в боевой обстановке, под огнем, командиры, комиссары и даже рядовые красноармейцы могут оказаться вынужденными убить на месте изменника, предателя или провокатора, который пытается внести смуту в наши ряды. Но за вычетом этого исключительного положения во всех тех случаях, когда дело идет о каре, расстрелы без суда, без постановления трибунала никоим образом не могут быть допущены...

Предлагаю реввоенсовету 2-й армии озаботиться организацией трибунала достаточно компетентного и энергичного с выездными секциями и в то же время решительно прекратить во всех дивизиях расстрелы без судебных приговоров.

[1] ЦГАСА. ф. 33987. оп. 1. д. 87. л. 459.
[2] ЦГАСА. ф. 33987. оп. 2. д. 40. л. 308.

6 мая 1919 г. Предреввоенсовета Л. Троцкий»[1].

Документ этот появился лишь в 1919 году и стал необходим в силу того, что самосуды командиров во многих частях не были редкостью. Более того — считались обычным делом. В том же году, через два с небольшим месяца, Троцкий издает еще один приказ:

«Товарищи красноармейцы, командиры, комиссары! Пусть ваш справедливый гнев направляется только против неприятеля с оружием в руках. Щадите пленных, даже если это заведомые негодяи. Среди пленных и перебежчиков будет немало таких, которые по темноте или из-под палки вступили в деникинскую армию.

Приказываю: пленных ни в каком случае не расстреливать, а направлять в тыл по указанию ближайшего командования. О всех случаях его нарушения доносить по команде для немедленной высылки Революционного военного трибунала на место совершенного преступления»[2].

Этими документами, похоже, Троцкий пытался как-то втиснуть в русло военного закона вышедшую далеко из нравственных и правовых берегов жестокость и самоуправство. Человеческая жизнь упала в цене до нулевой отметки. Людей косил тиф, изнурял голод, соотечественники уже не один год безо всякой пощады уничтожали друг друга. Жестокость гражданской войны не могла не оставить глубочайшего следа в общественном сознании миллионов людей России. Грядущий «социализм» с самого начала рельефно будет мечен не только печатью русского исторического наследия, но особенно страшного варварства гражданской войны.

Троцкий верил, что гражданская война — лишь этап к мировой революции: «Число наших противников неисчерпаемо, и это будет продолжаться до тех пор, пока мы не перебросим нашу революцию в другие страны, пока и там власть не будет в руках рабочего класса»[3]. Война катилась к концу. Троцкий еще не знал, что с ее окончанием начнет тускнеть и его звезда, столь стремительно взмывшая к зениту после Октября 1917 года. Через пять-шесть лет одного из главных героев гражданской войны официальная историография жирной черной чертой на десятилетия удалит из своих списков...

По решению Политбюро в 1928—1930 годах был подготовлен и выпущен трехтомник «Гражданская война 1918—1921 годов». В предисловии к первому тому, написанном А. С. Бубновым, автор на протяжении почти 40 страниц умудряется ни разу не упомянуть имя Троцкого (а тот еще не был выслан и находился в Алма-Ате). Называя фамилии Кржижановского, Крицмана, Новицкого, Рыкова, других функционеров, Бубнов не счел необходимым (или возможным) хотя бы просто назвать того, кто руководил Наркоматом военных и морских дел, кто был Председателем Революционного Военного Совета!

События развивались быстро. Уже в третьем томе в 1930 году появились имена, которых совсем не было в первой книге. После подчеркивания исключительной роли В. И. Ленина в гражданской войне идет знаменательная фраза. Впрочем, судите сами: «В деле установления важнейших стратегических направлений (т. е. общего стратегического руководства) громадная роль принадлежит и ряду представителей старой большевистской гвардии, и прежде всего т. Сталину»[4]. Начался долгий, мрачный период цезаризма, сопровождавшийся циничным перекраиванием и переписыванием истории. Троцкий окончательно подпал под действие древнего римского закона «осуждения памяти». Из героя гражданской войны он превратился в ее антигероя.

---

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 32, л. 74—74об.
[2] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 3, л. 54.
[3] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. II, с. 483.
[4] Гражданская война 1918—1921 годов. Том третий. Госуд. издательство. Отдел военной литературы. М.—Л., 1930, с. 10.

(Продолжение следует).

●

Александр ЯНОВ

Истоки автократии*

Деспотизм

Уже Аристотель знал, что помимо трех правильных и трех неправильных («отклоняющихся») форм политической организации, свойственных цивилизованной Ойкумене, существует за ее пределами, в непостижимой для культурного человека тьме варварства, еще и седьмая — деспотизм. Внешне деспотизм напоминает известную цивилизованному миру тиранию, которая, по мысли Аристотеля, «есть, в сущности, та же монархия, но имеющая в виду интересы одного правителя». Однако сходство это внешне потому, что в цивилизованном мире тирания — лишь одна из преходящих форм в вечно меняющемся море политических возмущений, деспотизм же в варварском мире — **перманентен**.

Человеческий ум не в силах постичь того, как может народ терпеть тиранию перманентно. Поэтому для Аристотеля в деспотизме есть нечто нечеловеческое. И это неудивительно, если вспомнить, что концепция «варварства» была для него лишь внешнеполитическим измерением внутриполитической концепции «рабства». Ни раб, ни варвар (потенциальный раб) не могли считаться людьми, ибо первым признаком человека было для Аристотеля участие в суде и совете, т. е. в управлении обществом. Человек для него был животным политическим. Это, собственно, делает понятным, почему он не мог рассматривать деспотизм как политическую структуру. Он рассматривал ее скорее как наши современники рассматривают, скажем, проблему управления в стаде орангутанов.

Однако некий первоначальный элемент в изучение деспотизма Аристотель тем не менее вносит. В самом деле, если попробовать посмотреть на его теорию «отклонений» с современной точки зрения, мы сразу увидим, что он, по сути, имел в виду проблему дивергенции целей общественной **системы** и ее **управления**. Правильные формы у него — это те, в которых общие цели системы превалируют над частными целями управления. Неправильные — те, в которых управление подчиняет систему целям отдельных ее элементов (или — что для нас решающе важно — своим собственным автономным целям). В этом и состоит, по Аристотелю, смысл «отклонений». Олигархия, например, подчиняет систему целям социальных «верхов». Демократия, напротив,— целям «низов». Тирания подчиняет систему целям управления как такового. Таким образом, могут, по мнению Аристотеля, существовать общественные системы, живущие не ради собственных интересов, но исключительно ради интересов «одного правителя», персонифицирующего управление системы.

Читатель знает, конечно, что замечательное разнообразие политических форм, свойственное греческим полисам, оказалось в историческом смысле недолговечным. И сменилось оно вовсе не идеальной утопической политией, о которой мечтал Стагирит, и даже не республикой Платона, а монархией, которая стала доминирующей формой политической организации на столетия вперед. Но монархия эта, как и было предсказано Аристотелем, все время стремилась «отклониться». В сторону тирании. Или даже — как казалось современникам — самого «нечеловеческого» варварского деспотизма, т. е. тирании перманентной.

И точно так же, исходя из аристотелевской традиции, европейская политическая мысль на протяжении столетий делает экстраординарные усилия удержать — по крайней мере теоретически — монархию от этого рокового «отклонения». Мы можем обнаружить следы этого драматического усилия уже у английского юриста эпохи первых парламентов Брактона в XIII веке, в «Похвале английским законам» Джона Фортескью

---

* В этом номере «Октября» публикуются главы из книги Александра Янова «Происхождение автократии. Иван Грозный в русской истории». Полностью книга будет опубликована в СССР в 1991 году.

в XV, у Жана Бодена и Дю-Плесси Морне в XVI, у Мерсье де ла Ривьера в XVIII. И, наконец, когда тирания во Франции стала, казалось, необратимым фактом, итог этой теоретической борьбе подвел в своем «Духе законов» Шарль де Монтескье.

Старый мэтр был пессимистом и консерватором. Он был убежден, что дни «умеренного правления» (как называл он европейскую абсолютистскую монархию) сочтены. Что вековая борьба близится к политическому финалу, к катастрофе. «Как реки бегут слиться с морем, монархии стремятся раствориться в деспотизме»,— писал он. Единственная из всего богатства перечисленных Аристотелем правильных политических форм, последняя наследница цивилизации — европейская абсолютная монархия,— безвозвратно уходит в вечную тьму политического небытия.

Если мы не забудем, что Монтескье был родоначальником, так сказать, географического подхода к истории, что для него «умеренное правление» (как результат умеренного климата) отождествлялось с Европой, а деспотизм — с Азией, то увидим, что мы стоим здесь у истоков биполярной модели политической классификации.

Современники упрекали Монтескье, что он, собственно, не сумел дать адекватного политического описания деспотизма, ограничившись кратким афоризмом: «Когда дикари Луизианы хотят достать плод, они срезают дерево у корня и достают его — вот и все деспотическое правление». Но этот упрек справедлив лишь отчасти. На самом деле Монтескье сделал второй по важности — после Аристотеля — теоретический вывод о природе деспотизма. Он указал на его **тотальную неэффективность**, на его неспособность к политическому движению, обусловливающую его перманентную стагнацию.

Вопреки пессимизму мэтра Европа, как мы знаем, пережила XVIII век. Более того, она ответила на угрозу «отклонения» к деспотизму изобретением демократии, сделавшим возможным дальнейшее существование цивилизации. И только в середине XX века, когда ситуации тотального наступления деспотизма, казалось, суждено было повториться, сделан был третий, решающий теоретический шаг в описании этого политического феномена.

Конечно, когда Карл Виттфогель опубликовал в 50-е годы свою знаменитую в те времена книгу, которая так и называлась «Восточный деспотизм», могло показаться, что его работа была лишь своего рода исторической иллюстрацией господствовавшей политической концепции «тоталитаризма». На самом деле, даже независимо от того, согласен ли читатель с политическим экстремизмом Виттфогеля (с которым я, например, совсем не согласен), книга его впервые дала исчерпывающее и систематическое объяснение отдельным замечательным наблюдениям Аристотеля и Монтескье, Гегеля, Крижанича и Джона Стюарта Милля. Более того, она была первым, насколько я знаю, серьезным научным исследованием, специально посвященным этому феномену. У нас нет здесь возможности отдать должное этой фундаментальной работе. Остановимся поэтому (опуская спорную гипотезу о «гидравлической цивилизации», которая не кажется мне в этом контексте важной, хотя именно ею автор больше всего и гордился), лишь на важнейших теоретических заключениях Виттфогеля, касающихся природы деспотизма. Разумеется, конструируя теоретическую модель этого феномена, мы будем опираться также и на наблюдения других авторов.

1. Деспотизм основан на непосредственном бюрократическом управлении хозяйственным процессом или на тотальном распоряжении его результатами государством, что исключает экономическую самодеятельность общества и, следовательно,— по определению — экономические ограничения власти.

2. Отсутствие экономических ограничений, естественно, ведет к более или менее перманентной хозяйственной стагнации. Говоря в экономических терминах, деспотизм основан на простом воспроизводстве национального валового продукта.

3. Отсутствие того, что мы называем экономическим прогрессом, основанном на непрерывной модернизации хозяйственного процесса и на расширенном воспроизводстве, сочетается с отсутствием политической динамики, с тем, что можно было бы назвать простым политическим воспроизводством. Таким образом, подтверждается гипотеза Монтескье, согласно которой деспотизм исключает историческое движение общества.

4. Для того, чтобы существовать тысячелетия в условиях экономической и политической иммобильности, деспотизм должен был выработать и особую социальную структуру. Она характеризуется крайней упрощенностью и поляризацией общества — редуцирована до двух полярных классов: «управляющих» и «управляемых».

5. Экономической иммобильности системы соответствуют:

а) иммобильность управляемого класса, отсутствие того, что в современной социологии называется горизонтальной мобильностью населения;

б) его полная недифференцированность, при которой управлению противостоят не группы, не сословия, не классы, не какая бы то ни было форма политически дискретного общества, но абсолютно однородная масса управляемых. Равенство их перед лицом деспота постулируется.

6. Оборотной стороной этой абсолютной однородности и стабильности управляемого класса является абсолютная атомизация и нестабильность класса управляющего, т. е. полная хаотичность процесса вертикальной мобильности. Селекция руководящих кадров производится вне связи с корпоративной принадлежностью — деспотизм исключает какие бы то ни было корпорации; с привилегиями сословия — деспотизм исключает какие бы то ни было наследственные привилегии; с богатством или способностями — сегодняшний богач может завтра стать нищим, а слишком способные люди могут представлять опасность власти деспота. Деспотизм не знает того, что можно назвать категорией «политической смерти». Т. е., совершив служебную ошибку, любой член управляющего класса независимо от его ранга расплачивался за нее, как правило, не только потерей привилегий, связанных с его служебным положением, не только нажитым им богатством, но и головой. Ошибка равнялась смерти. Таким образом атомизированная, всю жизнь бродящая по минному полю капризов деспота нестабильная элита деспотизма никогда не могла превратиться в аристократию, т. е. в наследственную и потому независимую от власти элиту, способную заставить систему считаться со своими целями или даже подчинить ее своим целям. Отсутствие наследственных привилегий исключало даже первичную форму социальных ограничений власти. Иначе говоря, независимость деспота не только от класса управляемых, но и от класса управляющих оказывалась абсолютной. Это подтверждает гипотезу Аристотеля о деспотизме как перманентной тирании, при которой система «имеет в виду интересы одного правителя».

7. Первым, насколько я знаю, обратил внимание на роль социальных ограничений власти (т. е. существования наследственной аристократии) для саморазвития системы русский мыслитель XVII века Юрий Крижанич *. На роль другой категории латентных ограничений власти — идеологических — обратил внимание тот же Шарль де Монтескье. Он прямо связывал степень устойчивости, или, как он говорил, «подверженности порче», известных ему политических структур с соблюдением или своего доминирующего «принципа». Если принципом монархии он считал «чувство чести», то принципом деспотизма полагал исключительно страх. «Умеренное правительство,— писал Монтескье, обобщая современный ему политический опыт,— может сколько ему угодно и без опасности для себя ослаблять вожжи... Но если при деспотическом правлении государь хоть на минуту опускает руки, когда он не может сразу же уничтожить людей, занимающих в государстве первые места, то все потеряно».

Но страх как принцип системы, т. е. страх универсальный, страх всех и каждого, включая самого деспота, требует, согласно Монтескье, еще одного параметра — идеологической минимизации, т. е. предельного ограничения числа идей, находящихся в обращении. «Все должно вертеться на двух-трех идеях, а новых отнюдь не нужно. Когда вы дрессируете какое-либо животное, вы очень остерегаетесь менять его учителя или приемы обучения: вы ударяете по его мозгу двумя-тремя движениями, не больше».

Таким образом, отрицание идеологических ограничений власти, идейная минимизация и стандартизация являются, согласно Монтескье, атрибутом деспотизма, лишающим управление обратной связи с системой, исключающим механизм корректировки ошибок и тем самым делающим персональную власть деспота предельно неустойчивой. Монтескье, конечно, описывает это в других терминах. Он говорит, что деспотический принцип не допускает ни рассуждений, ни возражений, ни собственных мнений у исполнителей и поэтому он более других подвержен «порче». Мало того, он «портится беспрерывно, ибо он по самой природе своей испорчен».

Что Монтескье не артикулировал достаточно ясно, это связь между отрицанием экономических и идеологических ограничений. Но ведь именно для того и нужна деспотизму идейная минимизация, чтобы самая мысль о возможности бросить вызов постоянному грабежу экономической системы не могла и возникнуть. Вот почему вынужден он взять под свой контроль не только имущественное, но и духовное достояние подданных, не только материальное но и идейное производство страны. Управляя как людьми, так и идеями, он должен обкрадывать головы своих подданных с той же тщательностью, с какой он обкрадывает их сундуки. Таким образом, грабеж идеологический оказывается лишь оборотной стороной грабежа имущественного. **Власть, отрицающая экономические ограничения, не может не отрицать ограничения идеологические.**

8. Это объясняет также чудовищную стабильность деспотических систем, ибо исключает возникновение политической

* Судьба Крижанича была горестна, как судьба всех думающих людей в Москве того времени. Хорват по национальности, выпускник католического колледжа в Риме, он всю юность мечтал о Москве. Попав в нее, наконец, в 60-е годы XVII века, он прожил в ней 16 месяцев и расплатился за свою мечту 16 годами сибирской ссылки. Во второй половине 1670-х, во время краткой «оттепели» после смерти Алексея Михайловича, он в отчаянии отпросился за границу, где сразу же (в Вене) и умер. Очевидно, жить без России он не мог, а в ней не мог жить тоже. Как и большинство его собратьев по интеллекту, он не был по достоинству оценен потомством и до сих пор его сочинения ожидают полного перевода на русский язык (написаны они были по-старославянски). Известно, что в период упомянутой «оттепели» его книга «Политика» была весьма популярна в «верхах» тогдашнего московского правительства.

оппозиции (или реформистского потенциала системы). Я имею в виду оппозицию, ставящую себе целью не персональные изменения на троне, но качественное изменение системы, основанное на альтернативной модели политической организации. Опыт победоносных массовых восстаний, например, в средневековом Китае, немедленно и рабски копировавших после победы только что разрушенную деспотическую структуру — лишь с новым персональным составом,— подтверждает заключение Виттфогеля об отсутствии в деспотических системах политической оппозиции: «Недовольные подданные... могли разгромить вооруженных защитников режима. Они могли даже свергнуть шатающееся правительство. Но в конце концов они только возрождали — и обновляли — агроменеджериальный деспотизм, некомпетентных представителей которого они устраняли. Герои знаменитого китайского бандитского романа «Чжу-ху-Чуан» не могли придумать ничего лучшего, чем устроить на своем мятежном острове миниатюрную версию той самой бюрократической иерархии, с которой они так яростно боролись». Это доказывает неспособность деспотизма к политическому саморазвитию, т. е. к качественному изменению системы. Он может быть разрушен только извне.

9. Отсутствие всех этих — латентных, как я их называю, т. е. социальных, экономических и идеологических — ограничений ведет к невозможности для деспотических структур сопротивляться подчинению частным целям деспота. Это, естественно, может вести к ошибкам, для исправления которых, как мы уже знаем, в деспотических структурах не предусмотрено никакого механизма, кроме убийства. Смерть деспота, как бы парадоксально это ни звучало, оказывается единственным средством корректировки ошибок управления. Именно огромная степень дивергенции целей, восходящая в конечном счете к полной автономии управления от системы, и делает неограниченную персональную власть деспота столь же абсолютно нестабильной, сколь абсолютно стабильной оказывается деспотизм как политическая структура.

Поэтому в фокусе политической активности деспота лежит не столько безопасность системы, сколько его персональная безопасность. Единственным способом ее обеспечить оказывается перманентный, универсальный и бесплодный террор. Я говорю «бесплодный» потому, что, будучи террористической структурой par excellence, деспотизм тем не менее начался и кончился как **структура с нестабильным лидерством**. За тысячу лет существования Византии, например, 50 ее императоров было утоплено, ослеплено или задушено — в среднем один каждые двадцать лет.

10. Естественно, одни деспоты могли уделять больше внимания хозяйственной функции государства (проявляя, по выражению Виттфогеля, «максимум рациональности правителя»), а другие — войнам и завоеваниям. Одни могли иметь успехи, а другие — испытывать поражения. Как результат этого государство могло переживать колебания, периоды подъемов и упадков. Однако никакой систематичности в смене этих периодов не наблюдается. Они так же хаотичны, как селекция руководящих кадров, как «чистки элиты», как возвышения и падения визирей, министров и фаворитов деспотов или самих этих деспотов. Т. е. предсказуема в деспотической системе только непредсказуемость.

Учитывая, что перманентная хозяйственная стагнация ставила систему в полную зависимость от стихийных бедствий и вражеских нашествий; учитывая далее, что отсутствие каких бы то ни было ограничений власти создавало вдобавок ситуацию политической непредсказуемости и хаоса, в которой каждый человек, начиная от самого деспота и до последнего крестьянина, постоянно балансировал между жизнью и смертью, можно сказать, что деспотизм был до такой степени подчинен игре стихийных сил, что напоминает скорее явление природы, нежели политическое сообщество. И в этом смысле, отказывая ему в статусе политического феномена, Аристотель как будто бы опять оказывается прав. Если может существовать нечто полярно противоположное цивилизации, это был деспотизм.

Таким вставал перед читателем XX века образ тысячелетних великих империй Востока — Египетской, Ассирийской, Китайской, Персидской, Монгольской, Византийской, Турецкой и многих, многих других. Деспотизм оказывался мертвым политическим телом. При всей суетливой пестроте дворцовых переворотов, мятежей и путчей, преторианских заговоров и янычарских бунтов он беспрерывно на протяжении тысячелетий воспроизводил себя во всей своей безжизненной целостности. Его обычный ритм был сужен до предела, до двух полярных элементов: разрушения и воссоздания самого себя. Это была закрытая система, параметры которой были жестко заданы в дохристианских тысячелетиях. Мир ее был замкнут, как планетная орбита, лишен вероятности, лишен выбора, лишен реального движения. Ему была неизвестна политическая альтернатива. В этом смысле он был призраком. Он существовал вне истории. Разумеется, он, как и все на свете, двигался. Но ведь движутся и планеты — только орбиты их постоянны.

Это был оруэлловский мир, обращенный в прошлое. Мир, который никуда не вел. Мир, который был органически не способен сам из себя, спонтанно произвести политическую цивилизацию. Мир без будущего, в котором жила и умерла большая часть человечества.

Абсолютизм

Как легко может теперь догадаться читатель, то, что я намерен предложить для классификации авторитарных политических структур (и конкретно для различения абсолютизма от деспотизма), будет концепция латентных ограничений власти, которую мы только что сконструировали, суммируя наблюдения Аристотеля, Крижанича, Монтескье, Гегеля и Виттфогеля. В самом деле, юридически все древние и средневековые авторитарные структуры неотличимы друг от друга. Т. е. источником суверенитета в них является персона властителя, которому Бог непосредственно делегировал функции управления, освободив его таким образом от какого бы то ни было контроля системы. Все они открыто провозглашают свою неограниченность. И все они одинаково на нее претендуют.

И тем не менее Джон Фортескью отличал «королевское правление» от «политического». Для Жака Бодена было существенно важно отличие монархии от «сеньориального правления». Мерсье де ла Ривьер проводил глубокое различие между «произвольным» и «легальным» деспотизмом. А Монтескье предсказывал политическую катастрофу от превращения абсолютной монархии в деспотизм. Иначе говоря, несмотря на формальное подобие всех монархических структур, современники чувствовали и видели, более того, считали жизненно важным не их сходство, но их различие. Если суммировать все их попытки, можно сказать, что они упорно пытались создать некую типологию авторитарных структур, способную служить своеобразной базой для политических рекомендаций и прогнозов. Типологию, которая, если она желала оставаться в пределах реальности, должна была основываться на чем-то отличном от юридических дефиниций (их не согласился бы признать ни один уважающий себя абсолютный монарх). Но на чем же в таком случае должна она была основываться?

В руках у средневековых политических мыслителей не было такого относительно точного критерия, своего рода политической таблицы, которой мы располагаем только теперь, в XX веке, таблицы, описывающей по крайней мере один из полюсов биполярной модели. Вот почему я намерен использовать это наше преимущество и попробовать сопоставить основные параметры европейского абсолютизма с этой таблицей. Посмотрим, что мы можем получить от такого сопоставления.

1. Абсолютизм в отличие от деспотизма не был основан ни на непосредственном бюрократическом управлении хозяйственным процессом, ни на тотальном распоряжении государством его результатами. Иначе говоря, практически он признавал экономические ограничения власти.

Хотя наиболее экстремистские его апологеты и провозглашали право королей на имущество подданных, это никогда не воспринималось как аксиома и всегда оспаривалось — как на практике, так и в теории.

На практике попытки осуществления этого права наталкивались на сопротивление системы, что кончалось часто трагически для абсолютистских монархов. Укажем лишь на самые яркие примеры такого сопротивления. Результатами его были, в частности, Великая Хартия вольностей в Англии и аналогичная ей Золотая Булла в Венгрии XIII века, отторжение от Испании ее богатейшей провинции Фландрии и Нидерландская революция XVI века, плаха, на которой сложил свою голову Карл I в XVII веке, и эшафот, на котором столетием позже окончил свою жизнь Людовик XVI *.

В теории именно экономические ограничения власти лежали в основе различия монархии от потенциальных ее «отклонений». Жан Боден — современник Ивана Грозного и автор классической апологии абсолютизма, оказавшей колоссальное влияние на всю идеологическую традицию этой структуры,— выступил в своей «Республике» не меньшим на первый взгляд радикалом, нежели Иван Грозный в своих посланиях Курбскому. Он тоже полагал, что «на земле нет ничего более высокого после Бога, нежели суверенные государи, установленные им как его лейтенанты для управления людьми», и что тот, кто «отказывает в уважении суверенному государю, отказывает в уважении самому Богу, образом которого он является на земле». Более того, существенным признаком гражданина Боден, вопреки аристотелевской традиции, считал не участие в суде и совете, а совсем даже наоборот — безусловное подчинение неограниченной власти монарха.

И при всем том имущество граждан Боден рассматривал как их неотчуждаемое достояние, в распоряжении которым они не менее суверенны, чем государь в распоряжении своим народом. И оттого брать с них налоги, представлявшие собою часть этого неотчуждаемого до-

* Именно попытки королей нарушить экономические ограничения первым делом возрождали в абсолютистском сознании образ деспотизма. Китай или Турция немедленно в таких случаях приходили на ум европейцу, ибо таков был сам ассоциативный механизм его мышления (что, на мой взгляд, не менее индикативно, чем любые документальные материалы). Рассказывают, что когда французский дипломат сослался в беседе со своим английским коллегой на известную (и вполне, надо сказать, деспотическую) декларацию Людовика XIV о богатстве королей («Все, что находится в пределах их государств, принадлежит им... и деньги, находящиеся в их казне... и те, которые они оставляют в обороте своих подданных»), то услышал в ответ надменное: «Неужели вы учились государственному праву в Турции?»

стояния, брать их без ведома и добровольного согласия граждан означало, с точки зрения Бодена, обыкновенный грабеж.

Иван Грозный с его острым полемическим темпераментом, несомненно, усмотрел бы логическое противоречие в концепции Бодена. И был бы прав. Однако в этом логическом противоречии и заключается суть феномена абсолютизма. Абсолютизм действительно был парадоксом. Но он был живым парадоксом, просуществовавшим столетия. На моем языке это означает, что, провозглашая свою неограниченность, абсолютизм тем не менее вынужден был признавать латентные ограничения власти (в данном случае экономические), не преступая, как правило, некоего невидимого и неписаного, но столь же на практике твердого, как Моисеева скрижаль, закона.

Это противоречие вносило существенную деформацию в гранитную, казалось, цельность не ограниченного по замыслу политического тела, непрестанно декларировавшего свою божественную суверенность. Вот лишь один практический комментарий к этому заключению. Современник Ивана III, французский король Франциск I, отчаянно нуждаясь в деньгах, не разграбил, допустим, Марсель, как сделал бы на его месте любой деспот (и как сделал в аналогичной ситуации Иван Грозный, разграбив Новгород), а пустил в свободную продажу судебные должности, невольно создав тем самым новую привилегированную страту — наследственных судей — и новый институт — парламенты. Уже самый тот факт, что должности эти покупали и, стало быть, доверяли правительству, факт, что даже в глубочайшие тиранические сумерки Франции эта привилегия никогда не нарушалась,— представляет собою историческое свидетельство первостепенной важности. Своего рода институциональную материализацию вроде бы эфемерного политического парадокса абсолютизма. Вот как описывал этот феномен проф. Н. Кареев: «Неограниченная монархия вынуждена была терпеть около себя самостоятельные корпорации наследственных судей: каждого из них и всех их вместе можно было, пожалуй, сослать куда угодно, но прогнать с занимаемого места было нельзя, потому что это означало бы... **нарушить право собственности**».

Как видим, Боден вовсе не был политическим фантазером. Он только суммировал реальную практику своего времени. А практика эта свидетельствовала, что абсолютизм вынужден был терпеть экономические ограничения власти.

2. Наличие экономических ограничений, развязывавшее хозяйственную самодеятельность системы, исключало перманентную стагнацию и делало абсолютизм способным к принципиальной хозяйственной модернизации и расширенному воспроизводству национального валового продукта.

3. Способность к экономическому прогрессу, свойственная абсолютистским структурам, сочеталась с их способностью к политической динамике, к тому, что можно было бы назвать расширенным политическим воспроизводством. Постепенная их трансформация в структуры демократические не оставляет в этом сомнений.

4. Вместо свойственной деспотизму редукции и поляризации общественных сил абсолютизму была присуща многоступенчатая иерархия социальных слоев. Многообразие и неравенство были его девизом.

5. Не иммобильность и однородность, а, напротив, социальная дифференциация крестьянства, непрерывная миграция его в города и, как следствие этого, урбанизация и образование сильного среднего класса были ведущими социальными процессами в абсолютистских структурах, обусловившими упомянутые многообразие и неравенство.

6. Оборотной стороной бурной горизонтальной мобильности в абсолютистских структурах была относительная упорядоченность мобильности вертикальной, опиравшаяся на социальные ограничения власти. Практически это означало, что возвышение новой бюрократической элиты абсолютизма влекло за собой не уничтожение традиционной наследственной аристократии, а конкурентную борьбу новой и старой элит. В этом заключалось одно из самых драматических отличий абсолютизма от деспотизма, для которого, как мы уже знаем, не существовало ни эллина, ни иудея и который не терпел наследственных привилегий (именно потому, что манипуляция привилегиями была одним из сильнейших рычагов власти деспота). Абсолютизм — несмотря на множество конфликтов и постоянную, иногда жестокую и кровавую борьбу элит — боролся с аристократией как с феноменом политическим, а не социальным. Он не уничтожал привилегии, он ограничивал их политическое значение. Он соглашался сосуществовать с аристократией, тогда как деспотизм не допускал ее возникновения.

Это не только обеспечивало «право на политическую смерть» членам элит (и тем самым лишало их борьбу характера вульгарной драки за физическое выживание), это создавало самую возможность политической борьбы, а стало быть, и механизм корректировки ошибок управления, не говоря уже о мощных источниках независимой мысли и независимого поведения.

В этом пункте можно, наверное, высказать осторожное предположение: так же, как существование среднего класса, бывшее функцией экономических ограничений, создавало возможность трансформации абсолютизма в демократию, так и существование аристократии, бывшее функцией ограничений социальных, предохраняло абсолютистские структуры от трансформации в деспотизм. Другими

словами, **так же, как демократия невозможна без среднего класса, так абсолютизм невозможен без аристократии.**

7. Для деспотизма, как мы говорили, идеологический грабеж был оборотной стороной грабежа имущественного. Политическая практика абсолютизма дает нам возможность доказать эту теорему, как говорят математики, от обратного. А именно: отсутствие имущественного грабежа должно было вести к отсутствию грабежа идеологического. И, действительно, не будучи подвержен перманентной «порче», не опасаясь, другими словами, поминутно за власть, абсолютизм не видел смертельной угрозы в многообразии идей. Он, стало быть, щадил не только материальный потенциал страны, но и ее потенциал мыслительный, как правило, не покушаясь на идеологическую монополию. Т. е. не исполнял наряду с административной и политической еще и идеологическую функцию.

8. Признавая латентные ограничения власти, абсолютизм тем невольно способствовал возникновению политической оппозиции, т. е. выработке альтернативных моделей политической организации. Наличие реформистского потенциала и альтернативных моделей, в свою очередь, делало возможным качественное изменение системы, ее саморазвитие.

9. Это обстоятельство исключало террор как универсальный способ управления. В Европе тоже был деспотизм, сказал как-то Герцен, но все же там никому не пришло в голову высечь Спинозу или отдать в солдаты Лессинга. Даже в Испании, больше других европейских стран «отклонившейся» к тирании, нашлось место для Сервантеса и Лопе де Веги. Англия познала тяжкую руку Генриха VIII и ужасы Марии Кровавой, но при всем том в ней были возможны «Утопия» Томаса Мора и «Новый Органон» Бэкона. Франция знала резню католиков с гугенотами, но в ней работали злоязычный Рабле и мудрый Монтень. Говорить ли о Германии, где нашлось место для блистательного Эразма?

Это не означает, конечно, что в деспотических государствах в эпохи отдельных «просвещенных деспотов» не было придворных астрономов или поэтов, иногда достигавших больших успехов в политически нечувствительных областях искусства и науки. Но, во-первых, то, что при абсолютизме было правилом, при деспотизме было исключением, то, что при абсолютизме было традицией, при деспотизме — капризом судьбы. А во-вторых, число деполитизированных, говоря современным языком, т. е. подлежащих более или менее свободному обсуждению, областей в социальном процессе абсолютизма было несопоставимо с числом таких областей в деспотических системах, где дело сводилось, главным образом, к размышлениям о бренности земного существования, воспеванию роз, любви и царствующей персоны.

Конечно, известная степень дивергенции целей управления и системы была свойственна всем авторитарным структурам без исключения. И отчасти по этой причине абсолютистские правительства постоянно находились в финансовых стрессах, в гигантских долгах и никогда не знали нормального баланса доходов и расходов. Достаточно сказать, что именно финансовая безвыходность послужила причиной созыва Долгого парламента, пославшего на плаху Карла I, равно как и генеральных штатов, закончившихся гильотинированием Людовика XVI. Конституционные учреждения Австрии тоже обязаны своим происхождением финансовому краху, соединенному с военным поражением. В начале XVIII века одни проценты по английскому государственному долгу равнялись всему расходу на армию и флот, долг Австрии в три с половиной раза превышал ее годовой доход, а долг Франции превышал его в 18 раз. Таково было беспорядочное финансовое функционирование абсолютизма, обязанное своим происхождением по большей части разорительным войнам, неквалифицированному управлению и феодальным пережиткам в организации хозяйства, очевидно, противоречившим целям системы.

Деспотизм ничего этого не знал. Он не жил за счет кредита, так как никто не поверил бы ему в долг ни гроша. Он жил за счет перманентного ограбления своего народа. И таким образом он не просто паразитировал на теле системы, как абсолютизм, он систематически **дезорганизовывал** ее, не давая ей встать на ноги.

Если у читателя могло создаться впечатление, что я пишу апологию абсолютизма, то происходит оно лишь от сопоставления его с деспотизмом. Абсолютизм был жестокой, часто кровавой и тиранической авторитарной структурой, стремившейся, насколько это было для него возможно, попирать не только политические, но и гражданские права своих подданных. Людовик XV нисколько не был лучше шаха Аббаса, и Генрих VII не был приятнее Сулеймана Великолепного. Любая авторитарная структура стремится отклониться в сторону деспотизма, как магнитная стрелка к северу. Деспотизм — ее идеал, ее мечта, ее венец. Проблема лишь в том, что для абсолютизма это было недостижимой мечтой. Лишь в том, что этот венец он никогда не мог укрепить на своей голове. Что латентные ограничения власти, которые он вынужден был терпеть, не давали ему возможности дезорганизовать систему до степени хронической стагнации.

Иначе говоря, абсолютизм **декларировал** неограниченность своей власти, деспотизм **реализовал** ее.

Нас не интересуют в данном контексте исторические истоки этого различия. Мы лишь констатируем, что **степень дивергенции целей системы и управления**

в авторитарных структурах обратно пропорциональна числу латентных ограничений, которые они вынуждены терпеть.

Я понимаю, что читателя могло на протяжении этих страниц преследовать ощущение, что я с серьезным видом сообщаю ему школьные прописи, иные из которых были известны еще ученикам Аристотеля. Получили ли мы, в самом деле, что-либо принципиально новое от всех этих методологических сопоставлений? Мы взяли две одинаково авторитарные структуры, между которыми невозможно обнаружить никакого формального юридического различия, которые на уровне политической организации походили друг на друга, как близнецы,— и, надеюсь, увидели, что в действительности перед нами были не одинаковые, но противоположные структуры. И противоположность их заключалась в том, что одна из них была обречена на саморазвитие, а другая — не способна даже на самоуничтожение.

И увидели мы это еще до того, как закончили описание концепции латентных ограничений власти. Дело в том, что, кроме упомянутых уже трех более или менее очевидных их форм — экономических, социальных и идеологических,— существует, по-видимому, и четвертый, самый глубокий и наиболее трудноуловимый пласт ограничений, на котором, как на фундаменте, зиждутся все остальные. Я определил бы его как **культурные** ограничения власти.

Ну, допустим, в какой-нибудь стране власти усматривают в волосяном покрове своих подданных, или длине их одежды, или в курении ими табака политическую проблему — мятеж и оппозицию. Допустим, что они считают своим долгом регулировать эти интимные подробности посредством полицейских мер и административных указов, хотя, честно говоря, трудно представить себе, чтобы даже такие очевидные тираны, как Генрих VIII или Людовик XVI претендовали на монопольное определение ширины фижм у придворных дам или манжет у кавалеров. Для этого в Европе существовали более тонкие механизмы в виде, скажем, общественных приличий или моды.

А вот в России, например, власти лучше знали, к сколькими перстами людям креститься, и какой длины бороды им носить, курить ли им табак, пить ли водку, желать или не желать жену ближнего своего. Царь Алексей жестоко ополчился на брадобритие, а Петр, наоборот, рассматривал бороды своих подданных как оскорбление и бунт и соглашался терпеть их только в качестве особой статьи государственного дохода. Царь Михаил строжайше запрещал употребление табака, а тот же Петр за 20 тысяч фунтов продал маркизу Кармартену монопольную привилегию отравлять никотином легкие россиян. В 1692-м издан был указ, запрещающий государственным служащим хорошо одеваться, ибо «знатно, что те служилые люди, у которых такое дорогое платье есть, делают его не от правого своего пожитку, а кражею нашея великого государя казны». Иначе говоря, настолько очевидно было властям, что от трудов праведных не наживешь палат каменных, что и непойманный заранее считался вором и сам его «пожиток» был свидетельством преступления и достаточным основанием для кары.

Дело, однако, не в подробностях. Дело в том, что народное сознание **признавало** право властей на вмешательство в детали частной жизни, что не только дом их не был их крепостью, но и бороды их не считались их собственностью, и вкусы, и мысли их им не принадлежали. Культурная традиция не выработала защитных механизмов, которые сделали бы невозможным, невыносимым, оскорбительным для их человеческого достоинства такое вмешательство государства.

И здесь мы подошли вплотную к феномену, называемому политической культурой народа.

С этой точки зрения «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» Марка Твена есть классическое исследование конфликта двух типов политических культур, волею литературного гения сошедшихся лицом к лицу. Янки поражен, что попал «в страну, где право высказывать свой взгляд на управление государством принадлежало всего лишь шести человекам из каждой тысячи. Если бы остальные 994 человека выразили свое недовольство образом правления и предложили изменить его, эта шестерка содрогнулась бы, ужаснувшись таким отсутствием верности и чести, и признала бы всех недовольных черными изменниками. Иными словами, я был акционером компании, 994 участника которой вкладывают все деньги и делают всю работу, а остальные шестеро, избрав себя несменяемыми членами правления, получают все дивиденды. Мне казалось, что 994 оставшихся в дураках должны перетасовать карты и снова сдать их».

Акционерная терминология, примененная к анализу авторитарной структуры, только кажется комичной. На самом деле она описывает положение вещей предельно точно. Демократический здравый смысл нашего янки так яростно бунтует именно оттого, что он оценивает ситуацию под углом зрения политической культуры, унаследованной им от его пуританских предков, написавших в конституции штата Коннектикут, что «вся политическая власть принадлежит народу... и народ имеет неоспоримое и неотъемлемое право во всякое время изменять форму правления, как найдет нужным».

Отдадим должное справедливому негодованию янки, но тем не менее обратим внимание на одну интересную деталь, в которой, мне кажется, заключено различие между абсолютизмом и деспотизмом. Допустим на минуту, что янки попал не

в страну короля Артура, а в страну фараона Рамзеса или султана Баязета. А там ему пришлось бы возмущаться вовсе не тем, что скажет «несменяемая шестерка» в ответ на предложение «изменить образ правления». Он был бы, очевидно, потрясен тем, что даже сама подобная мысль просто не может никому прийти в голову. Утопить султана — прекрасная идея. Задушить налогового чиновника или визиря — еще лучше. Но «изменить образ правления»? Непредставимо!

А для того, чтобы это было не только представимо, но и необходимо, нужна оппозиционная **традиция**, нужны источники независимого от власти существования, нужна изощренность политической мысли и идеологический арсенал. Короче говоря, необходимо все то, что дают латентные ограничения власти.

Разумеется, сам по себе факт их наличия еще недостаточен для того, чтобы немедленно «перетасовать карты и снова сдать их». Конституция Коннектикута, определяющая мировосприятие янки, не свалилась с неба. Она была буквально выстрадана человечеством через грязь и кровь революций и реакций, религиозных бунтов, террора и отчаяния, рабовладения и войн. Но она стала сертификатом, удостоверяющим зрелость политической культуры ее создателей, свидетельством успешного окончания ими и их народом начальной школы политической истории, т. е. их способности претворить латентные ограничения власти в открытый юридический контроль системы над управлением.

И здесь, видимо, уместно заметить, что так же, как отдельный индивид лишь с той поры становится личностью, когда способен самостоятельно выбрать свою судьбу, так и человеческий коллектив только с того момента начинает превращаться в народ, когда научается ограничивать своевластие управления и тем самым влиять на решение судеб нашей страны.

И с этого момента он уже начинает размышлять о том, что не только султан или фараон, но и сам «образ правления» ему не особенно подходит. А значит, может быть, вообще не нужно ни фараона, ни султана, ни председателя народной республики или генерального секретаря партии?

Именно в этом — в наращивании ограничений власти, превращающихся в культурную традицию,— и состоит, по-моему, политический прогресс. И политическая история — с точки зрения представленной здесь концепции — может быть истолкована как история рождения, созревания и стабилизации латентных ограничений власти, история **превращения** их в ограничения юридические.

И, следовательно, историческая функция абсолютизма состояла в том, что он явился культурной школой человечества, школой, без которой цивилизация не смогла бы продолжаться. Только пройдя эту школу, человечество оказалось способно произвести на свет такого янки, который, хоть он и напрочь забыл тернистый путь своих предков,— в случае необходимости сумеет перетасовать карты и снова сдать их.

Автократия

Попробуем теперь бросить хотя бы самый беглый взгляд на русскую политическую историю *. Примерим ее, так сказать, к только что описанным параметрам обоих полюсов биполярной концепции.

1. Была ли политическая организация России основана на тотальном распоряжении государства результатами хозяйственного процесса?

Русское государство вмешивалось в хозяйственный процесс и пыталось его регулировать. Но вмешивалось оно в него очень неравномерно. Если в эпохи Ивана Грозного, или Петра I, или ленинского «военного коммунизма», или Сталина вмешательство это было максимально, тотально, то в следующие за ними эпохи первых Романовых, или Елизаветы Петровны, или нэпа, или Хрущева оно (насколько позволял исторический контекст) **минимизировалось**. Во всяком случае, теряло свой тотальный характер.

Достаточно вспомнить разницу между эпохой Ивана Грозного и эпохой Михаила Федоровича, когда не только решения о новых налогах, но и политические и военные решения принимались на Земских соборах, заседавших иногда месяцами, чтобы этот парадокс русской политической структуры стал очевиден.

Более того, в отличие от «гидравлической цивилизации» деспотизма, вмешательство государства в хозяйственный процесс было связано в России не с примитивностью этого процесса, а как раз наоборот — с его сложностью. И чем более он усложнялся, тем активнее оно в него вмешивалось — пока в XX веке действительно не взяло его под полный контроль.

2. Этот образец пульсирующего отношения государства к экономическим ограничениям исключал перманентную стагнацию хозяйства, свойственную деспотизму. Но исключал он также более или менее поступательное развитие экономики, свойственное абсолютизму. Вместо этого Россия выработала другой — совершенно отличный от обоих образцов — **тип экономического развития, со-**

* Здесь и дальше, говоря о русской политической истории, мы будем иметь в виду только ее автократическую эпоху, т. е. время после «опричной революции» 1565 г.

четающий короткие фазы лихорадочной модернизационной активности с длинными периодами прострации.

3. Точно так же и тип политического развития России невозможно описать как простое политическое воспроизводство, свойственное деспотизму. Но, с другой стороны, он не развивался последовательно — в сторону наращивания латентных ограничений власти до степени трансформации их в ограничения политические, как это было свойственно абсолютизму. Россия выработала другой — отличный от обоих образцов — **тип политического развития, сочетающий радикальное изменение институциональной структуры с сохранением основных параметров несущей политической конструкции.**

Достаточно сравнить Россию допетровскую (с ее приказами) и послепетровскую (с ее коллегиями), дореформенную (с гипертрофией ее бюрократии) к послереформенную (с ее земствами), дореволюционную и послереволюционную (иллюстраций не требуется), чтобы уловить эту уникальную особенность ее политического процесса, которую можно было бы описать как доминанту политической наследственности над институциональной изменчивостью.

4. Редукция социальной структуры до двух полярных классов — управляющих и управляемых — никогда не была постоянным феноменом русской политической истории. Если Иван Грозный, Петр Великий, Павел I или Сталин и достигали в этом некоторого успеха, то последующие эпохи разрушали их достижения бесследно — русская социальная структура возрождала свое многообразие к неравенство.

Иначе говоря, **социальный процесс в России носил столь же пульсирующий характер, как и ее экономический и политический процессы.**

5. Горизонтальная мобильность населения в России, как правило, существенно ограничивалась государством. Но, с другой стороны, ей была чужда свойственная деспотизму полная иммобильность и однородность управляемой массы. Даже в самые мрачные времена крепостного права дифференциация крестьянства и городского населения все-таки не прекращалась полностью, хотя она никогда не достигала той остроты и интенсивности, которая в абсолютистских структурах вела к образованию мощного «третьего сословия».

6. Но самое драматическое отличие русской политической структуры как от деспотизма, так и от абсолютизма лежит, по-моему, в особенностях процесса аристократизации русской элиты. С одной стороны, в истории России практически никогда не было свойственной деспотизму абсолютно атомизированной и нестабильной элиты. Но, с другой стороны, можно с уверенностью сказать, что в определенные эпохи управление в России стремилось к полной независимости от «верхних» классов и иногда достигало ее. Например, опричная «революция сверху» Ивана Грозного не только ликвидировала политическое значение Боярской думы (основного института, при помощи которого традиционная корпоративная аристократия влияла на принятие политических решений), но и попыталась уничтожить самую основу ее существования, ее наследственную собственность — вотчины. Со времени этой революции начинается стремительный процесс трансформации вотчин в «поместья» (условное служебное владение, аналогичное деспотическим образцам).

Однако тут не мешает вспомнить, что произошло с «поместной» системой и классом «помещиков» (постепенно вытеснившим в качестве элиты старое боярство) на дальнейших исторических путях России. А произошло следующее: помещики стали упрямо превращаться в корпоративную аристократию, а их поместья — в вотчины. Уже в Уложении 1664 г., т. е. менее столетия спустя после первой опричной революции, практически невозможно уловить различие между поместьями к вотчинами. А в XVIII веке, после новой опричной революции Петра I, новая элита подвергла управление такому яростному штурму, что для ряда женщин, последовательно сменявших друг друга — от Анны до Екатерины — на русском престоле, оказалось просто невозможно стабилизировать систему, пока они не обеспечили русской элите статус корпоративной аристократии, а поместьям — статус вотчин.

Правда, в отличие от абсолютистских структур эта новая, регенерированная русская аристократия оказалась рабовладельческой, что существенно ослабило ее политические позиции. Иначе говоря, поместья действительно превратились в вотчины, но помещики не превратились в бояр. Добившись социальной эмансипации, новая русская аристократия не смогла добиться эмансипации политической. Во всяком случае, в масштабах, сопоставимых как с русским боярством — до первой опричной революции — так к, тем более, с аристократией абсолютистских структур.

Однако в отличие от деспотизма аристократизация элиты была **органическим компонентом** русского политического процесса. Впрочем, столь же органическим его компонентом были периодические попытки ее элиминации. Например, русская помещичья аристократия, вошедшая в историю под именем дворянства, была полностью уничтожена новой опричной революцией 1917 года. И новая попытка аристократизации русской элиты в 20—30-е годы нашего столетия снова окончилась катастрофой для нее, когда Иосиф Сталин, последовательно освободившись из-под контроля современного аналога Земского собора — Центрального Комитета партии и современного аналога Боярской думы — Политбюро, физически истребил эту новую элиту в ходе седьмой, по моему счету, опричной революции.

Но и тут нелишне будет заметить, что третья катастрофа русской аристократии не смогла, как и две предыдущие, остановить самый процесс аристократизации русской элиты. Процесс, который происходил, на этот раз перед нашими глазами, в «брежневской» России.

Таким образом, можно сказать, что сам характер русского политического процесса в значительной степени определялся особенностями аристократизации элиты, ее темпом, ее формой, ее историческими катастрофами и рекессансами *.

7. Как мы говорили, особенность русской политической структуры заключалась в том, что она то отвергала, то признавала социальные и экономические ограничения власти. Однако отношение ее к идеологическим ограничениям всегда было более или менее враждебно.

Но опять-таки — более или менее. И снова мы можем увидеть здесь связь между экономическими и идеологическими ограничениями. Ибо именно эпохи террористических пароксизмов, когда режим с наибольшей интенсивностью попирал экономические ограничения, оказывались катастрофой и для русского интеллекта. И, наоборот, регулярно сменяющие их эпохи «расслабления» (или, говоря современным языком, либерализации) режима, совпадающие с терпимостью к экономическим ограничениям, смягчали и идеологический контроль. Число деполитизированных областей возрастало. Возникала почва для возрождения идеологического многообразия. Наказание за идеологическую ересь становилось более или менее сопоставимо со степенью этой ереси. Категория «политической смерти» снова и снова возрождалась в России, как это было при Алексее Михайловиче в XVII, при Елизавете Петровне в XVIII, при Александре I в XIX, при Никите Хрущеве в XX веке. И с той же регулярностью переживала в эти эпохи упадок русская цензура, что, впрочем (в отличие от абсолютизма), никогда не спасало расцветающее идейное и художественное творчество от последствий новых террористических пароксизмов, вызывавших новую деградацию идейного производства страны.

8. Политическая оппозиция, как и множество других феноменов русской истории (катастрофа русских городов, крепостное право, политические процессы и террор, крушение традиционной аристократии, отрицание латентных ограничений власти и политическая эмиграция), берет свое начало от опричной революции Ивана Грозного. Во всяком случае, именно эта революция была ее первым зарегистрированным, исторически существенным результатом. Каждый из последующих русских тиранов уничтожал оппозицию буквально физически (кроме, разумеется, политической эмиграции, оказывавшейся вне пределов его досягаемости). И каждый раз после смерти очередного тирана она словно бы возрождалась из пепла, вопреки всякой вероятности возвращаясь из небытия. Уже один этот факт говорит о том, что политическая оппозиция (точно так же, как аристократизация элиты) была — в отличие от деспотизма — органическим компонентом русского социального процесса.

Характер ее был чрезвычайно сложен, дуалистичен, как сама русская политическая культура, и заслуживает специального исследования *. Однако функция ее, состоявшая в выработке альтернативных моделей политической организации общества, оставалась на протяжении всех поколений, живших на русской земле после революции Ивана Грозного, неизменной. Это уже само по себе свидетельствует, мне кажется, как о неистребимости реформистского потенциала страны, так и о принципиальной возможности ее политического саморазвития. Тем не менее в отличие от абсолютизма русская политическая оппозиция, хотя и демонстрировала многократно свою способность **генерировать** процесс политической трансформации системы в направлении ее европеизации, никогда тем не менее не могла **стабилизировать** этот процесс. Даже самые значительные ее успехи, как возрождение аристократии в XVIII веке, как отмена крепостного права в XIX и свержение монархии в XX, неизменно приводили к обратным результатам, т. е. к новым опричным пароксизмам и новому «ужесточению» системы. Иначе говоря, действительно успешной в русской истории до сих пор была только, условно говоря, «правая» фракция оппозиции, последовательно приводившая к власти Ивана Грозного, Петра Великого, Павла I, Николая I, Александра III, Ленина, Сталина. В постоянной борьбе альтернативных стратегий государственного строительства побеждали ее стратегии. Ее модели регенерации «жестких» фаз русской политической спирали торжест-

---

* С этой точки зрения именно углубление аристократизации элиты объясняет, например, значительное смягчение обеих контрреформ в России XIX века (1825-й, 1881 г.г.) по сравнению со всеми тремя их предшественницами в XVI, XVII и XIII веках. Однако то обстоятельство, что окончательно укоренившаяся после Павла I «вторая русская аристократия» оказалась рабовладельческой (т. е. основывала свое благополучие на реакционном способе эксплуатации народного труда и даже после крушения крепостного права концентрировала в своих руках большую часть земельного фонда страны), объясняет, мне кажется, как ее политическую позицию, так и необычайно свирепый характер контрреформ XX века (1917-й и 1929 гг.). Таким образом, глубина и качество аристократизации элиты в России определяли глубину и качество политических катастроф, характеризующих специфику ее исторического процесса.

* Еще будучи в СССР, я посвятил этому сюжету трехтомную монографию «История русской политической оппозиции», которая пока остается в рукописи и часть материалов которой использована в этой книге

вовали на протяжении столетий. Именно они оказывались роковыми для всех проектов европеизации страны.

9. Периодическая смена «жестких» и «расслабленных» фаз в русском политическом процессе приводила к колебаниям в масштабах и функции террора. Если в «жестких» своих фазах русская политическая структура, уподобляясь деспотизму, становилась в основном террористической, то в «расслабленных фазах» она, уподобляясь абсолютизму, употребляла террор только в качестве исключения и только по отношению к тем, чье поведение могло рассматриваться как угроза существующему режиму. Иначе говоря, если в жестких фазах террор служил непосредственно орудием управления, то в расслабленных он служил лишь орудием самозащиты режима.

Эту разницу в функции террора в различных фазах русского политического процесса первым из русских интеллектуалов, насколько я знаю, заметил и блестяще описал русский поэт Гавриил Державин в своей знаменитой оде «К Фелице», посвященной Екатерине II.

Там можно пошептать в беседах
И, казни не боясь, в обедах
За здравие царей не пить,
Там с именем Фелицы можно
В строке описку поскоблить,
Или портрет неосторожно
Ее на землю уронить.
Там свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят,
Не щелкают в усы вельмож;
Князья наседками не клохчут,
Любимцы въявь им не хохочут
И сажей не марают рож.

Десятилетие спустя озорное державинское описание попытался строже сформулировать Николай Карамзин. «Екатерина,— писал он,— очистила самодержавие от примесов тиранства». И, наконец, уже в XX веке, пытаясь определить специфику екатерининской либерализации, Георгий Плеханов писал: «Кто не становился матушке-государыне поперек дороги, кто... не мешался в дела, до него не принадлежавшие, тот чувствовал себя спокойным». Т. е. если в жестких фазах судьба индивида, как правило, не зависела от его поведения, то в расслабленных она зависела от него. И в этой пульсации террора состояло, между прочим, еще одно отличие русской политической структуры как от деспотизма, так и от абсолютизма.

10. Мне возразят, вероятно, что и деспотизм и абсолютизм переживали свои пульсации, свои эпохи подъемов и упадков, ужесточения и расслабления режима. Это, конечно, верно. Но ни тот, ни другой не могли похвастаться столь строгой и страшной **периодичностью** этой пульсации, которая отличала русскую политическую структуру. Именно это обстоятельство поражает ее исследователя. Регулярность смены жестких и расслабленных, условно говоря, «сталинистских» и «брежневистских» фаз, наличие очевидных до осязаемости образцов и вытекающая отсюда некоторая **предсказуемость ее политического поведения** — вот что сделало ее уникальной в европейской истории. Вот откуда происходит та неизбежность и вездесущность исторических аналогий, которых так боится советская цензура и от которых не спасают ее даже самые свирепые придирки, даже попытки контролировать «неконтролируемые ассоциации», как она сама их горько называет. И вот почему, описывая, например, эпоху Ивана Грозного, историк невольно — и это прекрасно понимает каждый издатель, каждый цензор и каждый читатель — описывает вместе с тем и эпоху Сталина, так же, как, описывая эпоху Василия Шуйского, он не может не описывать эпоху Хрущева. Вот почему занятие историей в России всегда было, по существу, политической акцией и таило в себе такую очевидную опасность и для режима, к для историка.

Это обстоятельство требует объяснения. И я хочу предложить его читателю, разумеется, в форме гипотезы.

Гипотеза о политической спирали

Я постараюсь доказать следующее. При самом общем взгляде на русскую политическую историю перед нашими глазами развертывается грандиозная картина своего рода спирали, в которой один исторический цикл (виток) регулярно и периодически сменяется следующим, словно бы возвращающим систему назад, к ее исходной точке, и повторяющим основные параметры предшествующего цикла,— каждый раз на новом уровне сложности. И периодичность эта распространяется не только на сами циклы, но и на внутреннюю структуру каждого из них, на фазы, из которых они состоят.

Сравним для примера функции стартовой фазы первого цикла (1564—1584) и последнего (1929—1953), протекавшего, очевидно, перед глазами, по крайней мере некоторых из моих читателей. Я беру только эти две крайние точки именно потому, что они, по-моему, представляют наибольшие возможности для обещанного читателю моделирования.

ИВАН ГРОЗНЫЙ

1. Опричная революция, приведшая к остановке процесса европеизации страны.

2. Ликвидация латентных ограничений власти.
3. Установление террора как средства управления: ликвидация политической оппозиции, ликвидация категории «политической смерти».
4. Модернизационный взрыв: радикальная трансформация экономической, политической и институциональной структуры страны.
5. Редукция социальной структуры, образование «нового класса» управляющих.
6. Отмена права крестьян на передвижение («Юрьева дня») и связанное с этим прекращение горизонтальной мобильности управляемого класса (за исключением передвижения, контролируемого государством).
7. Связанная с ликвидацией категории «политической смерти» хаотическая интенсификация вертикальной мобильности управляющего класса (перманентные «чистки» элиты).
8. Крушение боярской аристократии.
9. Истребление интеллектуального потенциала страны, связанное с тотальной идеологической монополией государства.
10. Дивергенция целей, доходящая до степени полной автономии управления от системы.

ИОСИФ СТАЛИН

1. Сталинская «революция сверху», приведшая к разгрому нэпа (вместе со всеми надеждами на европеизацию России, которые он с собою принес).
2. Ликвидация латентных ограничений власти.
3. Установление террора как средства управления: ликвидация политической оппозиции, ликвидация категории «политической смерти».
4. Модернизационный взрыв: индустриализация, трансформация экономической и политической структуры страны.
5. Редукция социальной структуры, образование «нового класса» управляющих.
6. Коллективизация крестьянства, законодательное запрещение рабочим и служащим менять место работы и связанное с этим прекращение горизонтальной мобильности управляемого класса (за исключением передвижения, контролируемого государством).
7. Связанная с ликвидацией категории «политической смерти» хаотическая интенсификация вертикальной мобильности управляющего класса (перманентные «чистки» элиты).
8. Крушение партийной аристократии.
9. Истребление интеллектуального потенциала страны, связанное с тотальной идеологической монополией государства.
10. Дивергенция целей, доходящая до степени полной автономии управления от системы.

В этой фазе русская политическая структура как в XVI, так и в XX веке максимально уподобляется деспотизму (или, говоря современным языком, становится «тоталитарной»). Однако полностью уподобиться ему она все-таки не может. По двум причинам.

Во-первых, ужесточение режима связано не со стагнирующей экономикой, а, напротив, как мы видели, с модернизационным взрывом. Система стремительно трансформируется, пытаясь одним лихорадочным броском, тотально мобилизуя для этого все свои ресурсы, опередить окружающие ее народы.

Во-вторых, мы встречаемся здесь с еще одной, парадоксальной, на первый взгляд, закономерностью русской политической структуры. А именно с тем, что в отличие от деспотизма, будь то в древнем Египте, Китае или Византии, ни один русский тиран не мог продлить «жесткую» фазу цикла за пределы своей персональной биографии. Конец его жизни неизменно означал конец этой фазы. После Ивана Грозного не было другого Ивана Грозного. После Петра Великого не было другого Петра Великого. После Павла I не было другого Павла I. После Сталина не было другого Сталина. Очевидно, что русская политическая структура не выдерживала перманентной тирании (и в этом смысле не подходит под аристотелевское описание деспотизма). Поэтому я называю стартовую фазу цикла фазой Псевдодеспотизма.

Но почему она ее не выдерживала? Мне кажется, что наиболее правдоподобное объяснение этого феномена заключается в том, что в отличие от стагнирующей системы деспотизма мы имеем дело в России с системой принципиально динамической, которую опричная революция к модернизационный взрыв **дестабилизируют.**

Возможно, по этой причине на смену Псевдодеспотизму каждый раз после смерти очередного тирана приходила фаза Смутного времени, характеризующаяся:

1. реабилитацией жертв террора;
2. возрождением политической оппозиции;
3. связанной с этим поиском альтернативных Псевдодеспотизму моделей политической организации;
4. признанием (по крайней мере частичным) латентных ограничений власти;
5. попытками выработать гарантии от реставрации Псевдодеспотизма, т. е. изменить самую политическую структуру.

Во всяком случае, именно таковы были функции фазы Смутного времени, последовавшей за смертью Ивана Грозного (1584—1613). И таковы же были функции этой фазы после смерти Иосифа Сталина (1953—1964). Они же характеризовали аналогичные фазы после смерти Петра I*, Павла I, Николая I, Александра III.

Однако фаза Смутного времени (хотя принципиально она и открывала пути для разрыва спирали) всегда до сих пор кончалась неудачей в русской истории. Ее основная цель: трансформация латентных ограничений в какую-либо форму ограничений политических — оказывалась недостижимой. Только что возникшая из небытия, чудом пережившая ужасы тотального террора оппозиция оказывалась не в состоянии примирить внезапно пробужденные к жизни разнообразные надежды многих элит страны и ожидания ее масс. Вдруг обнаруживалось, что общественная система, выглядевшая только что такой простой и унифицированной под железной рукой тирана, на самом деле невероятно сложна. И каждый ее слой имел свои интересы, свои ожидания, свои тайные мечты. Административно-политическая элита, осатаневшая от перманентных «чисток», жаждала стабилизации своего положения и в конечном счете закрепления своих привилегий до степени аристократического статуса. Возрождающееся «третье сословие», экономическая элита, которую тошнило от иррациональности хозяйственной системы Псевдодеспотизма, жаждала независимости и радикальных реформ. Интеллектуальная элита жаждала либерализации, т. е. обуздания цензуры. Массы населения ожидали повышения жизненных стандартов. Они хотели уже не только выпить, но и закусить и приодеться.

Иначе говоря, одним нужны были «порядок» и стабилизация, другим — перемены и реформы. Как было все это совместить? Как выработать стратегию примирения управления и системы, когда система вдруг демонстрировала столь непримиримые противоречия? А без стратегии как трансформировать систему? Как выработать гарантии от реставрации Псевдодеспотизма?

Но стратегии не было.

Возьмем ли мы Бориса Годунова в конце XVI века, возьмем ли Василия Шуйского в начале или Василия Голицына в конце XVII, возьмем ли Дмитрия Голицына в XVIII веке или Дмитрия Милютина в XIX, возьмем ли Павла Милюкова и Александра Керенского или даже Николая Бухарина и Никиту Хрущева в XX веке,— мы всюду увидим ту же самую картину. Огромное желание исправить ошибки, реабилитировать жертвы и восстановить справедливость, энергию и активность в проведении реформ, порыв к свободе и порою даже тактическую изобретательность. Но в то же время увидим мы и громадную степень политической малограмотности, полную противоречивость акций, неумение учитывать ошибки своих предшественников. Одним словом, неподготовленность к коренной социально-политической трансформации страны. Увы, русские реформисты никогда не опирались на грамотный социальный анализ общества, которое они брались трансформировать, никогда не имели опыта создания работоспособных политических коалиций, так же как и четкого и ясного представления о том, в каком порядке, при помощи каких социальных сил или политических блоков эта трансформация может быть реально осуществлена. Если попытаться сформулировать это, я бы сказал, что, надеясь «перетасовать карты и сдать их снова», русские реформисты не прошли перед этим культурную школу абсолютизма, которая только и могла дать им необходимый опыт. Разве полицейская система Псевдодеспотизма могла служить школой политического мышления? Разве тотальная цензура способствовала аккумуляции социального знания? Так откуда же было взяться на Руси этому опыту, этому знанию, этому мышлению?

Вот почему эту самую яркую и драматическую фазу русского цикла, полную новых еретических идей и проектов, блистательных прозрений и горьких ошибок, дарившую России интеллектуальные взлеты и литературных гениев, воспитывавшую целые поколения оппозиционеров,— вот почему эту фазу неизменно сменяла следующая, самая длинная, бесцветная и скучная «брежневистская» фаза русского цикла.

Лозунгом этой фазы был Порядок, ее функцией была Стабилизация. Слишком долго и опасно балансировала система над исторической пропастью. Тотальный террор Псевдодеспотизма доводил ее до грани самоуничтожения. Необузданная игра реформистских и либеральных идей Смутного времени, оказываясь, с одной стороны, бессильной разорвать историческую спираль и примирить управление с системой, с другой,— вела страну в неведомое, страшное для управляющих страной выпускников академии тирании, в то, что воспринималось ими как тотальный «беспорядок». Достаточно вспомнить, что в первое Смутное время, после Ивана Грозного, страна оказалась на пороге национальной дезинтеграции, что во второе Смутное время, после Петра, больше дюжины конституционных проектов конкурировали друг с другом на русской политической арене, что до польского восстания 1863 года управление было, казалось, неспособно сопротивляться либеральным тенденциям и политический эмигрант Герцен со своим «Колоколом» буквально воспринимался в России как второе правительство, что нэп угрожал «диктатуре пролетариата» необратимым созданием мощной крестьянской буржуазии, что хрущевские реформы партийного устава грозили полной дестабилизацией правящей элиты и призраком создания внутри одной партии двухпартийной системы.

Это скольжение к «беспорядку» надо было остановить. И третья фаза останавливала его.

Она была эклектична по самой своей природе: она пыталась скомбинировать противоречившие друг другу параметры обеих своих предшественниц, пыталась совместить несовместимое, пыталась примирить террористическое наследство Псевдодеспотизма и реформистское наследство Смутного времени.

На первом ее этапе маневр был прост: отделить реформизм от либерализма. В этом смысле она напоминала шахматиста, играющего одновременно на двух досках. На первой доске она сражалась с либеральным наследством Смутного времени. На второй — старалась эксплуатировать его реформистское наследство для целей стабилизации системы. Она допускала Земские соборы после первого Смутного времени в XVII веке. Она пыталась принять облик «просвещенного абсолютизма» в XVIII веке. Она питала конституционные иллюзии при Александре I и Александре II в XIX веке, она не распустила Государственную думу при Николае II, она пыталась продлить нэп после смерти Ленина и реализовать экономическую реформу после свержения Хрущева.

Так же, как в жестких своих фазах русская политическая структура уподоблялась деспотизму (вводя тем самым в соблазн историков-деспотистов), так и в расслабленных своих фазах она уподоблялась абсолютизму (вводя тем самым в соблазн историков-абсолютистов). Однако настоящая ее тайна заключалась, кажется мне, в том, что так же, как не дано ей было стать деспотизмом, так не дано ей было стать и абсолютизмом. Поэтому третью фазу цикла было бы уместнее назвать Псевдоабсолютизмом.

Я говорю «псевдо» потому, что социальные и экономические ограничения власти неразрывно связаны с идеологическими, являются их оборотной стороной. Подавляя одни, нельзя сохранить другие. Псевдоабсолютизм пытался это делать. И в этом заключался главный его парадокс, его коренное противоречие и семя его гибели.

По мере того как мужал и зрел интеллектуальный потенциал страны, обретая опыт, которого так недоставало ему в фазе Смутного времени, управление все больше и больше усматривало в нем смертельную опасность. В XVII веке либерал Юрий Крижанич на 16 лет был сослан в Сибирь. Для Екатерины II Александр Радищев, написавший книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», был, по ее собственным словам, страшнее Пугачева — лидера массового крестьянского восстания, потрясшего Россию в XVIII веке. Либерал Александр Герцен казался во второй половине XIX века опаснее иностранного нашествия. Либерал Павел Милюков воспринимался в начале XX века как враг номер один. С либералом Андреем Сахаровым советское правительство боролось как с враждебной державой. Боролось, не понимая собственного интереса. Ибо в чем же всегда состоял этот интерес, как не в расширении и закреплении привилегий правящих верхов, не в обретении ими статуса аристократии, **т. е. в закреплении социальных ограничений власти?** И кто же, кроме интеллектуального потенциала страны, сфокусированного в оппозиции (открытой и латентной), способен был выработать стратегии государственного строительства, которые гарантировали бы ограничения власти от реставрации Псевдодеспотизма?

Вот почему, попирая идеологические ограничения, разрушая, преследуя, ссылая и изгоняя из страны ее интеллектуальный потенциал, усматривая в нем главного врага, элита Псевдоабсолютизма сама себя разоружала. Ибо, разрушая тем самым идейное производство страны, она просто оказывалась не в состоянии не только решить, но и даже поставить жизненно важные для нее проблемы. Вместо этого она откладывала их, тем самым отказываясь от реформистского наследства Смутного времени. Она все больше и больше уходила в глухую защиту. Она деформировала естественный политический и экономический процесс, фанатически фиксируясь на сохранении статус-кво. Стабилизация постепенно становилась для нее самоцелью. А в динамической системе стабилизация, ставшая самоцелью, неизбежно превращалась в деградацию. Система аккумулировала неразрешенные противоречия, накопляя горечь несвершенных надежд и взрывчатую массу обманутых ожиданий.

Это постепенное нарастание консервативности могло бы, я думаю, объяснить нам эволюцию псевдоабсолютистских режимов, скажем, во второй половине царствования Алексея Михайловича в XVII веке (с его словно бы органическим отмиранием Земских соборов), во второй половине царствования Екатерины Великой в XVIII веке (с его окончанием флирта с «просвещенным абсолютизмом»), во второй половине царствования Александра I в XIX веке (с его отказом от конституционных проектов и разгромом университетов) и, наконец,— уже в наши дни — во второй половине лидерства Брежнева.

Однако превращение стабилизации в самоцель уничтожало самый смысл этой стабилизации. Именно потому, что русская политическая структура не была деспотизмом, перманентное статус-кво было в ней невозможно. Россия оказывалась неподвластна чарам деспотической летаргии. Ошибка элиты Псевдоабсолютизма была очевидна. Она не знала русской истории. Она не подозревала, что устранение либерального крыла оппози-

* Эту фразу я пытался более или менее подробно описать в статье «Драма Смутного времени», опубликованной в Canadian American Slavic Studies, vol. 12, № 1, (spring 1978).

ции вовсе не означало исключение оппозиции как таковой. Это был обман зрения, политическое заблуждение. Русская оппозиция была дуалистична по самой своей природе. И именно нарастание консервативности псевдоабсолютистских режимов, именно их очевидная неспособность решить жизненные проблемы модернизации страны — катализировали, выводили на политическую поверхность эту имманентную двойственность оппозиции. Таким образом, разгром ее левого, «европеистского» крыла означал в действительности не победу, а поражение центристских лидеров Псевдоабсолютизма. Ибо, громя левых, они тем самым активизировали и превращали правых в реальную политическую силу. А функция этого «антиевропеистского» крыла оппозиции как раз и состояла в выработке стратегии реставрации тирании. За серыми тенями торжествующих победу «стабилизации» центристских лидеров маячили черные знамена новой опричнины, несущей им гибель.

Эта новая опричнина могла, как хамелеон, принимать окраску вестернизма, как при Петре, или национализма, как при Александре III, откровенной тирании, как при Павле I, или освободительной революции, как при Ленине, идеологического изоляционизма, как при Николае I, или гулаговской индустриализации, как при Сталине, — но сущность ее от этого не менялась. Ибо сущность эта состояла в антиевропеизме, т. е. в элиминации (или в предельном для данного исторического контекста сокращении) латентных ограничений власти. Она заключалась в новой опричной революции, и, условно говоря, реставрации «сталинизма», которой предстояло устранить из политического оборота (по большей части методом простого физического уничтожения) как серую центристскую элиту, так и либеральных ее оппонентов. И вдруг оказывалось, что судьба была у них общая. Они иногда понимали его — в тюрьмах, в ссылках, в изгнании. Но сова Минервы, как говорил Гегель, всегда вылетает слишком поздно.

Такой представляется мне русская политическая спираль — образ, при помощи которого я пытаюсь описать странный — трехфазный и циклический — способ развития политической структуры русской автократии, порожденной опричной революцией Ивана Грозного четыре столетия назад.

Я отдаю себе отчет в крайней уязвимости своего исторического моделирования. Одним читателям оно может показаться недопустимым упрощением, другим — произвольной манипуляцией целыми историческими эпохами, каждая из которых, как мы знаем, имела свое неповторимо индивидуальное лицо.

Во-первых, мне и в голову не приходит утверждать, что аналогичные фазы в разных циклах русской истории были фотографическими копиями друг друга. И не приходит мне это в голову не только из-за постоянно возрастающей сложности автократической системы, но именно из-за бесконечного многообразия исторических обстоятельств и вовлеченных в них персонажей. Поэтому когда я говорю об образцах и аналогиях, я имею в виду только и исключительно **тождество функций** аналогичных фаз цикла. Действительная проблема здесь состоит лишь в том, исключает ли многообразие исторических обстоятельств и характеров упомянутое тождество. Я думаю, что историку нелегко уйти от него, сопоставляя, допустим, как мы это сделали, эпохи Ивана Грозного и Иосифа Сталина. Не легко ему было бы, наверное, игнорировать также тот странный факт, что смерть каждого очередного тирана, а не только Ивана Грозного, сопровождалась в русской истории своего рода Смутным временем. А как уйти от того замечательного обстоятельства, что вскоре после призрачного торжества стабилизации при Алексее Михайловиче действительно пришел опричник Петр, что после аналогичной эволюции Псевдоабсолютизма при Екатерине II пришел опричник Павел, что после Александра I пришел опричник Николай — и так далее, семь раз подряд — вплоть до опричника Сталина?

Не взывают ли все эти столь загадочно повторяющиеся «странности» русской истории по крайней мере к размышлению, несмотря даже на то, что Николай I не походил на Петра (хотя и старался походить), а Петр на Ивана Грозного (хотя тоже старался)? О страсти, которую испытывал к Ивану Грозному Иосиф Сталин, известно в России каждому, кто умеет читать.

А если добавить к этому проницательное наблюдение Александра Гершенкрона о периодичности экономических циклов в русской истории, о постоянной смене лихорадочных модернизационных взрывов длительными эпохами прострации? Разве эти экономические циклы не требуют объяснения? И разве невозможно допустить, что они коррелируются как-то с предложенными здесь фазами русских политических циклов?

Разумеется, моя интерпретация всех этих «странностей» русской истории может рассматриваться как упрощенная, произвольная, искусственная — как угодно. Но значит ли это, что они вообще не требуют интерпретации?

Другое замечание, которое я хотел бы сделать, заключается в том, что в циклическом характере автократии не содержится, по-моему, ни грана фатализма. Как раз напротив, во второй и третьей фазах каждый цикл становился открытым для радикальной трансформации и европеизации. И много раз русская оппозиция подводила страну к самой грани такой трансформации. Достаточно вспомнить проекты Юрия Крижанича и Василия Голицына в XVII веке, реформы Верховного Тайного совета в 1725—1730 годы, конституционные проекты Михаила Сперанского, Великую реформу 1861-го и, наконец, Февральскую революцию 1917-го. Единственное, что я в этой связи утверждаю: если бы такая трансформация действительно произошла, русская политическая структура утратила бы свой циклический характер. Просто оттого, что она перестала бы быть автократией.

Опричнина

Попытаюсь объяснить, как я себе представляю происхождение русской автократии. Пришло время остановиться хотя бы кратко на опричнине Ивана Грозного. На самой первой русской опричнине, той единственной, которая, собственно, и называется в историографии этим именем.

Царь Иван буквально разрубил страну на две части — Землю (Земщину) и Опричнину — каждую со своим правительством, со своей столицей, со своей казной и своей армией. В литературе нет более живого и яркого описания этого зловещего феномена, нежели то, которое дал замечательный русский историк В. О. Ключевский. Вот оно: «Это был какой-то орден отшельников, подобно инокам от земли отрекшихся и с землей боровшихся, как иноки борются с соблазнами мира. Самый прием в опричную дружину обставлен был не то монастырской, не то конспиративной торжественностью. Князь Курбский... пишет, что царь со всей русской земли собрал себе «человеков скверных и всякими злостьми исполненных» и обязал их страшными клятвами не знаться не только с друзьями и братьями, но и с родителями, а служить единственно ему и на этом заставлял целовать крест».

«Так возникла среди густых лесов... опричная столица с дворцом, окруженным рвом и валом, со сторожевыми заставами по дорогам. В этой берлоге царь устроил дикую пародию монастыря... покрыл этих штатных разбойников монашескими скуфейками, черными рясами, сочинил для них общежительный устав, сам с царевичами по утрам лазил на колокольню звонить к заутрене, в церкви читал и пел на клиросе и клал такие земные поклоны, что со лба его не сходили кровоподтеки... после обеда любил говорить о законе, дремал или шел в застенок присутствовать при пытке заподозренных».

«Сам царь Иван смотрел на учрежденную им опричнину, как на свое частное владение, на особый двор или удел, который он выделил из состава государства... Иван как бы признавал, что вся остальная русская земля составляла ведомство Совета, состоявшего из потомков ее бывших властителей... из которых состояло московское боярство, заседавшее в земской думе».

Неопричная часть России, управлявшаяся, как прежде, аристократической боярской думой и ее административным аппаратом, была, однако, полностью отстранена от участия в политических решениях и оказалась как бы абсолютистским островом в бушующем океане окружающей ее опричнины. Я говорю «абсолютистским» потому, что латентные ограничения власти продолжали функционировать на территории земщины (по крайней мере, пока туда не вторгались опричники), в то время как на территории опричнины они существовать перестали. И в этом — в уничтожении латентных ограничений власти — состоял, по-моему, смысл опричнины как политического феномена. Ибо тогда, при самом своем начале, в короткий период «революции сверху», с 1565-го по 1572-й, опричнина была практически чудовищной формой сосуществования в одной стране деспотизма и абсолютизма.

Под этим углом зрения революция царя Ивана была попыткой превратить абсолютистскую политическую структуру в деспотизм, скопированный с византийских и татарско-турецких образцов. Попытка эта удалась и не удалась. Она не удалась в том смысле, что — вследствие сопротивления абсолютистской традиции — деспотизмом русская структура не стала. Но она и удалась в том смысле, что абсолютистская структура была деформирована до неузнаваемости, превратилась во что-то другое, до тех пор неслыханное. Поэтому можно сказать, что когда две мощных культурных традиции — европейская и татарская — схлестнулись и переплелись друг с другом в сердце одной страны на короткое историческое мгновение, результатом этого рокового объятия было крушение русского абсолютизма и сотворение русской автократии.

Однако поскольку опричнина оказалась не только стартовой точкой, но и стабильной формой, своего рода сущностным ядром автократии, определившим, как мне кажется, весь последующий исторический процесс в России, есть смысл присмотреться к ней более пристально.

Когда одна из конкурирующих в общественном сознании политических традиций побеждает другую, она, естественно, стремится внедрить свою доктрину в толщу народной культуры, превратить ее из системы партийных идеологических символов в систему непосредственно культурных стереотипов. Делает она это для того, чтобы обеспечить автоматизм нужных ей поведенческих реакций. Для того, чтобы увековечить себя в самой консервативной и надежной среде, какую только представляет ей, так сказать, социальная материя, в среде глубоких и неосознаваемых, не требующих мотивировок социально-психологических стереотипов, своего рода политических безусловных рефлексов. Для этого именно и

нужна ситуация тотального террора: только при помощи такой глубокой встряски можно, по-видимому, взломать мощные защитные оболочки наличной культуры, выпотрошить их и наполнить новым содержанием. Для этого нужна была опричнина в ее качестве политической полиции и орудия тотального террора. В этом смысле опричники были штурмовиками Ивана Грозного. Царь расправился с ним так же, как в ночь длинных ножей 370 лет спустя расправился со своими опричниками Гитлер.

Но одного террора было недостаточно, чтобы совершить радикальную трансформацию политической структуры. Нужно было что-то еще. И то, что опричнина была этим «чем-то», заметили сравнительно недавно советские историки и пылкие апологеты царя Ивана П. А. Садиков и И. И. Полосин. Вот как суммировал их «счастливое открытие» академик Р. Ю. Виппер: «Опричнина представляла собой выделение из державы важнейшей группы земель для того, чтобы здесь глава государства, **не стесняясь традиционными приемами администрации,** мог развить на просторе новые, более гибкие и широкие формы управления, применить новые способы организации военной и финансовой системы; вырабатывающееся (в опричнине) устройство должно было, по мысли реформатора, служить **образцом и школой** для земщины, которая только таким обходным путем могла быть втянута в новое сложное государственное хозяйство».

Короче говоря, разделение страны оправдывалось для Виппера тем, что в результате его была создана своего рода лабораторная модель тотальной мобилизации всех ресурсов системы. Модель, которая потребовала отмены всех ограничений власти. Потребовала, чтобы ординарная администрация страны (в данном случае боярское правительство земщины) была полностью лишена политических полномочий и функций. Короче говоря, потребовала отделения политического аппарата управления от администрации. Учреждения над ординарной управленческой структурой особого института, концентрирующего в своих руках политический контроль над управляемой системой. Создания **двухслойной структуры управления, основанной на двух параллельных иерархиях власти.**

Но для чего, для какой цели понадобилось это царю Ивану? Для ведения страшной четвертьвековой Ливонской войны, не только ничего общего не имевшей с интересами системы, но и противоречившей этим интересам. Для того, чтобы, говоря на уклончивом языке Виппера, «не стесняться традиционными приемами администрации». Для того, чтобы добиться полной автономии управления от системы; институционально закрепить дивергенцию их целей.

Иначе говоря, опричнина в ее качестве прото-политической полиции понадобилась Ивану Грозному для установления тотального террора, но опричнина в ее качестве прото-политической партии понадобилась ему для институционализации разделения функций между политической и административной властями, между партией и государством, выражаясь современным языком. В этом смысле опричнина была тем изобретением царя Ивана, которое посредством тотального террора деформировало русскую политическую структуру на столетия вперед, став, говоря словами Виппера, «образцом и школой» для всех последующих режимов Псевдодеспотизма.

Точно так же, как Шарль де Монтескье изобрел разделение властей, Иван Грозный изобрел разделение функций между властями.

Разделение властей ведет, как доказано историей, к демократии. Разделение функций ведет к автократии. В этом было истинное политическое значение опричнины.

То, что первоначально опричнина была непосредственно территориальным разделением страны, автономией политики от администрации, так сказать, в пространственном измерении, относится лишь к ее исторической форме, а не к ее политической сути. Просто это была максимизация политического контроля при минимуме административных средств в средневековой общественной системе.

Петру I, полтораста лет спустя вводившему свою опричнину, никакой уже не было надобности в расслоении страны на политическую и административную части, кбо он создал концентрированный аппарат политического контроля в лице своей гвардии. Воплощением петровской опричнины был уже не псевдорыцарский орден, поставленный Иваном Грозным над боярской думой, продолжавшей пользоваться «традиционными приемами администрации», но автономия гвардии, поставленной над сенатом. Роль опричной столицы Ивана Грозного — Александровской слободы — играл при Петре Петербург — столица гвардии и бюрократии.

Еще меньше оснований было разделять страну у Ленина, поставившего партию над советами. И тем более у Сталина, воздвигшего двойную иерархию политического контроля и поставившего политическую полицию над партией. Москва Сталина объединила в себе Александровскую слободу царя Ивана и Петербург императора Петра.

Так чудовищное изобретение царя Ивана доминировало в русском прошлом на всем пространстве его истории. И когда сегодня русские диссиденты, гонимые и сосланные, говорят об опасности реставрации сталинизма, не имеют ли они на самом деле в виду, что тень Грозного царя нависла и над будущей Россией? Что, если заколдованный круг автократии снова не будет разорван, предстоит ей, быть может, новая — восьмая по счету — опричнина?

Г. ПОМЕРАНЦ

Тюремная лирика Даниила Андреева

Даниил Андреев (1906—1959) — мой современник. Я сидел на Лубянке примерно в одно время с ним, и до моей камеры дошел слух о «заговоре Андреева»... После войны Андреев продолжал работу над романом «Странники ночи», начатым раньше. Один из персонажей романа вынашивает план покушения на Сталина. Об этом донесли... Роман был интерпретирован как заговор, слушатели после известных мер признали себя участниками заговора... Но я не нахожу современных аналогий к поэтическому миру, созданному Андреевым. Это не сказка, как у Толкиена или Энде. Скорее — нечто вроде «Хождения Богородицы по мукам» или «Божественной комедии». Однако даже средневековые аналогии не совсем точны: и «Хождение», и «Комедия» — гораздо более выстроенные, богословски обдуманные создания, поэтические фантазии в рамках сложившейся системы. А в поэмах Андреева есть непосредственность видѐния, которая ведет еще дальше в глубь веков: к VII веку (меккаиские суры Корана) и к I веку (Откровение Иоанна Богослова).

Всякое видѐние мистика расплавляет слежавшиеся пласты религиозной культуры и дает им застыть в новых кристаллах. Но степень свободы — даже измененного сознания — не одинакова. Там, где религиозная традиция имеет догматическую структуру, даже непредсказуемое, спонтанное видѐние, как правило, воссоздает ее основные черты. «Хождение Богородицы по мукам» остается в рамках православного деления на ад и рай. «Божественная комедия» сохраняет католическую систему трех загробных царств (ад, чистилище и рай). Даниил Андреев свободен от этих ограничений. Он видит и поэтически воссоздает образ посмертия, не только не православный, но и не христианский. В его мирах иных есть и Христос, и святые, и синклит русских святых, но общий порядок — скорее индуистский. Есть множество миров без второй ипостаси. Нет и суда, ни осуждения. Действует закон кармы. Под тяжестью кармы некоторые «шельты» (мигрирующая часть души) опускаются в «страдалища» и пребывают там, пока не освободятся от греха. Потом шельты подымаются вверх, в миры просветления. Этому может помочь молитва Христа и святых; но она только ускоряет процесс, а не меняет его сути. Так, Иуда после полутора тысяч лет в страдалищах, уже поднялся в первый из миров просветления, в Олирну. Он поселился на одиноком острове, над которым по ночам стоит зарево его молитв. Только немногие шельты, трижды отказавшиеся признать правоту Бога, погружаются в вечный мрак. Такова судьба шельта Сталина. Ему предстоит — самый нижний из миров возмездия: нечто вроде одной из лубянских пыток, но доведенной до метафизического предела.

Взрыв андреевского воображения был подготовлен двумя обстоятельствами: «новым религиозным сознанием» начала века и советской тюрьмой. Сейчас господствует упрощенное представление о культуре «серебряного века» как православной, противостоящей революционному атеизму. На самом деле, казенная церковь вовсе не удовлетворяла веховскую интеллигенцию. Одни (Мережковский, Розанов и др.) пытались реформировать православие и вели безуспешный диалог с иерархией; другие искали современного христианского ответа на вопросы времени в антропософии (Андрей Белый, Максимилиан Волошин). Через теософию и антропософию в русскую культуру внедрялись индийские представления. Связь Андреева с этой линией совершенно очевидна. Встреча библейской традиции с традицией Индии дала Андрееву духовную свободу, расковала силы его мистического воображения, и он создал нечто совершенно новое.

Другим условием творческого взрыва была тюрьма. Мистики иногда добровольно шли на многолетний затвор. И Андреев (в «Розе мира») благословляет Владимирскую тюрьму. Однако тюрьма, способствуя видѐниям, одновременно направила их скорее к созерцанию миров возмездия, чем света. До тюрьмы Андреев испытал поразительные прорывы к свету и несколько раз описал их. Но после долгого и мучительного лубян-

ского следствия нисходящее посмертие рисовалось ему несравненно живее и правдивее, чем восходящее. Картины страдалищ потрясающе достоверны. Чувствуется, что Андреев их действительно пережил.

В «Розе мира» дается своего рода гносеология андреевской гностики. Первая ступень — озарение. Оно обрушивается неожиданно, как удар молнии, и дает яркую, но отрывочную картину. В следующие тюремные ночи потрясенный мистик стремился вспомнить увиденное и доглядеть его, связать обрывки в стройную картину. Этот период **созерцания** уже близок к поэтической интуиции и поэтическому творчеству в обычном смысле слова. Наконец, мистик мыслит и старается построить систему — с резко возрастающей возможностью ошибок[1].

Насколько я могу судить, опираясь на собственный, очень скромный опыт, озарение, сплошь и рядом, тоже метафорично и не есть прямое «столкновение» с человеком или предметом. Такое тоже бывает, но в наиболее важных случаях мы сталкиваемся с чем-то, для чего нет ни готовых понятий, ни готовых образов, и потрясенное сознание мгновенно создает метафоры, без которых **никакого** познания не было бы, только столбняк. Таким, по-моему, был и первичный опыт Иоанна Богослова. Он увидел метафорически то, что окружающий его мир рухнет, если люди — какая-то часть людей — не преобразятся. И, действительно, без горстки преобразившихся христиан, потянувших за собой всю Римскую империю, эта империя исчезла бы без значительного следа и не смогла бы передать факела духовной культуры новым народам. «Апокалипсис» — это предупреждение наподобие пророчества Ионы, исторический выбор, увиденный в нескольких отрывочных картинах, которые св. Иоанн несомненно досматривал (как и Андреев), а затем достроил и превратил в очень сложную символическую композицию.

Метафорическое мышление создало и поэмы Андреева, и его «Розу Мира». Можно вспомнить, что мекканцы, пока они не приняли ислам, считали Мохаммеда просто поэтом; а Борис Пастернак и «Апокалипсис» включает в поэтический ряд. С другой стороны, в древней Индии священник и поэт — почти синонимы. Их творчество одновременно принадлежит религии и поэзии.

Я уже писал[2] (но стоит повторить), что Андреев любил Россию и любил обрядовую плоть православия, неразрывно связанную с русской культурой; но его «Роза мира» очень далека от православной догматики. Это очерк единой религии человечества, в которую все существующие религии войдут как лепестки одного цветка: христианство, иудаизм, ислам, буддизм, индуизм... Это поэтически-философская система, которая сегодня совершенно не исследована. Можно говорить только о подступах к андреевской вселенной. Один из таких подступов — тюремная лирика.

Еще до тюрьмы он написал одно из сильнейших своих тюремных стихотворений:

Ты осужден. Молчи. Неумолимый рок
Тебя не первого привел в сырой острог.
Дверь замурована. Но под покровом тьмы
Нащупай лестницу — не ввысь,
но в глубь тюрьмы.

Сквозь толщу мокрых стен,
сквозь крепостной редут
На берег ветреный ступени приведут.
Там волны вольные,— отчаль же!
правь! спеши!
И кто найдет тебя в морях твоей души?!
(1937)

Опыт заставил изменить детали: не сырой острог, а повапленный, т. е. подкрашенный (в доме страхового общества «Россия» — паркетные полы). Плоть стихотворения стала крепче, достоверней, но дух остался тем же:

Ты осужден. Конец. Национальный рок
Тебя недаром гнал в повапленный острог.
Сгинешь, как падаль, тут:
ни взор, ни крик, ни стон
Не проползут, змеясь, на волю сквозь
бетон.
Но тем, кто говорит, что ты лишь раб,
не верь.
В себе самом найди спасительную дверь.
Сквозь круг безмолвия,
как сквозь глухой редут,
На берег ветреный ступени приведут.

Там волны вольные! — Отчаль же!
Правь! Спеши!
И кто найдет тебя в морях твоей души?..
(50-е годы)

Задолго до тюрьмы Андреев начал готовить свой подкоп из тюрьмы времени — в вечность. И присматриваться — что там, в вечности? Куда уходят гигантские исторические и космические корни зла? Откуда — из каких глубин, больших, чем всякое зло,— льется свет, прикосновение которого он несколько раз чувствовал?

Первый образ ангела тьмы (существа женского, Велги) складывается у Андреева в 1926 году. Чувствуется влияние Блока, вообще довольно сильное в творчестве Андреева:

Вот над домами, льдами, тундрами
Все жидкой тьмою залито...
О, исходящая из сумрака!
Кто ты, Гасительница, кто?

Сейчас это стихотворение имеет две даты — 1926—1950. Оно возникло в Москве, где Михаил Булгаков вглядывался в лица Воланда и его свиты, и во Владимирской тюрьме вошло уже в законченную андреевскую мифологию.

В «Предупреждении», написанном в 1933 году, появляются географические термины андреевской преисподней: Пропулк, Ахерон (вторая дата, 1940, скорее всего опечатка).

Безучастно глаза миллионов скользнут
В дни народного горя и смут
По камням верстовым ее серых дорог
По забралам стальных этих строк.
Ее страшным мирам
Не воздвигнется храм
У Кремля, под венцом пентаграмм,
И сквозь волны времен не смогу разгадать
Ее странного культа я сам.
Но она мне дала
Два неверных крыла,
И теперь, как дождливая мгла,
Я, клубясь, обнимаю туманом души
Обескрещенные купола.
Этот сумрачный сон
Дети поздних времен
Вышьют гимном на шелке знамен,
Чтобы гибнущим сердцем изведать до дна
Ее грозный Пропулк — Ахерон.
И застонут во сне,
Задыхаясь в броне,
В ее пальцах, в ее тишине.
И никто не сумеет свой плен превозмочь
Ни мольбой,
ни в страстях,
ни в вине.
Пусть судьба разобьет
этот режущий стих —
Черный камень ночей городских,
Не постигнут потомки дорогу ее
В роковое ино-бытие.
(1933—1940 1950?).

Безусловно, до тюрьмы возникла одна из самых характерных черт миросозерцания Андреева: его антиимперский пафос. Он ощутим уже в стихотворении «Грибоедов», которое не переделывалось, осталось в своем первоначальном облике (1936):

Бряцающий напев железных строф Корана
Он слышал над собой сквозь топот
тысяч ног...
Толпа влачила труп по рынкам Тегерана,
И щебень мостовых лицо язвил и жег.
Трещало полотно, сукно рвалось и мокло,
Влачилось клочьями, тащилось бахромой...
Давно уж по глазам очков разбитых стекла
Скользнули, полосуя сознанье
вечной тьмой.
— Алла! О, инталь-ханки! — Раскатами
гремели
Хвалы, глумленье, вой — Алла! Алла! Алла!..
...Он, брошенный, лежал во рву у цитадели,
Он слушал тихий свист вороньего крыла...
О, если б этот звук,
воззвав к последним силам,
Равнину снежную напомнил бы ему,
Усадьбу, старый дом, беседу с другом милым
И парка белого мохнатую кайму.
Но если шелест крыл, щемящей каплей яда
Сознанье отравив, напомнил о другом:
Крик воронья на льду,
гранит Петрова града,
В морозном воздухе — салютов
праздный гром,—
Быть может, в этот час он понял —
слишком поздно,—
Что семя гибели он сам в себе растил,
Что сам он принял рок империи морозной:
Настиг его он здесь, но там — поработил.
Его, избранника надежды и свободы,
Чей пламень рос и креп над
всероссийским сном,
Его, зажженного самой Душой Народа,
Как горькая свеча на клиросе земном.
Смерть утолила все. За раной гаснет рана,
Чуть грезятся еще снега родных равнин...
Закат воспламенил мечети Тегерана,
И в вышине запел о Боге муэдзин.

Здесь уже все элементы будущей андреевской историософии: Душа Народа (впоследствии Навна) в плену у демона великодержавной государственности. В 1942 году в осажденном Ленинграде Андреев воочию увидит этого демона и услышит его имя: уицраор. И потеряет сознание от ужаса и отвращения. Но уже в 1936-м он знает, что поэт не должен служить государству. Ни советскому, как Маяковский, ни царскому, как Грибоедов. Что великодержавное государство демонично.

О триумфах, иллюминациях, гекатомбах,
Об овациях всенародному палачу,
О погибших
и погибающих
в катакомбах
Нержавеющий
и незыблемый
стих ищу.
Не подскажут мне закатившиеся эпохи
Злу всемирному соответствующий размер,
Но помогут
во всеохватывающем
вздохе
Ритмом выразить
величайшую
из химер.

Андреев пародирует здесь (в высоком смысле слова «пародия») «Во весь голос»; так же как в «Симфонии городского дня» пародирует «Хорошо». Ритмы Маяковского не вычеркиваются из истории, но осмысляются заново — как шаги демонов, завладевших миром.

Во Владимирской тюрьме, под неудержимым напором ночных видений, следовавших друг за другом, как морские волны одна за другой,— возникла система, изложенная впоследствии в «Розе Мира». Но до всякой прозы стали складываться стихи, стихи, стихи... Душа, раненная следствием, вырванная из своих глубин, очутилась, наконец, в мертвом покое камеры, была замурована там, изолирована от всех внешних впечатлений, и в этом советском затворе мощно заговорил внутренний ритм. Каждая язва, каждая крупинка грязи, оставшаяся в крови и плоти, стала центром процесса, напоминающего образование жемчуга, когда в плоть жемчужницы попадает песчинка.

Чудовищная изнанка мира, обрисованная Андреевым,— прямое продолжение чудовищного лица Лубянки:

Нет:
Втиснуть нельзя этот стон, этот крик
В ямб:
Над
Лицами спящих негаснущий свет
Ламп,
Дрожь
Сонных видений, когда круговой
Вред
Пьешь,
Пьешь, задыхаясь, как жгучий настой
Бед.
Верь:
Лязгнут запоры; сквозь рваный поток
Снов
Дверь
Настежь,— фамилия — краткий швырок
Слов,—
Сверк
Грозной реальности сквозь бредовой
Мрак,
Вверх
С шагом ведомых совпавший сухой
Шаг,
Стиск
Рук безоружных чужой грубостой
Рук,
Визг
Петель — и — чинный, парадный, другой
Круг.
Здесь
Пышные лестницы, каждый их марш
Прям;
Здесь
Вдоль коридоров — шелка секретарш —
Дам;
Здесь
Буком и тиссом украшен хитро
Лифт...

---

[1] См. мои статьи «Подступы к «Розе мира» Даниила Андреева» («Искусство кино», 1990, № 5).

[2] См. «Литературное обозрение», 1990, № 5.

Здесь
Смолк бы Щедрин, отшвырнул бы перо
Свифт.

Дым
Пряно-табачный... улыбочки... Стол...
Труд...

Дыб
Сумрачной древности ты б не нашел
Тут.

Тишь...
Нет притаившихся в холоде ям
Крыс...

Лишь
Капельки крови по всем ступеням
Вниз.

Гроб?
Печь? Лазарет?.. Миг — и начисто стерт
Слад,

Чтоб
Гладкий паркет заливал роковой
Свет..

(1950)

За реалистической картиной — прямой переход в сюрреализм (мы перещедрили Щедрина, перекафкали Кафку,— говорил мой друг, которому на Лубянке три недели не давали заснуть. У него тоже были видения. И у многих других). Галлюцинации — прямое клиническое следствие пытки бессонницей. И хотя видения Андреева отличались от лубянских галлюцинаций [1], печать тюрьмы лежит на всем андреевском сюрреализме (или, как он выражался, метареализме). Можно выделить (иногда совершенно отчетливо) конструктивные элементы, из которых стихийно складывались его образы. Всякая мифология складывается из уже имеющихся элементов культуры. Андреев не скрывает, на что похожи его видения: на инфернальные догадки Блока, Достоевского. Но эти видения — бессознательное или сверхсознательное художественное творчество; и Андреев, оперируя элементами поэзии XX века и теории относительности Эйнштейна, верит даймону, своему вдохновителю, как шаман — аями и Гомер — музе, и не сомневается в реальности Дна, на которое попадает душа Великого инквизитора Достоевского (во втором воплощении — Сталин и в третьем — антихрист). На дне шельт пребывает, как **черная линия**, и смутно видит одну точку света (адского огня). Там одно измерение пространства и никакого времени.

Можно указать на физические натяжки, без которых не обошлась метафора. Например, каким образом строго одномерная линия может быть черной, т. е. цвета физической линии, **проведенной тушью?** Математическая абстракция цвета не имеет. Но Андреев ответил бы на наши возражения: бесполезно спорить, я это видел... И хочется ему поверить — так, как мы верим Данте. Хочется взглянуть поверх белых ниток в сияющие миры просветления и в багровые пучины «инфрафизических миров».

Хочется прежде всего подчеркнуть связь андреевского ада с землей, в центре которой — дом бывшего страхового общества «Россия» на бывшей Лубянской площади. Одна из самых сильных поэм Андреева, «У демонов возмездия», посвящена посмертию чекиста. Рассказывает шельт, как он искупил свою карму.

Первый круг возмездия, Скривиус, поразительно похож на обычный, может быть, инвалидный или пересыльный лагпункт. Работой не очень отягощают, мучений нет; за метафизической тоской чувствуется тюремная тоска — только доведенная до метафизической глубины:

Не знаю, где, за часом час,
Я падал в ночь свою начальную...
Себя я помню в первый раз
Заброшенным в толпу печальную.

Казалось, тут я жил века —
Под этой неподвижной сферою..
Свет был щемящим, как тоска:
И серый свод, и море серое.

Тут море делало дугу,
Всегда свинцово-неколышимо,
И на бесцветном берегу
Сновали в мусоре, как мыши, мы

Я видел люд моей земли —
Тех, что росли так звонко, молодо,
И в ямы смрадные легли
От истязаний, вшей и голода.

Но здесь, в провалах бытия,
Мы все трудились, обезличены,
Забыв о счетах,— и друзья,
И жертвы сталинской опричнины...

Самое страшное — этап в другие, штрафные миры возмездия. Демоны готовят его примерно так же, как на земле; и так же дрожат з/к з/к:

Черный,
без окон,
черный ковчег.
В панике мы бросались в барак...
Но подошедший к берегу враг
Молча умел магнитами глаз
Выцарапать из убежища нас.
И, кому пробил час роковой,
Крались с опущенной головой,
Кроликами
в змеиную пасть:
В десятиярусный трюм упасть.

Трюм — как в пароходе, прибывшем в Ванинский порт; только ярусов в нем побольше...

После нескольких кругов возмездия шельт превращается в инфрафизического доходягу. Демоны издеваются над ним, как блатные,— над остатком человека в бывшем чекисте:

Я пробовал встать,
но мышцы руки
Оказывались мягки,
Как жалостно вздрагивающее желе,
Как жирная грязь на Земле.

Да, куча бесформенного гнилья
Так вот настоящий я?..

Тогда, извиваясь, как бич,
как червь,
Подполз человеко-червь.

Размерами с кошку,
слепой, как крот
Он нюхал мой лоб, мой рот.
И странно: разумность его вполне
Была очевидна мне.
Бороться?
Но, друг мой! кого побороть
Могла растленная плоть,

[1] Это были именно видения, вызванные настойчивой медитацией; и не во время вынужденной бессонницы, а в обычные тюремные ночи в относительном покое Владимирской тюрьмы.

Бескостная, студенистая слизь,
Где лимфа
и гной слились?
Едва пошевеливаясь,
без сил,
Я в муке смертной следил,
Как человеко-червь пожирал
Меня,
как добротный кал.

Это, однако, не конец. Муки продолжаются.

Дыры вместо глаз,
Пряди вместо рук,
Вместо голосов —
Взрыд.
Истерзал нас
Горшая из мук:
За самих себя
Стыд.

Шельт на пути к искуплению проходит десятки смертей, и после каждой смерти — еще горше посмертие.

Только недвижной точкой страданья
В этом Ничто пламенеет душа —
Искра исчезнувшего мирозданья,
Капелька
выплеснутого
ковша.

Здесь, однако, сходство с Архипелагом кончается. Шельт (за исключением очень немногих, которым трижды предоставлялась возможность спасения и которые трижды отвергли ее) сознает справедливость мук, очищается в страдании и постепенно сбрасывает ту нравственную тяжесть, которая тянула его вниз; начинается подъем вверх — до того уровня, который допускает карма.

В искуплении личных грехов сказывается благодатная помощь. Например, Иуда спасается с помощью Христа после полутора тысяч лет искупительных мук. Ивана Грозного извлекают из глубинных страдалищ светлые духи России. Однако есть еще коллективная карма; одна из самых тяжелых — имперская. Все строители империи становятся гигантами, обреченными до скончания времен строить преисподнюю крепость (гигантами — ибо поэт не отымает у них **исторического** величия). Только в последней битве света с тьмой царям и героям будет предоставлена возможность восстать и примкнуть к свету; и те, кто выберет свет, спасутся. А пока бригада царей и диктаторов таскает камни; и Петр I у них бригадиром:

«Один за другим, сквозь похоронный звон колоколов в московских и петербургских соборах, нисходили в Друккарг князья и цари, императоры и полководцы, сановники и советники. Одни — в первые часы посмертия, другие после чистилищ и расплаты в глубинах магм. Но испепеление тех нитей их карм, что вплелись в пряжу державной государственности, неподсудно никаким страдалищам. И рано или поздно несчастный вступал под власть игв — трудиться над завершением воздвигавшегося им при жизни и ненавидимого теперь» (игвы — демоны государственного разума, покоряющиеся уицраору, демону слепой воли к власти.— **Г. П.**).

«Строят и строят. Строят твердыню трансфизической державы на изнанке Святой Руси. Строят и строят. Не странно ли?.. И если время от времени новый пришелец появляется в их ряду, его уже не поражает, что карма вовлекла его в труд рука об руку с владыками и блюстителями государственной громады прошлого, которую при жизни он разрушал и на ее месте строил другую. Чистилища сделали его разум ясней, и смысл великодержавной преемственности стал ему понятен».

«Цитаделью из нескольких концентрических стен опоясан подземный город. Новые плиты кладутся на плиты... Магнитные поля очерчивают крепость: ни шага в сторону, ни движения. И единственную отраду отстояли для рабов силы синклита: благоговейную, влюбленную и щемящую... Это пела небесная пленница уицраоров, пресветлая Навна...»

«Но в годы последней из тираний, насиловавших русскую землю, третий уицраор принудил гигантов надстроить над недоступным для него садом (где пела Навна.— **Г. П.**) плоский, плотный свод. Едва проступает сквозь эту преграду излучение идеальной Души Народа...». (По Андрееву, в России сменилось три уицраора: рюриковичей, Романовых и коммунистов. Каждый последующий пожирал своего отца.— **Г. П.**).

«А гиганты строят и строят. Вместо отдыха — короткое забытье, пища — растительность Друккарга. Бунт невозможен. Но рыцари Невозможного встречаются везде. Участие в создании одной из твердынь Противобога возмутило полтора века назад совесть одного из них, его гордость и веру. Что восстание обречено, он знал, но предпочел гибель. Бунт парализуется тут мгновенно... Всосанный и извергнутый уицраором на Дно, Суворов вкусил до конца еще горшую муку и, снова поднятый в Друккарг, включился в цепь гигантов-камненосцев уже без ропота».

«Но величайшего из государей нашей истории отличили даже игвы... И великому Петру доверен надзор за товарищами по возмездию — горестное отличие,— здесь, у ног изваяния, чье крошечное подобие поставлено в его честь на петербургской площади...»

«Вот почему не образ императора-героя на гранитной скале, но само изваяние окружено легендой. Снова и снова приходят на память строки великой поэмы — и тают. Неясный образ шевелится в душе — и не может определиться мыслью. Холодящая муть нечаянно вдруг обожжет отдаленным предчувствием — и тихо отхлынет. И пока вникнешь зрением, чувством истории, чувством поэзии и воображением в силуэт неподвижно мчащегося на коне — нерожденная легенда — не легенда, а предостережение — держат созерцающего в своем завороженном круге».

«И каждый, замедлив шаг на торжественной площади, ощущает себя как

бы в магнитном поле. Это чувствуют все; сознает это каждый вдумавшийся в свое чувство».

Так кончается поэма в прозе «Изнанка мира», обдуманная в 1955 году во Владимире и записанная в 1958 году. Читатель, вероятно, заметил, что слов «бригада», «бригадир» у Андреева нет — так же, как нет сравнения преисподних магнитных полей с запретной зоной. Это разрушило бы глубокую серьезность, с которой Андреев относился к своим видениям. Мое восприятие подготовлено Заболоцким, Олейниковым и многими другими. Андреев прошел через жизнь, не замечая их. Даже у Блока он не заметил его склонности к гротеску. Острое эсхатологическое чувство не допускает сознательного гротеска. Комическое у Андреева так же немыслимо, как в Откровении Иоанна Богослова.

Наитье зоркое привыкло
Вникать в грозящий рухнуть час,
В размах чудовищного цикла,
Как вихрь, летящего на нас.

Увидел с горнего пути я,
Зачем пространства — без конца,
Зачем вручила Византия
Нам бремя царского венца.

И почему народ, что призван
Ко всеобъемлющей любви,
Подменой низкой создал призрак,
Смерчом бушующий в крови.

Даль века вижу невозбранно,
А с уст — в беспамятстве, в бреду —
Готова вырваться осанна
Паденью, горю и суду.

Да окоем родного края
Воспламенится, дрогнув весь;
Но вижу, верю, слышу, знаю:
Пульс мира ныне бьется здесь.

И победитель — тот, кто скоро
Смешает с прахом власть Москвы.—
Он сам подсуден приговору
Владык, сверкающих, как львы.

По-новому постигло сердце
Старинный знак наш — Третий Рим,
Мечту народа-страстотерпца,
Орлом парящую над ним.

(1950)

Из всего контекста творчества Андреева можно вывести, что истинный Третий Рим — не империя, а некое царство духа, осуществленная Роза Мира, в которой каждый духовно-религиозный мир — равноправный лепесток. В трактате «Роза Мира» Андреев прямо ссылается на разговор в келье Зосимы — о растворении государства в церкви — и делает любопытную оговорку:

«Естественно, что задачу эту Достоевский возлагал не на Розу Мира, предвидеть которую в XIX веке не мог даже он, а на православие».

Думается, что Андреев — как и все русское «новое религиозное сознание» — продолжает попытку религиозной реформы, начатую Достоевским. Если учесть «емкую неопределенность» православия Достоевского,— «...под которым я понимаю идею, не изменяя, однако, ему вовсе» (из заметки о петербургском баденбадениостве),— и структуру Розы Мира, в которой каждое вероисповедание сохраняет свой строй, свое особое воплощение единого для всех вселенского духа,— эта связь может быть принята без логического противоречия.

Заканчивая статью о тюремной теме в творчестве Андреева, хочется сравнить его первый тюремный год (после лубянского следствия) с болдинской осенью Пушкина:

Если назначено встретить конец
    Скоро — теперь — здесь,—
Ради чего же этот прибой
    Все возрастающих сил?

И почему в своевольных снах
    Золото дум кипит,
Будто в жерло вулкана гляжу,
    Блеском лавы слепим?

Кто и зачем громоздит во мне
    Глыбами, как циклоп,
Замыслы, для которых тесна
    Узкая жизнь певца?

Или тому, кто не довершит
    Дело призванья здесь,
Смерть— как распахнутые врата
    К осуществленью там?

Десять лет провел Даниил Андреев в тюрьме. Выйдя из нее, он прожил только два года.

До сих пор большая часть его наследия (ранние стихи и поэмы, «У демонов возмездия», «Изнанка мира», «Железная мистерия» и другие) не опубликована.

Кн. Сергей Волконский — Марина Цветаева

История одной дружбы

ОТ ПУБЛИКАТОРА

В январе 1920 года в Москве Марина Цветаева познакомилась с князем Сергеем Михайловичем Волконским (1860—1937). Знакомство перешло в многолетнюю дружбу. «Это моя лучшая дружба за жизнь...» [1],— писала Цветаева, посвятившая Волконскому стихотворный цикл «Ученик», стихотворение «Кн. С. М. Волконскому», статью «Кедр. Апология» и мемуарный очерк «Открытие музея». Волконский, в свою очередь, посвятил Марине Цветаевой свою книгу «Быт и бытие».

«О князе Сергее Волконском,— писал А. Н. Бенуа,— можно было бы написать целую книгу, ибо он был одной из самых характерных и блестящих фигур петербургского общества...» [2] Бенуа говорит, конечно, не о светском обществе, а о художественном мире Петербурга начала века.

Князь Волконский, театральный деятель, театровед, художественный критик, прозаик, мемуарист, принадлежал к замечательной семье. Внук декабриста, он был также внучатым племянником знаменитой Зинаиды Волконской и хранил у себя ее альбом с автографами Пушкина, Гоголя, Мицкевича, Веневитинова. Его отец, князь Михаил Сергеевич Волконский, был обергофмейстером и членом Государственного совета. Это тот самый «гонец» Миша Волконский, крестник И. И. Пущина, родившийся в Петровском Заводе и как сын каторжника записанный в заводские крестьяне, который в 1856 году привез декабристам в Сибирь амнистию, врученную ему по поручению Александра II во время коронации в Москве, для передачи отцу и его товарищам, 30 лет ждавшим этой амнистии. Князь Михаил Сергеевич издал воспоминания своих родителей — «Записки» декабриста князя С. Г. Волконского и «Записки» княгини М. Н. Волконской. По материнской линии князь Сергей Волконский был правнуком тоже небезызвестного графа А. Х. Бенкендорфа — сын декабриста женился на дочери своего двоюродного брата, княжне Елизавете Григорьевне Волконской, внучке Бенкендорфа. В Сергее Волконском Бенкендорф и декабристы как бы встретились вновь и простили друг другу вины, вольные и невольные.

В доме Волконских жили литературными, художественными интересами, бывали Тургенев, Майков, Полонский, своим человеком был Вл. Соловьев. Волконский ребенком слышал стихи Тютчева в исполнении автора; уже взрослым он не раз видел Достоевского, слушал, как он читал главы из «Братьев Карамазовых».

Жизнь Волконского была подчинена трем его страстным увлечениям — искусству, путешествиям и «древесной» страсти, о которой он рассказывает в публикуемой главе из его воспоминаний «Павловка». Так называлось имение, купленное его родителями в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии (теперь Воронежская область), где Волконский проводил все свободное время, считая его своим домом, своей родиной.

Изучая искусство, Волконский объездил весь мир. В театре, музыке, живописи его увлекало не только эстетическое наслаждение, коллекционирование художественных впечатлений, но и те средства, которыми эти впечатления достигаются. Вопросы актерской техники — декламации, мимики, жеста — Волконский изучал профессионально и имел репутацию одного из лучших в России знатоков истории и теории театра.

Трудно назвать театральную знаменитость, с которой бы не был знаком Волконский,— он аккомпанировал А. Патти, давал советы Э. Росси, был хорошо знаком с Э. Дузе и П. Виардо, у него жил Т. Сальвини во время своих гастролей в Петербурге. Волконский прекрасно знал таких знаменитостей русской сцены, как В. Н. Давыдов, К. А. Варламов, М. Г. Савина, В. Ф. Комиссаржевская — о них, как и о многих других русских артистах, оперных, балетных, драматических, знаменитых и незнаменитых, он рассказал в своих воспоминаниях. Будучи два года директором императорских театров

[1] М. Цветаева. Сочинения, т. 2. М., 1988, стр. 618.
[2] Александр Бенуа. Воспоминания о кн. С. М. Волконском. «Последние новости», Париж, 1937, 13 ноября, стр. 2.

(1899—1901), в консервативной атмосфере казенной сцены Волконский стремился к обновлению репертуара, к повышению культуры русской сцены, привлек к театральному делу членов кружка «Мир искусства», слывших «декадентами»,—С. П. Дягилева, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста.

В журналах 1900—1910 годов — «Мир искусства», «Аполлон» и др.— печатались многочисленные статьи Волконского, в которых он рассказывал о значительных художественных событиях, защищал новаторские поиски в искусстве. Одна за другой выходили книги Волконского — «Человек на сцене», «Художественные отклики», «Выразительное слово», «Отклики театра» — об актерском мастерстве, о законах сценической речи, о семиотике и психологии жеста, о ритмическом воспитании,— отмеченные тончайшей художественной отзывчивостью[3].

...С таким человеком познакомилась Марина Цветаева. Шла эпоха военного коммунизма — гражданская война, разруха, голод, массовый террор. К этому времени Волконский пережил все, что в те годы положено было пережить «буржую», к тому же с сиятельным титулом. Конфискацию и разгром имения, укрывательство от расстрела по чужим домам в Борисоглебске и Тамбове. Потом Москва, куда Волконский явился в 1918 году переодетый в солдатскую шинель, с двумя котомками белья и платья—все, что осталось от его имущества. Двое суток он провел в камере на Лубянке и вышел оттуда с богатыми впечатлениями совсем не художественного свойства. В 1919 году в Петрограде два чудом уцелевших театральных журнальчика поместили некрологи с сообщением о смерти Волконского, с описанием достоинств покойного и призывом поклониться его праху. В это время Волконский, бывший действительно на волосок от смерти, выписывался из московской больницы после сыпного тифа.

Когда у него украли последние ботинки, Волконский невозмутимо шествовал по Москве босиком, направляясь на занятия в очередную театральную студию, пока над ним не сжалился дирижер С. А. Кусевицкий и не отдал свои лаковые концертные штиблеты, по счастью, оказавшиеся впору.

Революция не была для него неожиданностью. В сложившихся обстоятельствах, по мысли Волконского, революция была неминуемым этапом в деле возрождения России. Не сожалея о прошлом, не оплакивая своих потерь, он готов был всеми силами содействовать этому возрождению, работая, как тогда говорили, «на культурном фронте», Волконский стал популярным театральным педагогом, читал лекции, вел занятия по театральному мастерству в разнообразных кружках и студиях, которые тогда возникали во множестве, в том числе в Пролеткульте, в Красноармейском клубе в Кремле. на инструкторских курсах Рабоче-крестьянского театра и т. д.

Цветаева тоже перенесла немало. Ее муж Сергей Эфрон, служивший в Белой армии, пропал без вести. В Кунцевском приюте умерла от голода ее младшая дочь Ирина. «Жизнь—это место, где жить нельзя» — цветаевские строки. Волконский в своем посвящении Цветаевой в книге «Быт и бытие» так описывает цветаевский быт, который мало чем отличался от его собственного:

«Вы не забыли, как Вы жили? В Борисоглебском переулке. Ведь нужно же было, чтобы «Ваш» переулок носил имя «моего» уездного города! В Борисоглебском переулке, в нетопленном доме, иногда без света, в голой квартире; за перегородкой Ваша маленькая Аля спала, окруженная своими рисунками,— белые лебеди и Георгий Победоносец,—прообразы освобождения... Печурка не топится, электричество тухнет. Лестница темная, холодная, перила донизу не доходят, и внизу предательские три ступеньки. С улицы темь и холод входят беспрепятственно, как законные хозяева... Против Вашего дома, на той стороне переулка, два корявых тополя, такие несуразные, уродливые — огромные карлики. Мы выходим на лунный свет. Вы босиком, или почти,— сандалии на босу ногу; в котомке у Вас ржаные лепешки и рукопись стихов. На улице лошадиная падаль лежит, и из брюха ее врассыпчую кидаются собаки; а сверху звезды сияют; мы шарахаемся в сторону,— обдает нас грязью и руганью советский автомобиль (...). А помните, когда вошел к Вам грабитель и ужаснулся пред бедностью, в которой Вы живете? Вы его пригласили посидеть, говорили с ним, и он, уходя, предложил Вам взять от него денег...»[4].

В марте 1921 года Волконский начал писать свои мемуары, и Цветаева предложила ему себя в качестве переписчицы—делать беловую рукопись с его черновика. Это переписывание легло в основание их дружбы. Волконский, видимо, отказывался, Цветаева, видимо, настаивала...

«Мои воспоминания» Волконского состоят из трех книг. Книга первая «Лавры (Искусство, артисты, критика)» — 153 страницы книжного текста. Книга вторая «Странствия (Страны, люди, портреты)» — 197 страниц Книга третья «Родина (1860—1922)» — 343 страницы, из них Цветаева переписала 165, остальные дописаны Волконским уже в эмиграции Итого — 515 страниц очень плотного книжного текста. Это не меньше 700 наших стандартных машинописных страниц, а в рукописном виде, даже имея в виду убористый цветаевский почерк, еще больше.

---

[3] Подробнее о литературной деятельности Волконского см. в статье о нем в словаре «Русские писатели. 1800—1917» М., т. 1. «Советская энциклопедия». 1989, стр. 473—474.

[4] Кн. Сергей Волконский. Быт и бытие. Берлин, 1924, стр. XII.

Цветаева меряла свою работу на вес (фунт—0,4 кг): «Вчера отправили с Волконским его рукопись «Лавры»,— весом фунтов в 8, сплошь переписанную моей рукой.— «Спасибо Вам, что помогли мне отправить мое «дитё»! — Любит он эту рукопись, действительно, как ребенка,—но и как ребенок. Теперь буду переписывать «Странствия», потом «Родину»,— писала Цветаева 16 июня 1921 года[5].

Не один месяц, день за днем, страницу за страницей Цветаева, «гордыню укротив», переписывает воспоминания Волконского, удерживая руку от скорописи, выписывая «версты строк» печатными буквами. Вспоминается инвектива влюбленного Лермонтова: «...быть может, те мгновенья, Что протекли у ног твоих, Я отнимал у вдохновенья! А чем ты заменила их?» Все-таки «у ног твоих», да притом всего лишь «мгновенья» — и такой гнев! А тут многомесячная, механическая, отупляющая — как бы ни были увлекательны и драгоценны для потомства мемуары Волконского,— работа, добровольная каторга.

«Не всем же писать, надо кому-то и переписывать»,— говорил чиновник Макар Девушкин у Достоевского. Кому-то — надо. Графиня С А. Толстая неоднократно переписывала сочинения своего мужа, и мы ее за это чтим. Но, во-первых, она была жена, все же есть разница, а кроме того, она не была поэт Марина Цветаева.

Волконского можно понять. Цветаева для него была «милая Марина», к ее поэзии он относился, если можно так выразиться, лояльно. В поэзии у него были классические вкусы — он любил Пушкина, обожал Тютчева, он часто цитирует в своих книгах строки из А. К. Толстого, Фета, Полонского. Что касается поэтов начала века, то к ним Волконский был явно равнодушен, делая исключение только для Зинаиды Гиппиус поэта одного с ним поколения. Труднее понять Цветаеву. 28-летняя Марина Цветаева уже была известным поэтом и цену себе — высокую — знала.

Как сама Цветаева объясняла эти свои занятия? «Это мое послушание. В лице Волконского я люблю Старый Мир, который так любил С. (Сергей Эфрон.— Н. О.). Эти версты печатных букв точно ведут меня к С.»[6]. Объяснение сложное, оно мало что объясняет. Для проявления любви к старому миру, к новому миру у Цветаевой были другие средства.

Получается, что Цветаева покупала дружбу Волконского. Его не могло не подкупить такое участие в его литературных делах, он был признателен, благодарен. Он стал часто приходить к Цветаевой в Борисоглебский переулок, приносил новые куски текста, забирал переписанное. «...ничей приход не был ей так мил, как приход Волконского. Сергей Михайлович был по душе ей больше, чем кто другой»[7]. Об особой привязанности Марины Цветаевой к Волконскому вспоминает и А. И. Цветаева.

Слово «дружба» в отношении к Цветаевой лучше употреблять осмотрительно. Для Ахматовой, например, любовь была любовью, а дружба дружбой («Души высокая свобода, Что дружбою наречена»), и в ситуации выбора дружба пользовалась явным предпочтением (о влюбленности в нее Мандельштама: «Я прекратила. Это было бы унижением нашей дружбы»). У Цветаевой все наоборот:

Рук непреложную рознь
Блюсть, костенея от гнева.
— Дружба! — Последняя кознь
Недоказненного чрева.

(«Не ревновать и не клясть...»)

Любовное увлечение, раскаленное до страсти, доведенное до последних пределов душевного самообнажения («В моих чувствах, как в детских, нет степеней»[8]), вызывающее партнера на ответный восторг,— источник вдохновения, питающий поэтическое воображение. А дружба — несостоявшаяся или утраченная возможность любви, отступничество от любви, измена ей, которая карается опрокидыванием в быт, столь нелюбимый Цветаевой.

«Но как же поэт, преображающий все? — писала Цветаева.— Нет, не все,— только то, что любит. А любит — не все»[9]. Для преображения Цветаевой нужно полюбить, войти в душу человека. Когда любовь поэтически исчерпана до цветаевского предела — до быта, хотя бы отдаленно угрожая превратиться в совместное бытование, в дружбу, она сходит на нет, потому что быт Цветаева полюбить не сумела и ее преобразующей, животворящей силе он не подвластен. Разлука для нее явно предпочтительнее дружбы, поэтически более многообещающа, а Цветаева—поэт прежде всего. Возможно, в этом причина краткости большинства цветаевских увлечений-дружб, что по-человечески не могло не тревожить Цветаеву: «Может быть я долгой любви не заслуживаю, есть что-то,— нужно думать — во мне — что все мои отношения рвет. Ничто не уцелевает. Или— век не тот: не дружб»[10]. Волконский—одно из редких исключений, благодаря которому Цветаева узнала долгую дружбу.

---

[5] Marina Cvetaeva. Studien und Materialen. «Wiener Slawistischer Almanach». Sonderband 3, Wien, 1981, S. 187 (публикация писем Цветаевой к Евг. Ланну В. Волосова и И. Кудровой).

[6] Там же, S. 187.

[7] Э. Миндлин. Необыкновенные собеседники. М., 1979, стр. 64.

[8] Марина Цветаева. Сочинения, т. 2, стр. 277.

[9] Там же, стр. 503.

[10] Марина Цветаева. Письма к А. Тесковой. Прага, 1969. стр. 74.

Можно осторожно предположить, что, глядя на Волконского, Цветаева тоже отчасти «костенела от гнева». Что касается его преклонного возраста, то в ее дневнике 1917 года есть любопытная запись: «Бритый стройный старик всегда немножко старинен, всегда немножко маркиз. И его внимание мне более лестно, больше меня волнует, чем любовь любого двадцатилетнего. Выражаясь преувеличенно: здесь чувство, что меня любит целое столетие. Тут и тоска по его двадцати годам, и радость за свои, и возможность быть щедрой—и вся невозможность» [11].

Волконский, человек XIX века, с его старомодной учтивостью, аристократическими манерами, вельможной осанкой, явился в жизнь Цветаевой прямым воплощением мечты о «маркизе». Но реальность воплощает мечты со своими коррективами. При кажущейся душевной беспризорности Волконский был из тех одиноких людей, которые умеют извлекать из своего одиночества и смысл и радость и умеют ограждать его от чьих бы то ни было посягательств: «Мне всегда кажется, что моя духовная квартира — луч солнца, а под вертикальным лучом и двоим не уместиться. Эгоизм? Гордость? Безразличие? Не все ли равно...» [12].

Цветаева быстро увидела эту его «ничейность» и в прямом смысле слова «неуловимость». Это видно из ее стихотворения «Кн. С. М. Волконскому», написанного в мае 1921 года:

О дух неуловимый — столь
Язвящий — сколь неуязвимый!

«...уединенный дух и одинокая бродячая кость»,—позже писала о нем Цветаева [13]. Шансы на любовь Волконского были нулевые. Цветаева была обречена на дружбу. Ей самой приходилось в лице Волконского любить «целое столетие», а «столетие» к этой ее любви снисходило. В любом случае вследствие безбытности самого Волконского погружение в быт их дружбе, все более приобретавшей черты литературной дружбы, явно не грозило.

В сентябре 1921 года Цветаева дописала последнюю строчку его воспоминаний, и Волконский сразу же уехал в Петроград. Никому, в том числе и Цветаевой, он не говорил, что принял решение об эмиграции. Волконский пришел к убеждению, что новая власть оказывает мертвящее действие на культуру, что разжигание классовой розни и ненависти, с чем он безуспешно боролся в своих лекциях и на занятиях со студийцами, опустошает души людей, что вместо культуры, вместо знаний культивируются самодовольство и воинствующее невежество, и он бессилен противостоять этому. Его отношения с властями становились все более напряженными. Свою роль тут сыграли и его лекции, и его публичные протесты против заложничества, и его обращения к деятелям культуры «во имя культуры» требовать прекращения расстрелов в связи с так называемым «Заговором Таганцева», среди участников которого был расстрелян Николай Гумилев. В декабре Волконский еще был в Петрограде, потом исчез.

Как и где он перешел границу—его тайна. Скорее всего по льду Финского залива. Нужно сказать, что к концу 1921 года уже наметился переход к нэпу, в связи с чем были сделаны некоторые послабления. Был издан декрет, по которому граждане старше 50 лет, имевшие родственников за границей, получали право на свободную эмиграцию. Волконскому был 61 год, и у него были родственники за границей. Кроме этой легальной возможности, если бы он немного подождал, у него появилась бы и другая— быть высланным в 1922 году в той большой группе деятелей культуры, среди которых были известные профессора, философы, историки, экономисты — Бердяев, Шестов, Лосский, Франк, Карсавин, Ильин и др. и которых Ленин в письме к Дзержинскому от 19 мая 1922 года назвал «растлителями учащейся молодежи». Имя Волконского значилось в этом списке. Но Волконский сознательно не воспользовался легальными возможностями — он предпочел риск, и немалый, лишь бы не быть ничем обязанным новой власти. Врагом ее Волконский не стал, его мемуары, его книги, написанные за границей, на редкость беззлобны, злобные чувства он считал для себя унизительными.

Марина Цветаева уехала к мужу в Прагу в мае 1922 года. В письмах Волконскому, жившему в Париже, Цветаева убеждала его писать новую книгу, в которую вошли бы его «эфемериды» — замечания, впечатления, сравнения, оценки, которые запомнились ей из их московских разговоров. Все более уступая настойчивости Цветаевой, Волконский постепенно вживался в новый замысел.

В 1923 году в Берлине вышла третья книга воспоминаний Волконского «Родина», опередив первые две книги. Как сказано в издательской аннотации, «издательство выпускает сначала именно этот том ввиду особого интереса, который он имеет в дни нашего изгнания». Книга вышла в марте, но еще в январе, не дожидаясь ее выхода, Цветаева пишет статью «Кедр», обозначив ее жанр — «Апология».

Почему апология? От кого или от чего хочет защитить Цветаева книгу Волконского? Эмигрантская критика отнеслась к воспоминаниям Волконского доброжелательно. Сам Волконский, человек, к политике вполне равнодушный, в разных лагерях эмиграции пользовался уважением и симпатией. Тем не менее Цветаева бросается на защиту — труда ли Волконского, своего ли труда... Прежде всего на защиту от поверхностно-скользящего прочтения, от того, чтобы эта книга стала проходной, невыделенной в потоке эмигрантских мемуаров,— зная, как дорога она Волконскому («друг — действие» — цветаевская формула).

[11] Марина Цветаева. Сочинения, т. 2, стр. 276.
[12] Кн. Сергей Волконский. Быт и бытие, стр. 90.
[13] Марина Цветаева, там же, стр. 502.

Но в «Кедре» главное внимание уделено не столько книге, сколько самому Волконскому. «Кедр»—это преображенный Волконский, увиденный любящими глазами поэта Марины Цветаевой: «Любить—видеть человека таким, каким его задумал Бог...» [14]. Приступая к «Повести о Сонечке», об актрисе Вахтанговского театра С. Е. Голлидэй, Цветаева писала: «Моя Сонечка должна остаться» [15]. «Мой Пушкин»—«моя Сонечка»— «мой Волконский»...

Статья Цветаевой вызвала в эмигрантской прессе не меньше откликов, чем воспоминания Волконского. Отдавая должное глубине и тонкости отдельных ее мыслей и наблюдений, рецензенты вместе с тем упрекали Цветаеву в отсутствии меры и сдержанности, в том, что она написала дифирамб, панегирик. Георгий Адамович, критик, авторитетный в эмиграции, писал: «Надо очень любить стихи Цветаевой, чтобы простить ей ее прозу» [16].

Но Цветаева знала, что делает,—«мой Волконский должен остаться». Ее задача— извлечь его из эмпирического потока времени и утвердить на вершинах духа, скрепив этот акт своей подписью, подписью поэта — гаранта вечности. А эстетские «возраженьица» тут ни при чем («эстет — мозговой чувственник»—цветаевская формула). Такова была воля Цветаевой, или ее своеволие, это дела не меняет. Цветаева знала, что последняя правота остается за поэтом. Нам еще предстоит осваивать труды самого Волконского, устанавливать их ценность — научную, историческую, художественную. Но его ценность как друга Цветаевой, на которого падает отсвет ее славы, установлена самой Цветаевой и уже неоспорима.

Свою книгу философических эссе «Быт и бытие. Из прошлого, настоящего, вечного» (1924) Волконский предваряет семистраничным посвящением Цветаевой, написанным в ноябре 1923 года, еще до публикации «Кедра». Человек весьма сдержанный, полагающий всякое говорение «о себе» слабостью, а публичное проявление чувств дурным тоном, Волконский, не изменяя обычной сдержанности, считает, однако, своим долгом именно публично засвидетельствовать дружеские к ней чувства. В этом посвящении столько внимания к личности Цветаевой, столько веры в то, что именно она поймет и оценит его книгу, название и замысел которой подсказаны ею (о чем с благодарностью пишет Волконский). Ясно, что Волконский уже не снисходит, как прежде, что его закаленная одиночеством душа доверчиво раскрыта навстречу Цветаевой. Более того, Волконский цитирует стихи Цветаевой, присоединяя ее к избранному кругу поэтов, признавая ее поэзию достойной быть включенной в этот круг.

Цветаева жила в Праге, Волконский в Париже, работал театральным рецензентом газеты «Последние новости» — занятие, не завидное для человека его знаний и возраста, но в котором он соединял неизменное достоинство с молодой увлеченностью. Материально обеспечивая себя газетными заработками, Волконский писал роман «Последний день» о предреволюционном десятилетии, о годах революции.

В конце 1925 года, когда Цветаева переехала в Париж, Волконский уже жил в Америке. Они продолжали переписываться, а когда Волконский приезжал в Париж, встречались, вместе участвовали в литературных вечерах. В 1933 году Цветаева написала мемуарный очерк «Открытие музея» и посвятила его Волконскому. Своим посвящением Цветаева напоминает Волконскому — их дружба осенена историей, духовной связью их предков: преемником давней мечты меценатки, княгини Зинаиды Волконской о создании русского музея скульптуры стал отец Марины Цветаевой, профессор И. В. Цветаев, основатель и строитель Музея изящных искусств в Москве.

Волконский умер 25 октября 1937 года в городе Ричмонд (штат Виргиния, США) в возрасте 77 лет. В Париже на отпевании Волконского в католической церкви по русскому православному обряду среди многих других лиц, как сообщила газета «Последние новости», присутствовали: бывшая балерина императорской сцены Матильда Кшесинская, пережившая своего директора, с которым она когда-то воевала из-за фижм, артист балета Сергей Лифарь, художник Александр Бенуа, писатель Марк Алданов, критик Георгий Адамович и — поэт Марина Цветаева. В августе 1991 года, когда эта публикация выйдет в свет, мы будем отмечать печальную дату — пятидесятилетие со дня смерти Марины Цветаевой...

Глава «Павловка» публикуется по книге: Кн. Сергей Волконский. Мои воспоминания. Родина, кн. 3, Берлин, 1923.

Статья Марины Цветаевой «Кедр. Апология» публикуется по сборнику: «Записки наблюдателя», кн. 1, Прага, 1924.

Н. И. ОСЬМАКОВА

[14] Марина Цветаева. Сочинения, т. 2, стр. 284.
[15] Марина Цветаева. Письма к А. Тесковой, стр. 155.
[16] Георгий Адамович. Литературные заметки. «Звено», Париж, 1924, 6 октября, стр. 2.

Кн. Сергей ВОЛКОНСКИЙ

ПАВЛОВКА

Глава из книги «РОДИНА»

Помните ли вы, что такое было — после экзаменов, с пятеркою в кармане садиться в вагон? Помните огромный свод вокзального навеса? Световую арку, перед которой пыхтит нетерпеливый паровоз, и за ней простор природы? А помните через два дня после этого приезд в деревню? Не можете не помнить — это незабываемо.

Уже давно в открытое окно вагона ласкающее, пахучее прикосновенье степного воздуха. Направо и налево от полотна мягкое колыхание то ржи, то овса. Солнце садится, на него смотреть почти не больно; и какая-то между небом и землей разлита беззаботная благодарность... Поезд идет тихо. И сосчитать можно всю мерность его мягких поворотов и ровную повторность колесных ударов. Жаворонки взлетают, падают, реют, пропадают. Звонкий воздух допьяна звенит, исполосанный петлями летучих извивов.

Хорошо, но долго; медленно, слишком медленно катится вагон; слишком медленно пыхтенье, и так медленно, так равнодушно медленно стелются и тают клочья дыма... Свисток. Вот красная водокачка, и вот наконец наша милая, грязная станция Волконская. Слезать с левой стороны.

Скорей, скорей через грязный «зал» на крыльцо. Подкатывает с бубенцами серая тройка; старый кучер поздравляет с приездом. Скорей, скорей вещи в коляску. Трогаемся. Опять бубенцы. Прогромыхала под колесами мостовая станционного двора, прогромыхали трясучие доски мостика,— выехали на черноземную дорогу. Мягко, тихо... Сзади свисток; поезд пыхтит, раскачивается, пыхтенье напрягается, стук учащается, слабеет, пропадает... Где-то перепелка.

Как далеко все, что я люблю! Как далеко! Флоренция, Венеция! Ужели эти самые рельсы, по которым поезд сзади меня утонул в степной дали, ведут и к вам? Как далеко все тамошнее, каменное, великолепное!.. Да, как далеко все, что я люблю, и как люблю все, что кругом! Родина, Родина!.. Здесь все мягкое, земляное, соломенное. Историк Соловьев делил Европу на каменную и деревянную...

Катится колясочка, и валек пристяжной задевает придорожную рожь. Вечереет. Вечерний воздух сыт цветущей рожью... Вечерние звуки кончающегося дня; утомленная покорность возвратного движенья. Запах соломы, дыма, навоза... Уходящий горизонт ничем не перерезан, разве встречною дугой... Гаснущий пожар закатного неба. Висящее в пыльном облаке напряженное блеяние; редкий щелк арапника. И вновь молчанье; и гаснет все больше, и мрак все гуще... Из темноты нежданный лай, нежданный фырк, нежданный вспых далекого костра...

Катимся. Звенят бубенцы, не то усыпляют, не то пробуждают. Пахнет лошадиным потом. Пристяжная звонкою подковой задевает о подкову. Катимся... И кажется, пространства нет, и времени не чуешь.

Но вдруг пахнуло зеленью, лесною сыростью: мы подъезжаем к парку. Темнее ночи на темном небе темнеют темные дубы. И обдает нас вдруг щелкающим гамом море соловьев: мы въехали в аллею. В конце аллеи огонек. То выбежали на крыльцо. Вот брызнул свет из окна столовой. Давно уже там ждали и вдруг услышали в ночном молчаньи ровный стук копыт, и кто-нибудь крикнул: «Едут!» И кто-нибудь повторил — «Едут! Едут!» И вышли со светом на крыльцо. Аллея кончилась, мы выкатили в обширный двор; огибаем большой зеленый круг,— лошади остановились в полосе света.

О, первый ужин с укропом из собственного огорода!

«Прежде,— говорит Гоголь,— давно, в лета моей юности, в лета безвозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать». Должен сказать, что **всегда**, не только в детстве,— во всяком возрасте мне было «весело подъезжать». Уже к седьмому десятку я приближался, и не улетучилась острота этой радости. И сейчас, когда начинаю уже свой седьмой десяток, и когда ничего уже не осталось от этого прошлого, когда и в том уголке души, где цвели лучшие цветы, уже и полынь не растет,— не могу без радостного трепета вспоминать, как подъезжал к милой нашей Павловке.

Часы поездов часто менялись на моей памяти. Затрудняюсь сказать, что я больше любил,— приезжать ночью или днем, угадывать или видеть. Если днем, то обыкновенно приезжали часу в шестом. Какой прелестный час в усадьбе! Час, когда жар еще в земле, а с неба уже идет прохлада. Останавливаюсь на крыльце. Длинные тени от деревьев стелются по зеленым лужайкам; около дома поливают цветы — шум ведер и леек; над петунией и резедой жужжат пчелы, которые каждый год ютятся за обшивкой деревянного дома. С крыльца смотрю назад, откуда приехал. Зеленый круг посреди двора; посредине круга один из тех огромных глиняных, кирпичного цвета горшков, которые привез из Флоренции. Направо свесился через дорогу на круг, раскинул свою шапку огромный трехствольный дуб; огромный дуб: если его шапку очертить на земле то будет круг шагов в двести. В ветвях этого дуба мы детьми готовили уроки. Под шапкой этого дуба, в тени ее, старый кучер Варфоломей Деич Ходыкин ждал, когда выйдут на крыльцо, махнут подавать лошадей... Через зеленый круг смотрю на аллею, по которой приехал. «Графская» зовется она, в память прежнего владельца Кушелева-Безбородко. Был у нас когда-то, в начале семидесятых годов, «эконом» по фамилии Каченовский; он старался перекрестить Графскую аллею в Княжескую, но как он ни старался, старая аллея своего старого имени не отдала. Она длинная, почти в версту; деревья подстрижены стенкой, и только макушки свисают, живая изгородь, плотно подстриженная, окаймляет дорогу до конца аллеи; два белых столба отворяют выход в степной простор. Там солнце садится; горячий луч сквозь всю аллею скользит на середину круга и зажигает яркую герань в флорентинском горшке... По этой аллее за пятьдесят два года сколько приездов и отъездов; кому встреча, кому проводы. Что может быть приятнее гостеприимства в деревне. Послать на станцию, готовить комнату, заказывать обед, угадывать любимое блюдо... Радостно впускают белые воротные столбы да и выпускают в радости, потому что без тяжести гости уезжают; с крыльца платки машут, и из коляски дамский платок, мужская шляпа: уже тройка маленькая, почти скрылась, а в огненном пространстве между столбов машет дамский зонтик или поднятая на палку мужская шляпа...

Напротив меня, влево от аллеи — белый флигель, так называемый «Молочный дом», не по цвету своему, а потому, что в нем когда-то был молочный ледник. Милый флигель, каменный, с высокой крышей: что-то готическое в нем. На заломе крутой крыши петух-флюгер. Под ним четыре буквы, вокруг него четыре страны света, но он подобен флюгерам в стихотворении Алексея Толстого, которые «не знают, в которую сторону им повернуться»,— так тихо в воздухе. Нет ему, петуху, причины куда-нибудь преимущественно смотреть, но он смотрит на запад, через аллею, туда, где солнце садится, где деревня Криуша, откуда всегда дождь; он, вероятно, так остался после последнего дождя... Ниже петуха, под фронтоном крыши большие часы показывают шесть без двух минут. Через зеленый луг к тому дому ведет цементная дорожка сквозь два ряда цветов, сгорающих в прощальной ласке закатного луча. По нарядной дорожке, переливаясь золотом и изумрудом, поколыхивая драгоценным своим хвостом, шествует павлин... Налево, по пути от большого дома к флигелю, наша милая старая кладовая; каменная белая постройка, старомодная, ампирная, с портиком из четырех колонн. Как дорог памяти моей железный визг ее дверей... Часы на Молочном доме бьют шесть. Жарко на крыльце от стены, принявшей за день бессменный зной немилосердного солнца. Это большое крыльцо под балконом я нарочно построил, чтобы в утренней прохладе кофе пить; но сейчас жарко; пойдем на другую сторону.

В прихожей обнимает прохлада; ставни были заперты весь день; только сейчас их отворили, и под горячим лучом горят кирпичного цвета стены. Дубовая лестница с темно-зеленой дорожкой поднимается и заворачивает в портретную. На стене большая картина Паннини — морская гавань, корабли, башни — тоже закат солнца. С потолка висит медная лампа, лампада, какие в Венеции в соборе Св. Марка. Вот дубовая резная библиотека с двойным окном цельного стекла; в него вид на луг, на огромные дубы, на дальнюю долину, там дальше на седые ветлы; за ними блестит полоса пруда, и за прудом опять деревья, дальняя опушка парка. Сзади себя на крыльце оставил сухую степь, а здесь зеленый сок лесной... Милая библиотека! В ней три поколения коротали дождливые дни и долгие осенние вечера.... Через большую двухсветную гостиную выхожу на каменную террасу,— убрана цветами, и уже угадываю по запаху ядовитое присутствие туберозы... Перед террасой стоит в кругу десять исполинов дубов; задумались в прохладе поднимающейся тени; только самые последние листочки на макушках горят от солнца, что осталось с той стороны дома. Под деревьями сиденья — вторая гостиная. «Под дубами» мы детьми любили обедать, ужинать. Направо с террасы, в прорехе меж деревьев, видна наша церковь, по ту сторону оврага, верстах в полутора,— красивая, ампирная, очень красивая, 1806 года... Здесь тише, чем на той стороне; вечер стал, природа готова к ночи... С шумом крыльев, но без карканья проносится над высокими дубами туча грачей: полетели на дальний водопой... За большими дубами расстилается луг до края двух скрещивающихся оврагов; на краю стоит скамейка, перед ней площадка и цветник, и на пнях две огромные агавы, которые когда-то мать моя привезла маленькими в одном горшке с виллы Волконской в Риме...

В чем прелесть всего этого? Отчего мы так это любим? Много видал я мест прекраснее; и вся страна наша такая неприглядная, и климат сухой, и воды в парке другой нет, кроме двух прудов. Откуда же эта привязанность, корнями существа нашего вросшая в землю, влившаяся в каждое дерево, цветущая в цветах, обнявшая безбрежную однообразность степную? Не знаю, как другие, но отвечу за себя. Для меня это непрерывное творчество. Задумывать, осуществлять, видеть в каждый свой приезд

упрочение и рост того, что сделал в прежние годы,— какое нескончаемое удовлетворение. Да, наша местность, как степная, уныла, но вокруг дома старый парк в двести пятьдесят десятин. Когда родители купили именье в 1863 году, все было в запустении; только большие старые деревья радовали глаз, но всюду крапива, лопух, хворост. Теперь все чисто, свежо, нарядно. Не было ни одного хвойного дерева; первые две елки приехали с нами в корзинках на крыше кареты; в 1868 году еще железная дорога доходила только до Тамбова. Привезли две елочки; они были не простые, бальзамические, и мать моя тут же их посадила во дворе направо и налево от въезда. Они сейчас большие и точат дивно-благовонную смолу...

Мать моя не прекращала сажать, я продолжал. Нелегко ей было; мне было много легче. Во-первых, я работал уже на готовом фоне, во-вторых, в мое время рабочие уже приобрели некоторые навыки уважения по отношению к посадкам. Но как трудно было моей матери начинать! В посадках паслись телята, маленькие елки скашивались косой. Можно сказать, первые десять лет были более воспитательной работой, нежели созидательной. Шевырев[1] сказал, что в «Слове о полку Игореве» выразилась в поэтической форме вековая наша задача — борьба с пустыней. Борьба с пустыней была деятельность моей матери в Павловке, и, конечно, не одну природную пустыню тут следует понимать, но и ту пустыню, которую люди в природе делают, и ту пустыню, которая в самих людях. Нелегко ей было. Какое-то стихийное надвиженье людского непонимания и даже людского издевательства сметало дело рук ее. Она не унывала; но, только когда люди увидели результаты, тогда начали они понимать ценность того, чем результаты достигаются. Понемногу наступал период бережной работы. В овраге, возле ручья, я посадил папоротника, такого, которого прежде у нас не водилось; он отлично прижился,— косари аккуратно его обходили.

Рощи, целые леса мы развели, и хвойных столько, что вечером иногда пахнет сосной, и уже грибы пошли такие, каких прежде в нашей местности не было. В глубоких оврагах нельзя было пешком пробраться сквозь кусты и цепкий хмель, а теперь в шарабане можно ездить на четверике гуськом или в автомобиле.

Какая красота в парке, где мягкие зеленые дороги вьются по лугам меж раскинутых древесных островов; или в прямых архитектурных аллеях. Дубовая аллея, как внутренность готического собора, и в версту длиной. А кленовая — три экипажа могут рядом ехать, деревья сводом сходятся. Вы не можете себе вообразить эти аллеи ночью, и в них кататься в автомобиле с фонарями! Другой мир. Помню, когда приехал ко мне Модест Ильич Чайковский[2],— он приехал ночью,— я вышел за околицу парка встретить его и, вместо того чтобы везти его аллеей прямо к дому, свернул после ворот влево, через так называемый «Сергиевский парк», в овраг. Днем оврага выехали в лощину, мимо седых ветел, мимо блестевшего в луне пруда и — в аллеи: в одну, в другую, в третью, в дубовую, в кленовую, в березовую, в малую дубовую, в малую кленовую, в «новую»... Как архитектурность аллеи выигрывает, как она определенно вырисовывается под движущимся светом фонаря, который озаряет лиственный свод впереди и сейчас же отдает его мраку назад, из мрака вырывает и в мрак перебрасывает. Волшебство непередаваемо, и удивительность этого первого впечатления неповторима. Так Модест Ильич и остался в уверенности, что в час приезда своего он видел такие места, которых впоследствии не мог найти...

Парк интересный в древесном отношении; одних хвойных пород больше двадцати. За последние тридцать лет мы перекинули лесонасаждения уже за пределы парка. В голой степи пошли рощи, и лиственные, и хвойные; переход из степи к парку стал постепенным; кто долго не был в Павловке, не узнает местности: то была голь, а то перелески, острова.

Одно место мы особенно любили — Степкину вершину. По обе стороны крутого оврага вспахано и засеяно лесом; уже лес совсем большой. Овраг рогатистый, с мысами, и чем дальше от его вершины идешь к устью, тем все шире и глубже, а в конце, за последним мысом, вдруг блеснет гладь пруда; над ней, закинув шею на спину, выставив длинный клюв свой, пролетает цапля. Еще голубые, как бирюза, сивоворонки летают с одного берега на другой и дерутся в воздухе с желто-черными иволгами. Лисицы, когда проезжает автомобиль, выходят на опушку поглазеть, вильнуть хвостом и юркнуть обратно в чащу... Степкина вершина от парка в двух верстах, но отсюда, с высокого места, видно далеко. Виден в долине ближний хутор Владимирский; дальше Мариинский, когда-то на пустом месте, а сейчас в рощах утопающий. За ним дальний лес тянется до горизонта. За лесом в очень яркую, жаркую погоду видны туманные очертания города Борисоглебска... Лес — старый, строевой, в котором Петр Великий строил свой азовский флот и спускал по Вороне в Хопер и Доном к морю. Лес и посейчас называется Талерманская рощв, от голландского слова «тиммерман» (плотник).

В детстве мы любили в лес ездить. Это не были пикники, это бывали переселения народов. В трех, четырех экипажах, а мы, старшие, с матерью верхом. Не доезжая леса, на сахарном заводе жила семья директора Островского; их было детей человек шесть, семь; забирали их. А сколько гувернанток, нянек, гувернеров, помощников управляющих, студентов, на побывку приезжающих... В лесу гулянье, игры; по Вороне катанье, в Вороне купанье, рыбная ловля; ужин, самовар, костры... И обратный путь под звездным небом... Теперь Ворона пересыхает; есть места, где можно вброд переехать; и с каждым годом все мельче... Есть места, где была река, а теперь подсолнух сидит и высасывает последние остатки влаги. Леса рубят, вода мелеет.

Да, пятьдесят лет любовного отношения к дереву не заразили местных крестьян; у них не только нелюбовь, у них ненависть к дереву. Если бы вы только видели жестокость, с какою обращаются крестьяне с деревьями. Прелестные молодые рябины, растущие пятью, шестью стволами из одного корня, всеми шестью стволами звездою на земле лежат: мальчики доставали ягоды. Подумайте только, если у вас есть сколько-нибудь склонности к философскому мышлению, подумайте, что это такое,— из-за любви к последствию уничтожить причину... Крестьянин смотрит на дерево как на материал; его тень, его прохлада, а тем паче его краса ему не нужны. Он не сознает даже того, что рост дерева есть своего рода капитал и что, как капитал начинается с копейки, так мачтовое дерево начинается с посаженного прутика. Крестьянин не понимает того, что в хозяйстве называется «рентабельность». Риск в хозяйстве ему чужд, и все имеет цену лишь с точки зрения единовременной наживы. Единовременность — вот гнусный и пагубный принцип крестьянского хозяйства, а следовательно и хозяйственной жизни всей крестьянской России. Ничто не зиждется на прошлом, ни в чем нет расчета на будущее; посев,— дальше не видит хозяйское око крестьянина...

Со Степкиной красиво домой возвращаться. Дорога идет по высокому, сзади остался молодой лес, а впереди развернулся во всю длину зелено-темный парк — как море дубовых макушек... Проезжаем мимо кладбища, которое я обсадил деревьями, а налево гумно, тоже обсаженное; островки древесные готовят к въезду в парк. Вот пошли постройки, амбары, мастерские, машины, молотилки, веялки, жнейки... Какая школа людская все это! Сколько за пятьдесят лет выпущено слесарей, машинистов, столяров, шорников, садовников, приказчиков, конторщиков, бухгалтеров... Об одном расскажу.

Раз захожу в контору нашего Мариинского хутора. Сидит за конторской книгой молодой парень; я невольно нагнулся — меня поразил почерк. «Ты писал?» «Я писал». Стал его расспрашивать; он так мне стал рассказывать все приемы счетоводства, как будто это для него праздник. После того он поступил к брату моему в Саратовскую губернию. Года через два получаю в Италии письмо от Гаврилы Позднякова (так его звали) из какого-то захолустья в Польше; он на военной службе и просит, нельзя ли похлопотать, чтобы его перевели в Петербург,— ему страстно хочется учиться. Пишу брату Александру, который служил в Главном штабе. Отвечает, что такие переводы невозможны. Проходит месяца три, получаю письмо от Позднякова из Петербурга: переведен в Главный штаб за почерк; просит помочь ему деньгами, чтобы поступить на бухгалтерские курсы. Прошу того же брата это для меня сделать. Через два года радостное письмо: курс кончил, имеет хорошее место на Николаевской дороге и даже просит разрешения вернуть мне деньги... Быстро пошел в гору. Одно время был заведующим винных складов графа Воронцова-Дашкова. Во время войны был взят в канцелярию Главного штаба. Здесь аккуратностью и деловитостью своей настолько выдвинулся, что откомандирован в личное распоряженье военного министра, и Поливанов говорил, что он спокоен, когда Поздняков у него в кабинете. Благодаря своим бухгалтерским знаниям он изобрел способ, которым мог в три минуты времени достать сведения о любом солдате русской армии. На третий год войны он приезжал домой в село Криушу и заходил ко мне. Он даже,— о, ирония судьбы! — сдал мне свой сундук на хранение: к счастью, он вовремя его убрал. Последнее письмо от него имел в 1918 году из Бердянска... И сколько людей, пройдя через нашу контору или наши мастерские, увидали свет. А учиться начали в нашей усадебной школе, где первой учительницей была основательница ее, моя мать...

Едем дальше. Всегда, куда ни подъезжаете, есть последний поворот; огибаем домик священника; вот наша красивая церковь на большом выгоне, окруженном саженым лесом. Вот пошли направо конюшня, водокачка, скотный двор, налево разгонная конюшня, людская. Все это широко, раскидисто. Вот ворота,— другие ворота; въезжаем в аллею,— другую аллею: в четыре ряда елки; стрижено, архитектурно. Выезжаем на спуск к плотине: налево пруд, и в пруду отражается белый флигель. Молочный дом. Он красив отсюда в зелени, но и оттуда красиво сюда смотреть, на эту сторону. Из окон моей спальни во втором этаже особенно красиво. Прежде здесь была пустыня, от которой хотелось отгородиться, а теперь красивые луга, окаймленные волнистыми линиями лесной опушки. Эту часть мы называем Александровский парк. Из окон спальни смотрю в бинокль на мною созданный пейзаж. Другая страна. Это ли тамбовская степь? Волнистая местность, дубняк, березняк, ельник; и среди рощ возделанные нивы. В бинокль

[1] С. П. Шевырев (1806—1864) — критик, историк литературы, поэт.

[2] М. И. Чайковский (1850—1916) — брат П. И. Чайковского, автор либретто его опер «Пиковая дама», «Иоланта», драматург; подолгу жил в Риме, где с ним подружился Волконский.

вижу, смотря по времени года,— покорно-длинные вереницы подъяремных волов, трескучее подпрыгивание сеялки, пестрый цветник платков и сарафанов во время полки и крылатое вращенье жнейки, снимающей плоды предшествовавших трудов. Все это на фоне зеленых рощ, перед горизонтом из древесных макушек, я вижу из окна, из которого двадцать лет тому назад был виден пустырь и за ним степная голь... Вот то творчество, которое привязывает к месту. Как часто меня спрашивали: «Вы любите сельское хозяйство?» «Нет.» «Вы любите охоту?» «Нет.» «Что же вы в деревне делаете?..» Уверяю вас, что мой день очень наполнен.

А мой дом, мой белый флигель, наш милый Молочный дом! Такой несуразный, выкроенный из старого, но такой занятный. Моя спальня наверху; весь верх, в память детства, в память Фалля, разделан под готику тридцатых годов; там все под стать, немножко сухо и очень уютно. Главная комната, та, где балкон, та, над окнами которой башенные часы, это «Николаевская», с портретом Николая I, с портретами и бюстами прадедов. Никто не скажет, что устроено,— всякий подумает, что так перешло в наследство: прабабка спросила бы — «Где моя работа? Я вчера ее здесь оставила». К этой комнате ведет коридор, «Сибирский коридор». Тут воспоминания о декабристах: портреты, виды, документы, вещи, бывшие в Сибири. Поучительно; все это говорит, рассказывает: Благодатский рудник, Чита, Петровский Завод, Ангара, Амур, виды казематов, дед мой и бабушка в своей камере № 54. Повесть страдания и терпения, высоты и смирения...[3] Все это собрано, развешено в коридорчике, освещенном сверху через солнечное слуховое окно. Все это свежо, бело, только готические стеклянные двери просвечивают пестрыми пятнами средь этой белизны. Как мало кто знает это. Как мало вообще у нас интересуются. Ни разу ни одна школа из города не подумала совершить экскурсию. Ну как же не показать учащимся такой «Сибирский музей», не говоря о парке, о деревьях, о сельскохозяйственных орудиях и пр. Ну как не дать им прожить два дня среди природы, набрать цветов, наловить насекомых, на сене ночевать... Нет, несчастных детей водили в июле месяце смотреть железнодорожные мастерские!.. А все классовая рознь, через которую не умеют люди душой перешагнуть[4].

В нижнем этаже совсем неожиданная комната. Бывший ледник и погреб я превратил в зал. Из коридора пробита арка. Сходите двумя ступеньками на платформу, с которой две лестницы сходят вниз, а направо и налево расходится галерея. Архитектурный план напоминает бассейн для плаванья, а кругом за колоннами ход. Внизу, кругом всей комнаты полки с книгами и устроена гостиная, мягкая, уютная. Галерея за колоннами огибает весь зал; напротив входной арки, на том конце зала огромное окно на юг и из него вид на другую, лесную сторону оврага, на Александровский парк, и из деревьев выглядывает белая колокольня церкви. Потолка нет, стропила наружу, как в старых итальянских церквах; от середины крыши до полу десять с половиной аршин[5]. На правой длинной стене два окна на запад; красиво, когда косой луч падает в нижнюю часть зала и под ним красным жаром на круглом столе пылает букет пионов; гостеприимно, когда на том конце зала, под большим окном, на крытом скатертью столе дымится самовар... Эта комната — как гостиная-библиотека, устроенная в трапезной какого-нибудь итальянского монастыря. Из двух боковых окон должен быть вид на итальянский дворик и на итальянский сад,— когда они будут, если будут...

В этой зале мы устроили на второй год войны елку для всех служащих. Елка в восемь аршин стояла внизу, подвязанная к стропилу; между колоннами висели доморощенные, в кузнице сделанные люстры. Было чтенье, было пенье, были подарки, было веселье... Перед тем за десять дней в той же зале была католическая обедня для пленных; сто двадцать человек пленных стояло внизу, в галерее за колоннами стояли наши «чины и власти». О военнопленных следовало бы мне рассказать, но это составляет такую особенность военного, предреволюционного и революционного времени, что в этих строках, повествующих о деревенском «мирном житии», не место говорить о них. Будет случай...

Я никогда не любил хозяйства; меня всегда больше влекла расходная, нежели доходная статья. С детства я питал отчуждение к хозяйству. Как ни старался отец меня приучить, ему не удалось разохотить меня. О, эти поездки по хуторам с управляющим. Как я скучал! В жару

[3] Волконский, унаследовавший архив семьи Волконских, подготовил и издал вместе с известным библиографом Б. Л. Модзалевским часть семейного архива «Архив декабриста С. Г. Волконского», т. 1, ч. 1 (1918). Материалы подготовленные для следующих пяти томов — семейная переписка, официальные документы, письма многих декабристов, а также неразобранная часть архива оставались в уездном Борисоглебске, куда Волконский, спасая, перевез их из Павловки, и были конфискованы при обыске. На официальный запрос из Москвы о судьбе этих документов, сделанный по настоянию Волконского, из Борисоглебска пришел ответ: «Бумаги, отобранные в доме Волконского, израсходованы в уборной уездной Чека».

Опираясь на те документы, которые сохранила его память, Волконский написал небольшую книжку «О декабристах. По семейным воспоминаниям» (1922).

[4] Будучи членом уездного училищного совета, Волконский участвовал в устройстве школ, принимал экзамены в школах Борисоглебска и уезда. Часто общаясь с учителями, он просил привозить учеников на экскурсии к нему в Павловку. О нравах местной интеллигенции, о соседях-помещиках Волконский рассказывает в главе «Глушь».

[5] Примерно семь с половиной метров.

на дрогах мы ехали. И все, что говорили отец с управляющим, так меня не интересовало и было так далеко от того, что меня интересовало. Говорят о хлебах, о севооборотах, о сдаточных ценах, а я еду, смотрю на поле и любуюсь васильками и даже хлебным врагом — красным куколем. Я восторгаюсь развесистым дубом, а тут говорят о поделках, о распилке. Я не слушаю, что там за моей спиной, на другой стороне старшие говорят, а смотрю перед собой на бесконечные волны бесконечного ржаного поля. Жарко; над лошадьми овода... Истома ложится на природу, обнимает и меня. Очень меня занимает под хвостом у пристяжной потная шлея. Лошадь вальком задевает за рожь, и из спелых колосьев высыпаются зерна на подножку экипажа. Смотрю себе в ноги: подпрыгивают ржаные зернышки. Они хитрые, они обманули человека; он их хотел взять, смолоть, а они с подножки на землю спрыгнут и дадут ростки. Я слежу за ними, глаз мой их провожает до того мгновенья, когда они прикоснутся к земле. Эта пляска зернышек меня интересует больше всяких хозяйственных разговоров... Но вот приехали на хутор, подъехали к конторе. О, эти заезды в конторы! Этот приказчик с обручальным кольцом на указательном пальце! Мухи на окнах, премии «Нивы» по стенам, куры на пороге, поросята на крыльце... Эта роковая необходимость конторских книг, ведомостей... Все это я вижу, слышу, но не смотрю, не слушаю. А дома ждет какая-нибудь начатая дорожка, вновь посаженное дерево, картинка, которую столяр вставил в рамку... Так с детства жизнь делилась на нужное, несносное, и на ненужное, приятное. С детства ощущал враждебную встречу Красоты и Пользы. И только много позднее я понял, что вовсе не стыдно не интересоваться тем, что тебя не интересует. Тут встает и другой вопрос, который, между прочим, формулировал Шиллер. Он сказал, что о вкусах человека надо судить не по работе его, а по досугам. Только много позднее понял я, что можно вкусы своего отдыха превратить в предмет своей работы. Конечно, не всякие вкусы заслуживают быть превращенными в работу, и, с другой стороны, не всякий человек поставлен в такие условия жизни, которые ему позволяют слияние наклонностей и обязанностей. Но кто это может, для того прохождение жизненного пути являет редкое преимущество слиянности, единства и покоя.

Итак, я предпочитал расходную статью доходной. Но никогда мне не казалось, что я расходую на себя, когда расходовал на Павловку. У меня такое было ощущенье, что моя обязанность, мое призванье сделать из Павловки то, что в революционные времена стали называть «культурная ценность».

С крестьянами отношения хорошие. С конторой, с приказчиками, с управляющими они тягаются, но со мной всегда вежливы. В воскресенье утром у меня на крыльце своего рода приемный день. Тот просит «скостить», тот просит «отпустить», у кого корова «прохарчилась», тому соломки на крышу, тому хворосту на плетень, кирпичей на печку... Трудно иногда бывало разобраться в справедливости и искренности; священник в этих случаях был верным советчиком. Трудно и потому еще, что не нравится снисходительность владельца управляющим; это уменьшает доходность. Но я им говорю: «Ведь вы ставите благотворительность на приход; так о чем же разговаривать?» Есть и такие, что приходят просто посоветоваться, как быть в том или ином случае: дележ, приписка к обществу — вопросы, от которых я далек, но всегда ценил доверие. Особенные случаи воспитания, болезни приводили их ко мне. Одного слепого я взял в Петербург, поместил в приют, из него вышел певчий, и он плел корзины, делал щетки. За это я стал популярен среди слепых. У нас в округе их было довольно много, и, странно, они все на протяжении пяти, шести волостей знали друг друга. Один из них мне сказал, смеясь: «Слепой слепого издалеча видит». В семье Волосковых в деревне Павловке было два брата слепых; третий, зрячий, Егор, служил у нас в доме; редкой преданности человек; он пошел на войну и попал в австрийский плен. Через год вести о нем прекратились. Сколько раз старуха мать приходила просить: «Ну еще разок попытайся написать...»

У меня была целая переписка и с Красным Крестом, и с каким-то учрежденьем в Женеве. И не дай Бог, когда удастся известье получить,— тогда посыпятся просьбы. Даже из Саратовской губернии получал прошения разыскать такого-то. Какая удивительная сила обобщения живет в безнадежности: один удачный случай пробуждает тысячи надежд... Милого Егора Волоскова, приветливого, сияющего, будут помнить все, кто жил в моем доме.

И еще будем мы помнить Ивана Меньшикова села Посевкино. Был убит на войне. Он был сторожем моего маленького дома в Борисоглебске, и, когда, в годы войны, я там устроил лазарет, он стал наблюдателем, курьером и пр. Какой прелестный человек. Как раненые его любили...

Был еще один Меньшиков в Посевкине, Егор. Он с ранней юности своей работал у нас в саду, с любовью относился к каждой своей работе, прямо, когда исполнял физическую работу, приходил в какое-то вдохновенное состояние. Раз пошел с ним в дальнюю часть парка, которую мы прозвали «Кавказ», потому что там обрывистый овраг; со стороны степи я посадил лес, а дно оврага в некоторых местах приоткрыл. Таким образом благодаря тому, что ровной степи не видать, можно подумать, что стоишь не на краю оврага, а на какой-то вершине. Там на

одной лужайке среди сорной травы и мелкого кустарника я открыл прелестный дубок. Захотелось его высвободить. Пошли с Егоркой.

— Вот, Егорка, эту всю грязь вокруг дубочка мне скоси. Только смотри, дубочка не смахни.

— Ну, нешто!..

Зашел с того краю, поплевал в ладони, начал косить. Что ни взмах, то чистый полукруг перед Егоркой раскрывается. Валятся сорные травы и мелкие кусты, ложатся кучками влево от него. Он входит в упоение, в ярость: гортанным дыханьем отмечает каждый взмах — «Раз! Раз!» Я стою против него у другого края сорного места. Уже сзади дубочка все чисто. Вдруг взмах, и после гортанного «Раз!» — крик, в котором и ужас, и отчаянье, и раскаянье. Он замер. Мы смотрели друг на друга, развели руками... Однако дубочек не посмотрел на дело так трагично, как мы: он пошел от корня двумя ростками; я срезал один, оставив более сильный. Теперь он вдвое выше роста человеческого.

Егорка боготворил память моей матери. Он впоследствии был разъеден страшною болезнью. В последний раз что он приходил, на него было жутко смотреть. Трудно было понимать его слова; но в гнусавых звуках, выходивших из того, что было остатком его лица, я разобрал, что каждый день он приказывает детям молиться за покойную княгиню...

И еще одного Меньшикова помню, тоже из Посевкина, — там было много представителей этого знатного имени. Было это на второй год войны. Приходит — в ноги. За пятьдесят лет не могли отучиться. Впрочем, только те так делали, кто в первый раз приходил. Спрашиваю: чего ему? Забирают, а он вдовый и пять человек детей, ни матери, ни тещи, — кому их денет?

— Пришел к вам попросить письма́.

— К кому?

— А там из Питера приехал набор производить Князь Великий.

А я слышал уже, кто приехал набор производить.

— Нет, говорю, не Князь Великий, а князь Енгалычев.

— Вы с ним знакомы?

— Знаком.

— Ну вот, к нему письмо пожалуйте.

— Слушай, ты мне веришь?

— А то.

— Ну так я тебе скажу, что письмо мое тебе нисколько не поможет. Когда набор?

— В воскресенье в Алабухи являться.

— Ну вот, забери ты всех пятерых своих детей, погрузи на телегу и так и поезжай в Алабухи и со всеми детьми прямо вали в воинское присутствие.

— Так ведь маленький и ходить-то не умеет.

— На руки возьми.

— Ну спасибо за совет.

Так он и сделал. Освободили.

Итак, по воскресеньям приходили крестьяне. Я к ним подходил вплотную. Тех, кто не знал меня, это, по-видимому, удивляло. Я заметил, что это удивленье в свою очередь создавало с их стороны новое средостение, но скоро оно пропадало. Отношение было хорошее; какое-то я чувствовал всегда с их стороны снисхожденье; они как будто прощали мне мои преимущества. А может быть, и этого даже не было, а просто в их глазах я был чудак. Трудно переселиться в чужую оценку, то есть в психологию, руководящую чужой оценкой... Одна баба сказала знакомой помещице, что ко мне крестьяне хорошо относятся, потому что я бедных «презираю». Конечно, я делал, что мог, но тяжело сознание бездонности того, куда кладешь.

Да, помещичья помощь крестьянину — это палка об одном конце, если можно так выразиться. Или скажем так: побуждение — одно, а результат — другое. С одной стороны желание добра, а там ничего, пустота. Все это ни к чему, и всегда я имел ощущение, что это с моей стороны откуп. Откупиться за невозможное, недостойное положение вещей. Но сказать, что я чувствовал ответственность за такое положение, никогда не скажу. Бездонность всякой помощи крестьянину тем определяется, что его интересует только — получить, он не понимает, что значит вложить. Когда понятие дохода заменяется понятием наживы, то один лишь шаг к тому, чтобы понятие наживы в свою очередь заменилось понятием мошенничества. Губительный принцип единовременного пособия въелся в крестьянина, сидит глубоко. Мошенничество — один из видов единовременности, и мошенничество для него — условие хозяйства. За сорок лет один только случай припоминаю, который могу назвать хозяйственной помощью, а не подачкой. Какой разумный, правдивый мужик Алексей Давыдов села Посевкина. Он каждый год берет у меня в долг больше, чем возвращает «на Николу». Завел себе скотину, инвентарь, по моему совету покрыл крышу цементной черепицей. Он каждый год веселеет. А все остальное — бездонная яма, один непробудный отказ. Тяжело, с детства тяжело было чувствовать это отличие себя и всего огромного окружающего моря. И всегда чувствовалось, что когда-нибудь прорвется. Но не чувствовал я, что когда прорвется, то им станет лучше, а еще меньше — что они сами станут лучше. Алексею Давыдову не нужна моя итальянская зала, и он совершенно счастлив без нее...

Когда я в таких мыслях, я ухожу в дальний угол парка. То есть все далеко, когда двести пятьдесят десятин, но говорю «дальний», потому что самый отдаленный от всякого жилья; ни служащему туда незачем, ни рабочему туда путь не лежит. Это самая вершина одного из наших оврагов, называется Чумакова вершина. Это западная часть парка, еще молодая: так что при вечернем солнце еще залита горячим светом. Овраг в вершине рогатится надвое, со всех сторон мысы. Склоны их я обсадил елями, а на главном мысу, разделяющем два главных оврага, я посадил большой сибирский кедр. Он могуч, он виден издалека, его зелень бархатна, он царствует посреди елок. Туда люблю я уходить, когда разум мой предвидит, а душа предпочитает не знать.

Елки на склонах стоят вертикально; четко ложатся их тени; они рассажены этажами, так что хорошо вырисовывается разной высотой их макушек волнообразие почвы. Здесь прижился большой заяц; всегда откуда-нибудь выскочит. Но это все — больше ничего живого; разве пушистый шмель над красно-бархатным клевером покружится, сядет, торопливо пососет и, оторвавшись от выпитого цветка, жужжливо негодуя, перелетит на другой...

Сколько у нас полевых цветов, и каких разнообразных! Вот розовые лепестки эспарцета, как составленные из мелкого горошка; а вот и прямо горошек, темно-красный, с завивающимися усиками. Какое разнообразие дикой гвоздики; есть маленькая красная, а то большая белая, перистая. Там длинные метелки желтой кашки, нежно-белые метелки того, что французы зовут «Царица лугов». Выскакивает крепкий, как золотая елка, Соломонов Скипетр. А колокольчиков сколько видов, — и обыкновенный, и елкой, точно игрушка, увешанная китайскими позвонцами, и крупный, огромный, с жирными белыми тычинками в раскрытых губах крепкого синего цвета. И, наконец, нигде не виданный мною колокольчик, такой темный, что почти черный; по-латыни называется Fritilaria Meleagris. А еще милая наша Clematis integrifolia, — из четырех крепких сине-лиловых лепестков звезда, и посредине пучок белых тычинок; пахнет, будто одеколоном; много его я в клумбы пересадил. В мае сколько темно-лиловых ирисов. Синий Усоп, как мягкий хвост, качается под ветром; к кустам прижимается высокая желтая арника, и в дубравной тени, на тонком стебельке, красная горит наша дикая Вербена — Барская Спесь или Жгучая Любовь... А цветущие кустарники! Низкорослый Бобовник, который цветет цветом абрикоса; приветливый Шиповник; Бересклет, к осени обсыпанный розовыми чашечками, из которых семена висят черными сережками; из них мы, дети, делали нашей няне Амалии Антоновне серьги. Белая Акация, которой ни одной не было, а теперь леса. А вишни, весной, «как молоком облитые». Празднества, не краски, празднества, не запахи. Сколько таких празднеств от ранней весны, когда склоны оврагов голубели под голубыми подснежниками

И в завитках еще в бору
Был папоротник тонкий [6],

[6] Строки из стихотворения А. К. Толстого «То было раннею весной...».

до поздней осени, когда, в предсмертной роскоши листвы, золотом блестит береза, клен пылает красным пламенем, лиловой темной кровью горит угрюмый вяз, коралловыми пятнами смеется бересклет. Сколько лиственных букетов под косым лучом горело осенью в итальянской зале на том столе, где весной пылали пионы!..

Да, наша флора очень замечательна и мало известна. Однажды, в начале семидесятых годов это было, мы с матерью посетили в Москве какую-то художественную школу. Нам показали среди прочих ученических работ «орнаменты на мотивы из русской флоры». Какое убожество! ромашка, незабудки, мак, овес... Приехав в Павловку, мать моя стала зарисовывать цветы. У меня сохранился, случайно сохранился этот прелестный сборник; думал когда-нибудь его издать. Вместо обложки думал воспроизвести ее же рисунок: обливной посуды горшок, купленный на базаре, в селе Алабухах в один из вторников, и в нем большой пучок ковыля. Волнистым колыханьем ковыля серебрятся в мае месяце поляны нашего парка...

Прохожу меж юных елок. Приветливо встречают деревца; у них нет различья в настроении, как у людей; у них бывают несчастья, болезни, но у них не бывает нервов. Они всегда приветливы. Люблю подходить к маленьким елкам, к таким, которых макушку можно еще тронуть... И всегда что-то приветливо-прощальное я чувствую в этом западном углу нашего парка, в этой далекой Чумаковой вершине. Обхожу деревца, вижу, как будет через тридцать лет... Я нарочно посадил здесь так много елок, дабы

...над ельником, из-за вершин колючих
Сняло золото вечерних облаков [7].

Обхожу деревца, снимаю повитель... Имею ли я право так любить все это и так глубоко всем этим наслаждаться? А на любовь разве есть право? Нет, на любовь не может быть п р а в а, на нее может быть только чужая зависть. Но зависть не дает ее тому, кто ее не имеет, и зависть ее не отнимет у того, у кого она есть...

В лощине я посадил несколько тополей; подрезаю, чтобы стрельчатее росли. Тут же посадил голубой ветельки; смотрю — принялась. Вон елочка вздумала разукрасить себя зелеными шишечками; в эти годы? Какая неосторожность; надо сорвать их, — зачем деревцу истощать себя?.. Кедр великолепен. Устоит ли? Жарко, сухо здесь; иногда поливать приходится, а пруд далеко. Он выше всех, и молодой лес вокруг него — не защита ему; легко может бурей его сломать. Он был подвязан на три стороны проволокой к столбикам, —

[7] Строки из стихотворения Я. П. Полонского «Уже над ельником из-за вершин колючих...».

проволоку украли: подвязал веревкой,— веревку украли: подвязал мочалкой,— мочалку украли...

Солнце село. Иду вдоль оврага домой. Овраг налево все глубже становится, все сумрачней; большие дубы, со склонов и со дна поднимающиеся, все выше. Туда, вниз, не хочется: там сыро, там уже темно, там пахнет грачом. Здесь, наверху, сухо, здесь еще светло, здесь пахнет медом и сеном... Парк теряет дикости своей; все глаже причесаны лужайки, кусты; дорога, зеленая, мягкая, стала крепкая, кирпичом убитая. Вот стриженная изгородь к дому, вот цветники и вот крыльцо: плитки в шашку, удобные плетеные кресла...

Тишина. Уже кончили поливать. Аллея погасла, и потухла горячая герань на середине круга в флорентинском горшке. Жарко. Сухо...

— Мария Гавриловна!

Старушка-экономка только что заперла визгливую железную дверь кладовой и валкой своей хлопотливой походкой направлялась к кухне.

— Можно простокваши?

— Сию минуту.

И сколько раз, когда мне подавали вкусную холодную простоквашу, я думал: «А может быть, это последний раз...» Но нет, не последний... «Но будет когда-нибудь последний»,— всегда докаичивал я... И был последний, б ы л.

Я вижу, что весь свой рассказ я вел в настоящем времени. Простите и поправьте. Везде, где стоит «есть», поставьте «было, было, было». И знайте, что из всего, что я описывал, сохранилась у меня только,— и сейчас, пока пишу эти строки, она лежит передо мной,— кедровая шишка от кедра, что остался там, на Чумаковой вершине...

Марина ЦВЕТАЕВА

КЕДР

АПОЛОГИЯ

(О книге кн. С. Волконского «Родина»)

Подходить к книге кн. Волконского «Родина» как к явлению литературному — слишком малая мера. Эта книга прежде всего,— летопись. И не потому, что он пишет о «летах мира сего»,— кто не писал воспоминаний? Основная особенность летописи — то освещение изнутри внешних событий, тот вопрос, который она им ставит, тот ответ, который из них слышит. Летописец далеко не последнее лицо в летописи: им она жива. В этом строжайшем смысле слова книга Волконского «Родина» наряду с «Wahrheit und Dichtung» Гёте [1] — истинная летопись: века и духа.

Вымышленные книги сейчас не влекут. Причина ясна: после великой фантасмагории Революции, с ее первыми-последними, последними-первыми, после четырехлетнего сна наяву, после черных кремлевских куполов и красных над Кремлем знамен, после саженного: «Господи, отелись!» [2] на стенах Страстного монастыря, после гробов, выдаваемых по 33 талону карточки широкого потребления и лавровых венков покойного композитора Ск-на, продаваемых семьей на рынке по фунтам,— нас, кажется, уже ничем не потрясешь, разве что простой человеческой правдой: сущностью единой и неделимой. Такой книгой и является книга Волконского «Родина»: книга глубочайшей человечности. «Глубочайшей», впрочем, для удовлетворения слуховой привычки, я бы «глубочайшей» здесь заменила «высочайшей». Человечность не только глубь — и высь. Дерево не растет в воздухе, что корни, но не ошибка ли русских в том, что они за корнями («нутром») не только забывали вершину (цветение), но еще считали ее некоей непозволительной роскошью. В корнях легко увязнуть: корни — и родниковые воды, да, но и: корни — и черви. И часто: начав корнями, кончают червями. И еще мне хочется сказать: корни (недра) — не самоцель. Корни — основа, ствол — средство, цвет (свет) — цель.

Корни — всегда **ради.**

Итак, книга «Родина» — древо высочайшей человечности. Корень — рост — вершина, все налицо,— и какое цветение! Страсть к высотам, так бы я определила ее главенствующую страсть, но еще вопрос: дух ли тянется ввысь, или высь его тянет. Склонна думать, что, кроме тяги земной, существует еще и тяга небесная.

Кстати, очаровательное соответствие: первое воспоминание — конное. Авто-

[1] Автобиографическая книга Гете «Поэзия и правда».

[2] Строка из поэмы С. Есенина «Преображение» (1916): «Облаки лают, Ревет златозубая высь... Пою и взываю: Господи, отелись!»

ру три года, его посадили на коня, и кто-то из старших ведет коня в поводу по кругу. «Ну как?» И сдержанное, вместо хваленой ребяческой откровенности (рева!): «Ничего... Немножечко... неловко!» Да, спору нет: пешему «ловчей» — особенно с непривычки. И смотреть на мир с коня — не только услада, но и ответственность, уже потому хотя бы, что ты на целый конский рост выше (видней!) остальных. «Конный» — это то же, что титул, что дар,— этим нужно уметь владеть, и за это нужно уметь ответить.

— Ну, не прелестное ли вступление в книгу, этот трехлетний всадник, на красном песке садового круга — такой воспитанный, такой бестрепетный, такой невинно-важный в сознании устремленных на него глаз! И — как я благодарна автору за то, что он не заставляет коня сворачивать в конюшню, при громком хохоте зрителей и реве седока! И — как я вообще благодарна автору за его детство! Ни нянек, ни елок, ни лошадок, вместо лошадки — сразу конь. (Так, всю жизнь: **без** штекенпфердов [3], без эрзацев!)

О, разливанные пеленочные моря и реки наших русских классиков! Как вас по семицветной радуге Духа, и не заметив даже, миновал автор! Детское вне ребяческого, младенческое вне пеленочного, юношеское вне юбочного,— найдите еще такую книгу! Особенность книги: упор, мускул, костяк.— Сердце, но сердце в латах! — Никаких разворöченностей, никаких исповедей: уж скорей отповедь, чем исповедь! Вместо славянской словесной и телесной распущенности — стройное распускание цветка на твердом стержне. Не ищите в его книге «интимности». Это вообще низкое слово. Но, снисходя до него на сей раз, думаю, что не ошибусь, ежели скажу: его «интимный круг» — горизонт (по старинному — окоем) — «там, где море сочеталось с небом».

Вспоминаю здесь один спор об аристократизме, зимой 1919 г. в Москве. Из всех определений запомнила только два: собственное и еще одно. «Аристократизм — враг избытка: всегда немножко меньше, чем нужно. Некое — не додать...»

Собеседник: «Аристократизм, это замена принципов — Принципом...»

И я: «Да, да! Le Grand Principe [4] — как le Grand Condé!» [5]

Le Grand Principe в книге Волконского налицо. Имя ему — справедливость. Не справедливость бесстрастия, страсть справедливости. (Не справедливость бесстрастна, а мы к ней!) Свое отношение к предмету мы делаем его качеством.— Страсть справедливости, вы только вдумайтесь, господа! Этим живя, как с этим жить?! Если ты только не на острове, что вокруг тебя не искажено? Само понятие «общежитие» уже искажение понятия «жизнь»: человек задуман один. Где двое — там ложь. Противуставлять этой тысячегрудой, тысячеголовой людской лжи одинокую человеческую правду — какая задача! Человеку, обуреваемому демоном справедливости, только два пути: или на остров, к зверям (Руссо), или же — в самый котел. Волконский героически избрал последнее. Вся книга, кроме двух первых, прелестнейших и излюбленнейших мною, глав («Фалль» — призраки, и «Павловка» — деревья), вся книга на людях. И на каких разнообразных! Гимназия и Университет (80-е годы), круги придворные, круги чиновные, сцена, помещичья глушь, духовенство, крестьяне, эсеры, земцы, учителя,— не говоря уже о Войне и Революции,— какая скáла! Одна глава: «От Нигилизма до Большевизма». Прочтите, перечтите. Многое свяжется, многое вскроется, не одно обвинение падет на обвинителя.

И вот, через все это — (заполните мысленно пролет от 1860 г. до 1922 г. [6] и не забудьте, что перед вами не обывательская жизнь, а жизнь человека от рождения поставленного высоко,— чем выше пьедестал, тем шире кругозор!) — и вот, через всю эту вражду: князей — к писателю, писателей — к князю, эсеров — к помещику, помещиков к «вольноподумцу», через эти миллионы вражд количества к качеству, ничтожества к личности — что встает, что пребывает? **Неутомимость любви.**

Любовь. Как детская поэма кн. Волконского обошлась без пеленок, так и любовь его к человечеству обошлась без слезы. Любовь мужественная, действенная, воинствующая. Не «друг мой, брат мой», не идеалы, столь часто ограничивающиеся «одеялом для бедных», не либеральничание 80-х слезоточивых годов,— уже тогда, 20 лет,— шпага действия. Weltverbesserer [7] — это слово сказано о нем. Храня память о совершенном божеском мире, он не терпит его таким, каким его сделали люди. Отличительная черта: его страсти — этические. Страсть справедливости, страсть благодарности, страсть совершенства — все то, что у людей соединено с ребяческими прописями,— полезно, но скучно — для него восторг и вдохновение. Не пропись, а пафос. О, такого Крёза не обокрадешь! Не обокрадет его ни большевизм, ни возраст. При этом непрестанном пожаре духа — какое умение наслаждаться! Стоик с пятью чувствами эпикурейца.

[3] Штекенпферд (нем.) — деревянная лошадка на палочке.

[4] Великий Принцип.

[5] Великий Конде. Среди нескольких принцев Конде, принадлежавших к Бурбонам, один — Людовик Бурбон, прославленный полководец XVII в., известен в истории под именем Великого Конде.

[6] С. М. Волконский родился в 1860 г. 1922 г. кончаются его воспоминания.

[7] Weltverbesserer (нем.) — реформатор, преобразователь мира.

«У какого-то француза я читал: «Les réveils de l'enfance sont tromphants, les réveils de l'âge mûr sont moroses, ceux de la vieillesse sont lugubres»[8]. Нет, не заметил я на себе этих разниц: и посейчас еще торжествую, когда утром просыпаюсь, и посейчас вскакиваю, потому что радостно день начинать, а в особенности, когда хорошая погода или на столе рукопись начатая дожидается...»

От этой «хорошей погоды» до Диогенова бочонка — меньше чем шаг. (Вспомните пресловутый ответ Александру!)[9]. Но какая разница тона — и как нарочит Диогенов бочонок! Нет, Волконский никогда не искал бочонка, ибо орлиной своей сущностью знал, что дело не в скорлупе,— но когда час бочонка (Революции) пробил, он его, всем великим высокомерием своим, принял.

Два слова о Волконском и возрасте. Несколько раз на протяжении книги — такие ссылки: «Говорят, что в старости...» «Говорят, что в детстве...» — и затем, неизменно, опровержение: «У меня не так». Волконский никогда не был связан с возрастом, впрочем — пусть скажет сам:

«Странно, я никогда не мог сходиться со сверстниками. Хорошо помню, что в ранней молодости я сам себе казался много моложе их, я считал себя отставшим, а во второй половине жизни то же чувство молодости, которое тогда держало меня — как бы сказать? — на запятках, вдруг выдвинуло меня на двадцать лет вперед — точно природа приберегала меня, и, когда она меня выпустила, мои сверстники вокруг меня были старики».

Отсутствие ребяческого в детстве, продленное детство в юности и, наконец, бессрочно-продленная юность. Нет, здесь с возрастом, действительно, не ладно. Но «ладен» ли сам возраст? Нет, возраст не ладен, и вот почему: дух — вне возраста, годами считают лишь тело. Отождествляющие себя с последним в полном чистосердечии говорят: мне было тогда три года — двадцать три — шестьдесят три. Но те, что говоря: «Я» — говорят: «Моя душа», смутно (или ясно) чувствуют ложь календаря по отношению к этой душе, и неизбежно после утверждения — опровержение.

Им бы я, для краткости, предложила формулу Державина:

«Я есмь — я был — я буду вновь». Возраст — такая же вторичность, как сословие, имущественное положение, партийность — почти что платье. Возраст нужен тому, у кого ничего нет взамен. Так, перед звездным циферблатом — бедные, бренные карманные часики.

Но вернемся к источникам наслаждения,— какие незамутненные родники! Вот случай из раннего детства: на Балтийском море, купанье. Мальчику делается дурно.

«Я лишился сил, я лишился сознания, но все время слышал шум моря и ветра. Когда возвращался в сознание, это было постепенно, и в этой постепенности был один блаженный миг — перед полным возвращением. Чувство недомогания прошло, шум волн прибывал...»

Вспоминая о крепком песчаном дне Балтийского моря, автор добавляет:

«Никогда уже нигде я не мог после этого купаться, — только море или океан; ни реки, ни пруда не выносил, не мог выносить, чтобы нога уходила в мягкое, вязкое,— это противоречило аристократизму первых впечатлений».

Автор совершает здесь забавную ошибку: аристократизм личного восприятия он делает свойством предмета, внутреннее перемещает вовне. Так, поверив ему на слово, нам придется ждать аристократизма от всех, кто когда-либо в детстве купался в Балтийском море: песок под ногой у всех один! Ergo[10]: Балтийское море создает аристократов.— Думаю, что дело здесь не в песке, а в ощупи, и даже не в ощупи, а в молниеносном перенесении внешнего впечатления на душу: твердый песок под ногой становится символом. Соответствие ноги и почвы. Мягкого и вязкого автор не переносил уже потом всю жизнь — ни в чем, нигде: услужил ему балтийский песок!

Но — не показательная ли подмена? Вместо современного, в ушах навязшего: «Я создал горы, воды, звезды, тучи!»...— вдруг: «Меня создал балтийский песок». Обкрадывать себя — не первая ли примета неизбывного богатства?

А вот еще одно пробуждение:

«Я спал в каюте на «Варяге»[11] сладким детским сном. Какой-то грохот пробуждает меня, и прежде, чем я успеваю сообразить, что это барабанный бой, я погружен в тихое блаженство хорового пения: на палубе команда поет «Отче наш»...

И — через несколько строк: «Но такого пробуждения, как тогда на «Варяге», я не помню...» Что же здесь изысканно: предмет или восприятие? Шум воды и хоровое пение — чего проще! То, с чего начинает день последний юнга с этого же «Варяга»! Дело в ушах, дело в душе.

Война. Автор всецело занят своим лазаретом[12]: пленные и раненые, раненые и пленные.— но:

[8] «Пробуждения детства торжествующи, пробуждения зрелого возраста унылы, пробуждения старости мрачны».

[9] Александр Македонский спросил у Диогена, который лежал, греясь на солнце возле своей бочки, нет ли у него какой-нибудь просьбы «Отступи чуть в сторону,— ответил Диоген,— не заслоняй мне солнца»

[10] Ergo (**лат.**) — следовательно.

[11] Корвет «Варяг», на котором Волконские совершали прогулки по морю, принадлежал ревельскому морскому училищу. Кадеты всем училищем часто приезжали в гости к Волконским в имение Фалль

[12] В войну 1914 г. Волконский отдал свой дом в Борисоглебске под лазарет для раненых

«Бывали и эпикурейские впечатления; разве не эпикурейство, когда в темный вечер по аллее возвращаешься домой, а навстречу шаги, и из темноты вдруг — только подумайте, в глуши, в Тамбовской губ.— раздается: «Eccelenza, felicissima notte!»[13] (Итальянец — пленный).

Чист — родник?

Есть у Гоголя где-то, кажется, в «Переписке с друзьями», такая великолепная, бичом хлещущая формула: «Демократический бунт чувств — против высокого единодержавия души». (Душа здесь, как дух.) А что, если пять чувств не только не рабы (враги), а: верные союзники духа? Не подавленные, не торжествующие: любовный союз, вольное служение.

Таков случай Волконского. Таков случай — в древности — Лукреция, в недавней дальности — Гете.

Родство с Гете. На секундочку помедлим. Из всех воспоминаний, когда-либо мною читанных, больше всего мне книга Волконского напоминает «Wahrheit und Dichtung», и больше, нежели «Wahrheit und Dichtung» — эккермановские «Gespräche mit Goethe»[14] (с благородно отсутствующим Эккерманом!). Читаешь — и удивляешься: в чем тайна, в чем сила? Ведь — просто, ведь и дивиться нечему: ведь каждое слово — почти что пропись! Почему же так действует? — Согласованность вселенского и личного, вневременность, при полном цветении вокруг — века, единый закон надо всем: рост. И еще роднит Волконского с Гете — некая царственная сушь. Но к сходству с Гете мы еще вернемся.

Рассмотрим реальную деятельность кн. Волконского: помещичество — придворная жизнь — учительство. Помещиком он был всю жизнь, придворным — два года, учителем всегда, когда были ученики. (Сужая понятие учительства до лекторства: лектором он был с 1918 г. по 1921 г.).

Но каким странным помещиком, каким необычайным придворным — и: каким восхитительным учителем!

В помещичестве кн. Волконского меня прежде всего поражает его невинность. Его невинность богатства, как невинность нищеты.

Человек родится с десятью тысячами десятин земли. Вспахать их собственными руками он не может. Стало быть, чужими? Да. И крестьянин, в страдные дни, берет себе в подмогу батрака. Один батрак или двести — это уже вопрос количества. Не в чужих руках дело,— двух рук и нищему мало! — а в разуме и в совести, кои этими руками движут, в замысле, **в главе**. Настоящее помещичество — сотворчество, сподвижничество: чужие руки — мои, чужая боль — моя. И настоящее наследничество прежде всего — преемничество. (Жертва.)

Такие угодья, как «Фалль» и как «Павловка», не возникают в час, это работа поколений, как готические соборы. От предка к потомку, от зодчего к зодчему, владелец родового имения — преемник, на нем жестокая двойная ответственность: сохранить и довершить. В «Фалле» (имении Бенкендорфов) наглядное выявлена охрана прошлого, в этой главе прежде всего — **дед**.

В «Павловке» (более молодом имении Волконских) упор в творческой работе, в этой главе прежде всего — **внук**.

Кн. Волконский в своем помещичестве, как всякий истинный творец — и продолжатель и проложитель (новых путей). Забывают люди, что власть и владение в чистых руках — не сласть, а ответственность.

Раздать такое имение, как Павловка, по десятинам — то же самое, что раздарить Собор Парижской Богоматери по кирпичикам потомкам тех каменщиков, что его строили.— Нелепость.—

Итак, кн. Волконский имения своего не разгромил, а владел им на радость себе и окружающим.

— «Вы любите сельское хозяйство?» — Нет.— «Вы любите охоту?» — Нет.— «Что же Вы в деревне делаете?» — «Уверяю вас, что мой день очень наполнен...» «Я никогда не любил хозяйства: меня всегда больше влекла расходная, нежели доходная, статья. С детства я питал отчуждение к хозяйству. Как ни старался отец меня приучить, ему не удалось разохотить меня. О, эти поездки по хуторам с управляющим... О, эти заезды в контору! Этот приказчик с обручальным кольцом на указательном пальце! Мухи на окнах, премии «Нивы» по стенам, куры на пороге, поросята на крыльце... Эта роковая необходимость конторских книг, ведомостей!.. А дома ждет какая-нибудь начатая дорожка, вновь посаженное дерево...»

«...Итак, я предпочитал расходную статью доходной. Но никогда мне не казалось, что я расходую на себя, когда расходовал на Павловку. У меня было такое ощущение, что моя обязанность, мое призвание — сделать из Павловки то, что в революционные времена стали называть «культурной ценностью».

Да, когда взамен забавы — обязанность и взамен прихоти — призвание, можно сделать из Павловки не только культурную ценность, но — чудо!

Прелестен выход, найденный помещиком из вечных недоразумений с управляющим, недовольным его щедростью. «Ведь вы ставите благотворительность **на приход***.— так о чем же разговаривать?» Где, скажите, кроме как на Руси, могла (— и кем! помещиком!) быть выведена такая формула: «**расход есть приход**». Разве что, когда-то, тем нищим

[13] «Eccelenza, felicissima notte!» (**итал.**) «Ваше сиятельство, спокойной ночи!»

[14] И. П. Эккерман — секретарь Гете, автор мемуаров «Разговоры с Гете»

* Выделено мной — **М. Ц.**

проповедником на холмах Иудеи. И хорошо же отплатили помещику все эти просители, приходившие по воскресеньям на крыльцо за: «соломкой на крышу, хворостом на плетень, кирпичами на печку». Да какое — соломка, кирпичи, хворост: тут и коровы, и лошади, и тес на стройку, и сохи, и бороны, и лечение за помещичий счет в платной городской больнице, и обучение за помещичий счет в Москве и Петербурге. (Заметьте, это я сгущаю, у автора это только слегка отмечено, еле упомянуто.)

Прочтите «Павловку»,— какая сплошная любовь! Какая внимательная память на имена, лица, слова, приметы, какая памятливая благодарность — потом — во времена Революции (см. «Развал») за те редкие проявления человечности нынешних владык — к своему бывшему. Негодования? Ни тени! В худшем случае — ирония. Нет такой неблагодарности, чтобы отучила давать. Жест дара — в руке. Безнадежность же этого дара кн. Волконский познал еще задолго до Революции:

«Конечно, я делал, что мог, но тяжело сознание бездонности того, куда кладешь. Да, помещичья помощь крестьянину — это палка об одном конце, если можно так выразиться... С одной стороны желание добра, а там ничего, пустота. Все это ни к чему, и всегда я имел ощущение, что это с моей стороны откуп. Откупиться за невозможное, недостойное положение вещей. Но сказать, что я чувствовал ответственность за такое положение,— никогда не скажу. Бездонность всякой помощи крестьянину тем определяется, что его интересует только — получить, он не знает, что значит вложить. Когда понятие дохода заменяется понятием наживы, то один лишь шаг к тому, чтобы понятие наживы в свою очередь заменилось понятием мошенничества *... За сорок лет один только случай припоминаю, который могу назвать хозяйственной помощью, а не подачкой... А все остальное — бездонная яма, один непробудный отказ. Тяжело, с детства тяжело было чувствовать это отличие себя и всего огромного окружающего мира. Но не чувствовал я, что, когда прорвется, им станет лучше, а еще меньше — что они сами станут лучше. Алексею Давыдову не нужна моя итальянская зала, и он совершенно счастлив без нее...»

О творческой деятельности кн. Волконского в Павловке скажу особо, а пока закончу его помещичество последними, провидческими словами его «Павловки»:

«И сколько раз, когда мне подавали вкусную холодную простоквашу, я думал: «А может быть, это в последний раз... Но нет, не последний... Но будет когда-нибудь последний, всегда доканчивал я...»

* То же автор в гл. «Глушь» говорит о некоторых помещиках. — М. Ц.

Друзья, не восхитительная ли подробность: не за редкостным тепличным ананасом такая мысль, не за бутылкой «доброго старого токайского», а... за простоквашей, той невинной простоквашей, которую деревянной ложкой из глиняной миски хлебает в тот же самый час на самом краю деревни его последний «раб»!

Ограниченность места при безграничности темы (человеческая сущность — и какая!) не позволяет мне подробно останавливаться на деятельности кн. Волконского во время войны. Но не встает ли уже из предыдущего весь человек во весь рост? Мог ли он бесстрастно созерцать эту праведнейшую из правд — страдание, порожденное сей неправеднейшей из неправд — Войной, он, воплощенная справедливость! — В «Родине» целая глава «Война», и отклики ее через все последующие главы. Ограничусь краткими выдержками:

«...Через этот лазаретик в течение трех лет сколько прошло духовной красоты! Я часто наезжал из Павловки... (лазарет находился в борисоглебском доме кн. Волконского)... Какие приезды! Как заслышат стук копыт по деревянному мостику, уже, кто может ходить, высыпят ворота отворять. Прежние встречают, как знакомого, новички присматриваются. Но скоро новички становятся знакомыми. Что больше всего сближало — пишущая машина. Сколько писем и открыток отстукал я, сколько разослал поклонов: «Кланяюсь вам от сырой земли до белой зари» и «Жду ответа, как соловей лета»... Есть лица, которых никогда не забуду...»

И целая вереница незабываемых: «Безногий Михаил Минашкин, которого я поместил в Петербург на счетоводные курсы...» Ваня Серов с раздробленным коленом, так вдохновенно слушавший чтение «Федора Иоанновича» [15]... «Его адрес был у меня в книжке, но все книги у меня отняты. Он, может быть, думает, что я его забыл...» Малоросс, контуженный в голову,— бывший садовник, потерял обоняние и слух, перед цветниками останавливался, как зачарованный... «Раз сорвал цветок темного гелиотропа и, подавая товарищу, шепотом произнес: — Понюхай ты, у меня не пропущает». Едут парком (выздоравливающие подолгу гостили в Павловке) — кн. Волконский, малоросс и еще солдат. И товарищ — малороссу, в самое ухо: «Вот бы нам с тобой такой парк!» — «А ты в нем будешь раненых катать?»... «Это было совсем удивительное явление: его самая большая радость была поливать цветы. В нем было что-то перуджиниевское...»

А католическая обедня для пленных в большой зале «Молочного дома»! Собралось сто двадцать человек, многие причащались. Зала в десять аршин высоты, стропила наружу, как в итальянских церквах, между колоннами доморощенные, кузнецовые люстры.— О кн. Волконском и пленных многое можно, нужно было бы рассказать, но мое дело только ввести читателя, приоткрыть дверь: входи!

[15] Пьеса А. К. Толстого, которую Волконский читал раненым. В свое время он исполнял в ней главную роль в домашнем театре Волконских, а затем в 1889 г. в ее первом публичном представлении в придворном театре Эрмитаж.

Теперь скажу вещь, которая, как все простые вещи, прозвучит чудовищно: Революция, отняв у кн. Волконского Павловку (Павловка здесь — как собирательное, не только Павловку!),— оказала ему услугу. Иногда освобождение приходит извне. В начале Революции было у меня такое шутливое изречение: «Крестьян в 1603 г. прикрепили к земле, дворян (в 1918 г.) — к воздуху». Памятуя закон небесного тяготения, скажу, что такое прикрепление для кн. Волконского — не худшее. Зачем такой совести — тяжесть, такому крылатому духу — прах? Земля — вещь тяжелая и давит не только на мертвых. Это не решение земельного вопроса, но: руку на сердце положа — оставим землю тем, кто без нее — прах, таким (помещикам) она нужна, и они за нее будут биться не на жизнь, а на смерть: «Что я без Катина? без Вязовки? без Дедова? — Ничто». Касательно кн. Волконского вопрос обстоит иначе: «Что я без Павловки? — Все.— Что Павловка без меня? — Ничто».

У Волконского без Павловки осталась душа без тела (суть), у погромщиков — тело без души (труп). И, если кого-нибудь жалеть, то, конечно, не князя!

Чиновничество. Какое жуткое слово. Какая — от Акакия Акакиевича до министра его же ведомства — вычеркнутость из живых. Чиновник — и сразу кладбище с его шестью разрядами. Некое постепенное зарывание в землю: чем выше, тем глубже. А какие унылые наименования: коллежский асессор, титулярный советник, надворный советник, статский, действительный статский. Делаю исключение только для тайного: сразу Веймарский парк и Гете.

К счастью, кн. Волконский никогда чиновником не был, его единственный знак отличия, как он не без удовольствия упоминает,— орден Льва и Солнца 2-й степени, полученный им в бытность директором Театров от Шаха Персидского.

Но, не быв чиновником, он их в течение двух лет неустанно видел,— немудрено, что увидела их и я. «Я ненавидел общественность, ненавидел службу и соединенную с ней официальность, официальное времяпрепровождение, официальные с людьми отношения, официальность речей и образа мыслей. Если я любил общественную арену, то для того, чтобы выносить плоды моих трудов, моих мыслей...» Т. е.— позволю себе продолжить — кафедру, место возвышенное и уединенное. Однако автор назначение принимает, принимает из внимания к отцу, т. е. делает — как всякий большой дух — самое для себя трудное, идет по линии наибольшего сопротивления. (Себе!) У нас, в России, только одно сопротивление, кажется, и цело: отцу (включая сюда и гимназического директора, и университетского ректора, и российского государя!) — сопротивление внешнее, т. е. почти бесценное. Противустоять тому, что́ не по сердцу! — Чего легче! — Избирать то, к чему тянет! — Чего слаще! Но для больших и настоящих дело не в легком и в сладком, а в тяжком и в горьком. Для большого и сильного единственная трудность: я, с другими он, отродясь, справился.

Обвинять кн. Волконского в том, что он, ненавидя общественность, два годв своей жизни отдал на Директорство,— то же самое, что обвинять Гете в его придворной и чиновной деятельности.— А Гете из восьмидесяти своих земных лет едва ли не пятьдесят провел при дворе! Директорство кн. Волконского не слабость, равно как тайное советничество Гете — не страсть к титулам (что можно взять у первого и прибавить ко второму?), но в обоих случаях трудная, ответственная человеческая привязанность: Волконского к отцу, Гете к другу и сподвижнику молодости. И в обоих случаях — Kraftsprobe [16].

«На перегибе двух столетий прошли те два неприятных, тяжелых года, проведенных в близком соприкосновении со сферами чиновничьими, артистическими, газетными. Для меня это было временем опыта житейского. Я узнал много людей и узнал много подлости людской»

Недоброхотов у кн. Волконского («врагов» здесь неуместно: лестно!) — недоброхотов у кн. Волконского на новом поприще оказалось много: за исключением актеров (не солистов) и нескольких высокостоящих лиц — все общественные круги, с которыми ему пришлось соприкоснуться. Тут и раздраженные самолюбия лиц его круга, старших по возрасту, «надеявшихся и оставшихся за флагом» (директор Императорских театров тридцати с чем-то лет от роду — неслыханно!), и актерские дрязги. Кипение конторское, кишение газетное. «Снизу подвохи, кругом недоброжелательство, сверху никакой поддержки». Высших оскорбляла в нем личность, свое, прямой хребет, низших — княжество.

«Такие слова как: князь, граф, помещик, сановник, чиновник — заранее определяют отношение к человеку, и люди никогда не затрудняли себя рассмотрением того: все ли князья похожи друг на друга, всякий ли сановник соответствует раз навсегда выработанному ярлыку, не говоря уже о том, чтобы проверить, соответствует ли вообще ярлык действительности. И еще удивляло меня, как люди делают человека ответственным за то.

[16] Kraftsprobe (нем.) — проба сил.

как другие к нему относятся. В самом деле, если городовой передо мной вытягивается в струнку, это не значит, что я горд; если человек передо мной лебезит, это не значит, что я чванлив...»

Отвлекаясь на секундочку от двухлетней каторги кн. Волконского на своем высоком посту, упомяну здесь об одном показательном случае из его детства. Ему лет семь — восемь, сидит в доме у управляющего и смотрит картинки. За чайным столом несколько студентов. Вдруг один из них: «Князь!» — Смущенно (ибо детство застенчиво, а воспитанное детство — в особенности!) оборачивается. И звавший — другого под локоть:

— «Ишь — откликается!»

И, как отзвук, другая картина. Москва, лето 1917 г. Шайка красногвардейцев перед клеткой льва. Гикают, ржут, гогочут. И один, тыча в льва только что сорванной веткой: «Ишь — тоже царь!»

Те студенты 1867 г. родные деды солдатам 1917 г.

Но вернемся к тому, от чего так рвался сам князь: к его директорству. Не буду перечислять всех низостей, предательств к лицемерий. Контора — актеры — придворные: какой тройной котел! А рецензенты! Вот уже поистину ярмарка тщеславий!

Есть в этой главе «Сферы» одна жуткая, библейским ужасом веющая картина. Я бы ее назвала: Канун. Придворный ужин в присутствии Государя. Высокая молодежь, устав от paraître[17], захотела, наконец, être[18] (всякий по-своему!) — и вот, со всех концов на все концы стола, сначала робко, потом ободренные участием Государя, все метче, все чаще — и уже целым боем перекрестных радуг — хлебные шарики! Читатель, не предстает ли твоим мысленным очам указательный перст, чертящий на стене три слова... [19] «Никогда на этих общественных придворных верхах чувство беззаботности не заражало меня и никогда чувство жути меня не покидало. **Мой шарик не летел** *. И почему-то всегда я думал о трех надписях к солнечным часам, которые я читал не помню где. Первая надпись: Ulti ombri ides nostri (Что тень — дни наши). Вторая надпись: Vos umbra, me lumen regit (Вами тень, мною свет руководит). Третья надпись: Ultimam time (Бойся последнего.)... И в какую огромную игру, в какой своеобразный танец превращалось все это, когда сплетались в сознании и беззаботность, и жуткость, и цветы, и корни, и хлебные шарики, и бомбы...

И всегда я ощущал, что «сферы» не для меня».

(Не замолчу двух внезапных мыслей. Первая: вторую надпись к солнечным часам я всецело отношу к автору, ставлю эпиграфом к его жизни. Вторая: какая страсть к символике! Балтийский песок, хлебные шарики — какая мелочь, и какой из этой мелочи — над этой мелочью орлиный взлет прозрения! Проследить по этому руслу книгу Волконского. Благодарная задача.)

Как же это кончилось? (Сферы.) Да так же, как с Павловкой: спасительной «интервенцией» внешнего мира. Освобождение снова пришло извне.

Пустяшный повод, очаровательный пустячок. Балерина Кшесинская, любимица в те времена Великого Князя Сергея Михайловича, отказалась в балете «Камарго» надеть фижмы и выступила без них. Директор наложил штраф. Кшесинская пожаловалась Государю. Государь предписал Директору оный штраф снять. Директор предписание исполнил и подал в отставку.— Как, из-за фижм? Но точно ли уясняет себе читатель, что такое фижмы? Вещь стародавняя, не знать легко. Фижмы — это стальные обручи, которые в XVIII в. надевались под платье для придания ему большей пышности, а по Волконскому: «Фижмы — это нечто невидимое, что поддерживает внешний вид, нечто пустое, что придает пышность. Вся придворная жизнь из фижм, фижмами подбита, без них и существовать не может».— Опадает.

Глава «Фижмы», одна из самых захватывающих в книге,— такое недавнее и такое безвозвратное прошлое! Гляжу и вижу: внук декабриста перед Самодержцем, заговорившая дедовская фронда. На первый взгляд, кажется, все иное, все, кроме тождества имен. (Оба Государя — Николаи, оба Волконских — Сергеи.) Там права человека, здесь — фижмы; там — вооруженный бунт, здесь — корректная подача в отставку; там — крепость, здесь — зал Царскосельского дворца, наконец: там — Николай I, здесь — Николай II. Единственное, что и зрительно и внутренно роднит эти два мгновения, это прямой хребет деда и внука. Все изменилось: Волконские пребыли. Любопытно, оценил ли эту старинную новинку Государь? И вырвалось ли у него, хотя бы мысленно, такое естественное для правнука Николая I восклицание: «Ах, уж эти мне Волконские!»

Эта встреча в Царском — некая очная ставка не Государя с подданным, а внука с дедом. И если есть иные миры, дед («старец в черном бархатном халате, курящий трубку», см. «Фалль») — дед не мог не порадоваться на и за внука. Умилительно здесь отношение отца, по выражению автора, совершенно лишенного фронды, к фронде сына. Когда Государь, намекая на злополучную историю с фижмами, спросил кн. Волконского-отца: «Ну, что Ваш сын, успокоился?» — знае-

[17] paraître (франц.) — казаться.

[18] être (франц.) — быть.

[19] Мене, текел, фарес — эти три слова на неизвестном языке, по библейской легенде, начертала на стене рука, явившаяся глазам пирующего царя Валтасара. Призванный к царю пророк Даниил истолковал их как предсказание гибели Валтасара и раздела его царства. Предсказание сбылось: в ту же ночь Валтасар был убит, его царство распалось.

* Выделено мной.— М. Ц.

те, он услышал в ответ: «Совершенно успокоился, Ваше Величество, с тех пор, как Вы обещали отпустить его, совершенно успокоился».

Этот ответ, думаю, вполне вознаградит сына за его уступку отцовской воле: отец оказался достойным сыновней покорности.

Но есть еще кроме трехзвучия отца, деда и внука в «Фижмах» другое созвучие: с Гете. И Гете был директором театров, и Гете подал в отставку, и Гете был прошен обратно, и Гете не вернулся. — Подтверждение найдете у Эккермана.

Мы подходим к основному руслу кн. Волконского, к той деятельности, к которой он был рожден, к замыслу всей его жизни: Учительству. Все остальное: peine — temps — sang perdus! [20]

В главке «Павловка», говоря о своем прирожденном отвращении к хозяйству, автор роняет следующую замечательную мысль: «И только много позднее я понял, что вовсе не стыдно не интересоваться тем, что тебя не интересует. Только много позднее понял я, что можно вкусы своего отдыха превратить в предмет своей работы. Конечно, не всякие вкусы заслуживают быть превращенными в работу и, с другой стороны, не всякий человек поставлен в такие условия жизни, которые дозволили бы ему слияние наклонностей и обязанностей. Но кто это может, для того прохождение жизненного пути являет редкое преимущество слиянности, единства и покоя». (Последние слова — не дуновение ли с гетевских высот?)

Итак, работа как благословение, а не как проклятие. От второго же Адамова проклятия — праха (десяти тысяч десятин и перед Богом и людьми за них ответственности) любезно освободила кн. Волконского Революция.

Мое сокровенное, душу и уста мне жгущее желание — это чтобы все поняли, что у большого ничего не возьмешь, что не подведомственны руке человека нерукотворные крепости и недоказуемые угодья Духа, что здесь ничто не возьмет: ни декрет, ни штык. Перстень, кресло карельской березы, портреты бабушек, куртины, десятины — да разве это я?! (Не говоря уже о безличных, вне всякого символа, владениях, как сейф и доходный дом.) Рука, нога, затылок, которым меня приставили к стенке, грудь, в которую наставлены дула,— да разве это опять-таки — я? То, что в груди, под черепной крышкой — неосязаемо — недоказуемо — вот я, а разве это штыком началось и штыком кончится? Почему никто от Революции не спасается внутрь себя, под веки, в глубь собственной груди, в свой единственный дом — Душу? Почему все ищут спасения вокруг, от других, тех или этих?

Все — нет, не все, и есть на это у кн. Волконского прямой ответ, на первой же странице его «Родины»:

«Она (Родина) будет не реальна, но она будет сильна в своей метафизичности, она не будет вне нас, но тем сильнее будет в нас, она лишится узости земных границ и получит беспредельность личного сознания. И если, отрешаясь от земных условий...» Отрешение, вот оно мое до безумия глаз, до обмирания сердца любимое слово! Не отречение (старой женщины от любви, Наполеона от царства!), в котором всегда горечь, которое всегда скрепя сердце, в котором всегда рвзрыв, разрез души, не отречение, которое я всегда чувствую живой раной, а: отрешение, без свищущего ч, с нежным замшенным ш,— шелест монашеской сандалии о плиты,— отрешение: листвы от дерева, дерева от листвы, естественное, законное распадение того, что уже не вместе, отпадение того, что уже не нужно, что уже перестало быть насущностью, т. е. уже стало лишностью: шелестение истлевших риз.

Об этом лучше, чем у кого-либо, сказано у Тютчева, одного из настольных поэтов Волконского:

...И странно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.

Говоря об отрешенности, я не удаляюсь от учительства: отрешенность — единственный к нему путь. Что такое учитель? Лелеющий чужой рост, оберегающий и направляющий чужие силы и соки. Учитель — прежде всего садовник. И как прав, как зорок к себе Волконский, с его — отродясь — нелюбовью к хозяйству и страстью к дереву. Земля — ради хлеба, дерево — ради неба. Дерево — это псалом природы. Дерево в саду бесполезно, дерева жизнь — славу петь, парк же кн. Волконского равнялся 250 десятинам — 250 десятин бесполезности, 250 десятин славы Божьей!

Древесная страсть! В такой мере, как кн. Волконским, она на страницах русской письменности не владела еще никем. Если он кого-нибудь напоминает нам из русских, то Аксакова. Но Аксаков — это почти что «мать-земля», дерево — только частность, разновидность его любви к земле вообще. Для Аксакова дуб — скорей отец, дед, символ прошлого, для Волконского — днтя — рост — благословенный завтрашний день!

Но есть у кн. Волконского один истинный сопобящий — в XVIII в., фельдмаршал кн. де-Лин, писатель пленительный и ныне почти забытый. Если когда-нибудь встретите его: «Mélanges guerriers et litteraires» [21], отыщите отрывок: «Mes jardins» [22].

[20] peine — temps — sang perdus (франц.) — труд — время — кровь потерянные.

[21] Князь Ш.-Ж. де-Линь (1735—1814) — фельдмаршал русской службы, автор 34-томных воспоминаний «Mélanges militaires, littéraires et sentimentaires» («Мемуары — военные, литературные и сентиментальные»).

[22] «Mes jardins» — «Мои сады».

Страсть к дереву — страсть искони не русская. Послушайте ценнейшее свидетельство Ключевского: «Тяжелая работа топором и огнивом, какою заводилось лесное хлебопашество на **пали**, расчищенной из-под срубленного и спаленного леса, утомляла и досаждала. Этим можно объяснить недружелюбие или небрежное отношение русского человека к лесу: он никогда не любил своего леса».

И еще: «Несмотря на деятельность человека, и притом русского человека, не привыкшего беречь леса...»

Эти строки в полном ладу с личным и наследственным опытом кн. Волконского: «Да, пятьдесят лет любовного отношения к дереву не заразили местных крестьян; у них не только нелюбовь, у них ненависть к дереву. Если бы вы только видели жестокость, с какою обращаются крестьяне с деревьями...» И, живописуя зверскую расправу деревенских мальчишек с молодой рябиной: «...Подумайте только, если у вас есть сколько-нибудь склонности к философскому мышлению, подумайте, что это такое — из-за любви к последствию уничтожать причину...»

Понятно ли будет, если я скажу, что любовь кн. Волконского к дереву **подробна?** Не только понятие дерева он любит, на каждую особь — своя любовь. Любя древесное бытие, тем ревностнее лелеет он его трогательный земной быт. (Ах, если бы мы умели любить людей так, как Волконский — деревья!)

«Вот елочка вздумала разукрасить себя зелеными шишечками: в эти годы? Какая неосторожность! — Надо сорвать их. Зачем деревцу истощать себя?» Хотела ограничиться данным, но последующее настолько усладительно, что оборвать — обокрасть читателя: «Кедр великолепен. Устоит ли!.. Он выше всех, и молодой лес вкруг него — не защита ему; легко может бурей его сломать. Он был подвязан на три стороны проволокой к столбикам — проволоку украли; подвязал веревкой — веревку украли; подвязал мочалкой — мочалку украли...»

Вывода два: или беззаветное озорство, или уж такая нищета, что и мочалка — клад. В существовании такой нищеты сомневаюсь.

Страсть кн. Волконского к дереву — страсть наследственная. Прочтите главу о его матери. Какой редкостный женский образ! Какая женственность сердца, какая мужественность духа, какое царственное небрежение ко дню. Страсть к Вечности, — так бы я определила ее сущность, и эту страсть унаследовал от нее сын.

«От святителей своих (так мы называли ее работу)*[23] она с садовыми ножницами и пилой шла к своим деревьям и кустам. И елки, и каштаны, и дубки, и белая акация, и бересклет были наперсниками ее дум; и часто, возвращаясь домой с охапками цветов, с пригоршнями семян, с карманами, набитыми желудями, она приносила с собой новую мысль, проект новой главы или какую-нибудь новую блестящую полемическую искру...» «Не могу не вспомнить, что после смерти ее мы, как водится, заказали парчовый покров. Когда его принесли и мы покрыли ее, сестра моя сказала мне: Посмотри на галун. — Я посмотрел, — на нем был орнамент из дубовых листьев и желудей...»

Елизавете Григорьевне Волконской принадлежит один из самых трепетных женских вопросов, спор женщины и одинокого духа, где последнее слово остается — за последним. Она была в дружбе с Владимиром Соловьевым, и вот однажды с ее уст срывается: «Я люблю Соловьева больше, чем кого бы то ни было», и тут же, спохватившись: «То есть, конечно, я больше всех люблю вас, детей моих, но для приволья души моей...»

Для того приволья, где уже ни мужа, ни сына — только один друг: Дух.

Еще два слова о древесной страсти сына. «Борьба с пустыней», так он ее определяет.

«Рощи, целые леса мы развели, и хвойных столько, что вечером иногда пахнет сосной, и уже грибы такие, каких прежде на нашей местности не было...» (Перекликается с Аксаковым?) «Парк интересный в древесном отношении: одних хвойных пород больше двадцати. За последние тридцать лет мы перекинули лесонасаждения уже за пределы парка. В голой степи пошли рощи, и лиственные и хвойные: переход из степи к парку стал постепенным, кто долго не был в Павловке, не узнает местности: то была голь, а то перелески, острова...».

Страсть к дереву — страсть к будущему. Бескорыстнейшая и прекраснейшая из страстей. И лжет Революция, эта великая ненавистница гербов и дубов, лжет Революция, именуя себя страстью к будущему. **Осуществленная** Революция — страсть к сегодняшнему: ни вчера (гербов!), ни завтра (дубов!). Принцип Революции — это принцип саранчи (для поля), топора (для леса), принцип Людовика XV: «Après moi — le déluge!»[24] И все пресловутые насаждения Революции «сроком в 24 часа» — не что иное, как факирские цветы в воздухе, с той разницей, что даже не цветут.

А теперь — последняя сценка на прощанье. Революция: разгром: развал. Кн. Волконский на одной из дорожек парка подстригает кусты. Подходит кто-то в защитном и в галифе, недоумевает, задумывается, умиляется: «И для кого вы трудитесь? Ведь смотреть жалко. Сами ведь уж не увидите». — «Я не для себя, я для красоты». — «И кто только после вас стричь будет?» — «После меня уж не стричь, а рубить будут». — Жест выращивания у него **в руке**.

Творческий инстинкт перед разверстой ямой — вот оно, бессмертье! Скрип садовых ножниц Волконского — вот он, ответ на стук топоров!

Садовник. — Учитель. — Когда я думаю о Боге первых дней, я неуклонно вижу его садовником. Когда я думаю о Боге первых дней, я неуклонно думаю о Гете последних. Когда я думаю о Гете последних, я неуклонно думаю о кн. Волконском. Есть книги кн. Волконского более близкие, по объекту — сущности Гете, нежели «Родина» («Художественные отклики», напр.). В «Родине» — героической самоотверженностью автора — много отдано временному, окружающему, **вне** его сущности происходящему: «Пусть другие, если им интересно, говорят обо мне, я предпочитаю говорить о других». Это слово Волконского о его директорстве можно отнести ко всей его книге. Вся книга о других. Каким же чудом я, читатель, из всех этих других вывела только одно: **его?** Простое и чудесное чудо: личность, то, чего не скроешь даже в приходо-расходной книжке! Запись виденного, слышанного, взвешенного, но: увидено **его** глазами, услышано **его** ушами, взвешено на **его** весах, и — в итоге — бренное спадает как шелуха, как скорлупа, из всей книги, над всей книгой гетевский осиянный лоб. Так, книга бытовая, почти злободневная — превращается в document divin[25] (Достаточно с нас — humains!)[26]. В этом его основное родство с Гете: «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis»[27]. Гете на жизнь смотрел не «со стороны», а — с высоты. Со стороны глядя — только одну сторону и увидишь! Это лучше, конечно, чем смотреть из гущи (церковной ли, базарной — едино!), но... Войдя в храм, мы не найдем лучшего места, нежели хоры: и к куполу ближе — и алтарь не заслонен спинами. Хоры менее высокомерны, чем первые места на плоскости, — утверждение своих бренных земных прав. Революция первых вольна сделать последними, высших она никогда не сделает низшими. Взгляд с хор (то же — что конный!) — взгляд божеский: если на плоскости и действенны те или иные перегородки (перед князем — княжеская, перед рабочим — пролетарская!), сверху — они все равны, все равно — ничтожны, все — внизу. Бедные сословные закуты!

«A vol d'oiseau»[28], «dans les nuages»[29], все, чем мировое мещанство клеймит духовное избранничество, — неосознанная истина, отдавание должного. Превосходство горы над равниной в том, что ей открыты **все** дали. И не удержусь не привести здесь одного вскользь и в другой книге оброненного наблюдения кн. Волконского: «Дали недвижны, — отсюда спокойствие высот». — Не знай я, что это сказано Волконским, я бы непременно назвала Гете.

Итак, кн. Волконского я смело могу назвать учителем жизни. Что же касается до его творчески-лекторской деятельности, столь близкой театру, здесь я вдвойне не судья: судьей можно быть лишь в вопросе спорном, — ценность же кн. Волконского — несомненность, и судьей должно быть любящим, — пишущий же эти строки даже и не любопытствует театру. Знаю только, как случайный очевидец, что на росписях лекций во всех учебных заведениях, где читал Волконский, против графы: предмет — стояло: «Волконский». — Волконский читает Волконского.

Работать лектору пришлось в чрезвычайных условиях Революции. Начало его занятий в 1918 г. в Тамбове, в Народном Университете, затем два с половиной года — невылазная Москва. Москва 1918 г. — 1921 г., — что встает? Раньше всего — заборы. У большевиков вообще роман с заборами: или ломать или украшать загадочными письменами (На «е» не сразу научишься читать[30], не говоря уже о смысловом содержании декретов!). Так, памятуя дровяной голод, декреты и расстрелы, свободно можно сказать: стенкой согреемся, стенкой обучимся, стенкой успокоимся. Символическая страсть к стене: к пределу. — Стена партийности. — Но, мимо! Итак, Волконский читает в револ. Москве свою систему[31], читает в Музыкальной Драме, в Пролеткульте, во многих студиях. Слушатели — сборная московская молодежь, руководители — коммунисты. Каковы отношения с первыми и со вторыми?

«Из той массы народа, которая прошла за три года перед моими глазами во всевозможных «студиях», я только в одной среде нашел проявление настоящей свежести. Это в рабочей среде. Здесь я видел яркие, любознательностью горящие глаза, каждое слово принималось с доверием и жаждой. Я очень много читал в так называемом Пролеткульте. Там были исключительно рабочие, на нерабочих

---

* Две ценных книги по вопросам богословия. — **М. Ц.**

[23] Кн. Е. Г. Волконской принадлежат две книги по церковным вопросам — «О Церкви», Берлин, 1887 (вышла без имени автора) и «Церковное предание и русская богословская литература. Критическое сопоставление», Фрейбург, 1898, а также книга генеалогических материалов «Род князей Волконских», Спб., 1900.

[24] «Après moi — le déluge!» (**франц.**) — «После меня хоть потоп!»

[25] document divin (**франц.**) — божественный документ

[26] humains (**франц.**) — человеческих.

[27] «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis» (**нем.**) — «Все преходящее — лишь символ». Строка из «Chorus Mysticus», которым завершается II часть «Фауста» Гете.

[28] «A vol d'oiseau» (**франц.**) — с птичьего полета.

[29] «dans les nuages» (**франц.**) — туманно, высокопарно.

[30] В 1918 г. по декрету о введении новой орфографии из русского письма исключался ряд букв, в том числе буква «ять», которая заменялась буквой «е». Статья Цветаевой напечатана по старой орфографии.

[31] О своей системе обучения актерской технике Волконский писал: «Мой подход к вопросам театрального воспитания, если не шел вразрез с теориями Станиславского, то, во всяком случае, был «с другого конца». Он строил свою систему на воспитании чувства, я же говорил, что никакое чувство не вывезет, если человек не умеет владеть своими голосовыми и мимическими средствами, сознательно руководя ими согласно указания законов природы...»

был процент. Я всегда буду вспоминать с признательностью эту молодежь и их отношение к моей работе и ко мне лично». А вот случай, нельзя ярче живописующий это отношение: придя на лекцию, нежданно-негаданно лектор узнает, что «постановлением заседания преподавательского состава» над его уроками учинена опека в виде инструктора, долженствующего изъяснять студийцам, что́ из указаний Волконского приемлемо, а что́ должно быть отвергнуто. Одновременно с сим постановлением лектор узнает и ответ студийцев: мы люди взрослые, искусству любопытствуем со всех сторон и подобной опеки над Волконским не стерпим. — Кто же эти студийцы? Темнота, рабочие, «рабочий скот», три года подряд, день за днем разжигаемый красными отребьями своих коммунистических торреро. — Какие прелестные лица встают! — Целая вереница! — Вот Сидельников, замечательно одаренный в пластике, похожий на индейца, коммунист, доброволец (погиб впоследствии на льду под Кронштадтом), вот Алексей Матавин, отличный ритмист, вот рабочий Носов, впервые по выходе с большого ритмического празднества понявший, что значит, когда говорят: «Искусство облагораживает душу», вот двое Тумановых, один просто — Туманов, а другой Туманов с трубкой. Последний все глядел да отмалчивался, но на легкую укоризну лектора показал последнему целую тетрадь внимательнейших записей.

Много именных воспоминаний, еще более безымянных: «Имен больше не помню, это не значит, что я забыл людей». Через всю книгу Волконского, особенно там, где речь идет о «малых сих» — этот страх, это тоскливое обмирание сердца: «А вдруг подумает, что забыл?» Есть для этой особливой памяти сердца и особое наименование: страсть благодарности. За что? Не за ту муку́, конечно, что привезли ему студийцы из артистической поездки, не за те яблоки, что они ему, уже по его выходе из студии, отложили: за доверие к человеку, за переборотое недоверие к князю, за сердце, более зоркое, чем глаза, ослепленные кумачами знамен и иероглифами декретов.

Кстати, по поводу яблок — такой диалог: «...Мы на вашу долю отложили. Вот адрес, а вот билет на получение. — Ну, что Вы беспокоитесь. Вам нужнее, я и без яблок проживу. — Нет, нет, мы знаем, что Вы больше каждого из нас работаете! — Признаюсь, это был, может быть, самый ценный для меня в жизни комплимент, это признание из уст коммунистa». — Признаюсь, в свою очередь, что это может быть одно из самых ценных слов, мною слышанных, это признание из уст князя.

Дело кн. Волконского в Пролеткульте как лектора — ценно, как учителя — огромно. Дарований, по его словам, было мало (как везде!), из всех своих слушателей он самородным золотом называет только одного — да и тот жил где-то на окраине и пришел на урок только раз, — «но была свежесть и горячность восприятия... Не скажу, чтобы искусство от них со временем выиграло, но Россия о них возрадуется». — Дай Бог! — Мое же русское и человеческое сердце, пока будет биться, не устанет радоваться этому простому чуду: человеку — вне века, князю вне княжеств, человеку — без оговорок: че-ло-ве-ку.

Каково же отношение руководителей, честнее: властей?

Действенной злобы с их стороны я не вижу. Скорее робкие поползновения к сближению, примирению. Им — морально — горше доставалось от Волконского, чем ему от них: он был им живой укор и — что хуже — живое опровержение. В самом деле: у человека, во имя рабочих, все отняли — он отдает им свои лучшие часы, при этом всенародно восставая на диктатуру пролетариата. Все отняли, стало быть — не все, коли дает? Что же это, чего нельзя отнять? И почему, ненавидя «пролетариат», любит рабочих?

Сколько загадок! А главное: как, лишенный всего не только «излишнего», но — насущного, как: свет, тепло, хлеб — как, живя хуже последнего, — пишет книгу за книгой и, очевидно, радуется — раз жив?

Не все над этими вопросами думают, — ответ на них все чувствуют. Как тот маленький коммунист в Борисоглебске, арестованный за то, что посещал семью Волконских и на допросе ответивший: «Я не к князьям ходил — к людям», — так каждый коммунист, высший или низший, поскольку в нем сохранилось человеческого, ощущал над собою эту власть человека. Короче: коммунистам перед Волконским было стыдно, и они его, не понимая, чтили. «Вы, конечно, представитель буржуазной культуры, но вы по-своему верны себе», — вот отзыв о Волконском комиссара юстиции Красикова. А вот женский голос, умоляющий по телефону Волконского читать лекции в какой-то тысяча первой студии. Из лекций ничего не вышло, но дня три спустя лектор, к удивлению своему, получает от той самой просительницы продовольственную посылочку. Обладательница умоляющего голоса оказалась видной коммунисткой.

Капли в море, да. Бедные капли масла в кровавом море, — и не им утишить бурю! Но не будем, подобно коммунистам, измерять всякую ценность — количеством и не забудем, что на каждого зверя — есть Орфей!

Нам остается еще сказать о речи Волконского. Основное свойство ее — гибкость: в описании — смычок, в диалоге — шпага, в мысли — резец. С ним можно быть спокойным: не слово его ведет, и не он — слово. Как во всем существе — вольный союз: в лад. Это не ювелирная работа (кропотливо-согнутая спина эстетства) и не каменный обвал косноязычно-

го вдохновения: ни вымученности, ни хаоса. Речь стройна и пряма, как он сам. Эта речь с ним родилась, она его неотъемлемость, вторая плоть.

Перекладывать мысли в слова — это уже хромые мысли: мысль и слово в счастливые творческие часы рождаются единовременно. Мучительное: «Как бы это сказать?» — только неосознанное: «Как бы это додумать?» Поиски слова — доказательство несовершенности мысли, уточните мысль — отточится слово. Так, а не иначе получается формула. — Совершенная мысль не может не быть формулой.

Но есть, кроме формулы, еще одно великое очарование речи, ее основная магия: ритм: вздох. Ритм для эмоционального начала — то же, что формула — для мысли: доказательство существования. «Дышу — стало быть, существую», — так говорит душа.

Дыхание кн. Волконского глубо́ко и высо́ко, в ритме его спокойно и просторно, как хорошему пловцу в полноводной реке. Раскроем первую стр. «Фалль». Окно над водопадом. «Море сияет далёко, река шумит глубо́ко, и между ними — воздух и пространство...» Что это, как не совершенный вздох? А вот еще в том же «Фалле» — видение древнего бога: «Там, на той стороне реки, на лужайке над горой стоит из бронзы человек, — Аполлон называют его; не видать, на чем он стоит, — облака у ног его, он точно на небе или небесный на земле...» и через две строки: «И сколько лет уже с террасы белокаменные львы вперяют недвижные очи в недвижные ночи».

Вот запечатление последнего мгновения тела на земле: «...Так, среди снега и мороза, предстал под красным покровом и обложенный римскими пальмами гроб кн. М. А. Волконской[32]. ...Черные из-под белых подушек глядели еловые ветви, в то время как зеленые пальмы ложились в могилу... Двадцать лет изымалось из реального существования и переходило в тончайший дым воспоминаний. И в то время, как неумолимая земля заравнивала грань между настоящим и уходящим, — за белым саваном равнины я видел, поверх макушек внизу лежащего леса, как море сочеталось с небом...»

Что поражает в этом описании? Действенность предметов, являющих смерть. Я бы сказала: здесь смерть (неподвижность) дана в движении. Красный гроб предстает, как триумфатор, ели из-под снегу глядят, зеленые пальмы ложатся в могилу, земля сама заравнивает грань. — Все вне человека. — И от стольного движения — покой. Но не в этом одном отрывке «неодушевленные» предметы у автора живут и движутся. «Как мягко, низко земля подползает под воду: стелется белый песок под светлую струю»... «Вода в затонах рябится и серебрится. Взлетает чибис с хохолком, крылья белым подбиты и две лапки еще висят, — не успел подобрать... Телега стучит и толкается...»

Так воспринимают дикари, так воспринимают дети, так воспринимают поэты. Но, помимо сердитой толкучей телеги, есть в этом отрывке ценность иного порядка: «рябится и серебрится», — как сразу — путем созвучия — рябь и плеск! О, Волконский — великий мастер созвучия! Возьмем простейшие: «Вода рябится и серебрится»... «Коляска катится, кучер на козлах покачивается. Луна стала высокая, далекая»... А вот созвучие уже более сложное, менее явное, более внутреннее, о револ. Петербурге: «Решетки каналов валились, подвалы домов заливались»... Каналов — подвалов, валились — заливались, слышите перекличку, помимо смыслового содержания вырастающую в жалобу? Сами слова стонут, взывают. Вот она, здравому смыслу неподсудная, в победоносности своей бесспорная — Магия слова (Заклинания, причитания, заговоры, плачи)! Ряд коротких ударов, — слушайте: «Жаворонки взлетают, падают, реют, пропадают»... «Поезд пыхтит, раскачивается, пыхтенье напрягается, стук учащается, слабеет, пропадает»... Нарастание перешло в напряжение — высшая точка напряжения — и разрешение, на нет — схождение...

Слышу отсюда реплику: «После всего, что за последнее время было сделано по разработке прозаического ритма»...

Ритмика Волконского мне дорога, потому что она природна. В ней — если кто-нибудь и побывал, то только, вероятно, один — Бог!

Столь же природна: боговдохновенна, как ритмика Волконского, и образность его. Вот сломанная шестиствольная рябина, **звездой** лежащая на земле. (Шесть стволов — лучи). Вот «островки древесные», вот «мыс оврага»... «Архитектурная аллея»... (Сразу — видение готического собора.) «Крылатое вращение жнейки, трескучее подпрыгиванье сеялки»... Остановимся на жнейке. Тремя словами дано все: и движение, и форма, — вплоть до дуновения в лицо... Попробуйте представить: вращение крылатой жнейки... Первое, что встает: а действительно ли крылата? Вся тяжесть внимания — на крылья — задержка восприятия — ничего не встает. А крылатое вращение — вне проверки: летишь!

А вот образы слуховые (почти отсутствующие, кстати, у имажинистов, за исключением Есенина, поразительно тугих на ухо). «Рубленая речь», «гортанное ррраз» косаря, «жужжливое негодование» шмеля. — В чем сила? Пропускаются все промежуточные слова, определение дается так, как оно в первую секунду возникает, дается почти само восприятие. Опять-таки — прием детский: взрослые, развращенные газетным, сплошь лишним, языком, в конце

[32] Кн. М. А. Волконская — бабушка Волконского по материнской линии, умерла в Риме, когда Волконскому было 20 лет; похоронена в Фалле.

концов так даже и не думают. Определение «жужжливо негодуя» — формула. К образам отнесу и зачаровавшее меня «волчье исподлобье». Все мы знаем, что значит глядеть исподлобья, все мы знаем, что волк в глаза не глядит. Автор взял и соединил это человеческое поглядение с этим волчьим не-глядением, и получился самый неприятный из взглядов. Возьмем исподлобье (как существительное) отдельно. «Это исподлобье»... То есть как «это»? Не опечатка ли? Но определим исподлобье: «мрачное, хитрое, волчье» — и исподлобье живет. Так, в данном случае: есть качество — есть предмет.

В словесной области, обратно чем в области человеческой, все дело или почти все дело — в соседстве. Это когда-то отлично знали **Романтики.**

Речь Волконского, как всякое истинное творчество, питается двумя источниками: личностью и народностью. Личное, мне кажется, достаточно встает из только что прочитанного. Проследим его речь по руслу народности. Русская речь Волконского — сокровищница. Такое блаженство я испытывала только, читая в 1921 г. «Семейную хронику» Аксакова. Это не гробокопательство, не воскрешение в XX в. допотопных останков, не витрина музея, где к каждому предмету — тысяча и одно примечание,— это живая, живучая и певучая русская молвь, такая, какая она поет еще в далеких деревнях и в памятливых сердцах поэтов.

Когдатошний, побывка, займище, ломоха, посейчас, кладовушка, «скламши ручки» (тип уездной барышни), оглядка, порубка, потрава, «пить-не-пью»,— сокращенные: фырк, дых, вспых,— говорю: сокровищница. Из книги его выходишь, как из живительного потока. И, заметьте,— никогда в проявлениях отвлеченной мысли народ не мыслит отвлеченно, и отвлеченная мысль — вне народности. На каждый радиус своего духовного круга — своя речь.

Думаю, в преподавательской деятельности кн. Волконского в сов. России одна из главных его заслуг — чистка русской речи, беспощадное — путем высмеивания — смывание с нее чужеземной накипи. Перечтите «Разрушение» — посмеетесь. Я нигде не упоминала о юморе Волконского, это целая стихия! Его помещичья «Глушь» — не продолженные ли «Мертвые Души» (как современная Россия — не продолженная ли гоголевская)? И то, что его вплотную роднит с Гоголем: тот же, непосредственно из самой гущи российского быта — взлет над этой гущей, легкость перемещения, неприкрепленность к имению этой пяди земли — то, чего так кровно был лишен Чехов: местное, одоленное вселенским, быт — бытием. Вот на прощание последний отрывок: автор возвращается домой после жирных, пьяных, шумных, разливанных помещичьих именин:

«Мягкой черноземной дорогой еду по лунной степи; в луне лежат убранные поля, и копны, как таинственные крепостные сооружения, под лунным светом щетинятся. В луне лежат деревни; окна спящих изб блестят... Еду и вспоминаю слышанные разговоры»...

Я назвала свою статью «Кедр»: древо из высоких высокое, из прямых прямое, двойное воплощение Севера и Юга (кедр ливанский и кедр сибирский), дерево редкое в средней России. Двойная сущность Волконского: северное сияние духа — и латинский его (материнский) жест. И — двойная судьба его, двойной рок, тяготеющий над родом Волконских: Сибирь — и Рим![33] (Тяготеющий и над внуком декабриста, ибо — четыре года в сов. России — чем не Сибирь?)

Апологию свою я назвала «Кедр» и потому еще, что это на десяти тысячах его бывших десятин — самая любимая его пядь земли: сибирский кедр, его руками посаженный! «Он могуч, он виден издалека, его зелень бархатна, он царствует посреди елок»... Друзья, последняя остановка! «Могуч» — и: «его зелень бархатна».— мощь и нега — это сопоставление Вам ничего не говорит?

«И знайте, что из всего, что я описывал, сохранилась у меня только — и сейчас, пока пишу эти строки, она лежит передо мной — кедровая шишка от кедра, что остался там, на Чумаковой вершине».

Прага, январь 1923 г.

Гонорар за эту публикацию по просьбе Н. И. Осьмаковой будет перечислен музею Марины Цветаевой в Москве.

[33] С Римом были тесно связаны три поколения Волконских. После возвращения из Сибири на «Вилле Волконская», уже после смерти своей невестки Зинаиды Волконской, у ее сына гостил декабрист С. Г. Волконский с женой. В Риме познакомился со своей будущей женой их сын Михаил. Здесь же состоялась их свадьба. Умер он также в Риме, но был перевезен в Россию и похоронен в имении Фалль. Сам С. М. Волконский часто бывал и живал в Риме.

Нина БЕРБЕРОВА

Курсив мой

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ*

Черная тетрадь

1939

Август

Сегодня подписан пакт Молотова — Риббентропа. Это значит: война. Сталин и Гитлер скрепили дружбу подписями и печатями. Есть и другая сторона этого соглашения: компартии всего мира расколются на «за» и «против», таким образом кончится их единство, монолитность, единогласие. Мировому коммунизму нанесен удар тем же топором, что и буржуазной Европе.

<...> **Октябрь**

Русский ренессанс конца XIX — начала XX века отличается от «обыкновенных ренессансов» тем, что он сознавал свою обреченность. Это был ренессанс в предчувствии собственной гибели. Возрождение и смерть. Начало и конец в один и тот же период русской культурной истории. Одно из оригинальных русских явлений.

Ноябрь

Перебирала старые фотографии и нашла одну, сиятую, когда мне было лет одиннадцать, в имении деда Караулова. Я сижу на подоконнике, свесив ноги в сандалиях; две косы, серьезное лицо. Я сказала Лвдинскому:

— Сейчас я вам покажу уродливого ребенка. Просто невероятно, до чего я была некрасива.

Он рассмотрел фотографию и сказал:

— Не понимаю, почему вы находите эту девочку таким уродом. Изящные ножки, косы, милое лицо.

И я вторично посмотрела на себя как бы чужими глазами и вдруг мне показалось, что и вправду, может быть, я не была так непривлекательна, как мне тогда говорили. И что стихи Плещеева (которые мама написала мне в альбом) «Бедный ребенок, она некрасива», ко мне не относятся.

<...> **Декабрь**

Студент Калифорнийского университета (русский по происхождению), защищающий диссертацию «Андрей Белый, его жизнь и творчество», спрашивает меня в письме, кто была та «девушка», из-за которой произошла ссора между Блоком и Белым и чуть не случилось дуэли («Щ.» воспоминаний). Итак, прошло восемнадцать лет со смерти Блока, и люди уже не знают, что это была Л. Д. Блок, а мы-то думали, что это будут знать все и всегда! Уплывает жизнь — малая и великая — и от драгоценных имен и эпох остается прах. «Там человек сгорел».

Декабрь

Я много думаю все это время о символизме. Он был нужен России. Он доказал (в который раз?), что Россия — часть Европы. После символизма невозможно никакое «славянофильство» — ни старое, ни обновленное.

Декабрь

Бунин озабочен вопросом: все ли он совершил, что мог совершить? Несколько раз говорил, что Рахманинова тоже это мучит: все совершить и все познать. То есть в полную меру таланта высказать себя в своих книгах. И кроме того — насладиться «вот этим, вот женским розово-белым таинственным мясом, перед которым все — ничто». «Вся жизнь прошла, как съеденный обед. Глуп был, глуп! Теперь хочу молодости, прелести мира!»

<...> **Декабрь**

«Одиночество мое начинается в двух шагах от тебя»,— говорит одна из героинь Жироду своему возлюбленному.

А можно сказать и так: одиночество мое начинается в твоих объятиях.

Декабрь

Из всех страстей (к власти, к славе, к наркотикам, к женщине) страсть к женщине все-таки — самая слабая.

* Продолжение. Начало см. «Октябрь» № 7 с. г.

Декабрь

Я прочитала книгу Паскаля о Христе. Особенно меня поразило то место, где Паскаль говорит с большой симпатией о наивности Христа.

Декабрь

Невозможно, конечно, поверить, чтобы Евангелие было сочинено коллективом, как невозможно поверить, что оно было написано кем-нибудь одним. В нем четыре авторских личности, друг на друга совершенно непохожие: Матфей — мудрый, Марк — скромный, Лука — властный и таинственный, Иоанн — сложный фантазер.

Декабрь

Из одного моего письма на юг:

«...Была у нас скверная, бедная, жалкая (эмигрантская) Россия: русские газеты, журналы, русские слухи, русские приезжие о т т у д а, иногда — отталкивание от России, но всегда м н е н и е о том, что там творится. Не осталось ничего. Нас отрезали. Газет и журналов нет, приезжих нет и мнения тоже нет, ибо неизвестно, мне по крайней мере, хорошо ли то, что Сталин укрепляется на Балтике, или плохо? Была у нас паршивая, несчастная, уездная эмиграция: русские книги, русские бордели, русские темы — ничего не осталось. Мое поколение перебьют, старые умрут в ускоренном порядке.

Вся мировая история взята мною сейчас под подозрение. В истории этой не было ни справедливости, ни добра, ни красоты. Еще меньше, чем в природе — справедливости и добра, во всяком случае. Я ничего не пишу и не могу, и не хочу писать. Для чего? Для кого? Я всегда любила людей, но сейчас я лишена людей, мне милых. Эти «милые» (вовсе сами по себе, может быть, и не милые) недосягаемо далеки. Кто умер, кто уехал, кто озабочен своей судьбой. Но самое страшное, что даже и их мне не очень-то хочется видеть.

Ходасевич когда-то говорил, что настанет день, все пропадет, и тогда соберутся несколько человек и устроят общество... все равно чего. Например: «Общество когда-то гулявших в Летнем саду» или «Общество предпочитающих «Анну Каренину» — «Войне и миру», или просто: «Общество отличающих ямб от хорея». Такой день теперь наступил.

За кого мы? За наших гениев или за наших дураков, несущих с собой в восточную Польшу портреты Сталина и стишки Кумача?

Я думала написать часть того, что написала Вам, Бунину. Но я боюсь еще больше его огорчить, ему и так тяжело. Я кое-что сказала Зайцеву, и он сразу во всем согласился со мной».

Декабрь

Из второго письма:

«Спасибо за Ваши слова утешения. Если бы я была героиней «Скучной истории» Чехова, они, может быть, обрадовали бы меня. «Жизнь прекрасна»? Я не спрашивала Вас, «зачем жить» и «как жить». Ваше «жизнь прекрасна» может показаться одной из тех иллюзий, которые Вы так хотите изжить.

Читая Ваши последние фельетоны, я вижу, что Вы становитесь человеком, которому интересы западной цивилизации-культуры дороже всего остального, и я вижу пропасть между Вами и мной, для которой мысль о возвращении в Россию — после смерти, в книгах — есть единственная постоянная неизменная мысль. И конечно, то, что творится сейчас в Карелии, занимает меня более всего другого. Мое «западничество» не отрывает меня от России, скорее — наоборот. Ваше западничество Вам и развлечение, и утешение на всю жизнь. Это — ваше к р о в н о е. Мое к р о в н о е покрыто сейчас уже не трехцветным, но пятиконечным позором — пактом с Гитлером и нападением на Финляндию».

Декабрь

Застряли ночью в Париже, поздно было ехать домой. Поехали к Бунину ночевать, на улицу Оффенбах. Он один в квартире. Вера Ник. в отъезде. Он выпил и Н. В. М. выпил и, кажется, я тоже слегка выпила. Он уложил нас в комнате Галины Ник. Кузнецовой, где стояли две узкие одинаковые кровати, но мы довольно долго (часов до трех) еще бродили все трое по квартире и разговаривали. В комнате В. Н., на ее письменном столе, лежал ее знаменитый дневник (Алданов мне однажды сказал: Бойтесь, Н. Н.! Она и вас туда запишет!). Страница была открыта. На ней круглым детским почерком было выведено: «В т о р н и к. Целый день шел дождик. У Яна болел живот. Заходил Михайлов».

Мне это напомнило дневник, который вел отец Чехова в Мелихове: «Пиона в саду распустилась. Приехала Марья Петровна. Пиона завяла. Марья Петровна уехала».

Мы сидели у Бунина в кабинете, и он рассказал все сначала (и до конца) про свою любовь, которой он до сих пор мучается. К концу (они оба продолжали пить) он совсем расстроился, слезы текли у него из глаз, и он все повторял: «Я ничего не понимаю. Я — писатель, старый человек, и ничего не понимаю. Разве такое бывает? Нет, вы мне скажите, разве такое бывает?»

Н. В. М. обнимал его и целовал, я гладила его по голове и лицу и тоже была расстроена, и мы все трое ужасно раскисли. В конце концов улеглись. Утром уехали, он еще спал. <...>

1940

Январь

Нищая, глупая, вонючая, ничтожная, несчастная, подлая, все растерявшая, измученная, голодная русская эмиграция (к которой принадлежу и я)! В прошлом году на продавленном матраце, на рваных простынях, худой, обросший, без денег на доктора и лекарство, умирал Ходасевич. В этом году — прихожу к Набокову: он лежит точно такой же. В будущем году еще кого-нибудь свезут в больницу, собрав деньги у богатых, щедрых и добрых евреев. (Принесла Наб. курицу, и В. сейчас же пошла ее варить).

Бианкур — пьяный мастеровой; пятнадцатый округ Парижа — скопище всех слез, всей пошлости, всех «белых мечтаний». Шестнадцатый: крахмальный воротничок на сморщенной шее всесветного жулика, меховое манто, женские болезни, долги, сплетни и карты. Медон, Аньер и все пригороды с их сорока сороками, где нас только терпят, где на кладбищах скоро от нас не будет места!

Февраль

Ладинский под большим секретом сказал мне, что, когда был инцидент с японцами на о. Хасан, русские сдавались японцам в плен, просто переходили к ним. Сейчас в Финляндии это происходит на глазах всего мира.

Март

Сегодня, в день заключения мира СССР с Финляндией, я сказала Керенскому:

— Однажды, в какой-то знаменитый день, один из приближенных сказал Наполеону: Сир, мы присутствуем сегодня при повороте истории.

Но Керенский иронии не понял.

<...> **Июнь**

В нашей деревне стояли: французские войска, Красный Крест, алжирцы, марокканцы, немцы. Жили прохожие беженцы, был, наконец, вечер, когда во всей деревне не осталось и десяти человек. Остались три собаки мадам Парро, и было стыдно взглянуть им в глаза: она их бросила. Дик лежал среди дороги и плакал. И за три дня страшно постарел, стал совсем седой и едва ходит.

Июль

Ездила в Париж на велосипеде.

Когда-то казалось: хорошо быть Петербургу пусту (это когда на Васильевском острове коза паслась). Петербургу, но не Парижу. Парижу идет быть муравейником или ульем. И вот он стал пуст, как когда-то Петербург.

И в этой новой тишине на Елисейских полях раздается голос: это спикер в кино на немецком языке комментирует «вохеншау». Вхожу. В темном зале почти полно. На экране показывают, как прорвали линию Мажино, как взяли полмиллиона пленных, как бились на Луаре, как в Компьене подписывали мир и как в Страсбурге и Кольмаре население встречало немцев цветами. Потом Гитлер приезжает на Трокадеро и оттуда смотрит на Эйфелеву башню. И внезапно он делает жест... Жест такой неописуемой вульгарности, такой пошлости, что едва веришь, что кто-либо при т а к и х обстоятельствах вообще мог его сделать: от полноты удовольствия он ударяет себя по заднице и в то же время делает поворот на одном каблуке.

Сначала мне хотелось громко вскрикнуть от стыда и ужаса, потом стало смешно от колокольного звона Страсбургского собора и духовной музыки... Рядом хихикали парочки, обнимались и целовались в полумраке.

<...> **Октябрь**

Что-то основное, что целиком идет из м ы ш л е н и я, постигается поэтически через пронзительный поэтический образ. Так, Радищеву все его «публицистические» рассуждения пришли на ум через поэтическое переживание: едучи из Петербурга в Москву, он прислушался ночью к ямщицкой песне и был потрясен ее печалью и красотой. И это стало потом «публицистикой».

Ноябрь

Этот год, 1940-й, начался для меня мыслью о Блоке. Потом я перечитала его стихи, потом написала о нем («60 лет»). Потом читала три тома воспоминаний Белого, дневник Блока, переписку его и записные книжки. Без конца перебирала в памяти все, с ним связанное.

В 1922—23 гг. в Берлине Белый говорил о Л. Д. Б. больше, чем писал о ней впоследствии. Вот что он говорил в пьяном бреду:

В ночь смерти Д. И. Менделеева (январь 1907 г.) Чулков, влюбленный в Л. Д. Б., стал ее любовником. В это время Белый был в Париже. Она якобы обещала Белому быть его женой. Это она попросила Белого уехать из Петербурга и сказала, что будет писать ему ежедневно. Она, по словам Белого, хотела, «чтобы я добивался ее, чтобы боролся за нее». Вскоре переписка, однако, прекратилась (эта переписка теперь находится, видимо, в ЦГАЛИ). Л. Д. сошлась с Чулковым, и Белый «был забыт». У него на нервной почве сделалось воспаление лимфатических желез и его оперировали, о чем он годами всем рассказывал. Чулков написал стихи о своей любви к Л. Д. и напечатал их в альманахе «Белые ночи» (1907 г.), где они мерзко похожи на тогдашние стихи Блока. У Белого до 1909 года оставались следы болезни. «Три женщины исказили мою жизнь,— говорил он,— Нина Петровская, Л. Д. и А. Т.».

Мне кажется, что в центре его «частной мифологии» всю его жизнь стоял миф «прекрасного Иосифа».

А. Т. осталась в Дорнахе, когда Белый уехал в 1916 году в Россию (было призвано ополчение). Не осталось ли в Дорнахе его бумаг, черновиков, рукописей? Его отъезд был разрывом с А. Т., но он тогда этого не предвидел, не понял. Когда в 1921 году он увидел ее в Берлине и узнал об ее отношениях с К., он очень тяжело переживал ее «измену».

«Прекрасный Иосиф», как это ни странно, был неравнодушен к горничным. У него всегда в Москве (когда он жил с матерью) были хорошенькие горничные. Он говорил, что «мамочка» после его несчастной любви к Л. Д. Б. так была озабочена его здоровьем, что «старалась брать подходящих горничных». Э. К. Метнер даже советовал ему жениться на горничной. «Может быть,

сказал при этом Белый, это было бы хорошо». «Мамочка» сводила «Бореньку» с кем попало, например с М. Н. Кистяковской (об одном вечере, когда Белый провожал ее домой, написано в его воспоминаниях).

«Первое свидание» Белого описывает его увлечение М. К. Морозовой. Он переписывался с ней в 1901—1902 гг., в 1905 году они столкнулись по-настоящему. «Она была большая и истинно-человеческая женщина». Но тут он опять оказался Иосифом Прекрасным, и она отошла от него. В 1912 году, вместе с А. Т., Белый гостил у Морозовых в имении, в Калужской губернии. Дочери М. К. (старшей) было семнадцать лет. Ее звали Леночка. «Она была очаровательна и обольстительна своею женственностью. Я любил ее чувственной любовью». Однако мысль, 1) что он женат и 2) что он когда-то был влюблен в мать, заставила его «подавить страсть» к дочери.

— Я кончу, как самоубийца или как святой,— говорил он.— собственно, я уже был святым.

Возвращаясь без конца и без связи к своей любви к Л. Д., Белый говорил (пишу по старым записям):

Была одна ночь, когда Белый и Л. Д., обнявшись, вошли в кабинет к Блоку. «Ну вот и хорошо»,— сказал Блок. Л. Д. говорила перед этим: «Увезите меня. Саша — тюк, который завалил меня». Л. Д. казалось ему в те минуты соединенной с ним навеки. Он считал, что может хоть с е й ч а с взять ее себе. Но «чтобы не унизить Блока», чтобы не воспользоваться своей победой, он отложил «увоз» до другого раза. Выйдя от Блоков, зашел в пивную и напился. «Блок замучил ее своею святостью».

Одно из самых неожиданных признаний Белого: горничная, служившая у Э. К. Медтнера, была незаконной дочерью Менделеева, то есть сводной сестрой Л. Д. Б.

О том, как Белый тосковал по А. Т. в 1917—1921 гг., свидетельствует письмо его к ней, написанное после переезда границы, в Литве. Это письмо отослано не было. Оно было передано мне хозяйкой пансиона в Берлине, где он жил, когда он уехал в Москву — он его забыл среди других бумаг! Ходасевич напечатал его в «Современных записках». Уже в 1920 году, в самый разгар военного коммунизма и голода, Белый каким-то образом получил от А. Т. письмо, где она писала ему, что лучше им не жить вместе (в будущем). В «Путевых заметках» (Берлин, 1921) он называет А. Т. «Нелли» и «жена». Она почему-то оскорбилась этим.

Белый говорил, что его мать знала о его отношениях с Ниной П. и сочувствовала им. В Берлине он иногда кричал: «Долой порядочных женщин!» Он проводил твердую грань между понятиями «порядочные» и «непорядочные». С «порядочными» его сводила судорога бессилия.

Он говорил:

— Проклинаю вас, женщины моей молодости, интеллигентки, декадентки, истерички! Вы чужды естественности и природе.

— Вы говорили мне когда-то, что у меня небесные глаза, что я — Логос.

— Но для Андрея Белого не оказалось в мире женщины!

Он говорил еще:

— Я — Микеланджело.

— Я — апостол Иоанн.

— Я — князь мира.

— Меня зарыли живым при закладке Иоаннесбау.

— Судьбы Европы зависят от меня.

— Штейнер ищет меня.

— Штейнер боится меня.

Первая встреча со Штейнером произошла у Андрея Белого, кажется, в Брюсселе.

Штейнер читал там свою очередную лекцию. Белый и А. Т. слушали его. Написали ему письмо. Отнесли. Все это есть в письмах Белого к Блоку. Сначала они познакомились с женой Штейнера, балтийской немкой, Марией Яковлевной Сиверс.

Семь месяцев провел Белый в Дорнахе.

Он иногда мечтал иметь взрослого сына, и тогда в глазах его стояли слезы.

Мне (наедине) он однажды сказал, сидя на полу, у печки, в Саарове:

— Для меня иной мир — все равно что осетрина. А все другие мужчины в ином мире — гости и обозреватели. Любите меня! Целуйте меня! Вы — мадонна Рафаэля. Я поведу вас туда, куда никто никогда вас не поведет.

(Я страшно тогда испугалась, что этот бред поведет к различным осложнениям его отношений с Ходасевичем.)

— Будете писать мою биографию, запомните: у Андрея Белого не было ни одной женщины, достойной его. Он получал от всех одни пощечины.

Между прочим, в 1923 году он говорил, что проживет еще лет десять. Он умер через одиннадцать лет.

Уезжая из Дорнаха в 1916 году, Белый целовал Штейнеру руки. Драматическая встреча их после русской революции в 1921 году описана в «Некрополе» Ходасевича.

Он несомненно оставил в Дорнахе свои бумаги и рукописи. А. Т. умерла осенью 1966 г. Что она сделала с ними? Сохранила или сожгла?

Однажды, в 1923 году, в Саарове, Белый, Ходасевич и я сочинили следующее шуточное стихотворение:

Польна

Н. В. Открыта страница
Дней и ночей.
А. Б. Смотри веселей
В глупые лица
Сытых детей.
Н. Б. В умные лица
Старых людей.
В. Х. Вчера были танцы
У гробовщика.
Н. Б. Короче дистанция,
Ближе река.
В. Х. У кладбища после
Всю ночь карусели
Тяжко гремели.

Н. В. (А мы были возле!)
А. Б. Сидел лауреат
Верхом на баране:
Н. Б. Кричал — Этот сад
Не видел я ранее!
А. Б. Сидела красавица
Верхом на корове:
Н. Б. А мне это нравится.
А мне это внове!
В. Х. (Скажите пожалуйста!)
Н. Б. Я слушала бред
Тяжело больного,
Ловила секрет
Страданья чужого.
В. Х. А он не сдавался
И что было сил
Хрипло твердил:
А. Б. — Рад стараться!

В 1922—1923 гг. мы встретились с ним в пивной Цум Патценхофер, на Аугсбургер штрассе. Там подавала фрейлейн Марихен (воспетая Ходасевичем). Место было «дюреровское». Марихен было лет двадцать. Сколько просидели мы там втроем!.. В 1937 году ночью я пошла бродить (будучи в Берлине). Пришла на это место. Я заглянула в дверь. За кассой сидела толстая женщина лет сорока, чем-то похожая на Марихен. Может быть, это была она?

Ноябрь

Умер С. Г. Каплун-Сумский, когда-то издатель «Эпохи», где выходила «Беседа» (1922—1925 гг.). Он ничем особенным не отличался, и странно, что ему пришлось прожить довольно бурно, будто его жизнь была уготована энергичному, умному и замечательному человеку. За гробом шла кассирша его отеля, где он жил. Кассирша эта увезла его с собой в июне, когда немцы подходили к Парижу. У нее был дом (и мать) в Бретани. Сумский увез туда свой (и издательский) архив (и недавно говорил мне, что там его и оставил). Это были: письма Белого и, может быть, даже Блока, Горького и др., а также рукописи многих и в том числе (несомненно) неизданные рукописи Белого. Где-то на чердаке в П л у г о н в а н е он их и оставил. Кассирша была бескорыстная, скромная и привязалась к нему. Он жил у нее три месяца в этом самом П л у г о н в а н е. Когда она пошла за его гробом, выяснилось, что она хроменькая. Он умер у нее на руках. Боюсь, что когда историк литературы доберется до П л у г о н в а н а, то там он уже ничего не найдет, кроме мышиного помета.

Ноябрь

19-го ноября умер В. В. Руднев в По, от рака. Он был одним из редакторов «Современных записок» и когда-то в 1917 году — городским головой Москвы.

В 1936 году, когда я выходила замуж за Н. В. М., он был свидетелем на нашей свадьбе (вторым был Керенский). Мэр, нас венчавший, сказал, что Руднев похож на Пуанкарэ. Он тоже был похож на Ленина. <...>

Ноябрь

Перечитала «Дьявола» Л. Толстого.

Как мы теперь это понимаем, он был безусловно одержим сексуальной манией. Музыка — пол, толстые бабьи ноги — пол, красивое платье — опять пол, Венера Милосская — пол. После его смерти жизнь сама начала подсказывать выходы из его «безвыходных» положений.

Герой «Дьявола» — человек, умеющий бешено желать, месяца не может прожить без женщины. Такой человек должен был жениться на страстной женщине — «веселой и твердой», а он женился на бледной немочи. Если бы у героя была «веселая и твердая» жена, он бы равнодушно смотрел на ноги Степаниды (и не было бы рассказа). Здесь сыграл роль толстовской дуализм: Степанида — «для тела», бледная немочь — «для души». Сколько красок в чувстве к Степаниде и какое отсутствие их в «любви» к жене!

Толстой, видимо, не понимал, что брак Иртеньева и брак Стивы Облонского — вообще не брак, ибо женщина в нем не участвует. Это скорее можно назвать искусственным оплодотворением женщины, чем браком.

Ноябрь

Не могу читать — могу только перечитывать. Перечитала «Войну и мир». Мне всегда казалось, и теперь я в этом уверена: эта книга не имеет равных себе в отношении величия осуществленной задачи.

Вот несколько замечаний о ней:

1. Человечество на протяжении романа сравнивается с 1) муравьями, 2) пчелами и 3) баранами. Может быть, это недосмотр? Или результат подсознательного презрения Толстого к человечеству?

2. «Солдаты шли с запада на восток, чтобы убивать друг друга». Что это значит?

3. Цели всякой войны: идти вперед, держать территорию, уничтожить врага. Из этих целей первая была Наполеоном достигнута.

4. Когда Наташа пляшет у дядюшки, я опять проверила себя: любовница дядюшки не может любоваться ею, я этому не верю. Тут должен быть момент «классового сознания».

Декабрь

Вспомнились некоторые даты:

1926 год, 12 декабря. Юбилей Бориса Зайцева в зале около авеню Рапп: двадцать пять лет литературной деятельности. Народу было много. Обедали, а потом танцевали. Я, между прочим, сидела рядом с Н. Оцупом, а по другую сторону от него сидела Г. Н. Кузнецова, и нам было весело. В речи Бунин превознес Бориса и Борис ответил, что многим Бунину обязан. Оба прослезились, обнимались и целовались.

1927 год, 5 февраля. Первое заседание Зеленой лампы, литературных собраний, которые создали Мережковские. На этих собраниях она появлялась с изумрудом, висевшим на лбу, между бровей на цепочке, а он говорил что-нибудь вроде:

— Нам надо наконец решить, с кем мы: с Христом или с Адамовичем?

или:

— От Толстого до Фельзена...

или:

— Как бы Достоевский ответил Злобину? Мы можем только догадываться.

1927 год, 3 июня. У Зайцевых П. П. Муратов читал свою новую пьесу «Мавритания».

1928 год, 13 января. В день ежегодного благотворительного бала русской прессы был представлен фарс Тэффи, нарочно для этого ею написанный. Каждый год в день «старого нового года» в отеле «Лютеция» бывал бал, на котором собирали деньги для неимущих писателей, поэтов и журналистов. Бал бывал нарядный, многолюдный, и деньги собирались порядочные, так что неимущему иногда перепадало по 250—400 франков, в зависимости от его заслуг перед русской литературой. Собирал деньги и устраивал бал дамский комитет, а распределяла деньги комиссия, назначенная Союзом писателей.

Каждый год надо было придумывать что-нибудь особенное, чтобы привлечь богатых людей (щедрых и добрых евреев, главным образом — русские эмигранты не интересовались русской литературой, они либо были слишком бедны, либо те, что имели средства, презирали всех этих Белых и Черных, Горьких и Сладких, и говорили, что «воспитаны на Пушкине»). В 1928 году Тэффи написала смешной фарс в стихах, где какого-то царского отпрыска крадут, затем подменяют, девочка оказывается мальчиком, брат и сестра — вовсе не брат и сестра и так далее. Ладинский и я играли этих подмененных и украденных отпрысков (которых все путали), и в конце его и меня выносили на руках на сцену (он был громадного роста, и его как-то складывали пополам).

Кажется, в следующем году кто-то придумал достать для бала изящный, легкий шарабан, и чтобы писатели впрягались в него и возили богатых меценатов по залу. Я помню, как я в паре с М. А. Осоргиным (я — в вечернем платье, он — в смокинге), встали в оглобли и помчались по залу, а в шарабане сидел московский присяжный поверенный М. Гольдштейн (позже покончивший с собой), но не один: он посадил с собой рядом Рафаэля с его маленьким аккордеоном. Рафаэль был толстый румын, имевший свой оркестр и игравший в одном из русских ресторанов. Рафаэль сидел и играл на аккордеоне, рядом с Гольдштейном, который от смеха буквально выпадал из шарабана. Когда мы примчали его на место, к его столику, где стояло шампанское и сидели какие-то дамы, он слез, вынул бумажник и подал мне сто франков с поклоном. Это тогда было очень много. Осоргин сказал: «А за музыку?» И он дал еще сто. Мы поспешили куда-то в распорядительскую. Куда пошли эти деньги? Может быть, Крачковскому? Или Б. Лазаревскому, когда-то популярному автору романа «Душа женщины»? Или Ф. Благову, бывшему редактору-издателю «Русского слова»? Или безработному журналисту Бурышкину, бывшему московскому миллионеру?

А в 1933 году на балу прессы был поставлен один акт «Женитьбы». Я играла Агафью Тихоновну, а Подколесина — художник Верещагин (племянник известного), который относился очень серьезно к этому спектаклю и готовился к нему, и старательно гримировался: он в душе был актер. Мне взяли на прокат золотистый парик с локонами и стильное платье. Это был первый и последний раз в жизни, что я играла на сцене.

1929 год, 17 апреля. Вечер Бунина у Цетлиных. Это было сделано, конечно, с благотворительной целью.

1930 год, 4 апреля. Юбилей Ходасевича — двадцать пять лет литературной деятельности. Он был отпразднован в ресторане, наискосок от знаменитого кафе «Клозери де Лила». Было человек сорок, и весь обед носил довольно неофициальный характер. Самое трудное было объединить «левый» сектор эмигрантской печати с «правым», то есть «Современные записки» и «Последние новости» с «Возрождением», в котором Ходасевич работал. Кое-как я достигла какого-то равновесия. Не понимаю, каким образом удалось мне все это устроить, цель юбилея была, конечно, «поднять престиж» Ходасевича — и это мне, в общем, удалось. Помню, проф. Н. К. Кульман (представитель «правого» сектора) в витиеватой речи объявил, что лучшее создание юбиляра-Пигмалиона — это его Галатея. Галатея же сидела ни жива ни мертва от волнения, чтобы все было — если и не так, как на юбилее Зайцева,— то по крайней мере, к а к у л ю д е й.

1931 год, 10 марта. Мой единственный «писательский обед». Группа была довольно тесная, дружеская, ее составляли: Зайцев, Муратов, Ходасевич, Осоргин, Алданов, Цетлин. Меня пригласили в группу, но после обеда 10-го марта группа распалась: между Ходасевичем и Осоргиным произошло что-то вроде разрыва на почве отношения к событиям в России. Осоргин возобновлял свой советский паспорт ежегодно, получал гонорары из Москвы за перевод «Принцессы Турандот», повторял на всех углах свою казуистику о том, что он н е эмигрант, хотя и пишет в эмигрантской печати, и т. д. С другой стороны, Алданов и Цетлин считали, что Муратов стал реакционером, перешел в антидемократический лагерь, особенно после его статьи «Бабушки и дедушки русской революции», где он объявил хищными зверями «лучших людей» русского радикализма, как, например, Ек. Брешко-Брешковскую.

И писательские обеды прекратились сами собой.

Осенью 1937 года Н. В. М. сломал себе ногу в колене. Когда он получил страховку, мы купили Лонгшен — в мае 1938 года. Весной 1939 года, когда все работы по перестройке дома были кончены, мы оставили парижскую квартиру и переехали в деревню. Это было за пять месяцев до войны.

<...> **Декабрь**

В реакционном государстве государство говорит личности: «Не делай того-то». Цензура требует: «Не пиши этого». В тоталитарном государстве тебе говорят: «Делай то-то. Пиши то-то и так-то». В этом вся разница.

<...>. **Декабрь**

Хуже всего — девственность. Что-то уродливое, внушающее брезгливость, гадливость, отвращение. Никогда никому не раскрыться — предел противоестественного.

Декабрь

В сложной системе лабораторного опыта химик следит, как по ретортам и колбам, по стеклянным трубочкам бежит его химическая смесь. Самое главное — чувствовать, что в тебе переливается, что ты не разделен на «верх» и «низ», что посередине нет «китайской стены», разрезающей тебя на две части. Вот это я любила. Это не сразу пришло ко мне, только тогда, когда я сделалась женщиной. От мозга к коленям и от колен к мозгу я стала «одно», я стала «системой опыта». Это были мои соки, которые бегали по моей «системе».

Декабрь

Я вижу теперь, что самое страшное, что может со мной случиться, это — что я могу в ы с о х н у т ь. Высохнут глаза, высохнет рот, высохнет мозг. Не будет никаких с о к о в, а я буду все еще жить и жить — может быть, сорок лет. Жить без соков — это самое страшное для человека, который знал в себе с о к и и любил свои с о к и (дорожил ими); был жив этими своими с о к а м и.

<...> **Декабрь**

Снился Ходасевич. Было много людей, никто его не замечал. Он был с длинными волосами, тонкий, полупрозрачный, «дух» легкий, изящный и молодой. Наконец мы остались одни. Я села очень близко, взяла его тонкую руку, легкую, как перышко, и сказала:

— Ну, скажи мне, если можешь, как тебе там?

Он сделал смешную гримасу, и я поняла по ней, что ему не плохо, поежился и ответил, затянувшись папиросой:

— Да знаешь, как тебе сказать? Иногда бывает трудновато...

Декабрь

Одна комната, одна кровать, одно одеяло. Кто этого не понимает, ничего не понимает в браке. А если этого опасаешься, то и брака не надо. За день жизнь иногда разведет, охладит, пошатнет, надорвет что-то. Ночью опять все соединяется. Тело держит тело своим теплом (если не жаром).

Наполеон сказал: «Отведите императрице отдельную опочивальню. Я хочу сохранить свою свободу, хотя бы ночью. Если муж спит в одной комнате с женой, он ничего не может скрыть от нее». Это совершенно верно.

Декабрь

Снег и солнце.

Я бежала по лесу, мне хотелось кинуться в снег, умыться им. Я бежала одна с собаками и громко смеялась.

<...> **Декабрь**

Сколько я себя помню, во мне в детстве было что-то трусливое, слегка дрянное, способность на мелкую подлость, на компромисс. Потом это постепенно прошло. Это не «от века», это было еще до всякого соприкосновения с веком (Белинский сказал: я не сын века, я просто сукин сын). С годами эта потенциальная подлость стала уменьшаться. Я вполне представляю себе, что лет десяти — двенадцати я могла пожертвовать весьма многим, чтобы только спасти свою шкуру.

<...> **Декабрь**

Со мной живет человек крепкий духом, здоровый телом и душой, ровный, ясный, добрый. Трудолюбивый и нежный. За что ни возьмется — все спорится в руках. Ко всем расположен. Никогда не злобствует, не завидует, не клевещет. Молится каждый вечер и видит детские сны. Может починить электричество, нарисовать пейзаж и сыграть на рояле кусок из «Карнавала» Шумана.

Декабрь

У меня есть одно воспоминание. Я в нем как бы перекликаюсь сама с собой, шестнадцатилетней.

Это воспоминание о прогулке в Павловск, в счастливый день моей жизни, весной 1918 года, после окончания гимназии. Нас было девять-десять девочек и два учителя. Сердце было так полно чувством жизни, что когда я ехала обратно в поезде, в майский вечер, вместе со всеми, мысли мои летели вперед, я думала, что когда-нибудь вспомню этот день, вспомню себя в нем, и это воспоминание если и не спасет меня от чего-то страшного, то, может быть, оградит. Я т о г д а думала о т е п е р ь. Я себе подготовляла как бы будущее воспоминание. И вот я теперь лечу назад, навстречу этой весне и обволакиваюсь душой в это воспоминание, и вижу, что оно стоит на страже, что ли, всей моей жизни. Это был день, когда мы поехали на пикник в Павловск.

Декабрь

Три моих первых года за границей — какое-то переходное время к настоящей жизни последующих лет. Эти три года — от июня 1922 года до апреля 1925 года — связаны с жизнью у Горького, с памятью о нем, с его семьей, отчасти — переездами из одного места в другое: Берлин, Сааров, Прага, Мариенбад, Венеция, Рим, Париж, Лондон, Белфаст, Сорренто. Литературный Берлин, кафе

на Ноллендорф платц. Цветаева — сначала в Берлине, потом в Праге. Муратов, первые парижские знакомства. Как много было встреч! С 1925 года началось наше парижское существование.

С 1926 года мы сняли квартиру. Это были годы расцвета парижской литературной жизни. Сама я в этом году начала писать прозу. Было три газеты, был наш журнал «Новый дом», салоны Цетлиных и Винаверов, дом Мережковских, Зеленая лампа, Союз поэтов (где я много раз выступала). В 1930 году словно какое-то несчастье обрушилось на всех нас, это было, вероятно, следствием мирового экономического кризиса, всеобщее обеднение, оскудение книжного рынка, постарение старых и упадок молодых. Начали много пить, мрачнеть, болеть. И в СССР началось плановое уничтожение двух поколений.

Декабрь

В 1918—1920 годах, когда случилось то, что случилось, я говорила себе: это меня не касается, это касается аристократов, буржуев, контрреволюционеров, банкиров и губернаторов. А мне шестнадцать лет, и я — никто. В 1940 году опять «стряслось», и я опять за старое: «Это меня не касается, это касается Европы. А я что? Я — русский эмигрант. Полуазиат, что ли? Вообще — ничтожество».

— Это тебе даром не пройдет! — сказала я сама себе в зеркало.

Декабрь

Европейские художники удивительно высокомерны. Они не снисходят до отчаяния. Они самоуверенны: англичанин — потому что есть великая империя; немец — потому что есть Гитлер; француз — потому что буржуазный склад его мысли идеально совпадает с буржуазным укладом его государства. У нас мучились сознанием, что есть безграмотные, есть вшивые. И до сих пор жива отрыжка этих графско-княжеских мучений.

Декабрь

Я люблю трудную жизнь. Пришло, несомненно, в юности из Ницше. Засело. На всю жизнь. Это значит, что я люблю задачи, которые нужно разрешать, и препятствия, которые нужно брать, и всю вообще «спортивную» сложность судьбы человеческой.

<...> **Декабрь**

«Честь дороже жизни».

Никогда не понимала, что это значит. Как может быть что-нибудь дороже жизни? Если нет жизни, то ничего нет. Все равно, как если бы дырка была дороже бублика. Если нет жизни, то нет и чести. Нет бублика — нет и дырки. Сравнивать жизнь с чем-нибудь — все равно что множить яблоки на груши.

И вдруг у Шопенгауэра нашла мысль о том, что честь условная вещь, существующая только во мнении посторонних людей о нас (и в разные времена — разная), но не в нас самих:

«Честь есть мнение других о нашем достоинстве (объективно). Честь есть наш страх перед этим мнением (субъективно)».

1941

Февраль

Когда настают такие времена — голодные и холодные — то спички понемногу перестают зажигаться. Это я заметила еще в 1920 году. Первый признак большой беды.

Февраль

Куда девались все глиняные горшки, которые сейчас так нужны? Их больше нет. Старуха-соседка, помнящая нашествие немцев в 1870 году, подарила мне горшок. Я ставлю в нем хлебы. Уверяет меня, что горшок — дедовский. А дед ее в Россию ходил, в 1812 году, с Наполеоном. Может быть, горшок — русский? Н. В. М. рассмотрел его и заявил, что горшок, несомненно, владимирский (значит — его земляк)!

Февраль

Леонид Андреев за несколько недель до смерти (1918 год) слушал у себя в Финляндии налеты вражеских самолетов и мечтал об отъезде в Америку. Мне начинает казаться, что перерыва не было — между его ночами и моими.

Март

Недавно читала на литературном вечере, на улице Лурмель, в помещении столовой матери Марии, «Воскрешение Моцарта». Было человек сто, полный зал. Многие плакали. Были: Зайцев, Вейдле, Присманова, Ладинский...

Март

Итак, самые важные вещи на свете суть: каша в горшке, хлеб в печи, шерсть и сало.

Апрель

Всю жизнь любила победителей больше побежденных и сильных более слабых. Теперь не люблю ни тех, ни других.

Апрель

Меня больше волнует, что Бабель сидит в тюрьме, чем что потоплен крейсер со всем экипажем.

Апрель

Год тому назад мы стояли перед событиями: падение Голландии и Бельгии, падение Парижа, вступление Италии в войну. Сейчас мы опять стоим перед громадными событиями, может быть, еще большими, которые, вероятно, начнутся в мае. А пока что каждый вечер над нами летят десятки самолетов — в Англию. И Лондон зажжен со всех сторон.

Апрель

В Нахичевани, на рождестве 1919 года (или в январе 1920 года), у нас стоял во дворе броневой дивизион и мы каждый вечер поднимались на чердак и смотрели оттуда, как за городом, в степи, красные шли развернутой атакой на Батайск, падали и теряли коней и людей. Из Батайска белые стреляли по ним. Потом красные возвращались (к нам во двор), нескольких не хватало. А теперь каждый вечер сотни самолетов летят над нами на Англию, громить города и мирное население. И я не могу уснуть. И все думаю: это кончится только с моей жизнью.

Май

Чужая любовь ко мне, мною не разделяемая, делает меня злой: мне кажется, что кто-то накладывает на меня руку, и мне хочется ударить эту руку. Мгновение ненависти. Сдерживаюсь. Эта чужая непрошеная ласка может вызвать во мне ужасную злобу.

Считаю это с моей стороны мерзостью. Отделаться же от этого не могу.

<...> **Июнь**. 22-е. Воскресенье.

Утреннее радио.

Немцы вошли в Россию.

Июнь

Атилла сказал: Я — топор мира.

<...> **Июнь**. 24-го.

В день 22-го июня в Париже немцами были арестованы русские эмигранты, около ста пятидесяти человек. Главным образом «видные», но есть и «не видные». Они арестованы «как русские»: «правые» и «левые»; среди них — Фондаминский, адвокат Филоненко, Зеелер и др. Присяжный поверенный Н. рыдал и говорил, что никогда ничего не имел против немцев и что

— Майн фатер из ин Берлин беграбен.

Июнь. 25-го.

Выглядит так, что арестовали главным образом масонов — членов Гранд Лож (правых) и членов Гранд Ориан (левых).

Июнь

28-го июня в 8 часов утра я пришла на кладбище к могиле Ходасевича. Земля уже была раскопана и яма закрыта досками. Шесть рабочих пришли с веревками, подняли доски и стали тянуть гроб. Гроб (дубовый) за три года потемнел, был легок. По углам было немного плесени. Служащий бюро сказал мне: тут сухая почва, да и покойник, видно, не разложился, а ссохся, как мумия, так как, верно, был худ. Гроб повезли на тележке к новому, постоянному месту. Опять веревки, яма, доски. Опустили легко и тихо. Стали засыпать.

И я пошла к Зайцевым, которые живут за углом.

<...> **Июль**

Львов, Рига, Кишинев, Минск, Смоленск.

<...> **Август**

Были в комендатуре у немцев, в Рамбуйе. Были вызваны русские зарегистрироваться. Немцы хотели узнать, все ли «белые», нет ли «красных», которых следует посадить в лагерь? Пришло человек пятнадцать. Высокий старик, похожий на кн. С. М. Волконского, скрипач из русской консерватории, две аристократки в огромных старинных шляпах, бледный, одутловатый человек с курносым мальчиком и еще личности — все скверно одетые, очень замученные нуждой и страхом, с большими черными руками.

Немец допросил. Оказались все «белые», то есть эмигранты, живущие по «нансеновским» паспортам. Немец удивился. Я начала объяснять, что значит «нансеновский паспорт» и что мы никому не нужны и весь их вызов ни к чему. Немец не понимал, как можно по документам советского отличить от несоветского. Я делала ошибки и очень спешила. Все хотелось сказать: посмотрите на этих совершенно вам не нужных людей, отпустите их, ведь они же двадцать лет...

...двадцать лет страдали, искали работы самой тяжелой, — говорила я ночью, во сне, этому самому немецкому офицеру, — отовсюду их гнали, не давали права работать... Мы стояли с ним в солнечном луче у окна, в комнате комендатуры.

— Двадцать лет они жили в чужих людях, а ведь когда-то были такими же, как вы — здоровыми, молодыми. Дети их тоже запуганные и тихие. Жены их замучены заботами и работой. О, какие они все смирные! Они платят налоги и ходят в церковь. Преступность среди них ничтожна. Паспорта у них нансеновские, а лица такие грустные... Пожалейте их! Это же русские эмигранты...

И я проснулась, плача.

Август

Еще о «Войне и мире».

Фамусовская Москва, с Ростовым-Фамусовым, и Тугоуховские, и Репетиловы — все налицо. Толстой как бы благословил то, что Грибоедов бичевал.

Август

Перечитывая письма Достоевского: письма 1877 года и «Дневник писателя» — параллельные места. Я поняла как бы наново движение поколений, то, что верящие в прогресс люди считают прямой восходящей линией, а мне представляется более похожим на очень медленное и очень неровное (со вздрогами) качание маятника.

Письмо Ковнера Достоевскому и письмо Достоевского Ковнеру — это столкновение двух разных эпох. Достоевский внимательно слушает, что говорит ему этот новый человек, немножко циник, немножко атеист, немножко аферист, немножко интернационалист. Достоевский пожимает плечами, изумляется, прислушивается. Чувствуется, что Ковнер ему чужой. Затем — проходит мимо, забывает его. А между тем Ковнер — явление громадное. Это — новый человек, с новыми взглядами решительно на все: на бессмертие, на деньги, на любовь.

Ковнеры появились в последней четверти прошлого века, и мое поколение еще застало их. В них еще был остаток вульгарного идеализма. Но для Ковнеров были бы совершенно непонятны и чужды сегодняшние люди, пореволюционные, и все мышление нашего времени, где Ковнеры кажутся сентиментальными.

Пушкин сошел бы с ума, если бы знал *нас*. Нет, Пушкин сошел бы с ума, прочитав у Достоевского о ночном горшке (в «Вечном муже»); Достоевский сошел бы с ума от Чехова, а Чехов — от нас. Все вместе они зажали бы нос и закрыли бы глаза от нашего «безобразия».

Август

Двадцать лет со дня смерти Блока. Кто еще помнит этот день? Я думаю о нем

каждый год в этот день, думаю о нем много. Хотелось бы написать о нем книгу.

Сентябрь

Как я и думала, ребенок Л. Д. Б., умерший в 1911 году, и которого и сама Л. Д. Б., и Блок так оплакивали, был не от Блока. Вера Зайцева передала мне свой разговор с Блоком в Москве, уже после революции. Они шли по улице, у Веры только что расстреляли сына. Она говорила с Блоком о нем.

— А у вас, А. А., никогда не было детей?

— Никогда,— ответил Блок.

<...> **Октябрь**

Взят Киев. Взята Одесса. Взяты Тверь и Калуга. Таганрог. (А я читаю «Нашествие Наполеона на Россию» Тарле).

<...> **Ноябрь**

13-го были в одно и то же время зажжены со всех концов и обстреляны Кронштадт и Севастополь.

Миллион немцев прошелся по России—до Тихвина, Малоярославца, Тулы, Керчи.

Ноябрь

Знаменитый путешественник Свен Гедин написал статью против России и Сталина. Сообщает, что настоящая фамилия Сталина Иван Иванович Виссарионович.

<...> **Декабрь**

7-го декабря в 9 часов утра умер Мережковский. В последнее время он был очень худ, очень стар. Он бегал маленькими шажками по улице Пасси под руку с З. Н. Г. Когда я пришла к ним три недели тому назад, он был безразличен ко всему (и ко мне). Злобин кутал ему ноги в плед. Ему все было холодно.

На З. Н. в церкви на отпевании было страшно смотреть: белая, мертвая, с подгибающимися ногами. Рядом с ней стоял Злобин, широкий, сильный. Он поддерживал ее.

На отпевании было довольно много народу. Весть о его смерти распространилась быстро, хоть газеты русской нет. Оля прислала мне телеграмму. Были: Маклаков, Тесленко, Зайцевы, Любимов, Ставров, Ладинский, проф. Михайлов, Кнорринг, Карташов, Лифарь, Мамченко, свящ. Булгаков, всего человек восемьдесят. Служил Евлогий, четыре попа и два дьякона. З. Н. стояла передо мной. Гроб показался мне совсем маленьким.

Мережковский был последним из живых символистов. Теперь остались: Бальмонт (живой труп) и Вяч. Иванов (в Италии).

Декабрь

Не могу вынести чьего-то давления на себе, удушающей липкости, нежности, на которую не отвечаю, требования ответной откровенности, страшного деспотизма бабьей дружбы. Слишком большое чувство в маленькой душе возбуждает во мне враждебность. Люблю от всех быть на некотором расстоянии, не выношу «объяснений», «выяснений отношений».

Декабрь

Если бы я только могла не дрожать, смотря на карту России. Но я дрожу.
<...>

1942

<...> **Январь**

В «Нашем слове» (русская газета) прочла корреспонденцию Саволайнена о том, что делается в Петербурге. Как хоронят в общей яме умерших от голода и холода людей или как не хоронят, ждут, когда земля отмерзнет, и трупы лежат во дворах, сложенные, как дрова. Ясно представила себе обоих: старые, прозрачные, полузамерзшие, едва ходят, почти скелеты, падающие от слабости, старости и недоедания. И почему-то во сне видела телеграмму: мама скончалась раньше папы. Никак не могу этому поверить *.

<...> **Январь**

«По дорогим могилам». Ходила по монпарнасским кафе, где десять или пятнадцать лет тому назад (и пять лет) можно было видеть людей от Эренбурга и Савича до Бунина и Федотова. Теперь — ни одного знакомого лица, ни одной тени. Словно гуляю по Парижу в 2000 году.

И вдруг — у стойки в полутемном «бистро» — Георгий Раевский. Мы кинулись друг к другу. Он ничего не боится, потому что у него все в порядке (видимо — фальшивые бумаги). Похудел страшно. Читал мне стихи.

Январь

Я видела на своем веку таланты. Я видела на своем веку почти что гениев. Это были несчастные, нездоровые, тяжелые люди, с разбитой жизнью и жертвами вокруг себя. Счастья они не знали, дружбы не понимали. Ко всему примешивалось «нас не читают», «нас не слушают», «нас не понимают», «нет денег», «нет аудитории», грозит тюрьма, ссылка, заедает цензура. Ничего несчастнее, тоскливее, печальнее нельзя себе представить.

Февраль

С юга (Фавьер) приехала Е. К. и рассказала, что весь Фавьер (русское место) повторяет мою фразу о том, что я люблю трудную жизнь. Они считают это очень смешным парадоксом.

Февраль

Мое ремесло (и обусловленная им жизнь) поставило меня среди пьяниц, педерастов, наркоманов, неврастеников, самоубийц, неудачников, среди которых многие считали добро скучнее зла и разврат необходимой принадлежностью литератора. И все почти имели в себе какой-то излом. Но было во мне что-то, что предпочитало «свет» — «тьме». И я иногда чувствовала себя не в своей тарелке.
<...>

Февраль

Читаю процесс 193-х (1887 год). Эти люди — прямые предки Ленина и Дзержинского. Муратов в свое время говорил, что «бабушка» Брешковская — это зверь.

* В 1961 г. от С. А. Риттенберга узнала, что это была правда.

Первоприсутствующий на суде тогда был Петерс. У нас тоже был Петерс.

И один за другого мстил.

Приговор был смехотворный по своей мягкости.

Февраль

Слух прошел, что Цветаева повесилась в Москве 11-го августа. «Наше слово» (или «Новое слово»?) дало об этом пошлую безграмотную заметку. Перечитывая недавно ее прозу, я прочла, как она пишет, что однажды ее кто-то со спины принял за Есенина. И вот я вижу их перед собой: висят и качаются, оба светлоголовые, в петлях. Слева он, справа она, на одинаковых крюках и веревках, и оба с льняными волосами, остриженными в скобку.

Говорят, что Эфрон расстреляли. Сын — партийный и, вероятно, на войне. Как тут не повеситься, если любимая Германия бьет бомбами по любимой Москве, старые друзья боятся встречаться, в журналах травят и жрать нечего?

Март

З. Н. Г. сидит у себя, на двери надпись: «ключ под ковриком». Она ничего не слышит. Злобин в бегах (за маслом, сахаром). Она сидит и пишет или что-то штопает. Ночами кричит и бегает по комнате.

Март

3-го марта в 9 часов 15 минут вечера началась бомбардировка Биянкура. Около тысячи убитых, двести разрушенных домов. Кладбище заперли на четыре дня: упало несколько бомб и много могил разрушено, гробы из них вылетели, кости и черепа летали по воздуху. У Зайцевых выбиты стекла.

В эту ночь мы ночевали в Париже в квартире Зум., от которой нам оставлен ключ. Все было слышно и видно с балкона. Огромные, розовые, огненные шары стояли над Парижем и освещали улицы. Англичане бросали световые шары, и они плыли по воздуху. Два с половиной часа продолжалась канонада и дрожала земля.

Неделю откапывали людей, засыпанных в убежищах. Из одного подвала раздавался детский голос, кричавший по-русски: я здесь! Мама, я здесь!

Март

Советский полпред Майский наградил английского короля орденом Ленина.

<...> **Апрель**

Ночью, 3-го марта, когда англичане и американцы бомбардировали Биянкур, несколько бомб упало на Биянкурское кладбище. Луна была в облаках. От взрывов разлетелись могилы. Кости, черепа, тела носились по воздуху, и носились плиты, гремя друг о друга. Еще теперь видны зияющие дыры, сломанные кресты, треснувшие памятники, мраморные ангелы с отбитыми крыльями. Кости убраны, их убрали в первые четыре дня, когда кладбище было заперто.

Могила Ходасевича не пострадала, но теперь он оказался окружен могилами убитых во время мартовской бомбардировки — около тридцати могил окружили его, целые семьи так и идут кругами: отец и мать Робер, пятеро детей Робер, бабушка Куафар, дети и внуки Куафар и т. д. Среди всего этого его серый крест.

Июнь

21-го была в Париже. Этот день может оказаться памятником нашего времени — снижения нашей культуры, убожества и пошлости нашей жизни. Так все сошлось, что и не выдумаешь. Побывала в трех захолустьях и под конец я поняла: что-то случилось с нами со всеми, непоправимое.

Началось с панихиды в армянской церкви по Р. После панихиды были речи. Прославлялся человек, который после себя не оставил ничего: ни поэмы, ни начатого дела, ни просто мысли, только потому что он в конце прошлого века лично знал таких-то и таких-то армянских общественных деятелей. Он знал Патканяна и Туманяна, когда ему было двадцать пять лет, а теперь ему было под семьдесят, и он всю жизнь был банкиром и стриг купоны со своей юности.

Затем в 4 часа в зале Русской консерватории было чтение Шмелева. Было много народу, все почти — старше шестидесяти лет и несколько детей. Из литераторов — Тэффи, Зайцев, Карташов, Сургучев...

Читал Шмелев, как читали в провинции до Чехова: с выкриками и бормотаньем, по-актерски. Читал захолустное, елейное, о крестных ходах и севрюжине. Публика была в восторге и хлопала. Да будет тебе земля пухом, великая держава!

Вечером мы пошли на «Дон Карлоса» в Одеон. Предприимчивый французский переводчик «спрятал» политику и «подчеркнул» любовь.

Суррогат наш насущный даждь нам днесь!

<...> **Июль**

Старик А. А. Плещеев, 85 лет (?), почти слепой, ходит с белой палкой, рассказывает о Некрасове и Достоевском, которые его когда-то по головке гладили. Когда ему нужно перейти улицу, он обращается к прохожим: траверсе муа. Однажды ему подали милостыню.

Август

Нашла в бумагах Ходасевича стихи. «Нет, не шотландской королевой». Он не хотел их печатать при жизни. В 1935—36 годах шел в Париже фильм с Кэтрин Хэпберн. Она была на меня похожа (в «Последних новостях» меня этим дразнили). Помню, однажды Ходасевич сказал мне: «Вчера мы были на «Марии Стюарт» и видели твоего двойника. Очень было приятно».

<...> **Август**

Я никогда не любила Некрасова. В его патетике есть что-то комическое. Он рассчитывал не на те эффекты, которые получались. Метафоры его уже в его время были штампами. Время от времени я перечитывала его, чтобы себя проверить. И все больше не любила его. «И пошли они, солнцем палимы»,— точно дело в

Африке происходит, а не в Москве! Символика его примитивна: дурная погода — дурное правительство, хорошая погода — будущие реформы. Демагогия его в вечном возвращении к образу матери: а ведь это только был прием, чтобы вызвать в читателе слезу!

Август

Немецкая армия под Тихорецкой и под Сталинградом.

<...> **Сентябрь**

А как начиналась любовь?

Через внешнее. В лице, за минуту до того чужом, играла улыбка, шутка вперемежку с умом, и глаза говорили, и была прелесть облика: линии волос, теплоты рук, аромата или — запаха — тела и дыхания. Голос. Да, голос всегда играл большую роль и интенсивность жизни в лице. И только позже, через силу любви, познавалось мной нутро человека. И через эту любовь, как-то чудесно и мгновенно окрепшую, я приравнивалась к этому нутру, уже считая это счастьем. А до «черт характера» и «вкусов» мне никогда не было дела.

Но это внешнее ощущение «начала» не имело никакого отношения к красоте или даже привлекательности человека. И ничего не было головного во мне — ни в первом впечатлении, ни в «приспособлении» меня к другому человеку. Да, приспособление было всегда одной из жизненных радостей. И я жалею тех женщин, которые ее не знают. «Прилаживаться» — не только не унизительно (кто выдумал эту глупость?), но необходимое условие блаженства.

<...> **Ноябрь**

Читаю «Историю государства Российского».

Со времени Симеона Гордого (чем гордого, собственно?), если считать 75 лет, то в России непрерывно «свирепствовали различные моры». Они «опустошали целые города». От этих 75-ти лет ничего не осталось — ни памятника зодчества, ни рукописи, ни иконы, ни идеи — только постоянные сражения с монголами и Литвой, междуусобия князей. А ведь 75 лет — это значит два поколения! Были же среди этих поколений люди с душой, талантливые, предприимчивые? Или их не было?

Ноябрь

Достаточно прочесть два номера берлинской газеты «Новое слово», чтобы понять всю ничтожность, лакейство, продажность, всю подлость русской души, когда она хочет выслужиться, отличиться.

<...> **Ноябрь**

Я сказала мосье П.:

— В Бианкуре была бомбардировка. Много убитых. Я видела, как женщины тащили из горящих домов обожженных детей.

Он ответил:

— А мне плевать: я живу на Монмартре!

Ноябрь

Во всем этом четыре «светлых» явления»: книги, бескорыстные чувства, собственные творческие мысли и природа. Первое и четвертое сводятся к стендалевскому: лектюр э агрикюльтюр. Третье замерло. Второго все меньше.

Ноябрь

Читаю Леона Блуа.

Он есть удивительное и печальное соединение Розанова, Мережковского, Ремизова и Ходасевича. Он — самый «русский» из всех французов!

Розанов — стиль, неуемность его церковно-религиозных чувств, его реакционность, интерес к евреям, ненависть к радикалам, нужда и несчастья, вынесенные на площадь.

Мережковский — парадоксальность и натянутость, любовь к фразе, эгоцентризм и то, что около важного ходит, не будучи сам большим писателем.

Ремизов — его жалобы, его безденежье, — и эксплуатация своих бед.

Ходасевич — несчастья, сами себя питающие, закабаленность работой, невозможность писать «для себя». Так и вспоминается Ходасевич в случае с выходом книги Блуа в день убийства президента Карно: все занялись убийством, и книга его канула в небытие, о ней забыли. Это так похоже на то, что могло бы случиться с Ходасевичем!

Ноябрь

Получила вызов в русский отдел гестапо, где-то около музея Галлиэра. Н. В. М. получил вызов в Версаль — это для отправки на работы в Германию. Еду одна. Вхожу. Подхожу к одному из чиновников, сидящих за столами в большой комнате. Быстро оглядываю всех сидящих — ни одного знакомого лица, но я сразу чувствую, кто эти люди: у меня на русских в Париже глаз наметан. Это — крайне правые, старые, забытые люди, настоящее эмигрантское «незамеченное поколение» — хамы из бывших чиновников «двора его императорского величества», министерства внутренних дел, тайные члены Союза русского народа, спасшиеся от расстрелов губернаторы, аппаратчики политотделов «дикой дивизии» и отрядов Мамонтова и других банд. Настал, значит, теперь их день, не наш день. На их улице — праздник.

— Вы — масонка?

— Нет, я не масонка.

— Тут сказано, что вы масонка.

Дает мне брошюру адвоката Печорина «Масоны в эмиграции». Там перечислены десятки фамилий. Между ними — Р. И. Берберов.

— Я — не Р. И. Берберов.

— А кто же Р. И. Берберов?

— Брат моего отца.

— Где он?

— Он умер несколько месяцев тому назад на юге Франции.

Молчание.

— Вы — не еврейка?

— Нет, я не еврейка.

— Как вы можете это доказать?

— Я не могу доказать, что я не еврейка. Докажите вы, что я еврейка.

Молчание.

— У вас депортировали родственницу, как еврейку.

Это — про Олю. Я молчу. Он:

— Я вас спрашиваю.

— Я не понимаю, о ком вы говорите.

Потом он приносит из какого-то шкафа толстую папку. Это — мое «дело». Он долго роется в нем. Там, как видно, дюжины две доносов.

— Почему вы не печатаетесь в наших газетах?

— Я ничего не пишу.

— Почему?

— Стара стала. Талант пропал.

В таком духе мы говорили еще минут пять, и он меня с неохотой отпускает.

<...> **Декабрь**

Отец и мать дали мне только имя. Это я не выдумала, это они придумали. Все же остальное, что есть во мне, я «сделала»: выдумала, вырастила, выменяла, украла, подобрала, одолжила, взяла и нашла.

1943

<...> **Январь**

Один из самых прекрасных музеев, какие я когда-либо видела — Маурициусхус в Гааге. И я вспоминаю, как я стояла там перед Вермеером, каждый день в течение недели. А потом мы поехали с Н. В. М. в Амстердам и долго гуляли вдвоем по набережным каналов и зашли в дом Рембрандта.

И у меня такое чувство, что ни Маурициусхуса, ни Рембрандта просто больше нет. Были да сплыли.

<...> **Апрель**

Нашумевший роман Фаллады «Волк среди волков» чем-то напоминает мне мой первый роман «Последние и первые». Тот же «документальный интерес», та же теза, выпирающая отовсюду, тот же неприятный стиль, претензия на модерн, те же неживые люди, необходимые автору. Тот же «достоевский». Фаллада, конечно, искуснее, он, так сказать, создал некий памятник эпохи 1923—24 годов.

<...> **Август**

Вчера на станции Данфер-Рошро натерпелась страху. Стою у шоколадного автомата и пытаюсь ковырять щелку: может быть, выпадет шоколадный «горбик» Менье. Вдруг голос: Здравствуйте, Н. Н.

Георгий М. Не сразу узнала его и даже не помню, была ли когда знакома с ним. Пропустила два поезда. Он держал меня и не отпускал. Его монолог приблизительно сводился к следующему:

— Мы создали наш новый Союз писателей. Председателем — наш дорогой Илья Григорьевич (Сургучев, с которым я уже лет пятнадцать не кланяюсь). Я — секретарь. Записались в члены... (тут следуют фамилии). Ремизов обещал (это, я знаю, ложь). Когда же вы вступите? Непременно пришлите мне прошение о принятии вас в члены. У нас будут собрания, чтения, выступления... Знаете, Н. Н., лучше записаться пораньше: кто не запишется, того мы в Россию не пустим. Я вот и Бор. Констант. вчера это сказал. Поехал нарочно к нему, объяснил ему: кто не член, тому не дадут разрешения вернуться. А инициаторы поедут в первую голову. Хотим издавать газету в Минске. Вы за городом, кажется, живете? Хорошо, что вас встретил. Так что присылайте скорее прошение.

Я говорю:

— Я не за городом живу, а в деревне, очень далеко, и нет никаких средств сообщения. Я не смогу приезжать на чтения.

— Как хотите. Как хотите. Подумайте о будущем.

Подходит второй поезд.

— Кстати, — говорю я, — год тому назад, кажется, Н. В. М. обратился в какой-то ваш комитет, чтобы вы помогли спасти библиотеку Ходасевича. Вы тогда ничего не сделали, и все книги вывезли неизвестно куда.

Он:

— Мы были очень заняты. Панихидами. Служили панихиды, и не было решительно времени этим заняться.

Я не ослышалась. Подходит третий поезд, и я наконец вскакиваю в него.

— «И от судеб защиты нет», — говорю я себе.

Борис Зайцев дает мне знать, что лучше мне в город пока не ездить: меня ищет Левицкий, чтобы пригласить в «Парижский вестник».

Сентябрь

5-го — открытие памятника на могиле Д. С. Мережковского в Сент-Женевьев-де-Буа. Старики и старухи из Русского дома, страшно старая, хрупкая, совсем прозрачная З. Н. Гиппиус, Зайцев и еще двое-трое знакомых. Памятник поставлен на подаяние французских издателей. Говорили: Миллиоти (по-французски), Шюзевиль (тоже и очень хорошо). З. Н. благодарила французов. Зайцев — по-русски два слова. Стáло очень грустно. Я повторяла про себя строки моего стихотворения, посвященного когда-то Д. С. М.

Октябрь

П. Я. Рысс, старый журналист, почему-то водивший со мной дружбу с 1925 года, приходит и говорит, что принужден был уехать от жены из Аньера (француженка, на которой он женился после смерти Марии Абрамовны): она грозила, что донесет на него, что он не регистрировался как еврей. Он ушел в чем был и поселился в районе Сен-Жермен, в комнате на шестом этаже. Боится, что без зимнего пальто ему зиму не пережить. Н. В. М. дает ему свое старое (очень теплое, но довольно поношенное) пальто, и он уходит. Говорит, что целыми днями решает крестословицы и учит испанский язык, чтобы убить время.

Октябрь

У Зин. Ник. вчера: Лорис-Меликов, Тэффи, еще несколько человек. Сидим за чайным столом. Я взглянула на часы: без четверти восемь. Пора уходить. И вдруг — летят самолеты, сирена ревет. Мы со Злобиным бросились на кухню.

Там, в окне, выходящем на юг, летели треугольниками, как гуси, американские истребители и разбрасывали бомбы — один треугольник, за ним второй, за вторым — третий. Сирена ревет, бомбы взрываются, весь город начинает дрожать и мы дрожим. Возвращаемся в столовую и решаем спуститься в подвал. Я беру З. Н. Г. под руку, Злобин берет под руку Тэффи, за нами Лорис. В страшном грохоте вокруг мы начинаем спускаться по лестнице (третий этаж), и вдруг я вижу, что мраморная лестница под моими ногами движется. З. Н. ничего не слышит и не видит. Мы сходим вниз и там, у входа, стоим довольно долго. Когда дают отбой, я ухожу.

Выйдя на авеню Мозар, я вижу, что все — в дыму, и все бегут куда-то, едут пожарные, мчится скорая помощь — вниз по улице, к Биянкуру, к Булони. Первая мысль: Зайцевы. Бегу и бегу, через весь Отэй, к Порт-де-Сен-Клу, и там понимаю, что был разгромлен Биянкур и теперь горит. Все оцеплено, и туда не пускают.

Октябрь

Премьера в русском драматическом театре — «Замужняя невеста» Грибоедова в постановке Ю. П. Анненкова. Тэффи, Гиппиус, Рощина-Инсарова, Церетели и другие.

Ноябрь

Русская армия стоит под Херсоном, под Киевом, под Кривым Рогом, под Гомелем, под Керчью.

Ноябрь

Рассказ Марии Ефимовны, которая скрывается во французской деревне: она с первого дня выдавала себя за армянку. Ее полюбили, приглашали. Наконец, стали наперебой просить крестить новорожденных детей. И она крестила.
<...>

1944

Февраль

В половине двенадцатого ночи (я уже хотела ложиться спать) — осторожный стук в дверь. Открываю: А. Гингер (поэт, муж Присмановой). Впускаю.

Он рассказывает, что живет у себя, выходит раз в неделю для моциона и главным образом когда стемнеет. В доме — в этом он уверен — никто его не выдаст. Присманова сходит за «арийку», как и их сыновья. Он сидит дома и ждет, когда все кончится. Мне делается ужасно беспокойно за него, но сам он очень спокоен и повторяет, что ничего не боится.

— Меня святая Тереза охраняет.

Я страшно рассердилась:

— Ни святая Тереза, ни святая Матрена еще никого ни от чего не охранили. Может быть облава на улице, и тогда вы пропали.

Но он совершенно уверен, что уцелеет. Мы обнимаем друг друга на прощание.

Март

Очередное воскресенье у З. Н. Г. Она, по старой привычке, «принимает» от 5-ти до 8-ми. Злобин готовит чай. Постоянные посетители: Лорис-Меликов (из Русского дома в Сент-Женевьев де Буа), Тэффи, какие-то дамы, иногда Мамченко, реже — я. Лорису, племяннику министра Александра II, лет восемьдесят. Он говорит на восьми языках, служил до 1917 года в министерстве иностранных дел, знает наизусть «Фауста» и добрую половину «Божественной комедии».

Пришел Н. Давиденков, власовец*, друг Л. Н. Г., с ним учился в Ленинграде, в университете. Долго рассказывал про Ахматову и читал ее никому из нас неизвестные стихи:

Муж в могиле, сын в тюрьме.
Помолитесь обо мне.

Я не могла сдержать слез и вышла в другую комнату. В столовой наступило молчание. Давиденков, видимо, ждал, когда я вернусь. Когда я села на свое место, он прочел про иву:

Я лопухи любила и крапиву,
Но больше всех — серебряную иву.
И странно — я ее пережила!

Это был голос Анны Андреевны, который донесся через двадцать лет — и каких лет! Мне захотелось записать эти стихи, но было неловко это сделать, почему-то мешало присутствие З. Н. и Тэффи. Я не решилась. Он прочитал также «Годовщину последнюю празднуй» и, наконец:

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу...
. . . .
А я иду — за мной беда,—
Не прямо и не косо,
Я в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

Тут я опять встала и ушла в гостиную, но не для того, чтобы плакать, а чтобы на блокноте Гиппиус записать все восемь строк — они были у меня в памяти, я не расплескала их, пока добралась до карандаша. Когда я опять вернулась, Давиденков сказал: Не знал, простите, что это вас так взволнует. Больше он не читал.

<...> **Октябрь**

Собрание поэтов в кафе «Грийон», в подвале. Когда-то собирались здесь. Пять лет не собирались. Все постарели, и я в том числе. Мамченко далеко не мальчик, Ставров — почти седой. Пиотровский. Появление Раевского и Гингера — который уцелел.

Почтили вставанием Юру Мандельштама, Воинова, Кнорринг и Дикого. Домой через Тюльери. Когда-то в Тюльери, пятнадцать лет тому назад, мы гуляли: Юра Мандельштам, Смоленский, Кнут, Ходасевич и я. Все были немножко влюблены в меня, и я была немножко влюблена во всех.

Октябрь

М-м Лефор сказала мне, захлебываясь от радости, что в августе она дожила до светлого дня: ей удалось плюнуть в лицо

* Позже был повешен в Москве, вместе с ген. Власовым и Красновым.

пленному немецкому генералу, когда его вели по бульвару Батиньоль. <...>

1945

Январь

27-го были мои именины. С трудом достала полфунта чайной колбасы. В столовой накрыла на стол, нарезала двенадцать кусков серого хлеба и положила на них двенадцать ломтиков колбасы. Гости пришли в 8 часов и сначала посидели, как полагается, в моей комнате. Чайник вскипел, я заварила чай, подала сахар, молоко и бутылку красного вина и решила, что именинный стол выглядит вполне прилично. Пока я разливала чай, гости перешли в столовую. Бунин вошел первым, оглядел бутерброды и, даже не слишком торопясь, съел один за другим все двенадцать кусков колбасы. Так что когда остальные подошли к столу и сели (в том числе С. К. Маковский, Смоленский, Ася и др.), им достался только хлеб. Эти куски хлеба, разложенные на двух тарелках, выглядели несколько странно и стыдно.

1946

<...> **Август**

Два месяца в Канне у Злобина. Он снял дачу и пригласил меня. Мы делили расходы.

Из Швеции приехала Грета Герелль. Сказала, что моего «Чайковского» там переиздали, и он имеет большой успех. Заставила написать издателю.

Если будет ответ — поеду в Швецию.

Ноябрь. Стокгольм.

Когда в 1930-х годах была опубликована переписка Чайковского с фон Мекк, я решила написать о нем книгу. Я была тогда у Рахманинова, у Глазунова, у Конюса, у Климентовой-Муромцевой, у потомков фон Мекк и еще у многих других, лично знавших Чайковского. Наконец, добралась до Прасковьи Владимировны, вдовы Анатолия Ильича (бывшая московская красавица). Она мне сказала, что не обо всем, о чем она будет рассказывать, можно писать. Например, у нее есть дневник Чайковского (она показала на запертый сундук). Какой дневник? — едва не вскрикнула я, пораженная. Оказывается — один из экземпляров изданного в 1923 году «Дневника». Думала ли она, что он издан в одном экземпляре? Или она считала, что он до Парижа дошел в одном экземпляре? Этого выяснить мне не удалось. Когда я сказала, что он есть в библиотеках, она очень удивилась и, кажется, мне не поверила.

Декабрь. Стокгольм.

Анатолий Ильич Ч. был сенатором и губернатором. Прасковья Владимировна, когда я бывала у нее, жила в Русском доме, под Парижем. В ее маленькой комнате было много старых семейных портретов. Антон Рубинштейн когда-то был влюблен в нее.

Я рассказала ей, как однажды Ал. Ник. Бенуа спросил меня, была ли я на премьере «Пиковой дамы», и страшно смутился, когда сообразил, что «сморозил», и стал извиняться.

Она была живая, накрашенная старушка с кудельками. У нее был внук (Веневитинов) и две внучки (Унгерн).

Декабрь. Стокгольм.

В Стокгольме — знакомство с актрисой Гарриэт Боссэ, третьей женой Августа Стриндберга. «Исповедь глупца» (которую она говорит, что не читала, так как дала ему слово ее не читать) — вопль Стриндберга о себе самом. Вся книга, как исповедь, принадлежит уже двадцатому веку. Кажется, кроме Руссо, никто до Стриндберга так откровенно о себе не писал. Мужчина — социально, материально и сексуально побеждаемый женщиной. А ведь это было как раз время «Крейцеровой сонаты»! (1893 год.)

<...> **Декабрь.** Стокгольм.

<...> «Исповедь глупца» предваряет все автобиографии нашего времени и в том числе — книгу Андре Жида. Он не был первым, как тогда говорили, который писал о вещах до тех пор запретных. Стриндберг первый говорил языком правды о себе и открыл себя напоказ миру. Может быть, потому-то и поставлен ему памятник в Стокгольме без одежды: около Ратуши стоит *голый* Стриндберг.

Мы продолжаем в известной мере идти по этому пути (Стриндберга — Жида) и говорим о себе то, о чем молчали наши отцы и деды. Мы лучше знаем себя (и их), и потом — что же нам скрывать себя? «Загадок», в сущности, осталось очень немного. Отгадки на них даны. Они, если сказать правду, превратили загадки в уравнения: если даны А, Б, Г, Ж и т. д., то о В, Д и Е, также о М и Щ каждый может сам узнать, если научился думать. Еще лет 20—30 тому назад раскрытие себя было бравадой, знаменем, с которым шли на борьбу с лицемерием. Сейчас оно естественно, им пользуется всякий. И всякое уравнение получает разрешение, и не за чем выходить на улицу с барабанным боем. Тайны — другое дело. Они — часть моего внутреннего устройства, и у них есть *соки*.

Первая черта современных автобиографий — раскрытие себя. Вторая — очень часто — писать обратное тому, что было, в борьбе с самим собой, если еще продолжается борьба. И третья — умышленное усложнение авторами писаний о себе. Вильям Блейк сказал: то, что может быть понято дураком, меня не интересует.

Все это надо принять во внимание, если я когда-нибудь буду писать книгу о самой себе. Знаю твердо: не обладая старым чувством «женской стыдливости», я однако не в силах буду открыть в себе *все*. Если я бы жила и писала пятьдесят лет тому назад, то в этом был бы смысл. Сейчас смысла в этом я не вижу: бацилла открыта, что же ее заново открывать? Великие наши освободители (и в первую очередь — Д. Г. Лоуренс) потрудились на этом поприще. А кроме того, я всегда считала и считаю скромность (не стыдливость!) некоторой добродетелью, наряду со смелостью и правдивостью. И еще я знаю, что к тому времени, когда я ре-

шу писать о себе, всякая борьба с самой собой должна быть окончена и таким образом мне не надо будет ни лгать, ни притворяться лучше или хуже, чем я есть на самом деле. Что касается усложненной (умышленно) техники письма, то пускай меня понимают и дураки. Я, может быть, не очень к ней способна.

Мне придется — если я буду когда-нибудь писать о себе — сказать, что я никогда не страдала от того, что родилась женщиной. Я как-то компенсировала этот «недостаток», который недостатком никогда не ощущала: ни когда зарабатывала хлеб насущный, ни когда строила (или разрушала) свою жизнь с мужчиной, ни когда сходилась в дружбе с женщинами и мужчинами. Ни когда писала. Я даже не всегда помнила, что я — женщина, а вместе с тем женственность была моим украшением, это я знаю. Может быть, одним из немногих моих украшений. Вместе с тем, у меня было очень многое, что есть у мужчин, но я не культивировала этого, может быть, подсознательно боясь утери женственности. Была выносливость физическая и эмоциональная, была профессия, денежная независимость, был успех, инициатива и свобода в любви и дружбе, умение выбирать. Но было также и подчинение мужчине — с радостью. Особенно же когда я видела помощь мне со стороны мужчины, что бывало нередко. Я любила это подчинение, оно давало мне счастье. И было: ожидание совета от мужчины и благодарность за помощь, поддержку и совет.

И я скажу тоже о том, что любила и люблю человеческое тело, гладкость и крепкость плеч и колен, запах человека, кожу человека, его дыхание и все шумы внутри него.

1947

Январь

Когда я была в Швеции в ноябре — декабре прошлого года, фру Асплунд пригласила меня приехать к ней летом гостить на остров в шхеры, в шести часах от Стокгольма, где нет ни дорог, ни электричества, ни телефонов, и где у нее дом, в котором она и Грета Герель проводят лето. Фру Асплунд 62 года, она высокая, прямая, ни на каком языке, кроме шведского, не говорит (мы с ней объясняемся либо через Грету, либо на плохом немецком). Она когда-то преподавала шведскую гимнастику, была чемпионом парусного спорта, фехтует. Довольно замечательная женщина. Я решила, что поеду в июне на месяц. Но как могу я ее отблагодарить?

У нее есть все, решительно все, а денег у меня мало. Духов она не любит, так что «Герлэн» ей ни к чему. И вот я решила — вместо подарка — научиться шведскому языку. По крайней мере это-то уж наверное доставит ей удовольствие и облегчит нам общение друг с другом.

Вспомнила, что Лорис-Меликов был царским консулом в Норвегии. Написала ему. Теперь он приезжает два раза в неделю, мы пьем чай и закусываем (он страшно похудел за эти два-три года), и я ему всучаю бутерброд, когда он уходит. Он — осколок прошлого (таким был Б. Э. Нольде, тоже царский дипломат и тоже с большим очарованием ума и обхождения). На Лорисе костюм, которому по крайней мере двадцать лет. Я спросила Н. В. М., нет ли у него старых вещей (они более или менее одного роста). Он принес мне пиджачную пару, совсем хорошую, только молью траченную. Лорис очень обрадовался и смутился, и пока я увязывала пакет, что-то читал мне на память из Шиллера о благодарности.

Теперь твержу шведские вокабулы.

Январь

1946 год у меня был счастливым годом: я опять начала работать. Потом были две поездки: одна на юг, к Злобину, другая в Швецию. И я написала книгу о Блоке.

<...> **Июнь.** Хеммарё

Небольшое недоразумение.

Когда я приехала к фру Асплунд на Хеммарё, то оказалось, что Лорис научил меня не шведскому, а норвежскому. Так что говорить я с ней не могу. Но могу читать Ибсена.

<...> **Август**

Вернулась из Швеции и поехала на месяц в Лонгшен, захватив с собой Бориса и Веру Зайцевых. С утра Вера начинает рассказывать Борису и мне всякие смешные и грустные или просто любопытные истории. Хохот стоит в доме. Они любят Лонгшен: мы сидим втроем, уютно и тихо. Гуляем. Готовим обед. Иногда Борис уходит гулять один. Вера тогда говорит: Батюшка думает. Наверное, скоро начнет сочинять.

<...> **Август**

Гоголь — это Вторник в романе Честертона «Человек, который был Четвергом».

Маяковский — это Киплинг.

Пушкин — это Кольридж, Поп и Байрон в одном лице.

Что было бы, если бы во Франции вся ее историко-литературная критическая мысль вертелась вокруг ФЛОБЗАКА, как у нас вокруг Толстоевского?

Красота, которая «вовек не смеется и не плачет» (Брюсов).

Ницше о радости.

<...> **Сентябрь**

Человек, с которым я продолжаю жить (кончаю жить):
не веселый,
не добрый,
не милый.

У него ничего не спорится в руках. Он все забыл, что знал. Он никого не любит, и его постепенно перестают любить.

1948

Апрель

Все прошлое со мной, существует одновременно с настоящим. Как одновременно существует амеба и человек.

Апрель

Генри Джеймс и его современники сокрушались иногда о положении рабочего класса, о положении крестьян и даже сетовали на дурное устройство жизни. Но им в голову не приходило, что четырнадцатичасовой рабочий день может стать семичасовым и что образование может стать всеобщим, бесплатным и обязательным. П. И. Чайковский, увидев демонстрацию рабочих в Нью-Йорке, не понял: что это такое? чего требуют эти люди и у кого?

Июль

Лонгшен продан. Его купила актриса Комеди Франсэз Моник Дальмес. (Видела ее, когда она играла драму Монтерлана.)

Она хочет «заделать вот эту дверь» и «прорубить туда окно». Рубите, что хотите, и заделывайте себе на здоровье все, что хотите.

Июль

Снова в Швеции. (В третий раз.)

Господин Лондстром и его правая нога.

После автомобильной катастрофы ему отрезали ногу. Он похоронил ее в фамильном склепе и раз в год ходит к ней на могилу с цветами.

<...> **Июль**

На панихиде по Николаю II обращал на себя внимание роскошный венок с лентами «От новой эмиграции».

<...> **Ноябрь**

Вечер Бунина. Читал свои воспоминания, в которых издевается над символистами, изображал (копировал) Бальмонта, Гиппиус, Блока, называл Белого паяцем и пр. Адамович в просоветских «Русских новостях» написал отчет, где оправдал его на том основании, что все это были «бездны», над которыми в свое время смеялся Лев Толстой (а Толстой, конечно, ошибаться не мог). И тоже потому, что «если бы Пушкин читал Блока, он тоже ничего бы не понял».

Декабрь

Митинг в зале Плейель. Говорил Камю. Напомнил мне Блока — внешностью, манерой и тем, о чем говорил: грустным голосом о свободе поэта. Сартр выступал, утверждая, что нельзя больше описывать любовь и ревность без того, чтобы не сказать о своем отношении к Сталинграду и «резистансу». Бретон лепетал о Троцком. <...>

1949

Январь

В Париже в соборе на улице Дарю сначала построили «памятник» Николаю Второму. Перед памятником несусветного безобразия горели свечи.

Затем в 1947-48 годах, когда из Москвы приехал «митрополит» (советский чиновник) Николай Крутицкий переводить эмигрантскую церковь в Московскую юрисдикцию, готовы были с радостью согласиться перейти. Не перешли только потому, что «правые» (не те ли, которые так чтили Николая Второго?) оказались в большинстве на один голос. Глава церкви принимал Крутицкого со слезами умиления на глазах.

А Крутицкий в это время жил с Ильей Эренбургом в одном номере гостиницы (в разных комнатах, но с одной общей приемной) и ездил с ним на одном автомобиле в советское посольство.

Февраль

Прочла в советской печати: «Сталин осеняет незримо».

<...> **Март**

Б. И. Николаевский был в Париже. Сидел у меня долго. На следующий день мы с ним встретились в кафе на Данфер-Рошро. Пришла Маргарита Бубер-Нейман. Она одиннадцать лет просидела в лагерях: сначала на Колыме, а потом была Сталиным выдана Гитлеру. Она написала об этом книгу. <...>

1950

Февраль

Бориса Зайцева и меня пригласили в Брюссель дать литературный вечер. Не то «Общество любителей русской культуры», не то «Союз русских интеллигентов в Бельгии», не то еще что-то. Для Бориса это была большая радость (развлечение), и я тоже обрадовалась путешествию. Поехали. Он говорил, что «застоялся», как лошадь. Остановились в Брюсселе в доме д-ра Орлова. Гостеприимные люди, очень были милы. Перед обедом жена Орлова, волнуясь, предупредила нас, чтобы мы не удивлялись: ее младший сын женат на слепой. Старший — сын как сын. Работает в Антверпене. А младший сын все не знал, идти ему в монахи или нет, и вдруг женился на слепой, дочери какого-то бельгийского профессора.

Сели обедать. Молодой человек, здоровый и красивый блондин, а с ним — худенькая, высокая, безглазая женщина. Он ей на тарелке нарезал жаркое. И она ела, а он смотрел на нее и только на нее. На второй день пригласил нас к обеду О. из Общевоинского союза и после обеда повез нас в какой-то клуб. Зал (небольшой) был переполнен, более ста человек. Мы читали, получили немного денег и на следующий день поехали обратно. И теперь Борис вспоминает об этой поездке как о чем-то удивительно интересном, чуть-чуть авантюрном. «Это было, когда мы с Ниной в Бельгию ездили»,— говорит он и куда-то мечтательно смотрит в сторону. И я стараюсь тоже думать о том, что в моей жизни был маленький праздник. <...>

(Окончание следует.)

Отклик

ЧИТАЯ РОМАН ХУЛИО КОРТАСАРА «ЭКЗАМЕН» (библиотека журнала «Иностранная литература», Известия, 1990), невольно вспоминаешь известную цитату: «Очень своевременная книга!» Сначала, быть может, и не без иронии — роман написан почти полвека назад, а каждая его страница снова и снова напоминает, как давно западная творческая интеллигенция в меняющейся духовной вселенной XX века получила возможность экспериментировать в области художественных форм, наиболее подходящих для нового менталитета. Как давно прошла путь, на который с таким трудом, ощупью, впотьмах, иной раз заново изобретая велосипед, выползает ныне наша «другая литература».

Правда, в случае с романом «Экзамен» не приходится негодовать по поводу железного занавеса цензуры, идеологических табу и прочих причин явления, называемого «задержанной» литературой. (Обычно это понятие относят в основном к отечественной словесности. Но разве не подзадерживалось наше знакомство с Джойсом и Кафкой, Прустом и Лоуренсом?) Кортасар собственной волей продержал роман «в столе» сорок лет, но в 1984 году подготовил его к изданию, так мотивируя это возвращение к пройденному: «...кошмар, которым он (роман) был рожден, по сей день жив и бродит по улицам города».

И здесь о «своевременности» книги начинаешь задумываться уже отнюдь не иронически. В «Экзамене», написанном задолго до того, как к писателю пришла известность, мы тем не менее встречаемся с типичным Кортасаром *как таковым* — напряженно размышляющим, загадочным, оставляющим на поверхности сюжета лишь незначительную часть того, о чем на самом деле говорит книга. Главное в романе — от главы к главе сгущающаяся атмосфера апокалипсического кошмара, медленной агонии современного города, гибнущего в тумане, задыхающегося в дыму, сползающего в воду. И человек — на пороге решающего экзамена, выбора своей судьбы, вынужденный спасаться бегством, не имея сил противостоять тотальному давящему ужасу окружающей действительности... Едва ли нужно подчеркивать, какую массу ассоциаций вызывает у читателя «Экзамен»!..

«Библиотека журнала «Иностранная литература» очень многое сделала для заполнения белых пятен на карте современной зарубежной литературы. «Дублинцы» Джойса, «Лолита» Набокова, «Последнее лето Клингзора» Гессе, «Изгнанник» Беккета — все это и многое другое прочитано благодаря ей. В ближайшее время серия пополнится такими книгами, как «Коллекционер» Дж. Фаулза, «Голем» Г. Мейринка, романом Генри Миллера «Тропик Рака»... Нам, читателям, остается только набраться терпения и дожидаться их.

А. ГОМАРНИК

ВЛАДИМИР КАНТОР В КНИГЕ ПРОЗЫ «ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА», выпущенной «Советским писателем», дотошно исследует то состояние, которое Юрий Трифонов в романе «Время и место» назвал «синдромом Никифорова»,— своего рода духовную агорафобию, страх перед жизнью, перед открытым ее пространством, предполагающим для человека не один-единственный путь (неважно, скверный или замечательный), а калейдоскопическую пестроту путей и решений.

Прежде всего речь идет о Леве Помадове — главном действующем лице повести «Крокодил», на мой взгляд, самой любопытной в сборнике В. Кантора.

Эффектное и точное высказывание Гертруды Стайн о «потерянном поколении» появилось в 20-е годы применительно к западной интеллигенции: несколько десятилетий спустя и в совсем другой стране это обозначение нашло и с немалой точностью соединило в 70-е так называемых «средних граждан», тоскливо, «без божества, без вдохновенья» работающих за зарплату,— с нонконформистским «поколением дворников и сторожей», не востребованных обществом творцов — писателей, художников, музыкантов; угрюмых бомжей с высшим философским образованием; расхристанных алкашей, имеющих ученую степень и гордящихся должностью грузчика в овощном магазине... Короче говоря, с теми, кто если и не выбирал между тюрьмой и «Свободой», то, во всяком случае, старался жить «не по лжи». Казалось бы, этой последней категории людей Лева Помадов вполне соответствует. Тут и неприхотливость в быту (переходящая — в Левином случае — в безалаберность), и неповторимый люмпен-интеллигентский сленг, впитавший говор проходных дворов и треп курилок научных библиотек, и могучая алкогольная стихия, ставшая приметой эпохи, породившая многое — от гениальной поэмы светлой памяти Венедикта Ерофеева до причудливого движения «митьков».

Наконец, люди «подполья» в 70-е делали все возможное, чтобы их талант и ум не служили тогдашнему истеблишменту... И вот тут сходство кончается.

Ибо Лева Помадов, увы, ему служит — причем не за страх, а за совесть. Он как бы везде посторонний: он «выпал из гнезда», но не оказалось никого, кто бы его подхватил на лету. Герой повести — жизненный аутсайдер, вынужденный играть жалкую и двусмысленную роль, вращаясь в каком-то ничейном про-

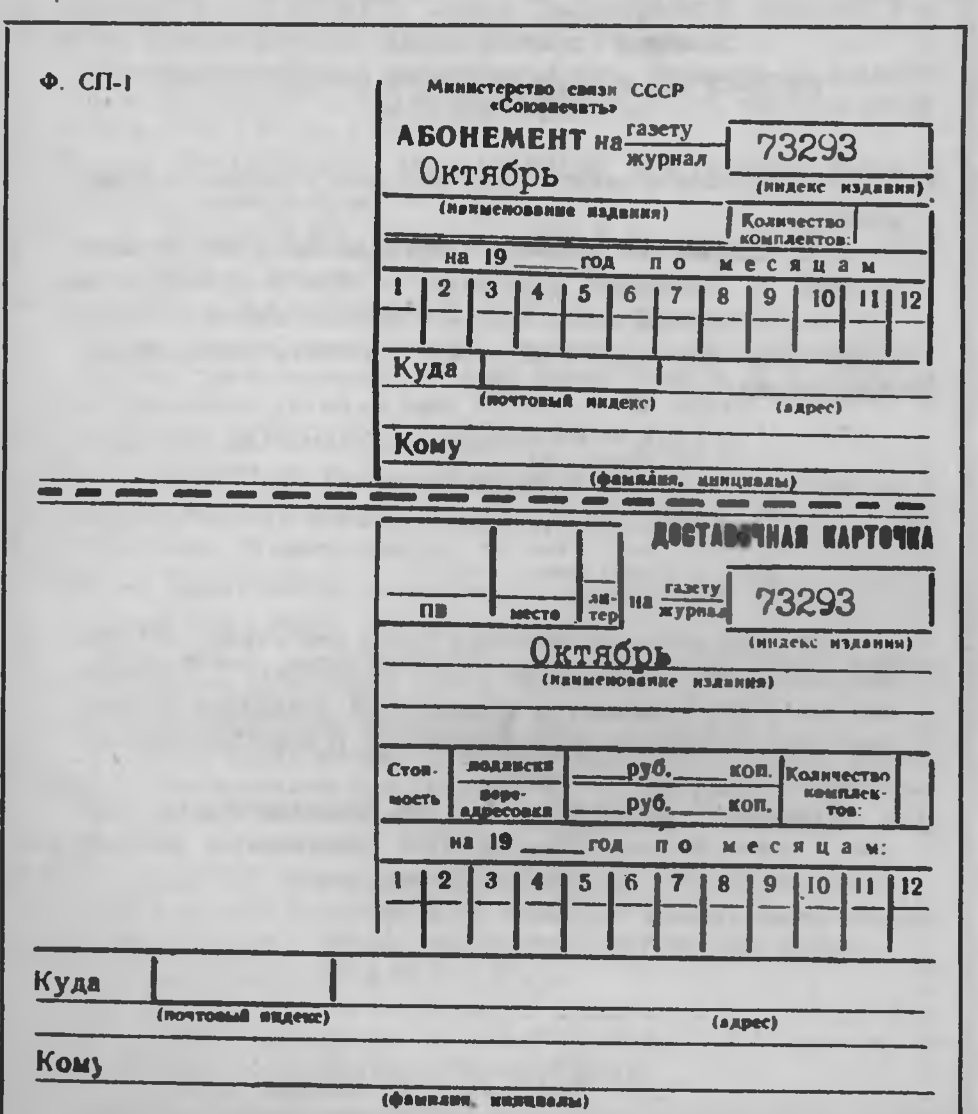
странстве. Он словно бы попал в «мертвую зону» между территорией, занятой ленивым времяпрепровождением своих благонамеренно-бездарных (или подло-пронырливых) сослуживцев, где водка пьется от скуки,— и убогим закутком интеллигентных бомжей, глушащих водкой ненависть или вовсе аскетически непьющих. В конечном итоге он никем не принимается всерьез, не нужен и не интересен вроде бы ни тем, ни другим — и, выходит, обречен: спасать его некому. Собственно, Лева сам выносит себе суровый приговор. Остатки разума и стыда, просыпающиеся в нашем герое, материализуют жаркую пасть со множеством зубов, а которой Леве и суждено погибнуть...

Так что же: Лева съеден — выходит, порок наказан? Остановиться только на этом означало бы сильно обеднить смысл повести, превратить ее в дежурное нравоучение. Между тем замысел автора много серьезнее. И дело не только в том, что сам образ «меча карающего», крокодила с замашками палача-резонера, интересен, неожидан, пластичен, что философский диспут перед «приглашением на казнь» высвечивает в Левином характере черты, заслуживающие уважения, а библейская притча о Левиафане, трансформированная Владимиром Кантором, выводит повествование на новый смысловой уровень, придает частному случаю оттенок некой всеохватности.

Он коварно подтачивает нашу уверенность в праве быть моралистами, судить кого-то, кроме себя, и карать. Но для того, чтобы мы это осознали, Лева и должен был исчезнуть.

Роман АРБИТМАН

г. Саратов.



Ф. СП-1

Министерство связи СССР
«Союзпечать»

АБОНЕМЕНТ на газету / журнал 73293
(индекс издания)

Октябрь
(наименование издания)

Количество комплектов:

на 19 ____ год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ПВ | место | литер

на газету / журнал 73293
(индекс издания)

Октябрь
(наименование издания)

Стоимость	подписки	____ руб. ____ коп.	Количество комплектов:	
	переадресовки	____ руб. ____ коп.		

на 19 ____ год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

г. Брест. Облтип. Зак. 4189—10000000. 18. VI. 85 г.